

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ 6 2000

В НОМЕРЕ:

НАУМ БАСОВСКИЙ
СЕРГЕЙ БАУМШТЕЙН
ВЛАДИМИР БОЛОТИН
ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ
ТАМАРА ДУБИНА
ЕЛЕНА ИГНАТОВА
МАРК КАБАКОВ
ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ
АРНОЛЬД КАШТАНОВ
ЮЛИЙ КИМ
МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ
ЕФИМ КОТЛЯР
ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН
ДАВИД МАРКИШ
ШИМОН МАРКИШ
ПЕТР МЕЖУРИЦКИЙ
МАРИНА МЕЛАМЕД
ДАВИД САМОЙЛОВ
МОРИС СИМАШКО
БИНА СМЕХОВА
ЗЕЛИЙ СМЕХОВ
МИХАИЛ ФЕЛЬДМАН
ПАВЕЛ ХМАРА
ЯКОВ ШЕХТЕР
АЛЕКСАНДР ШОЙХЕТ
ЭЙНАТ ЯКИР
И ДРУГИЕ

N6



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים ספרותית

2000'6

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

⑥ 2000

Иерусалимский журнал, № 6, 2000

Журнал современной израильской литературы на русском языке

Виртуальный вариант в Интернете: www.antho.net/L

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор),

Семен Гринберг, Зинаида Палванова, Дина Рубина,

Роман Тименчик, Светлана Шенбрунн

Ответственный секретарь – **Леонид Левинзон**

Художник – **Сусанна Черноброва**

Редактура и корректура – **Маргарита Шкловская**

Организационное и техническое обеспечение номера – **Бина Смахова,**

Борис Бронштейн, Даниил Бурштейн, Михаил Бяльский, Нелли Глузман,

Виктор Гопман, Григорий Гордин, Шауль Котлярский, Антон Мухин

Издательство «СКОПУС»

Типография «ЦУР-ОТ»



При поддержке

Министерства абсорбции;

Министерства культуры;

Центра интеграции репатриантов –
деятелей литературы и искусства;

Отдела культуры и Управления абсорбции Иерусалимского муниципалитета; Иерусалимской муниципальной русской библиотеки и Всемирной ассоциации по изучению взаимодействия культур.

Журнал выходит ежеквартально

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2000. All rights reserved.

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам.

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. 0. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: review@antho.net

Тел.: 972-2-6434005, 972-6432962; тел./факс: 972-2-6720025

Представители «Иерусалимского журнала»:

В Москве – **Игорь Меламед**, т. 2427042

Игорь Грызлов, т. 5507747; igorgr@dol.ru

В С-Петербурге – **Сергей Григорьянц**, т. 2948143

Ольга Крупенья, т. 3125465

В Новосибирске – **Владимир Болотин**, т. 329944; V.P.Bolotin@inp.nsk.su

В Нью-Йорке – **Андрей Грицман**, т. 201-8169131; agritsman@worldnet.att.net

Рита Бальмина, т. 619-4606179; rita_balmin@yahoo.com

В Чикаго – **Александр Блинштейн**, т. 847-6761134; RMASIS56@prodigy.net

Ефим Котляр, т. 847-5819304; YefimK@aol.com

В Париже – **Владимир Смахов**, т. 33-6-73024165; 33-1-41861468

В Торонто – **Илья Липес**, lipes@idirect.com

В ИЗРАИЛЕ: **Арад** – **Ольга Кравченко**, т. 07-9971014. **Ариэль** – **Самуил**

Кушниров, т. 03-9365452. **Афула** – **Любовь Сергеева**, т. 06-6492095. **Герилия** –

Леонид Шейнкман, т. 09-9502681. **Кфар-Саба** – **Виталий Кабаков**, т. 09-7673293.

Дол – **Михаил Гиль**, т. 08-9201291. **Реховот** – **Марк Павис**, т. 08- 9353758. **Хайфа** –

Михаил Басин, т. 04-8213657.

OCR Давид Титиевский, июнь 2019 г., Хайфа

Юлий Ким

Я ВСЕ ВРЕМЯ ШЕЛ К ТЕБЕ

* * *

Мой дорогой Булат! Неправда ли, прекрасно:
Клубятся облака, и гром гремит вдали.
А в льющемся ручье безудержно и страстно
Бормочут голоса очнувшейся земли.

И медлит мудрый взор оглядывать порядок,
По коему весна опять творит своё.
А этот вкусный дым от греющихся грядок
Мне возвращает всё счастливое моё.

Неправда ли, Булат? Все то же ожиданье,
Все то же нетерпение в груди...
Мы говорим «Прощай!» – а мыслим: «До свиданья».
Нам говорят «Прощай» – мы слышим: «Подожди!...»
Весна 94

* * *

По миновении годов
Я вновь любовью испуган,
Опять тащусь за ржавым плугом
По ниве вздохов и стихов.

Уж и не чаял, не гадал...
Да что? Смотрю холодным оком,
Не помышляю о высоком,
Не возвожу на пьедестал.

Душевный опыт говорит
Об иллюзорности иллюзий,
О том, что мой гордиев узел
Удар меча не разрешит.

Сердечно поздравляем автора с присуждением ему российской государственной литературной премии имени Булата Окуджавы. В разделе «Имена» мы печатаем неопубликованные до сих пор трогательные признания поэта Давида Самойлова в любви к поэзии Юлия Кима. Присоединяемся к этим признаниям.

Редколлегия

Тогда откуда взялся он,
Тех, детских лет счастливый трепет?
Способен ли на нежный лепет
Седой политик Цицерон?

Способен! как любой из нас –
Предаться сладостному бреду!
Хотя и знает про запас,
Как это объяснять по Фрейду.

* * *

Давай купим шампанского ящик
И в укромном углу омнибуса
Доберемся до мебелишек,
И войдем туда, и обнимемся,
И шампанского вдоволь откушаем,
И свечу на камине потушим,
А утром дадим консьержке
Полтора рубля на издержки.

* * *

Такую женщину как ты
Я никогда не встречу.
Вразброс отдельные черты
Замечу и отмечу, –

Но ты есть ты. И ты – одна,
И голосом, и нравом
Одна.
Ты, так сказать, дана
С неоспоримым правом.

Сквозь мат,
Сквозь лагерный замес,
Сквозь нервы и истерику –
Я понял замысел небес,
Открыл-таки Америку.

Я Христофору не двойник:
Я сразу понял: материк!

* * *

Господи, Господи Боже,
Взыскуемый людьми!
Правителя и вельможу,
О Боже, молю: вразуми!

Спаси их от безумья!
В сердцах, отвердевших в комок,
Пусть совести белые зубья
Откроют живительный ток!

Подай им, Бог, прозрение,
И очи вовнутрь поверни,
И дай перенести потрясенье,
Какое претерпят они!

1969

Три песни

ПЕЧАЛЬНАЯ

– Скажи мне, брат, а где тот дивный край,
Где круглый год весна, зелёный май,
Где круглый год народ не знает бед?
– А это, брат, далёко, где нас нет...

– Скажи мне, брат, а где тот добрый дом,
Где злоба не таится за углом,
И мир вокруг, и друг тебе сосед?
– А это, брат, далёко, где нас нет...

– Скажи мне, брат, а где же та страна,
Где льется кровь, когда вокруг весна,
Где хлеб и мед – а дети просят есть?
– А это, брат, повсюду, где мы есть...

ВЕСЕЛАЯ

Что ты так распелся, звонкий соловей,
И кого ты дразнишь песенкой своей?
На дворе ненастье, горе да война –
До твоих ли песен в наши времена?

– Это ваше дело – в поле воевать,
Это ваша доля – горе горевать.
Отойди, не слушай песенку мою.
Мне настало время – вот я и пою!

А пою я песни звонко-веселó,
Не жалея сердца, сколько есть его!
Отойди не слушай – либо пой со мной!
У меня для песен нет весны другой.

ЗАСТОЛЬНАЯ

Эй, скажи мне, парень, отвечай прямо:
Кто зимой тебя согреет, кто?
Кто печаль твою развеет, кто?
Кто в беде всегда поможет,
Кто утешит, обнадежит
И, где хочешь, спать уложит – кто?

– Это все оно – славное вино!
Доброе вино – дочь земли и солнца!
И в беде всегда поможет,
И, где хочешь, спать уложит
Славное вино! Доброе вино!

– Эй, скажи мне, парень, отвечай прямо:
Кто всегда тебя обманет, кто?
Кто в беду тебя затащит, кто?
Кто твой разум затуманит,
Кто в тюрьму тебя загонит
И до срока похоронит – кто?

– Это все оно – славное вино!
Доброе вино – дочь земли и солнца!
И зимой тебя согреет,
И всегда тебя обманет,
И печаль твою развеет,
И в тюрьму тебя посадит,
И убьет и приголубит,
И обнимет и погубит
Славное вино! Доброе вино!

Из цикла «Письма Ирине» (1995)

* * *

Я лежу в реанимации,
Свой недуг определив
На языке родимой нации,
Как неконченный разрыв
Сердца. А точнее ежели:
Годы. Люди, годы, жизнь.

Всё нам кажется – мы прежние.
Заблуждаемся, кажись.
Ну и значит, ну и стало быть,
Как наскучишь сам себя
Детективчиками баловать
Или кружкой киселя,
То сидишь вот и разматываешь,
Проклинаешь, слёзы сглатываешь
Да подсчитываешь гроши...
На языке родимой нации
Вас ист дас: ре – а н и м а ц и я ?
Восстановление души.

* * *

Мне заслонил окно осенний строй берёз.
Качают взад-вперёд свои густые патлы
И позволяют лишь представить эти падлы,
Как там, недалеко, за двадцать с лишним вёрст,
Тихонечко заржал твой белый жигулёнок
И поскакал ко мне, как шустрый жеребёнок.
А эти всё стоят, мотаясь так и сяк,
Как Пушкин бы сказал: в своём цветном убранстве.
И всё ж я чувствую, как там, в пространстве,
Всё близится ко мне твой быстрый аргамак.
Шумит осенний парк. Сияет позолота
Осин. Сверкает золото берёз.
И точно в тот момент, когда в ворота
Ты входишь – я в окно высовываю нос.

* * *

О, как Господь сурово упрекнёт,
Что никому я счастья не дал,
Как подведёт и трижды носом ткнёт
В прах перед теми, кого я предал,
И скажет: «Повезло тебе, осёл,
С твоей убогою юдолью,
Что гнусный грех твой всё-таки спасён
Её пожизненной любовью».

* * *

Нужна шёлковая сеть,
А не яростная рать.
Это просто – овладеть.
Мне-то надо – обладать.

БАЛЛАДА О ПРИНЦЕССЕ-РЕВОЛЮЦИОНЕРКЕ

Ее высочество в хрустальный башмачках
В Санкт-Петербург из Киева катило,
В купе, отдельном, как оно любило,
За блеском глаз скрывая чёрный страх,
Поскольку через стенку от нее
Три штатских хлопца, чуть ли не зевая,
Открыто караулили ее,
Не зная твёрдо, но подозревая
То, что принцесса знала хорошо:
В хрустальном башмачке под левой пяткой,
Заткнув в каблук и подоткнув заплаткой,
Она везла с собой – известно что:
Листок, набитый доверху крамолой,
Такой разоблачительный фугас,
Что в случае чего – исход хреновый,
И титул не спасёт (хотя кого он спас?).
Но вот и Петербург. Почёсывая чресла,
Вываливает киевский эскорт.
Но где ж принцесса? Что за чёрт!
Вот только что была – и вдруг исчезла?!
Не будемте бранить несчастных филеров
За их незнание местной сети
Всех этих улочек и проходных дворов,
Где сквозануть от них – грудные дети
И то б сумели, ё-моё!
А тут же, всё-таки, высочество ее.
Итак, листок доставлен. Динамит
Пошёл греметь по всем меридианам.
Вся пресса на ушах стоит за океаном!
Весь питерский народ на площади валит!
Пал произвол. В вечернем небе
Ликует праздничный салют.
Ее высочество в наемном кэбе
Забилось в угол, как грустный бэби:
Ей неприятен свободный люд!

* * *

Что за странное бесстыдство –
Обниматься на ходу?
Целоваться на виду?
Видно, в каждом от артиста
Есть такой веселый грех:
Наслаждаться принародно,
Что любовь его свободна
И насрать ему на всех!

СТАРАТЕЛЬ

Зайду в поток,
Зачерпну лоток.
Сто раз наклоню,
Сто раз промою,
Сто потов солью
С ледяною водою.
Наконец – крапинка:
Золотая капелька.
Можно и перекурить.

Пошел на перекур,
А на берегу
Шатун-балагур,
Слышать не могу:
«Ах, говорит, какие краски!
Ах, говорит, какой пейзаж!
Красивее, чем на Аляске
Или на озере Балхаш.
Какая сила у потока!
Какой изысканный извив!
Ведь я его – аж от истока
И до впадения в залив!
А ты тут робишь в грязной джинсе
В одном и том же уголке.
Что ж, люди ищут смысл жизни
Кто где: я – в лодке, ты – в лотке».

А, да ну его,
Бродягу фуева.
За капелькой капелька.
Неделька к недельке.
«Здравствуй, Катенька.
Вот твои серьги.
Всё, как наказала ты,
Словечко в словечко:
Из чистого золота,
В виде сердечка».

Как подымет она свои очи,
Разомкнёт свои алые губы...
Так что ты себе, шатун, знай шатайся,
Знай впадай в свои хёровы лагуны.

* * *

Значит, факты таковы:
До Камчатки из Москвы
Через синий небосвод
Белоснежный самолёт
По широкой полосе
Дальше – газик по шоссе
Через долгий перевал
По грунтовке на причал
Подвернувшись бортом
В ночь и в дождь и в дикий шторм
До редчайших этих тундр
До ярчайших звезд и утр
И пешком до маяка
И пешком от маяка
По пустынной косе
С дохлой нерпой на песке
Мимо катера в траве
По запущенной тропе –
Я всё время шел в Полтаву
Я все время шел к тебе.

* * *

Но кой-чего я вам не сообщу.
Часть – оттого, что стыдно.
Часть – оттого, что будет вам обидно,
Чего я очень не хочу.

* * *

«Разлука обязательно нужна!
Я ль на Памир, ты ль за границу.
Тогда любовь всегда свежа,
Всегда как заново родится.
А так – она переродится
В привычку пошлую...»

Она

Кивала весело: «Конечно!
Езжай, любимый, на Памир
И покоряй его успешно.
И я не буду безутешна:
Поеду к тетке в Армавир».

А думала: «Едрена мать!
Вали, карабкайся, корячься,
А мне опять:
Сидеть и ждать
И ежедневно вычитать
Из жизни – целый месяц счастья».

* * *

Отжав-нажав свои педали,
Ты укатила в эти дали,
Садовые, ленивые, пологие,
Разморенные, как еще при Гоголе,
И полетела в лодочке кофейной
Атласной лентою шоссейной,
Где пред тобой подсолнухи склонили
Свои бесчисленные брили,
А солнце, не жалея краску,
Все небо расписало, как на пасху.
По этой роскоши летя, гудя и правя,
Ты счастлива была, принцесса дорогая.
А я, как юный виночерпий,
Смотрел на пир зари вечерней
И наслаждался им, пока
Не потемнели облака.
И вдруг я понял по брегету,
Что тебя долго что-то нету.
Последний луч в окне далёком
Пропал, моргнув багровым оком,
И разом рухнул черный мрак
На всё вокруг, как злобный враг.
Не Басаврюк с мохнатым Виём
Мне начали мозги манежить,
А камуфляжные к р у т ы е,
Вся эта нынешняя нежить.
Вот два огня... Всё ближе... Мимо...
Вот, наконец... и снова прочь...
О, как же ты невыносимо
Тиха, украинская ночь!
«Наверно, шину проколола...
Аккумулятор заporола...»
Нет: так и прет – хмельная прорва,
Свиные рыла...
кабанья злоба...

* * *

* * *

* * *

А его-то каша густа
И хотят ее все уста:
Так навариста, так вкусна
И – какой там еще эпитет?
А моя-то каша пуста,
Так, болтушечка из овса.
Но голодного всё ж насытит.

Марина Меламед
ДЖАЗ В СТИЛЕ ИДИШ

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

Да, мой прадед выкрал цыганку из табора. Влюбился и украл. Такой еврей не подошёл синагоге. И он построил дом на краю Каховки, подальше от всех. Он был хороший кузнец, у него всё получилось – и разбогатеть, и вырастить сыновей. А жена-цыганка неплохо говорила на идиш и по субботам зажигала свечи. Приходил поп, уговаривал податься в христиане, но ему сказали «гей авек»*, и ему пришлось уйти.

У такого папы дети получились не маленькие, девять штук детей. Первым делом они ушли в революцию. Особенно мой дед, который стал первым комсоргом Каховки. Правда, он потом перестал, но Каховка об этом не знает: в каховском музее хранится его комсомольский билет. А он, вместе со своей ячейкой, встал и вышел из комсомола, на каком-то раннем съезде. Поиграли, разошлись и уцелели, так случилось.

Как говорил каховский сапожник Гирш, «ой, вей, Марла Какс, Марла Какс! Старик брендил, а оны думают, что это всерьёз...» И в партию они уже не ходили. Так бывает, когда мама-цыганка говорит на идиш.

Но папа-кузнец был ещё похлеще. Он поехал помирать в Палестину, году в сорок седьмом. Или в сорок восьмом. Известно, что не в Израиль, а именно «помирать в Палестину». К тому времени он был дважды вдовец. После войны у него осталось двое сыновей, они давно жили сами по себе. Уехал и действительно помер. Пришло письмо – старшему, Мирону, не знаю подробностей, просил побережь старушку, которая за ним ухаживала. Как Мирону удалось-таки съездить – это отдельная загадка. Приехал, конечно, поздно. И выяснилось, что умер тот от удара ножом в кабацкой драке. Ему было сто два года. Да, о старушке. Красивая сорокалетняя женщина который день рвала на себе волосы.

От этого рода никого не осталось, только я. Частица лежит где-то в Израиле и провоцирует меня вспоминать чьи-то слова...

«Ицик! Поц! Выними палец из розетки! Я кому говорю! А то помрёшь и всю жизнь будешь об этом жалеть! Мирон! Ты уже большой парень, когда ломаешь себе голову, не забудь рассказать об этом маме. Вот Илюшик у меня молодец – сидит тихо-тихо в углу. Илюшик! Ты уже расковирял папины часы или ещё нет?...»

Я «ковиряю» папины часы, папино время. Оно мне кажется разумным не менее чем наше.

* Гэй авек – уходи прочь (идиш).

Дед после комсомольской юности стал бухгалтером – экспертом по уголовным делам. Во время «парашютного дела» собирались зареветь большие люди, а им этого не хотелось (парашют был так скроен, что давал миллионы). Прокуратура искала независимого эксперта, в том смысле, чтобы не брал, и нашли одного на весь Харьков – беспартийного Меламеда. Так вот, наняли «специалистов» и решили убрать деда. Заказные убийства ещё не были в моде, но раз он не берёт, как же иначе? А «специалисты» немного раньше сидели с папой в одной зоне, он был тогда десятилетний пацан, потерявшийся при эвакуации. Короче, они остались приятелями и иногда приходили почифирить.

Нет, в бандиты папа не пошёл, хотя мог. Бомбу в завуча – бросал, было, и даже попал. Только она не взорвалась, а завуча посадили за взятки. То есть, в каком-то смысле, – взорвалась.

Мы были приличные дети, мы не бросались бомбами. Они были свободнее нас, они себе позволяли.

Мирон жил в Симферополе. Он был похож на Котовского, но без лошади. И если рядом, в трамвае кто-то начинал мусолить слово «жид», он аккуратно становился оратору на ногу, всем весом. И без интереса разглядывал окно...

Когда папины сокамерники пришли «поговорить за жизнь», двухметровый бандит, по кличке Манюня, спросил:

– Лёник, тут люди просят пришить одного бухгалтера, так у него фамилия – Меламед. Он тебе, часом, не родственник?

– Ребята, это же мой батя... – ответил он.

И деда не тронули. Его даже оберегали, хотя он об этом не знал.

Как-то дед сидел со своим товарищем на кухне до утра. Товарищ был министром чёрной металлургии, наутро его забрали. Его жену страшно пытали – у кого был министр в ночь перед арестом? Это было так важно, узнать, спасти государство, но она ничего не сказала, ни полслова. Поэтому выжили и дед, и папа, и смогла родиться я.

Поэтому я живу в Иерусалиме, и гены вскипают в моей крови. Иногда я кажусь себе цыганкой, хотя соблюдаю субботу, – ночные костры, песни, дороги... Я гадаю – на прошлое. Будущее и так случится.

ДЖАЗ В СТИЛЕ ИДИШ*

Соло для еврея с оркестром

Мне приснилась музыка: я шел во тьме, и песок сыпался из моих карманов...

Вдруг я услышал мотив. Он был такой теплый, такой родной, что я бросился сломя голову ему навстречу! Вот он уже близко, и музыка заливает небо и землю...

* Фантазия по мотивам Хэломских притч, «Одесских рассказов» И. Бабеля и подлинной житейской истории. Исполняется под гитару.

...Я проснулся – а музыка продолжалась. Звук шел из папиной комнаты, я осторожно подкрался и заглянул. Папа стоял у рояля и пел. И как! Будто ему подпевали звёзды! Джаз тополиного пуха и сладкого субботнего вина...

Но вот – увидел меня, смутился и закрыл крышку рояля. Быстро собрался и ушел на работу.

Весь день этот мотив не давал мне покоя, и вечером я не выдержал, пошел к отцу на работу – он играет в оркестре – послушать музыку. И спросить – что это была за песня.

Оркестр шел по улице и играл Шопена.

Похороны с оркестром – это что-то особенное, сказал отец. Каждый покойник требует подходящего сопровождения, можно играть всю жизнь... Так в Германии это делают под Бетховена, а в России – Шопен, только Шопен. Может быть, где-то в Америке (говорят, есть такая страна – Америка), может быть, там играют джаз? У каждого свой мотив жизни, и он ведёт судьбу за собой.

Ты не узнал мотив? Это местечко. Там живут маленькие люди, бедные евреи на подножном корму. Трудно сказать, чем они кормятся, но этой жизнью они сыты по горло. А потому – смеются! И чего они смеются?! Если их спросить – они ответят. Они скажут: «Тебе плохо, да? Тебе очень плохо. Так вот, когда плохо, нужно найти сухой мерзлый конский гимник 'и долго-долго его жевать. Пока не станет хорошо...»

Короче говоря, умные там поголовно все. Просто невозможно выйти на улицу, чтобы не напороться на мудреца. Или в лавку зайти... Обязательно какой умник стоит, сидит или прохаживается. Бежишь домой, закрываешь дверь, окна, запираешься, – кого ты видишь в зеркале?... А вы – кого?..

Каждый из нас твердо знает, кто здесь самый умный! Ну почему?... Почему мы с вами такие умные?..

...Говорят, четыреста лет назад назначил Господь одного ангела-порученца для серьезного дела. Дал ему два мешка, один – с умными душами, другой – с глупыми, чтобы засеял он землю умниками и дураками (именно этого нам тогда не хватало!).

И вот летит ангел, рассыпает души горстями. Горсть – над Францией (и изобретут там авангард, и начнут жарить лягушек на медленном огне), горсть – над Америкой (а там откроют демократию и доктора Спока), над Норвегией, над Японией, над Курилами, над пингвинами!

И вдруг он видит Польшу. А в Польше – гору, красоты необычайной. Он летит и не может оторвать глаз от этой горы!

...Конечно, он споткнулся и, конечно, выронил мешок. Рассыпал все умные души. Которые росли, и выросли, и построили чудный город Хэлом. Это Хэлом сидит у нас в крови и, не переставая, поет. Что-то такое на идиш...

Говорят, как-то в Хэломе исчез ребе. Его не видели с утра.

Что творилось в Хэломе! Ребе нет дома, ребе нет на улице, ребе нет в суде, ребе нет нигде!.. Люди его ищут и все время разго-

варивают, потому что, если молчать, – то из души не будет выдыхаться воздух...

– Вы не видели ребе?..

– А вы не видели ребе?..

– Кто-нибудь здесь видел ребе?! Вот так всегда – как мне его нужно, так он пропал!

– Говорят, он пошел в лес...

– Ой, ну что ему делать в лесу! Он любит сидеть дома, читать...

– А что обозначает это слово – «цурес»? Вот я думаю, что это все от древних греков...

– Ну причем здесь греки?! Ты слышал – ребе пошел в лес, в самую чащу. И заблудился!

Пошли искать его в лес.

– Я не понимаю, что можно делать в лесу на таком холоде!

– Как что? Думать! Ты понимаешь, человек любит думать на свежем воздухе.

– Какой-то странный запах у этого свежего воздуха...

Пошли на запах и нашли сугроб, из которого валил дым.

– Станный запах. Как будто большой и старый медведь сидит и курит «Приму»...

Вдруг из сугроба раздался человеческий голос:

– *Случилось великое чудо! В сугробе стоит самовар – и кипит!*

Из сугроба выглядывали какие-то ноги...

– Мне сдается, что это носки ребе! Тот самый цвет...

– Надо его вытащить, это очень вредно – сидеть на морозе.

Давай, три-четыре...

– Как он изменился!..

– Минуточку. А где его голова?

– Какая голова? Я с ним знаком уже двадцать лет – никогда у него не было головы!

– Ну конечно! А чем же он ест?..

Пошли спросить у ребиной жены, она оказалась дома:

– Янкеле, Мойше, Сема, Ицик! Быстро домой!

– Минуточку...

– Эля, Абрам, Шлема! Обед стынет!

– Извините... Скажите, уважаемая, у вашего мужа есть голова или – нет?

– Вус?!

– Он пошел в лес, и от него остались одни ноги...

– Послушайте, морочьте голову своей жене, или собаке, или корове...

– Так на этих ногах были носки от ребе! Зелёного цвета!

– Так я что, вдова?.. Ой, ребойно шелойлам! Ой, что же мне теперь делать!

– Ну, не надо так убиваться, может, это был еще не он...

– А кто же тогда?..

– Говорите! Была у вашего мужа голова, или нет? Скажем, за завтраком...

– Аз ох ун вэй... Его рыжая борода качалась над супом...

– А голова?..

– Послушайте, за моим столом сидят девять ртов. По-моему, они все здесь.

– Значит, так – быстро считаем всех до девяти. Один, два, три... девять...

– ...Хорошо, допустим, что ребе здесь, допустим. Но кто же тогда был в лесу?!

...В лесу одни деревья – желтые, красные... Это парк, мы с папой идем домой, мы все время идем домой. Папа говорит, потому что если молчать... Этот мотивчик, Хэлом, запах весны посреди сугроба бродит у нас в крови!

В начале двадцатого века на Украине, в городе Одесса, все гои понимали идиш... Ты понимаешь идиш?.. Вот и я – нет. Мой папа хотел, чтобы я говорил красиво – по-русски...

Пришел еврейский мальчик, который хорошо знал идиш, и весь город изменился в лице. Как его звали, мальчика?.. Бенья, Бенья... Бенья Крик!

Ему было двадцать пять лет, солнце и море качали его на своих руках. Пора было встать и разобраться с этой жизнью.

Бенья пошёл к господину Эфраиму, главе городского комитета взломщиков.

– Я – не Пизанская башня, – сказал Бенья, – но я мог бы ее под-
держать...

И было собрание. И сказал Эфраим:

– Один фрайер хочет поступить до нас в контору.

– А люди его знают?..

– Люди знают, что его зовут Бенья.

– А что у него есть под шляпой, у этого Бени?..

– Рот, нос и пара глаз.

– А об чем этот рот говорит?..

– О том, что не надо разбрасывать слова по воздуху, – сказал Бенья.

– Хорошо. Возьмешь шесть тысяч у Тартаковского, и можешь заходить у помещение.

Вся Одесса знала этот шкаф с деньгами и наглостью по фамилии Тартаковский, но Бенья не смутился. На другой день по Молдаванке шли похороны с оркестром. Шли и пришли.

Тартаковский вышел на шум.

– Кого хоронят?

– Оно вам надо? Господина Рувима Тартаковского.

– Меня?!.. Очень убедительно, спасибо. Ну, покажите...

Тартаковский попытался открыть гроб, и совершенно случайно именно сейчас начался погром. Улица задрожала от битых стёкол и крика.

Тартаковский упал в обморок, и Бенья осторожно положил его в гроб (куда же ещё?..). Затем поднял руку и начал петь. Почему именно петь? Он знал, за какие струны держаться, этот Бенья.

Дивлюсь я на небо та й думку гадаю...

Голосом его Бог не обидел, а песню знали все. Внезапно стало тихо. Это пели и на свадьбах, и на похоронах, и всегда очень плакали...

...Чому я не сокіл, чому ж не літаю...

Постепенно погромщики стали присоединяться к Бене и петь с ним хором, роняя тусклую слезу в драные бороды.

Чому ж мені, Боже, ти крила-а-а не да-а-ав...

В эту минуту Тартаковский очнулся.

– Где я?

– Вей из мир! – завопили погромщики. – Покойник встал из гроба!!

И – бегом с этого проклятого места, где мертвые возвращаются к жизни!.. У Бени оставалось еще одно дело.

– Господин Тартаковский! Похороны с оркестром стоят шесть тысяч рублей, можно долларами за те же деньги.

– Да, но без покойника?

– Да, но что это меняет... И поспешите: вечная жизнь будет стоить дороже.

Он заплатил! И Беня, конечно, король. Но! Почему сегодня стало так трудно понимать идиш?..

Однажды Хелом вернулся – в Бессарабии, в сороковые годы. Местечко, еврейская семья: мама, папа, семеро сыновей. Одним из них был мой отец. Эти дети уже не умели читать Тору. Они говорили с Богом на своём языке – играли джаз.

Мойше – саксофон, Эля – контрабас, Янкеле – банджо (когда играл, всегда думал о чем-то другом, может быть, именно это называют – джаз?..), Сема – труба, Ицик – ударные, Шлема – аккордеон, почти рояль (такой элегантный, как лорд Байрон на лошади!), и мой отец Абрам – гитара. Он даже знал ноты, и называли его подходяще – Маэстро...

– Ицик, ты можешь посчитать до четырех?! Нет?! Так возьми три, и прибавь еще один: раз, два, три... девять...

И можно играть всю жизнь, всю жизнь! Но!

В сороковом пришли Советы. Стало нельзя играть джаз. Забрали маму в Сибирь – она завернула селедку в газету со статьей Сталина, она не умела читать по-русски. Ее забрали, чтоб научить (Сибирь большая, там много учителей русского...).

Стало нельзя говорить на идиш, потому что нет такого народа – еврейский, нет! Видел его кто-нибудь?.. Еврейский наро-од!.. Ау у!.. Еще немного – и нашли, в сорок первом, немцы. А гуте шабэс...

Нашли еврейский народ и стали о нем заботиться. Даже у нас в местечке взяли целый дом и отдали его евреям, чтоб им было хорошо, чтобы были уже, наконец, вместе. И каждый день брали из гетто людей и посылали их прямо в небо. Дорога к Господу сократилась...

Тогда рабену Давид, был там один такой, – так он сказал:

– Может быть, хватит?.. Может, нам устроить восстание?..

Евреи подумали и решили: «Может».

Выкрали оружие у немцев (воровать винтовки, сидя в гетто, – уже неплохо, и они это сделали!). Чего не хватало, – починили своими руками, в свободное время...

И настал день, когда рабену Давид сказал «Шма, Исраэль». Все взяли в руки оружие, и тут братья-музыканты достали из тайника свои инструменты. Подстроили банджо и сказали, что мы будем играть джаз, а то мы давно не играли... Мы устроим такое форте, что не будет слышно стрельбы!..

– Дети, – сказал ребе, – вы сумасшедшие!

Тогда вступил Ицик:

– Не волнуйтесь, ребе! Мы еще ни разу не завалили концерт. Максимум – выкрутимся!

Шлема добавил:

– Я не понимаю, чего мы ждем. У меня мало времени, я еще собираюсь в Филадельфию. Вечером...

И сказал ребе:

– Авраам! Зай а менш! Возьми ружье! В вас же будут стрелять!!

Отец взял винтовку. Скомандовал:

– Раз, два, три, четыре... Маэстро, туш!..

Открыли огонь, и сразу ударил джаз... Немцы не поняли, что творится – музыка, шум, крики, а они падают!

– Мойше, ты видишь?!.. Эти люди не умеют слушать лёгкий джаз! Смотри, они уходят из зала!.. Мойше!..

Выломали дверь барака, побежали к воротам, а ансамбль полез на крышу со своей трубой и саксофоном... Им кричат – ненормальные, слезайте, убьют! А они – ничего, у нас Абрам с ружьём! Пускай, говорят, публика услышит хороший звук!..

Местечко такое маленькое, что музыку так слышно везде. И видно... И непонятно, куда раньше стрелять – по воротам или на крышу. К тому же за крышей рядом забор... И напоследок, уже двигаясь к забору, братья заиграли псалом Давида. Немцам показалось, что музыка обрушилась на них с неба...

...Восставшие победили. В середине войны. В глубоком тылу. Что значит победили, – они сбежали из гетто в ближайший лес... И счастье, что погибло совсем немного народа. Если точно – шестеро.

Отец остался жив, он успел выбраться. Они уже все готовились прыгать, но остальные не долетели – саксофон, труба, контрабас, банджо, барабан и аккордеон.

Больше отец не играл джаз. Лишь временами, когда приходили настроить рояль, он садился потрогать клавиши.

И он слышал, слышал – вот вступают ударные и саксофон, остальные и, как всегда, выясняют отношения:

– Мойше! Это ля минор или где?!

– Ой, можно подумать...

– Вас там что, не кормят?..

– Или! Такой цимес – ангелы не выдерживают...

СУМАСШЕДШАЯ КВАРТИРА

*То музыка играет,
то память держит за рукав,
то свищет забытьё.*

А. Дов, «Прогулка по Алленби»

- Ну, что у нас плохого?
- Бобчик, ты же видишь – песни под гитару.
- Сочувствую.

Ну что это такое... ведь Боб ко мне пришёл! Выгнать бы их всех, хотя бы на кухню. Выгонишь их, как же...

Боб – скрипач, небольшой, ладный, блеснит очками и помахивает бородкой.

– Работать, работать! Нет, сначала – ужинать. Здесь кто-нибудь ел?

Дом заёрзал и проглотил слюну. Все сползаются на кухню, пока Боб готовит ужин, приплясывает и поучает.

– Смотрите, дети, это – мясо, его едят, прекрати хихикать, люди и собаки. Да, а что Клёма? Или кто-то уже бросил курить?

– Ну, вы скажете... Да, у нас радость: в доме родилась штрафная банка!

Банка подробно рассматривается. Там наглый текст:

** Курение – штраф 15 шек.*

** Выпасть из окна – 40 шек.*

** Наезды на ближних – 50 шек.*

– И что, ему понравилось?

– Ещё бы. Обещал не вопить и попросил выключать бойлер. Чтобы не было пожара...

А – вот и он, наш некурящий друг, сосед и «мужчина в доме», Клёма (сокращённо от «клемма»).

– Ну, что у нас плохого? Боб, ты опять их кормишь? Смотри, может, готовить научатся...

– Нет, какая наглость! – Галка раздувается, как кобра. – Этот человек забыл, как я его кормила!

– А как ты меня кормила? И где сырники?

– Славочка, деточка, люди сырников не едят!

– Подумаешь, неедяки...

Клёма (в хорошую минуту – Славка) сбежал из киббуца, не вынеся радостей свободного коллектива. А я болталась между небом и землёй Израиля в поисках комнаты. Мы сняли квартиру, огромную, как аэродром, в районе старой автостанции. Прежний жилец оставил гору одежды и продукты в холодильнике. Ему больше ничего не было нужно: он умер. Его дети оставили вещи лежать аккуратными стопками на грязном ковровом полу и выключили холодильник. Месяц квартира жила сама по себе.

В первый же вечер мы занялись вещами. Мусорка стояла точно под нашими окнами. Обрывки чужой жизни выпархивали с

балкона и падали. Не все, правда, точно в мусорку. Убирать под окнами мы не стали и правильно сделали: к ночи приехали серьезные люди на машинах и загрузили багажник.

Я поменяла мезузу на входной двери. Не очень понимая, зачем, просто знала: свой дом – своя мезуза. Мы вымыли квартиру, особенно холодильник. Иначе, чем подвигом, это не назовёшь: холодильник врос в пол и обдавал вонью кухонный угол.

Это усилие нас истощило. Где-то с месяц каждый расслабленно обживал свою комнату, обморочно выползая в длинный коридор за бытовыми подробностями.

За окном синел неоновый отблеск, заливая лучами потолок новой жизни. Дрожание воздуха притягивало ветер. Такое впечатление, что норд-вест (или как его там) пролетал сквозь мою комнату старинным индийским (ближневосточным) путём.

...У Клёмы золотые руки, и эти руки не дают ему покоя. Когда он починил свою территорию, он перешёл на мою. Честно говоря, я не умею просить о помощи, и почему бы самой не заткнуть дыру в окошке? Но нет. Оказывается, у нас теперь есть «мужчина в доме», и «чтобы я прекратила нарушать», а то он нервничает.

Особенно замучил Славку мой обогреватель, у которого передняя стенка оторвалась навсегда. Славка орал, как больной бегемот. Он считал, что мы с обогревателем устроим пожар, особенно я. Он чувствовал, что, когда я молчу, возможны взрывы бытовых предметов. Когда обстановка накалилась так, что бойлер мог взорваться сам по себе, в доме стали оседать люди. Пришли бездомные друзья и защитили обогреватель.

Боб заходил отдохнуть. А заодно убедить меня, что профессия уличного музыканта не хуже любой другой. Я долго собиралась с отморозенным духом, и, наконец, решилась. В последний вечер перед началом трудовой деятельности я молчала, как утюг, вызывая у Славки подозрения насчёт взрыва обогревателя...

Утро. В Рамат-Гане тихие улочки шелестят ногами – люди идут на работу. Это что, вот так прямо и петь?!

– Да, вот так и петь. И старайся поменьше пауз.

Ставлю на пюпитр список – программу. И сборник каких-то нот – декорация, словом. Раскрытый футляр от гитары, и – шель для зачина. Поехали.

Песня скукоживается в моём горле, застревает утренняя сипом. А мы её – на подтексте. Старый дом, разбитая мусорка и свет в окошке, прямо напротив спальни. Он всегда горел, этот свет. «Может, пьют вино, может, так сидят...» – это поэзия притягивает жизнь, или жизнь рифмуется, как ей нравится?..

Воздух переливается волной между домами, «пока ещё ярок свет...».

Особенно ярок с утра и расплёскивается к полудню. Перекур. Хозяйка аптеки выносит мне чай и булочку, за труды, – новичкам везёт.

– Ну что, моя девочка, устала? – Боб, как хороший поезд, появляется точно по расписанию.

Идём к нему на дневной перекус. Ой, какой он дома правильный! Брюки в складочку. Деньги нужно считать вовремя. И воду – пить, пить, мы на Востоке, здесь жарко...

...Ещё три часа песен, уже привычнее, и люди останавливаются, и продавец напротив выдвигается из магазинчика – послушать. Это успех...

Через месяц я уже носилась между Алленби, Рамат-Ганом и старым Яффо, разгребая гитарой жаркий воздух. Улица меня приняла. Музыканты здоровались, тель-авивские бездельники зывали на чашечку кофе. «На работе не пью», – твёрдо отвечала я...

В старом Яффо народ рассаживался кружком, подставляя души родным мотивам. Бедные мои... Я не хочу ронять вчерашние слёзы, это сейчас цветут магнолии, и пахнет морем, но слушатели плачут, отходят воды... Человек рождается из памяти и надежды.

Олимы слушать слушают, но платить – ещё чего. А мимо проносятся грубые израильтяне, ухом не ведут, нагло бросая шекели в мой гитарный футляр.

...Синий вечерний свет, тёплый дом (когда не дует из дыры за телевизором), куча народу (шестеро), вечерний Боб укладывает скрипочку на стул. Вечерний трёп.

– Ну, что у нас плохого? Уже объявили Тель-Авив вольным городом?..

– Ты всё перепутал, это Стамбул... Народ, мы в Турции!

– Спасибо, что не в Туркмении...

– Пожалуйста. Хотя тебе бы понравилось – колючки, сколопендры, саксаулы...

– Не ругайся. А теперь спой что-нибудь хорошее... – Затаённое ехидство этой фразы всегда радует. Обычно она звучит сразу же после песни.

– Радость моя, пой, пока не удавили...

– Старые гримзы, отвалите! Боб, скажи им...

«Старые гримзы», каждой не больше двадцати пяти, делают вид, что смутились. Боб жизнерадостен. Он достаёт из футляра скрипочку, завернутую в платок, откашливается, настраивается на безалаберные наши души...

И вот он вышивает на скрипочке, и нет большего чуда на земле, чем этот «Чардаш» Монти! Синий отблеск мечется по потолку, ветер звенит под перепляс терций. Наш корабль неумоимо пробирается по тяжёлой воде, матросы танцуют на вантах, поднять паруса! Прямо руля! Чайки проносятся над нашими головами, уходя в зенит. Тель-Авив, холст, масло...

...Медленно-медленно проступает весна. Она просачивается лёгкими ветерками и опять прячется. Когда же? Когда кончится этот невыносимый дождь? В доме сыро, все простужены, надо

менять газовый баллон, платить по счетам, денег нет, в такой холод на улице не попоёшь... И всё-таки Боб рядом, мороженое в холодильнике. Февраль.

...Очередное утро было странным. Тонкий запах весенней свежести, небо под крышей... Или весна? Сердце подозрительно задрожало, в том числе голова. Окна раздвинули стены... что со мной, где крыша, где потолок?! Вдруг раздался звонок.

– Да?

– Привет. Это я. Я приехал.

Ты?... Никто никого не ждёт, конечно...

– Привет! Кажется, сегодня таки весна... Ты насовсем приехал?

– Насовсем.

В тот же день мы встретились. Весна распахивает крылья, дома разбегаются в стороны, караул, он же финиш, приехали...

Ты сидишь в кафе под тентом, встаёшь, подходишь, рубашка в клеточку...

– Ну, ты как?..

– А ты – как?..

...Ледяной ветер, мы брели по Москве, ты говорил без перерыва, ходячий джаз... твой голос заглушал шоссейные трели... Нет, не о любви, – ты вспоминал своего деда.

– А ты – как?...

Другой воздух, по нему летят слова, звучит похоже... Мне не хватает ледяного ветра? За этим дело не станет... Ты уезжаешь недалеко, в Хулон. А я отправляюсь работать.

...Рамат Ган, как обычно, идёт мимо, но петь не мешает. Мы наполняем музыкой улицы, мы убогие, нас держат земля и небо...

Вдруг раздался вопль:

– Ты уберёшься в свою вонючую Россию?!

Так не бывает. То есть – со мной такого не случается. Мне показалось.

– Куда?..

Он повторил и развил тему... Ребенку двенадцать лет, у него недержание свободы слова.

Я так растерялась, что молча спросила у неба: «Разве с нами так можно?... с юродивыми... людьми...»

В одну секунду, хотите – верьте, хотите – нет, возникла толпа израильтян. Одни взяли подростка в кольцо и стали объяснять ему, громко и внятно, как нужно себя вести; другие говорили мне: «не волнуйся... не бери к сердцу...»

Домой я вернулась пришибленная. Квартира молчала, друзья с перевёрнутыми лицами прятались по углам. Клёма сжал мне плечо:

– Ты, главное, не волнуйся. Боб заболел.

– Где он?

Боб лежит на матрасе и... икает. Раз в три секунды. Он весь сотрясается, пытается улыбнуться, и – опять.

– Знаешь, я ведь никогда не болею. Это же кость (стучит по голове) – чему тут болеть...

Час, другой, третий... Икота не прекращается. Мы всё пере-пробовали – задерживать дыхание, прыгать, пить воду... Всем страшно. Наутро едем в больницу. Знакомый врач сказал, что нужно колоть в нерв. И что ещё несколько дней, и сердце может не выдержать. В больнице отказываются колоть в нерв – это опасно. Колют успокаивающее. Боб засыпает на пару часов. Во сне не икает. Просыпается – и опять. На другой день едем к экстрасенсу. Боб как ребёнок – «А куда идти? А как мы домой вернёмся?»

Экстрасенс не помог. Сказал: «Ждите». Ждём. Вечерами старательно веселимся, изо всех сил, у кого они есть. Галка вытаскивает меня на лестницу покурить. Хорошо сидеть на ступеньках, главное – тихо. Каменный пол равнодушно отражает звуки:

– Не квартира, а икающий лес...

– Пора вешать объявление и брать плату за вход...

В разгар веселья приходит он – Он... Недоуменно оглядывается – зачем так много людей в одной квартире?.. Белый костюм, далёкий взгляд...

Боб агрессивно икает, курсируя между кухней и комнатой.

– А давайте жарить картошку! Народ любит жареную картошку! – умница Галка. Что бы я без неё делала...

– Народ любит с маслом, и чтобы крупно нарезать. – Боб отвлёкся, но это ненадолго.

– Вот так мы и живём...

– А ты что ему – нянька? Уже большой мальчик...

– Да, вот сейчас – нянька.

– Я позвоню?

– Попробуй...

...Уже пять дней длится «икающий лес». Ночью вылезаю на балкон и молюсь, как умею. Я кричу Ему: «что Тебе старый уличный музыкант! Он всю жизнь молился Тебе на своей скрипочке!.. помоги, помоги, у меня никого нет, кроме Тебя...»

На шестой день приехала жена Боба – отвезти его домой. Да, Боб у нас человек семейный, у них большой дом на территориях, это здесь – «улица для скрипки». Через пару дней позвонила тёща, благодарила, они там впятером чуть не слегли от ужаса... Назавтра икота прошла, как и не было.

...Наш корабль (я помню, он был, с белым парусом!) остановился, тихо превращаясь в лодки, плоты и брёвна. Вскоре все разъехались по городам и странам. Боб иногда звонил. Потом перестал.

Тамара Дубина
ОБРАТНЫЙ СЧЕТ

ХОЛОДНО – ЖАРКО

Кто-то в римского папу стрелял. Ну, стреляли, и ладно.
Нам хватает забот, и работа у нас – не игрушки.
Ну, конечно, мурашки по телу – судьба Попелюшки,
Только все это так далеко... И прохладно, прохладно.

Пусть безумцев пяток – нам-то что? – объявил голодовку.
Если муторно так, будто выпил не водки, а клею,
Прогуляйся в гараж. Как-то стало теплее...
Но грибки нынче так хороши – окунись в заготовку.

Чья нависла там тень? Недосуг, на работе запарка.
Что стряслось с телефоном? Где друг? Где Учитель?
Если тихо сидеть, нас минует, быть может. Молчите, молчите!
Горячей... Горячей... Вот уж в двери стучат... Вот и жарко.

1983 – 1984

ПОЕЗДКА НА ВОДЫ

Этот термин из прошлого века – поездка на воды –
Тронул клавиши памяти. Ожили гулкие своды.
От модистки картонки. Прислуга в запарке. Карета.
На прощанье экспромты в альбом. Да, мой друг, на все лето.

Нашей жизни реалии – хуже ли, лучше, – иные.
С профсоюзной курсовкой на Юг, получив отпускные.
Сборник Кушнера. Джинсы. И майка в полоску – веление моды.
Впереди – день и вечность блаженной купейной свободы.
Прочь от холода, быта, работы – единственной страсти;
Старый парк, и источник, и роз многоцветие – здравсье!

Но не так-то легко, видно, вырвать себя из привычного круга:
Дождь и ветер – за нами, и нету примет приближения Юга.
На стоянке всего-то кулечек клубники купили...
Может, в Харькове нам паровоз не с той стороны прицепили?

Выпит чай. Все исчерпаны темы – экономика, нравы, погода.
Ночь на стыках качает вагон и бормочет: на воды, на воды.
На воды, на воды, на воды...

1984

ЧИТАЯ ГОМЕРА

*...Что ему Гекуба,
Что он Гекубе, чтоб о ней рыдать?
Шекспир, «Гамлет»*

*Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
О. Мандельштам*

Январь. Ноль градусов. Туман ложится фоном
К рисунку веток тополя в моей оконной раме.
Как декорация к семейной мелодраме –
Ремонт, разор. Раздор. Отвлечься Илионом,
Гекзаметром.

Накапать двадцать капель. Перебои.
Забавно, про коня Троянского – ни слова.
Ахилл, он же Пелид... Обои как обои –
Растительный орнамент, светлая основа.

Свою обиду пестуя упрямо,
Ведь ты не прав, Ахилл, сменил бы гнев на милость.
Еще твой друг с тобой, но прянет сын Приама...
Вбегает Антилох – и что-то надломилось.

Гомер, остановись! Он так любил Патрокла!
Всему виной безумная гордыня!
Спасу! Паду к ногам – и помраченье схлынет! –
Сквозь толщу времени в тот день скатясь по строкам
Гекзаметра.

январь 1986

* * *

*Ю. и Т. Эдельштейнам, Ю. и И. Кошаровским,
В. Престину, А. Маркману, Л. Овсищеру,
Ф. и М. Соловейчикам, семье Гартов*

Что нового, мой друг отказник?
Уж сколько лет, как ты завис
В пространстве, где печаль и праздник
Зависят от отдела виз.
Как там у Даля, Ушакова –
Отказник или отказник?
Нет в словарях такого слова!
Горазд на выдумку язык.
Еще подвижно ударенье,
Потом устроится, Бог даст, –

Но точно схвачено явление
И жизни вывихнутый пласт.
Еще не сдернули завесу
С постыдных торжищ и интриг,
А Время – не Ставицкий – пьесу
Уж ставит, драму «Отказник».
В ней, музыкант или ученый,
Метешь упрямо переход,
Отринутый и отлученный,
Но – продолжающий Исход;
В ней судьбы рушатся;
и стены,
Безумец, прошибая лбом,
Бываешь сброшен с авансцены
В усталость, в смерть...
в казенный дом;
В ней – поединок вечный с ложью,
И затаил дыханье зал.

...Но даже те, кто в царской ложе,
Не знают, скоро ли финал.

1986 – 1987

ПРИЩЕПКИ ИЗ МОСКВЫ

Прошли тысячелетия, а воз и ныне там...
Мой критик пожурит меня за «ныне» –
Не любит архаизмы он. Так вот в чем корень драм:
Нам в Землю не войти, мы кружим по Пустыне.
Конечно, за века наметился прогресс,
Прилично обустроили Пустыню.
Захочешь есть ли, пить – ты в холодильник влез,
Со скидкой купленный. Стирается в машине
(Французская, «Кристалл») как раз сейчас белье.
С балкона дивный вид: холмы Ерусалима
В хамсинном мареве, и млеет лес Гило.
Все как бы наяву, но жизни нашей – мимо.

О, Главный Программист! Зачти мне год за три
Те десять лет подпольного иврита!
Нажала «enter». Пишет: «Не хитри.
Земля Обетованная закрыта».

Мы за грехи отцов в ответе? Или ленью
Своей проштрафилась? Притерлась, жили сыто...

Как жарко. Надо пить. И сбросить обольщенья,
И стопочкой сложить в разбитое корыто.
Да, кстати о корыте. Что-то я должна...
Забыла, что... Тупею, вечно в стрессе.
О чем я? Далека желанная Страна?
А, вспомнила – белье пойти развесить.
Прищепки из Москвы. Стал сизым виноград.
Резной краснеет лист и предвещает осень.
В Пустыне приобщений и утрат
Веду обратный счет. Осталось тридцать восемь.

Какой протуберанец «чуйства» – прошибет слезу!
Вот вечно у меня идет все сикось-накось:
Пытаюсь ироничной быть, а под конец сползу
(Или взлечу?), не удержавшись, в пафос.

Иерусалим, август 1991

* * *

О чем мы думаем, когда посуду моем?
Что нет давно письма, но дорого звонить;
Что чашки в трещинах, уж столько лет сервизу
(Давали в «Мелочах»), пора уже сменить.
А что, если поехать? Быстро сделать визу;
Он будет против, да; что пыли толстым слоем

Как Папка Красная, моя покрыта воля;
Что не решусь на бунт... А здорово: приду
Вдруг в Институт! Нет, правде не поверят.
Я хлестаковщины такой им напреду –
Про гранты, про конгресс. Что значит «метапелет»?
Замнем для ясности – так бы покойный Толя

Сказал... Мечтания пустые! Делай дело:
Пошли ей вызов срочно, денег на билет.
Ах, как мне выскочить из кокона рутины
И с Красной пыль стряхнуть? На завтра есть обед.
Вот, целый вечер – твой. Замочены гардины?
О, черт! Вот так всегда. За год не одолела

Ты томик Мозма! Чтоб устареть, как Мозм,
Не стоит, в сущности...
...Пока посуду моем.

Иерусалим, июль 1993

СИНДРОМ ГАНСА-ХРИСТИАНА АНДЕРСЕНА

«А сколько Вы в Стране? Вам кофе? Или чаю?
Ну, как Вам нравится?» – Тут я слегка зверею.
Но, как положено российскому еврею,
Вопросом на вопросы отвечаю.

Как вы относитесь к иронии Судьбы?
Кто нами водит, есть ли в Нем коварство?
Была ли счастлива Русалочка, – как думаете вы? –
Свой рыбий хвост, и все морское царство,
И даже самую возможность говорить
Отдав за две прелестных ножки,
Чтобы среди людей – и рядом с принцем – жить
На должности игрушки, вроде кошки?

Принц балует её, и гладит, и ласкает
(Какая шерстка нежная! И что за кроткий нрав!);
Но взять ее в постель?! – и мысль не возникает.
И где-то ведь он прав.

Твердит себе Русалочка: «Пусть ночью он – не мой,
Но днем руки коснусь – мне большего не надо!
Когда б не эта мука – вечно быть немой,
И если б не тоска по сестрам, по приволью,
И ноги... каждый шаг пронзает тело болью...
Да как я смею ныть?! Я рада, рада, рада!»

Танцуй, Русалочка! Гремит придворный бал.
Принц аплодирует тебе, с ним заодно принцесса.
Великий сказочник, и как ты угадал,
Каким чутьем – синдром эмигрантстресса?

«Так сколько Вы в Стране? Возьмите ананас!»
Сказать им, что ли, все? Начнутся споры, торги...
Язык мой воспален... и скуден слов запас...
«Ну, как Вам нравится?» – «Ах, что вы! Я в восторге!»

* * *

Ну, конечно же, мне это все только снится:
Западание пространства, и далее – крижи Моавы,
Исходящие ветром; гробница Пророка,
Различимая еле; изнутри освещенные нити
Облаков – или то пуповина Востока?
Не перегрызть, за века затвердела на славу;
Нестерпимая синь на ресницах...
Ущипните меня, ах, скорей ущипните!
Взгляд скользит, колокольня святого Андрея,
Белый кубик Музея;

На холме приземленно, но веско,
 Можно даже сказать – величаво,
 Четырехгранно расселось место,
 Где кроют и лицуют законы, –
 Неужели я все это вижу? Так просто, с балкона?
 Ущипните меня... Впрочем, нет, погодите!

* * *

...А из нашего окна
 Иордания видна,
 А из вашего окошка –
 только Сирия немножко.
 Из фольклора

Сегодня горы Иорданские видны.
 За дымкой, словно их завесили вуалью
 Тончайшей серо-желтой. Две больших сосны
 Перед окном растут для обрамленья вида.
 Суббота. Тишина. Укутав плечи шалью,
 Гляжу – не нагляжусь со смутною печалью,
 То ли обидой, комплексом вины...
 Вины – но перед кем? И на кого – обида?

Что мне до этих Иорданских гор,
 Где желтизна заходит в синь неувовимо,
 Как ум – за разум... наважденье, вздор...
 Зачем во мне тоскует Руфь-моавитянка?
 Пространство смещено, и время совместимо.
 Когда Моава кряж с холмов Ерусалима
 Приманивает взгляд, чей мнится мне укор –
 Ее прародины? Или моей Таганки?

Сегодня горы Иорданские видны.

январь 1998

* * *

С. Ч.

Проникающее излучение странных спотыкающихся строк
 Горестью отозвалось; был вечерний час.
 То ли обморочный размер, то ли в двери стучится рок,
 То ли кто-то кого-то мог спасти – и не спас.

На дороге горной кого клонило в смертный сон,
 Не пойму; вибрирует во мне наведенная боль.
 Ты музыкальнее меня на полтона, и не спеть в унисон.
 Какое непостижимое ля, – думает си-бемоль.

август 2000

Леонид Левинзон

ПРОЕКТ

Повесть

1

Она воткнула красный цветок в решётку, и он там жил странно долго – две недели. Обдуваемый горячим воздухом, без капли воды. А потом всё-таки рассыпался. Лев садился, заводил машину, ездил, опять ездил и не убирал сухие лепестки. А потом взял и убрал.

Над городом жёлтая, яростная луна в полнеба. И очень холодный ветер дует. Лев идёт, подняв воротник. Сутулый, длинный, качающийся. Мёрзнет. Поднял глаза – вывеска «Доктор Спектор». Подумал и поднялся наверх:

– ...Вам надо увеличить грудь. Ну, вы понимаете... Сделать её более мускулистой. С маленькими сосочками на обеих сторонах. И убрать живот. Да, живот. А вот руки придётся удлинить. Без этого никак. И только тогда, тогда, может быть, вы сможете... Хотя я, лично я всё равно сомневаюсь.

– А ступни? – робко спросил. – Мне кажется, проблема в ступнях, они у меня очень маленькие. Я неустойчив.

– Ну и ступни, – согласился доктор.

Встал и подошёл к окну. Открыл резким движением жалюзи: по тёмному фону неба плыли белые, как пух, облака. Жёлтые вытянутые фонари бросали вниз, на Яффо рассеянный свет. По улице группками шли раскрашенные люди, смеялись и садились в раскрашенные автобусы.

– Контрасты, всюду контрасты, – объявил доктор, – в Пурим это видно особенно, – посмотрел на часы, – сейчас я приглашу секретаршу, она вас проводит. У неё, – понизил голос, – изумительная фигура. Моя первая работа, между прочим. Рекомендую, очень рекомендую!

Позвонил в колокольчик.

Вошла нежная девушка с голым животом и в маске Кинг-Конга.

– Проводи господина, – сказал доктор, – возможно, он будет у нас лечиться.

Кинг-Конг улыбнулась, показав весь оскал.

Туфли застучали по плиткам: цок-цок. Лев вышел.

Прямо у дверей здания сидел нищий с сигарой. У ног нищего лежала раскрытая пилотка, в которой в отсвете ярко освещённого входа блестели три шекеля.

– Вчера так гульнули, – сказал сидящий по-родному, по-русски, – так гульнули, что у меня до сих пор голова трещит. Подай на опохмелку?

– Нету.

– Дай! Если дашь, скажу, что будет завтра.

– Ладно. Ну что?

– Новый начальник придёт.

– Подумаешь, новость... Вот если бы про любовь...

– Про любовь у гадалок спрашивай. А к доктору этому больше не ходи.

– Почему?

– Хитрец: удлинняя руки, он укорачивает ноги. Слушай, а может, давай ко мне в гости? Я тут недалеко, в гостинице обитаю...

– Не могу, – протянул Лев, – иду Пурим гулять, меня пригласили.

– Тогда напиши мне письмо? Появится свободная минутка – раз и написал.

– Зачем?

– Как зачем? Отвечу. Буквами.

– Напишу, – серьёзно сказал, – у тебя фломастера случайно не найдётся? Есть? Спасибо.

Нарисовал себе усы для праздника и пошёл к машине.

Пока ехал, начался дождь. Луну затянуло. Начались молнии и гром. В Пурим всегда так – холодно и опухшие, беременные тучи, ёжась перед уходом, проливают на землю всё, что осталось.

Приехал он к молодой женщине, которая по случаю праздника надела мужскую рубашку, штаны, а на голове у неё красовалась турецкая феска. Вместе с ней была компания. Мебели в комнате не было, все сидели на полу и на полу пили сионистское вино «Хеврон».

– Давайте, давайте сделаем что-нибудь интересное! – оживлённо говорила женщина. Говорила, волосы падали ей на глаза, она их всё убирала, убирала... – Устроим демонстрацию против уничтожения насекомых, митинг по защите прав естественного течения истории, что-нибудь!

Вдохнула, взяла гитару, начала страстно:

– *Что ты въёшься, чёрный во-орон, над моею головой...*

Раздался скрип двери, и из соседней комнаты вышла маленькая девочка в трусиках.

– Что такое? – прекратив петь, спросила мама.

– Я писать хочу.

– *Ничего-о ты не добьё-ошься, чёрный ворон, я не твоя..*

Выйдя из туалета, девочка подошла к взрослым и, помедлив мгновение, быстро взяла конфету из стоящей рядом со стаканами вазочки. Лев посадил её на колено, покачал.

– Лизонька, кем ты будешь, когда вырастешь?

– Богом, – ответила Лизонька.

Взрослые вокруг разом замолчали, потом кто-то неуверенно засмеялся, и другие рассмеялись за ним.

У Лизоньки были глаза, как у мамы, только заспанные, и серые, мелко заштопанные на боку трусики.

На следующий день встал раньше обычного и поехал на работу. Знакомое здание. Колкая проволока. Ворота медленно

открываются. У ворот маленький толстенный Борис Ефимыч с автоматом крепко стоит.

Лев сладко зевнул.

– Как дела, Борис Ефимыч?

– Наши дела в прокуратуре, – важно говорит Борис Ефимыч, – что тебя так рано принесло?

– Да просили одну штуку включить.

– Ну, заходи, когда включишь...

– Ладно.

– В армии я был каптёром, – позже, под кофе, благодушно рассказывает. – И был у меня начальником прапорщик по фамилии Белый. Очень евреев любил. Бывало, говорит мне: «Отчего у вас, у евреев, всё так по-жидовски аккуратно сделано, пригнано? Я вот бухну и думаю: "Ефимыч на месте, всё спокойно..."»

Под конец дня Льва вызвали. В комнате очень высокого начальства сидел заведующий лабораторией, кучерявый с лысинкой Шломо Раскин со своей блуждающей, лёгкой улыбкой, и рыжий, большой человек с тревожными глазами.

– Лев, – сказал Шломо, – мы даём вам новое задание. Это решение и Рауля, и Дана, – посмотрел на часы. Улыбнулся. Встал. – Знакомьтесь.

– Меня зовут Гордон. Гордон, – отрывисто произнёс человек, – мне рекомендовали ваши руки. Покажите их!

Лев недоумённо протянул руки ладонями вверх. Гордон уставился, и казалось, всосал в себя нехитрую картину лаборантской готовности.

– ...Да, это неплохо. Если б ещё чуть подлиннее... Ну ладно. На работу как добираться, перевозкой?

– Да.

– А машина есть?

– Есть.

– Будем использовать.

Откинулся на спинку кресла.

– Ты слышал что-нибудь о лямпириях?

– Нет.

– Что ж, начнём с чистой страницы.

Глаза его чуть успокоились, и он резко протянул руку для рукопожатия. Рука была шестипалая. Перехватив изумлённый взгляд, усмехнулся:

– Не обращай внимания, это так, ерунда – побочные явления одного проекта. Сейчас уже ничего такого.

– Сколько нас будет? – спросил Лев.

– Четверо. Я – руководитель, Владимир – химик из университета, он тоже русский, и ты – техник. Осталось ветеринара подобрать. С ветеринарами проблема – вечно они у меня умирают. Итак, коротко, лямпирии – паразиты кур. Я лучший в мире специалист по лямпириям, разработал вакцину, получив которую куры передают иммунитет по наследству. Патент защищён в Штатах, Японии, Германии. Наша задача: за короткий срок доработать препарат и наладить производство. Препарат я называю – «Контроль G».

Поднялся.

– Ты работу уже закончил?

– Да.

– Подбросить до города?

– Можно.

Они сели в «форд» и отъехали от фабрики. Шестипалые руки крепко держали руль, пел Маккарти, грела печка.

– Люблю шестидесятые, – сказал Гордон, – особое состояние души было тогда. А ты?

– И я, – подумав, ответил Лев. Взглянул на дорогу и закричал, – осторожно! Осторожно! Что он делает!! Тормози-и-и!!! О... о, Господи!

Под самым носом, на дороге, внезапно включив аварийную сигнализацию, с жалобным скрежетом остановился трепаный-перетрепанный «фиат», и быстрый мощный «форд» неотвратно на него надвигался. Лев закрыл лицо руками, но за несколько секунд до столкновения «форд» вдруг рывком поднялся в воздух и, перелетев через стоящую, выбросившую белый флаг, машину, тяжело бухнулся на колёса.

Льва бросило вперёд, но ремень задержал. Ещё некоторое время он сидел в полуобморочном состоянии, а потом огляделся: все были живы, шестипалые руки крепко держали руль, пел Маккарти, грела печка.

– Что это? – спросил потерянно, – что это было?

– Ничего, – кротко ответил Гордон.

– Но...

– Ты забываешь, – сказал Гордон, – я же учёный.

Совершенно потрясённый, Лев попросил:

– Остановите здесь... Спасибо.

Вышел и пошёл пешком.

В универмагах предлагали скидку на зимние вещи, светила ранняя луна, рядом бежала собака, в точности похожая на собаку, и звала на бегу.

Мир улыбался.

Чтобы успокоиться, Лев направился к своей нежной подружке-программисту. Программист жила в квартале Ир-Ганим, в длинном, как змея, доме, неловко поставленном одним боком на столбы. В брюхе змеи чернели отверстия подъездов. Лев обогнул погнутую коробку матнаса, около которого пацаны тренькали на гитаре, и стал подниматься по ступенькам к дому. И вдруг упал. Упал и больно стукнулся локтем. Ошарашенно поднялся, сделал шаг и упал опять. Разозлился, бросился вперёд, нога неловко подвернулась и он, замахав руками, растянулся на всю спину назад, каким-то чудом не поранив голову.

– Во дядька напился! – сказал с акцентом один из пацанов.

Лев вскочил. Выругался. И стал очень осторожно подниматься по тем же ступенькам.

Пока не упал снова.

Через некоторое время он, задумчиво, держась за локоть и сложив ноги по-турецки, сидел на разошедшемся тротуаре. Себя было очень жаль. Сверху открыли тёплое, светлое окно и оттуда

легко пела женщина. Он прямо-таки видел воочию, как она поёт, красиво округляя рот.

– Не жалею, не зову, не плачу... Всё пройдёт, как с белых яблонь дым. Увядания золотом охваченный...

Мир улыбался.

Лев встал и, будто на ходулях переставляя осторожные ноги, пошёл домой. Ощущение неудовлетворённого желания постепенно исчезло и вокруг стало очень тихо.

– Странное дело весна, – подумал, – вообще, странное дело...

Начался дождь, и началась, такая сонными часами, ночь.

День наступил в одно включение.

– Ты не имеешь никаких прав, – сказал Гордон, обращаясь к Владимиру. – Тебя официально не существует. Существоваю только я. Всё, сделанное тобой, принадлежит мне.

– Интересно, а деньги я имею право получать? – спросил мрачный Владимир. Чёрная шевелюра его стояла дыбом. – Большое спасибо, большое спасибо, такая радость...

Они сидели в тесной биохимической лаборатории Иерусалимского университета, и окна этой лаборатории выходили на глухую, бесконечную крышу, из которой вразнобой торчали трубы. Между трубами висело белье и ходил толстенький, короткий человек в рабочем комбинезоне.

Лев отвёл взгляд от окна – лицо Владимира дёргалось. Наконец химик взял себя в руки.

– Итак, вы хотите удешевить производство своего препарата. Всё известно, всё разработано, всего лишь удешевить. Сколько у нас есть времени?

– Год. – Гордон встал. – Мне пора. Ветеринара я так и не нашёл, – сказал Льву, – поэтому все опыты будем делать вместе. После обеда встречаемся в мошаве.

Он уехал, и Лев с Владимиром пошли в университетскую столовую.

По обеим сторонам уютной дороги росли кусты, каждому из которых была придана форма какого-то животного. Под последним из них спала кошка, напоминавшая Хемингуэя.

– Не знаю, не знаю, – задумчиво сказал Владимир, – от лабораторных опытов, даже проведённых успешно, до удачных полевых испытаний расстояние огромно. Я чувствую, этот муляж провалится и мы вместе с ним.

– А я верю, – неожиданно для себя ответил Лев.

Навстречу им шёл человек с синими глазами и ел яблоко.

Синие глаза посмотрели с любопытством.

– А это наш лаборант, – поспешил Владимир, – Гордон привёл. Очень, знаете, большой специалист в биологии, биохимии...

Мошав Олеш находился в километре от арабского города Туль-Карем. «Фиатик» Льва шёл в сплошном потоке машин с зелёными номерами и перед самым городом нырнул по указателю влево.

Узкая дорога петляла среди пропылённых кустарников, потом неременная будка со шлагбаумом, и появились дома.

Искомый курятник принадлежал Йоси Тагору, чей дом Лев нашёл на окраине. Сам Йоси, старик с опухшим лицом и молодыми, загорелыми руками, сидел в кресле под тутовым деревом.

– Встречаются две проститутки, и одна другой говорит..., – весело подмигнув, неожиданно начал.

– Папа! – здоровенный мужик с волосатой грудью в прорези тренировочного костюма вышел из дома.

– Восемьдесят лет, – сказал он приезжему, – восемьдесят лет мой отец был пессимистом, а на восемьдесят первом вдруг стал оптимистом и принялся рассказывать анекдоты, да такие, что внуки смеются.

– Мне бы курятник найти...

– Я провожу.

Гордон уже ждал. Стоял около распахнутой двери, откуда доносился клёкот. Лев натянул комбинезон и вошёл внутрь. Мгновенно наступила тишина, такое было впечатление, что его рассматривают. Только у самого потолка, покачиваясь от самодостаточности, на коротком приводе крутился вентилятор и зло бил лопастями воздух.

– Ладно... Начинаем.

Гордон открыл сумку-холодильник и вытащил пробирки.

Работали они два часа, не прерываясь. Когда, наконец, вышли, в лицо шарахнуло жёлтой пылью.

– Опять хамсин!

– Снега захотелось?

– А хотя бы и так.

– Хорошо, – сказал начальник серьёзно, – будет тебе снег.

– Куры какие-то необычные, – пропустил обещание мимо ушей Лев. – Странные. Почему куры странные?

Обратно он ехал уже в темноте, включив от нечего делать разглагольствования рава Шмулевича.

– Настанет время, – говорил рав, – и температура на земле поднимется до тысячи пятисот градусов, и все не верящие в бога евреи лопнут от жары со звуком бз-з-з, а их богобоязненные соседи как жили, так и будут жить. «Что это за звук такой? – будут они спрашивать друг у друга и пожимать плечами: бз-з-з, бз-з-з...»

– Бз-з-з, – сказал Лев.

При приближении к Иерусалиму жара немного отступила, в серебристом освещении луны машина мчалась вперёд. Впереди машины, прочерченные редкими птицами, быстро летело небо.

2

Этой ночью ему снились сны. Он просыпался и забывал их. Потом опять засыпал и опять просыпался. Наконец, с чувством, что его обокрали, встал окончательно.

Серел рассвет, варилось кофе, курилась сигарета. В близком зоопарке рычал тигр.

– Где твои родители? – спросил Гордон.

- Я один приехал.
- Почему?
- Так...
- А кто у тебя отец?
- Генерал.
- Что-что?
- Генерал.

Гордон помолчал, подумал, спросил опять:

- Ты до сих пор не женат?
- Это к делу не относится.

– Конечно. Вот скажи, меркаптоэтанол в малых концентрациях рвёт дисульфидные связи или укрепляет? Ну ладно, ладно, пошли...

Над Масличной горой парит ястреб. Под ним ешива, церкви, садик небольшой, больница, село арабское, университет мормонов с роялем на сцене. Раньше ещё скульптура стояла: три огромных железных столба, олицетворяющих три религии, но её кто-то убрал. Упрямая птица летает. И тут начинается сильный ветер. Песком сыплет.

– Чёрт знает что, – с раздражением говорит Гордон на ходу, – только я собираюсь в курятник – начинается ветер.

Длинные ряды клеток, заботливо приготовленный корм, вода, и, как всегда, мгновенно наступающее молчание при виде людей. Этот курятник принадлежит фабрике, и часть его теперь безраздельно управляется Львом.

– Значит так, сегодня заражаем, – решает Гордон.

– Тогда подсчёт в шабат...

– А ты в шабат не работаешь?

– Работаю.

– Правильно, у нас полезное дело, – смеётся, – бог нам простит.

На обратной дороге они сталкиваются с большим начальником Раулем. Он стоит у административного здания, около которого высажены цветочки и растёт вечно сонная вихрастая пальма.

– Ну, – растягивает рот, встречая подчинённых, – когда товар будет? Я деньги плачу, – края губ загибаются в улыбку.

– Продвигаемся. Всё нормально. – Гордон также широко улыбается.

– Так я и поверю, – шутит, и до сотрудников доносится неожиданное мурлыканье.

Звуки vyplывают за его удаляющуюся спину и нехотя лопаются в воздухе.

Гордон провожает Рауля взглядом:

– Они очень надеются на наш проект.

– Почему?

– Десять лет сидят на одном и том же, а без нового препарата их просто выплюнут с рынка. Ладно. Ну, с заражением, я надеюсь, ты справишься? Я помощника выбил.

– Если с помощником, то справлюсь.

Гордон прощается и уезжает, а Лев перед работой копит силы в будке у закипающего чайника. Рядом с ним в полном боевом сна-

ряжении Борис Ефимыч – через зарешёченное окно смотрит, как машины едут в Рамаллу. Хлопнул себя по выпуклому животику, повернулся и вздыхает:

– Рубашечку узенькую выдали. Ну что поделаешь...

Через полчаса борьба с вырывающимися курами.

– Быстрей, быстрей, – подгоняет тщедушного румына в золотых очках.

Тот торопится и роняет кур. Получив передышку, не зная иврита, но желая общаться, он показывает на небо, где молодая луна задумчиво смотрит вниз.

– Дали..., – говорит, – Дали...

Лев встаёт с ящика:

– Работа, работа, – и обводит рукой клетки, – пора.

– Когда-то я был гинекологом и служил на подводной лодке... – мечтательно произнёс знакомый нищий.

– Вы! Гинекологом! На подводной лодке!

– А что? И такое было. Не веришь? А зря. Всё было хорошо, пока не занялся русской литературой. Так вот. Был у нас там замечательный боцман. Бывало, выстроит матросов и говорит:

– Вы, – говорит, – извиняюсь за выражение, оболтусы и вам до пизды честь лодки... – Вот она жизнь. Живое... А теперь ответь, какой у тебя любимый писатель?

– Да как-то...

– Достоевский – неплохой, скажу тебе... сильный мужик, уважаю, – нищий постучал сигарой по краю бокала – «Карлсберг» светился в заходящем солнце.

– Нет возражений, – пожал плечами Лев.

– А про секс ни слова.

– Не будем об этом, – быстро сказал.

– Ты погоди, погоди, ты что, меня затыкаешь? Ты меня не уважаешь?

– Уважаю.

– Вот... А почему? Скажи, ведь я человек уникальный, правда?

– Правда.

– А теперь копнём глубже: кто тебе зарплату выдаёт?

– Фабрика.

Нищий подбоченился:

– А мне зарплату выдаёт народ! Не лодка там, фабрика... – по-звал, – девушка, ещё пива!

– Смотри, разоришься...

– А... – он откинулся назад и вытянул ноги. Закинул руки за голову, – я перед прошлым Йом Кипуром столько заработал, что могу весь год жить безбедно, – вытянул губы дудочкой и так нежно-нежно начал:

– *Родина моя Белоруссия, песни партизан, сосны да туман...*

И наступил шабат блаженнейший. Солнце палит. Половина кур погибла, другая половина, худая и бледная, недоуменно смотрит, как двое людей, одетые как космонавты, выгребают из-под них отходы жизнедеятельности.

– Не перепутай, – кричит Гордон, – здесь мы вводили одну дозу, а рядом справа другую.

– Вижу, вижу, у меня всё отмечено.

– Тащим...

Оба впрягаются и мимо изумлённого Бориса Ефимыча тянут тележки с дерьмом в лабораторию.

Чуть позже Гордон уже настраивает микроскоп.

– Но почему такая смертность? – бормочет. – Готов записывать?

– Да.

– Номер 15 – десять тысяч лямпирей, номер 16 – пятнадцать тысяч, номер 17 – две тысячи...

Проходит час. Монотонный голос продолжает:

– 50 тысяч, 30 тысяч, 100 тысяч...

Ещё час: отвалился. Глаза красные, щурится...

– Где листок с результатами? Соединил по группам?

Берёт и мрачнеет:

– Ничего не понимаю!

– Что?

– Не получилось! Ничего не понимаю... Балаган!

Смотрит:

– Как же это может быть?

Встаёт. Ходит. Поворачивается:

– Твоё мнение?

– Не знаю, – растерянно тянет Лев, – очень странно, ведь был иммунитет.

– Но куры заразились! Ч-чёрт! Это первый опыт на местном материале. Если так пойдёт дальше... – Гордон с ожесточением содрал с себя комбинезон.

– Может, заразим вторую партию?

– Подожди. Надо подумать. Биология всё-таки не химия... Это то, что я всё время Раулю пытаюсь доказать. Что там, когда складываешь «А» и «Б», всё время выйдет «С». А в биологии слишком много факторов. – Смотрит на свои руки. – Слишком много факторов...

Когда, наконец, они оба выходят из лаборатории, уже очень поздно: Борис Ефимыч сменился, в небе звёзды и задумчивая луна.

Лев доезжает до автостанции с её шумом и наглыми толстыми автобусами и бежит покупать себе булку с кошерной колбасой. В очереди его дёргают за рукав. Оборачивается – рядом девочка. Неуловимо знакомая.

– Дядя, ты хороший человек? – спрашивает девочка.

– Да, – улыбается Лев.

– Тогда купи мне мороженое...

Лев покупает мороженое, булку и отдаёт мороженое девочке. Чуть позже он идёт по переходу к машине, а сверху, удобно устроившись, маленькая луна ест мороженое.

Б-3-3-3 – звонок в 12 часов ночи: Гордон.

– Я тебя не разбудил?

– Нет, – полусонно.

– Знаешь, я всё понял – это из-за недостаточной очистки препарата. Помнишь, были проблемы? Так вот, мы повторим опыт...

Ждёт мгновение и прощается:

– Спокойной ночи...

– Спокойной ночи.

– Эй, мужик, купи «Мерседес»!

Мужик с удивлением остановился.

– Но у меня уже есть «Фиат».

– Тогда купи цепочку. Двадцать шекелей, – марокканец с лихорадочным блеском в глазах заступил дорогу.

– Нет, не надо.

– Все русские – говно, – сообщил тогда марокканец и скрылся в ближайшей подворотне: Лев гулял по Тель-Авиву.

Гулял-гулял, гулял-гулял, и пошёл в публичный дом. Ну, действительно, куда ещё может пойти учёный после тяжёлой работы?

В «Массаже-87» под разноцветными лампочками сидели на диване три полураздетые женщины, а за столом, накрытым красным флагом, ещё одна, пожилая и полностью одетая. При этом полураздетая блондинка оживлённо говорила полураздетой брюнетке:

– Я в Харькове на дискотеке такое выдавала, такое выдавала...

– Да ну, – удивлялась захолустная брюнетка.

Лев осторожно кивнул одной из них и ушёл внутрь.

– Спой мне песенку, пожалуйста, – попросил он через пять минут, – это меня возбуждает.

– А ты ещё ко мне придёшь?

– Да.

И девушка-женщина запела:

– *Улеглась моя бывая рана, пьяный бред не гложет сердце мне. Синими цветами Тегерана я лечу их нынче в чайхане...*

Владимир: ноги по чужому образцу на столе. Руки за головой. Думает.

– Говоришь, защиты так и нет?

– Нет. Уже три опыта провалилось.

– Начальничек... И он хочет, чтобы я за копейки разработал другой путь получения его потрясающего, изумительного препарата? А заодно разобрался, почему не работает. Везде работал – в Англии, Франции, Америке, а на благословенной земле Израиля нет! Помнишь, как он говорил? – Мол, от тебя требуется лишь удешевить производство. Мол... Будто это легко!

Резкий звонок, химик снимает трубку:

– Да.

Молчит. Кладёт на рычаг.

– Все куры в Олеше умерли вчера вечером при заходящем солнце.

От Владимира Лев поехал через Старый город, его неожиданно потянуло туда. Оставил машину в Мамилле, поднялся к Яффским

воротам и пошёл, терпеливо проталкиваясь в толчее между магазинами. Пока не свернул в сторону храма Гроба Господня.

Внутри – сырой холод, неуловимо соединённый с духотой, пышные светильники над мраморным ложем при входе, и медленно, накатывая широкими волнами, гудит орган – служба. Голоса поют.

Невдалеке, сквозь решётку, закрывающую углубление в стене, женщина в цветастом платье ставит тонкие свечи. Крестится, кланяется, опять кланяется. На колени встала. Свечи горят, капают.

– Что здесь?

– Иерусалимская заступница. У неё глаза обычно закрыты, но иногда она их открывает.

Лев приблизился к иконе, вгляделся, но глаза ему не открылись.

– Каждому воздастся по вере его, – неожиданно выплонула женщина.

Лев попятился.

– Б-з-з-з, – подключился подоспевший рав Шмулевич, – б-з-з-з.

Лев ещё попятился.

Служба закончилась, люди встали с колен, сверху, с узенькой лестницы спустился органист.

– Закурить не найдётся?

Взял, спрятал в кулак и ушёл. А Лев побродил ещё и наткнулся на окошко, открывающее для обозрения блестящий в свете лампы знаменитый камень Лысой горы.

– Страшное место когда-то было, – подумал, – людей убивали.. В толстом стекле была щель, и туда бросали записки. Лев прочитал, перегнувшись и до предела вытянув шею, обнажённый текст одной из них – и вышел из храма.

– Боженька, – просили в записке, – милый Боженька, сделай так, чтобы внучка и муж мой непутёвый поверили в тебя.

Снаружи в начинающем синеть воздухе мирно так, тихо. Благодать разлитая. Трое полицейских стоят, один из них ест пиццу. Туристы с кинокамерой, туристы с гидом, туристы сами по себе... У стены, скрестив ноги, девушка сидит. Волосы тёмные, юная совсем.

– Который час? – подняла голову.

– Шесть.

Девушка вздохнула:

– Смотрите, сколько птиц...

– Каких птиц?

– Голуби. Голуби на крыше – символ вечности.

Легко поднялась.

– Можно вас кофе угостить? – спросил Лев с неожиданно забившимся сердцем.

Посмотрела искоса:

– Меня зовут Алиса. Кофе я не пью, а вот чай можно. Просто чай.

Они пошли, и рядом с ней он вдруг остро почувствовал свою всегдашнюю неуклюжесть.

– Вот, – сказал, чтоб только не молчать, – всегда так, хотел удивить чем-то умным и тут же забыл...

Улыбнулась и неожиданно встала около уходящих вниз ступенек:

– Давайте зайдём?

Внизу медленный седой человек рисовал Иерусалим и резких, глазастых женщин.

– Армянский... какие линии... Здесь он напоминает крепость в горах.

– Вы хотите что-то купить? – спросил художник.

– Нет, – вздохнула, – мы просто пришли сказать спасибо...

Потом сидели у маленького столика, загорался звёздами вечер, и рядом отвлёкшийся официант, как Буратино после продажи азбуки, тщательно пересчитывал свои маленькие, блестящие сольдо. Мимо проходили: быстрый араб с тележкой, паломники, трое монахинь, отделение сионистских агрессоров, так и не научившихся держаться строем, и человек с красным, возбуждённым лицом. Правая его брючина была закатана, будто он только что слез с велосипеда. Человек прошёл, потом вернулся и стал около соседнего столика, где смеялась и пила пиво большая компания.

– Сидите, бляди? – горько сказал человек и поднял вверх указательный палец. – Россия! – выдохнул с невыразимой болью. – Россия! Эх, м-мать вашу, что вы понимаете... Русскую душу захотели купить? – разозлился внезапно и рванул на себе рубашку. – Русские не продаются!

Алиса проводила его глазами:

– Знаешь, за последнее время я что-то уж очень часто встречаю таких... нежно помешанных.

– Я тоже к ним отношусь? – схитрил.

– Не знаю, не знаю, – девушка лукаво посмотрела, допила чай.

– Извини, мне надо ехать.

– Провожу?

– Нет, нет, я сама...

– А...позвонить можно?

– А ты хочешь?

– Да.

– Позвони.

На утро через открытое окно у изголовья на пол спланировал голубь. Не боясь, стал расхаживать, поводить крыльями, потом загулькал, запрыгал на одной ножке в солнечном луче... Лев счастливо потянулся и встал.

– Послушайте, Борис Ефимыч, – говорит позже в будке охранника, – я тут недавно оставался допоздна, ну и решил, знаете, с вашим сменщиком познакомиться. Стучу, а он меня не пускает. Даже головы не повернул, сидит как истукан. Так я и уехал не со лono хлебавши... Первый раз такого встречаю!

Борис Ефимыч, довольный, смеётся:

– Ты секреты держать умеешь?

– Какие ещё секреты? Ну, умею, допустим.

– Смотри, между нами: сменщика ведь не было.

– Как это?

– В фирме нашей охранной недобор. Вот командир и придумал ставить ночью манекен лицом к дороге. Всё равно ведь никого нет. Вот он тут, манекен, за шкафом хранится.

Лев ошарашенно посмотрел, потом затряс головой:

– Нет, нет, нет, манекен манекеном, но кто же тогда ворота открывает?

– Не знаю, – растерянно протянул Борис Ефимович, – не знаю... Я, признаться, об этом даже не думал.

Звонок.

Борис Ефимыч поднимает трубку и немедленно преображается в важного человека.

Рявкает:

– Охрана слушает.

И равнодушно передаёт:

– Тебя.

В трубке слышится густой голос Гордона:

– Есть новости. Бросай всё и немедленно приезжай на кафедру.

В лаборатории непроницаемый Гордон и насупленный, с искорками торжества в глазах, Владимир.

Владимир поворачивается к Гордону:

– Ответьте мне, откуда взялась кровь 5290?

– Как откуда, из опыта. Это кровь птицы с наиболее высокой защитой против лямпирий.

– Нет там никакой защиты! – кричит. – Нет и не было! Ноль. Там есть защита против лектина, с помощью которого вы получаете вакцину! Я всё проверил! Более того, лектин токсичен, из-за этого такие последствия. Мы полгода работаем на мусорный ящик!

– Можно посмотреть? – спрашивает Лев.

– Смотри.

В прозрачной жидкости плавает белесая мембрана, на которой пульсируют синие линии, одна из них, наиболее жирная, почти чёрная, и есть реакция на лектин.

– Ладно, – медленно говорит Гордон, у него даже губы побелели, – делать нечего, начнём всё сначала.

– С чем?

– У меня есть несколько образцов с тех времён, когда я ещё работал в Швейцарии. Проверим, как они работают.

Владимир недоверчиво хмыкает.

– Проверим, как они работают, – повторяет Гордон, – и начнём всё сначала.

– Алиса...

– Да.

– Это Лев. Добрый вечер, Алиса. Помнишь, встретились...

– Помню.

– Извини, ты, наверное, спала уже? Голос такой...

– Да нет, всё хорошо, просто лежу и читаю довольно странную книгу, её написал в шестнадцатом веке один епископ, испанец – «Повесть о благой любви».

– А почему она странная?

– Человек странный написал.

Помолчала.

– А ты не будешь смеяться, если я тебе что-то расскажу?

– Нет, конечно.

– Представляешь, – начала осторожно, – мне вчера вдруг приснился сон. Мне вообще снятся сны, но этот уж очень особенный... Будто я откуда-то иду, и почему-то босиком, и вхожу в огромный зал. На стенах портреты, гобелены, с потолка невообразимая люстра, а посреди – чёрный рояль и на нём навалены игрушки. Синие, жёлтые, красные, оранжевые, настолько яркие, глаз не оторвать. И большущие, большущие окна в зале. И через них видно, как медленно, нестерпимо медленно, падает снег. А у меня в сердце такое тянущее, ждущее ощущение, что сейчас, совсем сейчас, ещё немного, и случится что-то такое, что я всю жизнь ждала... Я и кулаки сжала, и глаза, там, во сне, закрыла, открываю – утро, солнце светит, разговор за дверью... Всё, как обычно. Такая досада взяла.

– Будет снег, – сказал Лев и сам себе поверил, – я не могу это объяснить, но будет.

Столовая на фабрике. Обед. За столом знакомые лица.

Дан, не переставая жевать, поворачивается к Гордону:

– Ну? Может, всё-таки расскажешь нам, как ты вместо вакцины лектин получал?

– Даже Шломо иногда ошибается, – пытается отшутиться Гордон.

– Ещё не поймал, – очень внимательно смотря на Гордона, говорит Дан, – ещё не поймал.

– Мне товар нужен. Товар, а не рассказы о нём! – Резким фальцетом, почти крича, вступает Рауль. – Международная известность, всё наработано, Англия, Швейцария, Голландия, я деньги плачу. Где мой товар? Где результаты опытов?

Рыжие волосы Гордона становятся серыми, в глазах вспыхивает ярость:

– Это работа. В ней может случиться всё! Я просил группу из двадцати человек, а кто есть у меня? Холодильник не могу купить. То, что вы делаете, называется «исраблаф» – заплатить поменьше, получить побольше. И вообще, может, в следующий раз начнём обсуждение в уборной?

– И, тем не менее, ты согласился на наши условия? – напоминает оскалившийся, как хищное животное, Дан. – Учти, мы не будем долго ждать.

Гордон встаёт рывком и выходит. Лев за ним.

– Сволочи! – его душит ярость, – пятнадцать лет я с этим проектом, где только не работал, но такое отношение впервые... Идём, сядем где-нибудь. – Находит скамейку около поливаемых цветочков, где не так жарко, садится и хлопает ладонью около. – Смотри, мы теперь в одной лодке, уйду я, выгонят и тебя. Поэтому надо сделать всё. – Что-то думает, прикидывает. – Завтра я полечу в Швейцарию, возьму там запас сывороток, с ними мы проверим весь, повторяю, весь первичный материал. Выберем лучший, очистим, сделаем опыт, и прав на ошибку у нас нет.

– Гордон, но всё-таки, что случилось? – робко спрашивает Лев, – ты что, не знал раньше? Ты ж работал с лектином...

Махнул рукой:

– Неважно, уже неважно, лектин – дело прошлое. Он слишком дорог. Борис должен найти заменитель.

Вечером Город спокойнее и строже. Иисус Христос на Французской площади освещён восходящим светом, в двух шагах – суровый облик Большой синагоги. В тишь погружены улицы.

– ...Ты знаешь, Иерусалим, он состоит из таких маленьких уголков-двориков. И каждый дворик отличается – в одном пальма центр мироздания, в другом каменный лев открыл рот, в третьем гордая табличка «Адвокат Фельдман»... И особое освещение, и тишина, как кот с рыжими глазами. Притаилась и сторожит порядок вещей – подстриженную траву, пальму, камни и табличку.

– Ой, а мы будем заходить туда?

– Зайдём, Алиса.

– Удивительно, но у меня какое-то странное настроение – печальное и с фонариком.

– Как это?

– И хорошо, и тревожно одновременно. А почему тревожно, не понимаю... Скажи, ты сказки любишь?

– Любил.

– А я попробовала перечитать – они почти все очень жестокие. Вот, например, идёт солдат по лесу, встречает ведьму, раз и отрубил ей голову.

– Алиска, можешь не бояться... Даю слово, что мы с тобой ничего страшного не сочиним.

– Ладно, – она улыбнулась, – я тебе верю. Лев – царь зверей, ему не пристало обманывать.

Вечер засыпал, плавно переходил в ночь, звёзды подступали ближе и только неугомонная, гоголевская луна, дразнясь изо всех сил, показывала язык.

Звонок Владимира:

– Привет, Гордон уже уехал?

– Да.

– И что слышно?

– Плохо. Скандал.

– Я ему говорил, говорил, что что-то не так, так куда, великий специалист ничего не слушает. Лёвка, не верю я в этот материал, не верю и всё – подумаешь, что-то когда-то сработало...

– Ты предлагаешь отказаться? Вот так гордо отказаться и уйти?

– Милый мой, – Владимир вложил в голос всю гамму чувств, – между прочим, пока вы тут развлекались – глотки друг другу рвали, я нашёл новый способ очистки, без лектина.

– Жди премию.

– Не юродствуй! Да без меня, если хочешь знать, его бы уже давно выгнали с треском. Завалилось бы всё!

– Ладно, Володя, ладно... – я ведь действительно думаю, что ты молодец, – снижает уровень Лев.

После разговора выходит покурить наружу, под навес, где стоит слесарный станок и на лавке одиноко брошены рабочие перчатки.

И к нему присоединяется весело смотрящий голубыми, чуть блеклыми глазками новый уборщик Валентин Моисеич:

– Нас не звали, а мы припёрлись, – объявляет, – как дела?

– А у вас?

– У нас денег мало, работы много. Ты из проектной лаборатории?

– Да.

– Сразу видно, аидише-поц, вечный двигатель – надежда Израиля... Эх, если б ребята видели, чем вот я занимаюсь: этот фартук, ведро... Фартуке-с, ведре-с... Тут на днях приходит письмо, и в нём одна наша знакомая, еврейская женщина в полном расцвете, спрашивает, кем это работает дорогой, любимый Валентин Моисеич? – Отвечаю: Милая Бронечка, работаю я директором, сижу в кабинете, подписываю бумаги. А когда становится скучно, выхожу и помогаю рабочим по кухне...

Проходит Рауль, косится на смех, и они, бледнея, растворяются в немой прозрачности.

Лев немедленно оказывается в лаборатории и слышит, как соседка, маленькая, смуглая Рахель разговаривает со Шломо Раскиным.

– Шломо, – жалуется, – эти уборщики, что приходят вечером, очень плохо убирают: пол даже не подметен и раковина не вымыта. Так нельзя работать!

Шломо в затруднении – уходит, приходит:

– Рахель, может, ты останешься как-нибудь, скажешь им?

На следующий день пошёл снег. Он падал забытыми белыми хлопьями. Падал и таял. Но таял не сразу, а начиная с некоторой видимой высоты, и прохладными капельками попадал на волосы, глаза, губы и одежду. Растерянные метеорологи бормотали что-то совсем невразумительное, но кто их слушает, метеорологов?

4

– Ну и погода! – Ханка говорит и убирает волосы с глаз, – полный абзац! Снег, дождь, хамсин... Объясни, мы в Африке, или нет? Обещаю, я в этой стране больше не появлюсь! Никогда! Ни в одной реинкарнации! Колы хочешь?

– Ханка, что тебя так давно не видно?

– Да вот всё из-за него, из-за Пашки... Слышишь, он очень хороший, мы теперь вместе, он мне даже декларацию о намерениях прочитал... – Улыбается. Улыбка у неё лёгкая, быстрая. – Хотя декларации эти... Так что за последнее время я как-то выпала из реальной жизни.

– А где он?

– Около компьютера, какое-то задание ему надо срочно в университет сдать. Па-ашка, иди к нам!

Вместо Пашки появляется Лизонька. Стоит в ситцевой рубашке, на Льва уставилась.

– Немедленно спать!

Девочка стоит.

– Р-раз... Два... Два с половиной... Два с четвертью... Два с...

Девочка стремглав убегает.

– Ханка, а что будет, если ты досчитаешь до трёх?

– Не знаю, – она улыбается, – ещё не пробовала.

Приходит Паша. С толстыми красными губами, в очках. Мельком посмотрел:

– Паша.

– Лев.

Обращается к подруге:

– Мне просто стыдно, стыдно, я не могу выполнить задание, я сделаю себе харакири и умру! – театрально вскидывает руки.

– Я тогда умру гоже, – решительно говорит Ханка.

Паша озадаченно:

– Почему?

– А как же я буду жить без тебя? – и победно улыбается.

– Выпьём? – предлагает гость.

– Выпьём, – облегчённо находит выход Ханкин друг.

И они заговорили о компьютерах, программировании, Интернете и чёрных кошках.

– Я вообще чёрных кошек боюсь, – сказала Ханка.

– И я, – сказал Лев.

– И я, – сказал Паша, – прошлый раз одна кошка перешла дорогу спереди, а другая сзади, и обе так злобно посмотрели: просто не знал куда идти, не знал и всё!

– Эх вы, мужчины, – Ханка взяла гитару, – а вот у моей Лизки, в отличие от некоторых, проблем с кошками нет, – и запела, преданно глядя на Пашу:

– Я ехала домой, я думала о вас, душа была полна...

Русское подворье – на небольшом пятачке церковь, тюрьма, пабы с гремющей музыкой. Чуть ниже «кикар хатулот» – девочки гуляют, мальчики гуляют, безделушки в самодельных витринах светятся. Двое за столиком у освещённого фонтана. Вода шумит.

– Я тут читал всякие книги мистические, – говорит Лев, – так по ним получается, что человек, как игрушка, кукла на ниточке. На ладони у тебя записана судьба, расположение звёзд предсказывает трудный день, карты шепчут дальнюю дорогу. И знаешь, многое сходится – бред какой-то...

– А ты не верь, – Алиса задумчиво утопила лицо в ладони, – живи и всё. Разве этого мало?

– Да нет, не только в книгах дело, в душе предчувствие, а тут ещё человека встретил – подаяние на Яффо собирает, странный какой-то, – тревожит, потом прилепился, как репей.

– Может, он одинокий?

– Конечно, одинокий. Не был бы одинокий, зачем бы я ему нужен был, – Лев резко отодвинул кофе, – завтра мой Гордон приезжает, опять гонку начнёт. Надоело до чёртиков, хоть увольняйся... Такое впечатление, что в мире, кроме его кур. ничего не существует!

Машины едут в Рамаллу. Машины едут в Рамаллу мимо охранника Бориса Ефимыча. Но в него никто не стреляет – всё-таки не

Кирыят-Арба. Сам же Борис Ефимыч в окно не смотрит, а занимается тем, что грызёт ручку, заполняя карточку лото. Откидывается назад и спрашивает:

– Какая цифра тебе нравится?

Лев пожимает плечами.

– А мне чётко, – закрывает глаза, – 7, 10 и 12. А вот другие... Другие не вижу. Эх..., – открывает глаза, – не выиграю.

Гордон. Приехал и заполнил всё собой и своими сыворотками. Теперь Лев каждый день засиживался до полуночи, бесконечно сравнивая множество экстрактов. Владимир ломал голову над очисткой – его препарат ни за что не хотел растворяться. А добавление растворителей лишало его иммунной силы. Наконец, Владимир таки нащупал зыбкую середину, когда и материал растворялся, и качество его ухудшалось не очень.

И вот, в тесной комнатке, где за окном на крыше сушится бельё, а компьютер бесконечно показывает «Если меня здесь нет, значит меня здесь нет...» – молчание. Владимир в пальцах мел крутит, только что доску исписал.

– Лев, я хотел бы, чтобы ты, а не рабочий, занимался уходом за курами, – нарушает тишину Гордон

– Интересно, почему? У меня и в лаборатории работы достаточно.

– Понимаешь, решается многое, лично прошу.

Через неделю:

– Лев?

– Да.

– Слушай, тут Рауль спрашивает, ты на осле ездить умеешь?

– Никогда не пробовал, а что?

Гордон замаялся:

– Он придумал, что так дешевле. И за бензин платить не надо...

– Пусть сам на осле ездит, – злобно сказал.

Лев до того расстроился, что бросил работу. С одной заполнившей мыслью, что ты для этих сволочей тоже осёл, поймал тремп, доехал до автостанции и через лабиринт Меа-Шеарим тупо направился к Бен-Иегуде. Солнце выдыхало жар, воздух обволакивал, мокрая рубашка мешала. В таких условиях решимость злиться именно в накалённом центре города с каждым шагом рассеивалась. Вскоре осталось лишь тянущее ощущение горечи, да раскалывалась голова... Для начала поел мороженого, а затем, увидев разукрашенное объявление, зашёл в Дом Художников.

В относительной прохладе у входа дремал сладкий кот-привратник, а внутри под названием «Сияющая усталость» проходила выставка разбитых унитазов. Скульптор долго учился и вот теперь, вернувшись, создал неповторимую композицию.

– Хотите купить какой-нибудь экспонат? – спросила внимательная сотрудница. – Смотрите, какие детали...

– Нет, – ответил испуганно.

Вышел, направился к «Машбиру» и тут:

– Привет! Я кричу, кричу, ты что, глухой?! И морда какая-то красная? – к нему подходил, хромая и тяжело дыша, один очень знакомый нищий.

– Задумался...

– Плохо.

– Что у тебя с ногой?

– Не знаю, представляешь, никогда не болела, и вдруг... Есть время?

– Сколько угодно.

– Тогда давай заглянем в книжный. Тут, на углу, новый открылся. Новый магазин, новые книги...

По дороге он вдруг спросил:

– Как на работе?

Лев односложно ответил:

– Как всегда – капаем, брызгаем. Брызгаем, капаем...

Спутник быстро взглянул:

– Ну, ну... капальщик. Не так что-то, а вот что, понять не могу!

В новом магазине, действительно, на полках стояли новые книги в ярких обложках. А старые, с указателями цены «5 шекелей», были сложены в несколько картонных ящиков на входе.

– Смотри, – нищий, кряхтя, нагнулся, – Чехов – «Пьесы». Всего пять шекелей. Какой замечательный магазин! А ты говоришь... Девушка, а за три шекеля можно? Да вы что? Вы не обманываете? Нет?! Девушка, ну не обижайтесь, я пошутил. И я покупаю. У вас просто изумительный, потрясающий, невероятный магазин.

На фабрике беда – заказов нет. Собирались было договориться с англичанами, но те, даже не позаботившись об объяснениях, отменили визит. Мелкие временные работы положение не спасают, люди притихли, атмосфера гнетущая. Такое впечатление, что из помещений разом выкачали воздух. На этом фоне куриная группа начала опыты.

Через неделю из-за жары погибла часть птиц.

Через две недели из-за вспышки чумы пришлось полностью ликвидировать один из курятников.

Через три недели Владимиру и Льву неожиданно задержали зарплату.

На четвёртой неделе:

– Лев...

– Да.

– Анализы, которые ты взял у кур...

– И?

– Очень слабый результат, очень слабый...

– Господи, что же делать?

– Заражать.

– С такими результатами?

– Отступить-то некуда.

– Володя...

– Слышал. Ну что за гадость такая неуловимая! – То есть, то нет... Если выживем, буду пробовать снова. Когда?

- В среду.
- А проверяете? В шабат?
- В шабат больше не работаем. В воскресенье.
- Тоже вроде святой день... ну пока, пока, – заторопился.

– Ты почему грустный? – Моисеич.
– Да так... Тревожно.
– Что я не понимаю – любовь. Что они, бабы проклятые, с нами, мужиками, делают!
– Да нет, проще. Знаешь, Моисеич, какие-то мелочи на работе, мелочи...

– Что я, не понимаю: капитализм проклятый! А я? Нашёл мелочи! Встаю в пять, приезжаю из Бейт-Шемеша, и целый день в мочной! Духота, воняет, за проезд недодают, а куда денешься? И никто нас, парень, не жалеет. Никто! – погладил себя по лысой, с кустиками, голове и тоненько потянул:

- Ты меня не любишь, не жалеешь, разве я не молод, не красив...

Гордон за микроскопом:

– Десять тысяч, пятнадцать тысяч, две тысячи, ноль, ноль, семь тысяч, ноль...

Оторвался. Лицо красное, возбуждённое:

- Где план опыта? Номера групп?

Складывает.

– Пойду, покурю, – Лев вышел. Бродит. Зашёл на территорию цветочков, оттуда на жёлтый огонёк окошка охранника. Свежий ветер подул, луна засветила. Не выдержал, вернулся – Гордон сидит растерянный. И растерянный, и какой-то радостный одновременно. Здоровый детина, рыжие волосы дыбом, и в пол смотрит.

- Ну? – понял сразу. – Успех?

– Да, – ответил медленно, – кажется, мы выиграли. Выиграли. Знаешь, чем дальше я с проектом, тем чаще у меня складывается впечатление, что продвижение зависит совсем не от меня.

- А от кого?

– От кур, допустим... Вот, если они хотят, всё получается...

- Ты думаешь, что говоришь?

– Думаю. Сложно всё это. Биология, биология, не химия. И всё-таки, почему при таком слабом результате сработала защита? Это ты мне можешь объяснить?

- Лёвушка, какие цветы чудесные!

– Прислушайся...

- Ой, звенят! Колокольчиками! Где достал?!

– На въезде в Иерусалим целая долина. А ещё я тебя приглашаю в ресторан.

- Здравствуйте, чего вдруг?

– Так. Имею право.

- Это почему же?

– Мы закончили один эксперимент, и он получился. Я ужасно рад.

– Это то, о чём ты рассказывал? Эти опыты для тебя так много значат? Раньше ты говорил другое...

– Да нет, всего лишь хорошо сделанная работа – просто приятно... А, кроме того, имею я право вкусно покормить тебя? Ну, действительно?! Услышать, как ты учишься испанскому – кто мне обещал рассказать? И не возражай, пожалуйста! Лучше ответь – почему нельзя оставаться в зоопарке до закрытия?

– А разве нельзя?

– Нельзя. Я точно знаю.

– Ну почему?

– Потому что последнего посетителя в зоопарке съедают.

Алиса смеётся:

– Выдумал тоже.

– Ничего и не выдумал. Вот всегда – скажешь правду, и никто не верит...

На фабрике праздник – двадцатилетие со дня основания. Рабочих людей собрали в столовой. Главный стол накрыли красной скатертью. На остальных пирожочки, кола, вино.

Когда сели, из кабинетов вышли гладкий, лысо-рыжий Рауль и угрюмый, вечно стряхивающий куда попало пепел от сигарет, Дан.

– Ты смотри, сколько людей! – удивился Дан. – Вот так принимаем на работу, принимаем...

– Скоро будет меньше, – буркнул Рауль.

Взял микрофон:

– Уважаемые господа! Мы поздравляем всех работников с нашим очередным праздником!

Аплодисменты.

– Двадцать лет назад мы основали эту фабрику, вышли на рынок и завоевали его!

Аплодисменты.

– Но из года в год удерживать позиции всё труднее. Конкуренция становится острее, возможно, нам придётся прибегнуть к непопулярным мерам, хотя мы, я лично, пытаемся избежать этого.

Люди притихли.

– А сейчас, – спокойно продолжает Рауль, – я хочу поздравить нашего Иосифа, работающего на фабрике почти со дня её основания, вручить ему маленький презент.

Люди захлопали, но как-то вяло.

– Иосиф, где вы?

Появляется седой, в кипе, Иосиф – бухарский еврей. Одной рукой держит гармонь.

– Ну, Иосиф, покажете нам? – улыбается Дан.

Иосиф положил гармонь на скатерть и разворачивает подарок – там красивая хрустальная ваза.

– Спасибо, – говорит растроганно.

– Ещё раз, с праздником! – говорит Рауль. – Иосиф, вы сыграете...?

Иосиф устраивается лицом к народу, делает музыку и при общем молчании поёт:

Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка...

5

– Задачей злого животного начала является приведение нас в состояние печали, – грозно сказал рав Шмулевич, – в печали же нет ничего настоящего. Печаль противна Господу. Поднимите в семье исполнение законов чистоты и кашрут на должный уровень. Поднимите! Тогда печаль уйдёт безвозвратно.

– Вот зачем ты его слушаешь?

– Я, честное слово, не слушаю, он включается сам.

«Фиатик» мчался изо всех сил вперёд, кондиционер выдувал так себе холодный воздух, а Алиса, подняв ноги и, упёршись коленками вперёд, тра-ля-ля разговаривала:

– У нас дома был пёс. Звали его Дима. Он был важный, гордый и любил тишину. Когда люди вдруг начинали ходить на каблуках или шуметь, он очень нервничал и расстраивался. А у тебя не было такого друга? Никогда? Ой, жаль... Это такое счастье, лохматое и с мокрым носом. А кроме собак, я люблю, я люблю... клубничное мороженое! И пластинку «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты». Она у нас дома была. Старая, ещё с советских времён. Там есть такие слова: «...а бывает так – раз, и сразу два...», двое детей, то есть, – лукаво посмотрела. – Не помнишь? Помнишь! Тоже нравится? Вот здорово! А «Алису в стране чудес»? – Там всё про меня!

– Алисочка, мы приехали.

Лев втиснул машину на одной из прибрежных улочек Тель-Авива.

– Выходим? – выходим.

И влажный, текущий воздух этого города сразу погрузил их в свою приторную, насыщенную духоту.

– К морю! – радостно крикнула Алиса и потянула Льва вперёд, – к морю, к морю! Побежали!

На море глубокий синий вечер и чуть капризные сонные волны – то набегут, то обратно... Сверху звёздный шарф небрежно свисает. Корабли на рейде перемигиваются. Песок влажный, тяжёлый и на нём брошенные до завтра белые пластиковые стулья да деревянная вышка с надписью, если подойти ближе – «Спасателя нет». Около неё три тёмные фигуры стоят. Огоньками сигарет разговаривают. Вот выплюнули разом и двинулись по своим тёмным делам, пропали.

Алиса сняла босоножки, походила по приливу-отливу и брызнула водой-морем – не попала. Засмеялась:

– А на кораблике кататься будем?

– Это же в Яффо!

– Ну и что?

– Значит, будем.

Мимо танцулек, мимо баров-ресторанов, мимо одинокого деревянного Наполеона, чуть не сорвавшегося за ними, они шли и шли к причалу.

Капитан в фуражке уже ждал их. Нервничал, поглядывая на часы.

– Отходим! – крикнул. – Последний рейс!

И они взбежали по трапу.

Кораблик неловко оттолкнулся кормой и почапал по волнам, неглубоко ныряя носом.

В море было не так душно, на море жил ветер. Он пел свою песню и игрался с Алискиными волосами. С одной стороны медленно двигалась золотая набережная, с другой – молчал неоглядный горизонт. Алиса прижалась тёплым плечом.

– Вот сейчас, – сказала, чуть задыхаясь от ветра, – сейчас побежать бы, едва касаясь... Как Ассоль.

– От меня убежать? – спросил шутливо.

– Нет, что ты! От тебя нет.

Крепче обнял:

– Алисочка, мы поедем ещё куда-нибудь?

– Если с тобой, то мне все равно куда.

– Совсем... совсем?

– Совсем-совсем.

Кораблик причалил, и джентльмен-капитан, перед тем как подали трап, нагнулся и галантно поцеловал руку юной даме. А ещё подарил пластинку. На конверте ивритскими буквами было написано: «В нашу гавань заходили корабли, большие корабли из океана...»

– Это когда мы воевали против пиратов, – сказал с гордостью, – есть что вспомнить бывалому моряку... Отдать швартовы! – закричал.

И приложил пальцы к козырьку фуражки.

Они долго махали ему вслед, а потом пошли обратно по берегу. И Лев после морской прогулки повёз её куда хотел – в гостиницу «Ицик».

В ней на входе заспанный дежурный сердито топорщит кошачьи усы, тесные стены сжимают широкую кровать, а утром громкие арабы, сталкиваясь локтями на кухне, торопливо готовят счастливым гостям кофе с элем и яичницу.

Да мало ли что происходит в гостинице «Ицик»...

Так в чём же всё-таки прав рав Шмулевич?

У Стены Плача старые служители, когда ещё только-только сеерет рассвет, собирают записки, вытолкнутые наружу – сжатые комочки бумаги с выцветшими буквами на всех языках мира. И проговаривают просьбы на иврите – так Б-г лучше слышит.

– Алисочкин, как дела? Ты случайно на меня не... в обиде?

– Лёва, – горячо выдохнула в трубку, – как ты мог подумать!

– Но тебя что-то тревожит?

– Да, – протянула виновато, – не подумай, что я мнительная, но мне опять приснился тот же сон. Только почему-то среди моих игрушек ходили куры. Да, куры. Они клевали игрушки, те лопались. И зал с каждым таким клевком сморщивался, осыпался, съёживался...

– Это не твой сон, – ужаснулся Лев, – я думаю, это мой сон.

– Какой кошмар! Чем же ты занимаешься на работе, Лёвушка? Мне кажется, как бы это не называлось, оно опасно. Уходи немедленно!

– Уйду, – сказал потерянно, – вот опыт ещё один закончим – уйду.

Лаборатория Владимира. Кругом колбы, вещества в банках, химические стаканы, приборы... Посреди всего хозяин, сосредоточено шмыгая носом, укладывает в лёд готовые препараты. Уложил, закрыл ящик, поскрёб задумчиво подбородок:

– Что ты такой тихий последнее время? – обращается, – нормально всё? – Кстати, вчера обсуждаем с любимым начальником, он ведь твой любимый? план работы. Ну, я и обмолвился: «мой осадок» – сказал. Так он посинел. «Это с какой стати ты считаешь его своим? – говорит. – Забыл, на каких условиях работаешь? – И дальше. – Ты что, не помнишь, как я тебе советовал экстракт на центрифуге прокрутить...» – Я глаза и вылупил. Ну, волчище! Недаром рыжий! Я чувствую, он почище их всех будет. Так что, нормально всё?

– Нормально

– А со мной ещё договор на следующий год не заключили... – поднял ящик, – тяжёлый... Подождёшь? Я скоро...

Стук в оконное стекло. Лев развернулся: за окном стоял в синем комбинезоне маленький, с круглой физиономией, человек.

– Закурить не найдётся? – показал жестами.

Лев открыл окно.

– О, «Мальборо»! – заложил за ухо, – а «Авроры» случайно нет? Нет? – Жаль.

– Я тебя всё время вижу, что ты на крыше делаешь?

– Бельё вешаю, сторожу. Я и палатку себе поставил.

– Какое бельё?

– Обыкновенное. Из прачечных. Университет обеднел за последнее время, вот ректор и придумал бельё на крыше сушить. Знаешь, у нас выходит гораздо дешевле, чем в любом другом месте! Вот на эти денежки колбочки-то и покупаются, – кивнул на полки.

Пнул жестяную банку из-под пива, она покатилась, заскрежетала.

– Чёртовы туристы! Ну, пора мне, – подмигнул, – в окне биофизики барышня ждёт. Кстати, Гриша меня зовут. Гриша Карлсон.

– Привет, Гриша, – машинально сказал Лев.

На фабрике, куда добрался после Университета, проходила генеральная уборка – общими молитвами добились приезда возможных заказчиков. К их появлению кругом мыли, красили, выдали на всех хрустящие белые халаты с пометкой (только сейчас разобрал) – «Высушено. Карлсон», и красивые нагрудные таблички с названиями цехов.

Первым Льву встретился злой Моисеич. Увидел и орёт издали:

– Что случилось?! Работаем, работаем, отдохнуть не дают. Торопят: быстрее, быстрее! Иврит я не понимаю. Них ферштейн полный.

– Китайцы приезжают.

– Ну?

– Может, купят что-нибудь.

Моисеич задумывается:

– Вот они приезжают..., – делает паузу, – а скажи... Где они обедать будут, у нас, или в Китае? – и заливается смехом, как ребёнок.

Под конец рабочего дня на вымытом полу очередь отбивать личную карточку. Последней небольшая женщина – посматривает, оставив носок, на свои очень новые сапожки.

– Вот, – говорит сама себе вполголоса, – все сегодня такие взбудораженные. Бегают, бегают. Бегают, бегают. А я в гости иду, и пятно на кофточке чаем посадила...

На Масличной горе ещё существует вцепленный в землю Гефсиманский сад: пять или шесть чёрных, горбатых олив со дня сотворения мира. И ни одного молодого деревца – их ростки выдёргивают с корнем, как жертву. Каменные церкви сжимают землю Гефсиманского сада. И купола их крадут воздух у олив.

В лютеранской церкви имени Августи-Виктории всего тридцать человек. Деревянные, с высокими спинками стулья, простор, и приходящий свет просеивается сквозь витражи. Снаружи арабки в белых платках, их плачущие дети – больница. А здесь, ещё несколько мгновений и накатывает, сразу захватывая душу, первая волна.

– Удивительная, нечеловеческая музыка, – шепчет бородатый мужчина своей спутнице, – хочется людей гладить по головке, а их бить надо.

После концерта вино на выходе: пятнадцать бокалов белого, пятнадцать бокалов красного.

– Ты какое будешь? – спрашивает Алиса.

– Красное. Только красное.

Потом они гуляют по тропинкам между чьих-то частных владений, Лев привлекает Алису к себе и целует в сухие, тёплые губы. Алиса отвечает, и они надолго застывают, обнявшись. И вдруг толчок! Лев вскрикивает от боли, сгибается, рефлекторно защищая голову руками – на него спикировал ястреб. Вцепился когтями в плечи и, обезумев, бьёт крыльями, пытается взлететь. Алиса отскочила со страхом. Закричала. Лев извернулся, ударил птицу, ещё раз ударил, попробовал схватить, но ястреб, вдруг разжав когти, взмыл в воздух.

Рубашка порвана, кровь, Льва всего трясёт, Алиса плачет.

– Не надо, – уговаривает её Лев, – не надо, уже всё кончилось.

– Пойдём отсюда, – всхлипывает Алиса, – пойдём. Нехорошо здесь.

В приёмном покое «Хадассы» русский врач в зелёной униформе, присвистывая и удивляясь, обработал рану, сделал укол против столбняка. Забинтовал и заключил:

– Всё, парень, пусть заживает. Ходи на перевязки и левую руку сильно не беспокой.

Лев попытался улыбнуться, но у него не получилось. Вышел. Навстречу бросилась Алиса:

– Ну, ну как?

Попытался обнять и, поморщившись, опустил руку:

– Всё сделали. Всё хорошо сделали. Господи! – вырвалось, – бред, дикость какая-то! Этого же не может быть, понимаешь, не может быть!

– Лёвушка, – тихо сказала Алиса, – я, конечно, ничего не понимаю, но не связано ли это с твоей работой?

– Да при чём тут моя работа! – неожиданно крикнул, наливаясь злостью, – моя работа! Ох, что со мной? – застонал. – Кричу зачем-то...

– Лёвушка, милый, ну успокойся. Ну, пожалуйста... Ну, действительно... Пройдёт, пройдёт потихоньку.

– Понимаешь, будто себя теряю, как в пропасть головой – и туман.

– Лев, как это объяснить?

– Не знаю, – раздражённо, – и не спрашивай! Вообще, откуда ястреб? Я думал, здесь только воробьи и голуби! Гордон ко мне приезжал, виноватый какой-то...

– Он что-то скрывает, скрывает и всё!

– Ладно, выясним. Как у тебя?

Владимир вздохнул:

– Подписал. Появился у меня Дан, привёз экземпляр договора, я взял, читаю. – Что тут читать? – говорит он мне. – Дохожу до суммы, показываю... – Ты думаешь? – спрашивает, – Рауль, я, или Гордон много получаем? – Я от такой наглости онемел. Знаешь, если бы сейчас не покупал квартиру, просто плюнул бы ему в рожу, плюнул, и всё.

Куда идёт пораненный учёный после тяжёлой работы в непонятном настроении? Ну, конечно, к гадалке! Тем более, что мастера от эзотерики устроили в помещении Общинного дома групповой сеанс, навезли карты, гороскопы, чашки из-под выпитого кофе.

В зале с высокими окнами маленькие загончики. В каждом загончике стол с названием землячества, и за ним восседает какой-нибудь бывший товарищ с непоколебимым взглядом и разговаривает по телефону. Перечень мероприятий на столе. Этажом ниже, в читальном зале библиотеки собственно гадание. Пластмассовые стулья скрипят – на них женщины волнуются... Член муниципального Совета проплыла, хочет узнать политическое будущее. Лев постоял, постоял и решительно направился к старику с золотым зубом и бровями, как у Леонида Ильича – к тому никого не было. Сел перед ним.

– Ничего не говорите, молодой человек, – сказал старик и направил на него металлическую, тоненькую палку. Палка крутанулась.

– Почки здоровые, – неожиданно объявил. Подумал немножко, – а вот нервы никуда не годятся. Лечить надо. Дайте! Руку дайте! – приблизил к глазам, и дёрнулся, отпрянув, как от ожога, – когда вы родились?

Ответил.

– Хе-хе, Сатурн пожирает своих детей, – открыл потрёпанную книгу с таблицами, поводил пальцем, забормотал, – уникально... Всё уникально! Да, молодой человек, – поднял лысую голову и сверкнул золотым зубом в сухогубом рту, – расположение звёзд не оставило вам выбора. Я точно не понимаю, но изменение уже пошло. Всем, кто рядом, вы принесёте несчастье, болезни, но у вас у

самого жизнь будет несколько неожиданная, но долгая. Хотя, как знать, что лучше...

– Ты что, Бог? – Лев задохнулся.

Старик торжественно, обеими руками, поднял книгу:

– Бог в таблицах. Тут его следы. Как ни крутись – всё запрограммировано. Никаких неожиданностей!

– Не верю, – перед глазамиплыли круги, в груди не отпускало, – не верю, никогда не поверю, бред!

– А ещё совет: немедленно уходите с работы!

– При чём тут моя работа! – закричал в полный голос, – ненавижу тебя! Ненавижу!!! Чтоб ты сгорел! Господи, что же это?

Выбежал и кинулся вниз по лестнице. Упал. Больно покотился. Поднялся. Опять упал. Встал. Шагнул под солнце, в жёлтый, прогретый воздух. Лихорадочно полез в карман, достал пачку, закурил и, чувствуя, что сейчас не выдержит, разорвётся, пугая прохожих, закричал, надсаживаясь:

– *Друзья, купите папиросы! Подходи, пехота и матросы... Подходите, пожалуйста, сироту меня согрейте...*

6

– Лёвушка, что с тобой?

Выдохнул:

– Всё нормально.

Алиса тревожно взглянула:

– Ну, мне-то хоть не ври. У меня из-за тебя сердце болит. Что на этот раз?

– Настроение. Всего лишь настроение. Устал. Просто устал. Может, смена погоды – реагирую, – вымученно улыбнулся.

– Гордон, почему на меня напал ястреб?

Гордон вскинул глаза.

– Гордон, почему именно на меня напал ястреб, может, я сдвинулся, но мне кажется, тут прямая связь с проектом.

– При чём тут проект, – неохотно, – сам подумай? Это просто нервы, ты долго был без отпуска... Всего лишь нервы, я уверен. А чтобы не волновался, – подмигнул неожиданно, – зарплату мы тебе повысим, я уже с Даном говорил, просто будь осторожнее...

– Что значит осторожнее?

Гордон ерошит рыжие волосы.

– Ну, в общем. Да не волнуйся! И насчёт зарплаты решено. Плюс премия – опыт мы всё-таки вытянули... Меня другое занимает – при подготовке материала выделяется огромное количество жировых веществ, и это очень мешает. Удалять, не удалять... Совершенно непонятно! Влияют они на иммунитет, не влияют...

...Сейчас два часа десять минут, говорит радио Армии обороны Израиля. Всем – привет!

– У-у-у! – восторг.

– Сегодня день рождения у Рона из Бен-Иеуды. Рон – солдат первого года службы. Какую музыку тебе поставить, Рон? – Мадонну?

Тот самый хит? Будет тебе Мадонна, Рон. А сейчас ещё подарок: – тебя хочет поздравить Юдит. Юдит, привет! Сколько тебе лет?

Детский, с хрипотцой голос:

– Одиннадцать.

– Вау! Одиннадцать! Откуда ты?

– Кирьят Шмона.

– Вау! А как ты выглядишь?

– У меня чёрные волосы.

– Колоссально! Ну, Юдит, говори...

– Рон, ты меня слышишь, да? Удаchi тебе, чтобы всегда был кайф в жизни и чтоб живым вернулся.

– Вот это поздравление! Рон, ты слышал? А сейчас перед Мадонной 60 секунд – что такое атака биологическим оружием? Раз, два, начинаю: чума, оспа, сибирская язва, антибиотики, противовирусные – короче, мерзость. А теперь врубаю Мадонну. Принимайте!...

– Откуда столько воды?! – появляется маленькая Рахель и кричит с порога, – ты что, не видишь? И сделай, ради бога, радио потише!

Лев рассеянно поднимает ошолобенные, без эмоций, глаза:

– Да, – констатирует, – натекло.

Рахель без проволок хватается за телефон:

– Рафи, Рафи, у нас потоп с кондиционера... Моше, Моше, у нас потоп, да, да, дождь целый, немедленно к нам! – оборачивается к соседу и говорит с удовольствием, – наконец – то за всё время пол вымоется. Не мы сами, так сверху о нас побеспокоились...

Приходят Рафи, Моше, большие, в синих робах, сапогах. Громко говорят, везде инструменты расставили, начали шурупы крутить.

Лев встаёт и, разбрызгивая воду, выходит.

– Борис Ефимыч?

А Борис Ефимыч какой-то не свой, вздыхает. В руках шоколадка.

– Ты понимаешь, Шломо Раскин такой хороший... Недаром доктор!

– Ну да.

– Понимаешь, вчера так, мельком, поговорили, и я обмолвился, что у меня день рождения. А сегодня, буквально перед тобой, выхожу, чтобы открыть ему ворота, смотрю, он из окна машины пальцем поманил и шоколадку мне протягивает. Какой человек!

Звонок.

– Алло, – откликается на него Борис Ефимыч, – девушка, вы говорите с охраной, ох-ра-ной – понятно? Да, я тут работаю, а вот звать никого не собираюсь, даже не надейтесь, – бросает трубку.

В лаборатории Рафи и Моше, похаживая в сапогах по воде, уже ушли. Все шурупы в кондиционере выкрутили. Сосредоточенный Моисей выжимает тряпки. Жарко, и Рахель в ярости:

– Это мне надоело, – говорит решительно и широко открывает дверцу холодильника.

– Испортишь.

– Я в жару сидеть не буду! И милости ни от кого ждать тоже не буду. Пока не починят, будем охлаждаться так! А чем спрашивать, помог бы лучше препараты из холодильника в другое место перенести...

– Ладно...

Помог и пошёл в свои изоляторы проверить кур. Открыл дверь и с удивлением услышал, как из дальней комнаты, где находились привитые куры, доносится нестройный хор:

Эх, катались мы с тобою, мчались в даль стрелой, искры сыпались с булыжной мостовой. А теперь плетёмся тихо по асфальтовой. Ты да я поникли оба головой...

– Не понял – кто-то радио оставил? – подошёл ближе.

Хор петь перестал, но из той же комнаты вдруг кто-то взвыл голосом с очень странным тембром:

– Крокодилы делают это... Бегемоты делают это...

Лев буквально ворвался внутрь – тихо. Куры. Никто не поёт, не пляшет.

– С ума схожу...

Подсыпал корм, куры внимательно смотрят. Вернулся в лабораторию: жары как не бывало, дверца холодильника настежь, Рахель сидит тихая, что-то пишет.

– Молодец подружка, а идея-то твоя работает!

Улыбнулась Рахель, глаза подняла, наконец-то ей, после всех неприятностей, душу отпустило.

Владимир позвонил. Очень счастливый – опять что-то придумал.

– Это в корне меняет всю процедуру очистки! – кричал. – Ты не представляешь, сколько я вытаскиваю активного материала!

– А что теперь делать с экстрактом? – угрюмо спросил. – Я же опыт с ним начал, кур привил?

– Опыт начал, опыт закончи. Но одновременно будем проверять новое вещество, я чувствую, оно даст нам массу возможностей!

– Как же ты... что же ты использовал?!

– Всё гениальное просто, – гордо ответил Владимир и повесил трубку.

«Общество Любовь К Жизни и Лауреат Премии «Сострадание» поэт Игорь Губерман приглашают на творческий благотворительский вечер «Закатные Гарики».

Хотя объявление это было вывешено на видном месте, можно было никуда не ходить. В гостинице «Дипломат», собравшей всех одиноких и беспомощных большой алии, нечто закатное происходило каждый день.

Из вестибюля далеко разносилась музыка, а неподалёку гуляла около клумбы старушка в красной шапочке.

– Здравствуйте, – сказала дрожащим голосом, увидев Льва.

– Здрасте, а как попасть внутрь? Прямо через свадьбу?

– Что вы! – хихикнула. – Для нас через подвал.

Низкий зев входа привёл к застеклённой конторке, за которой сидела дежурная с пепельными волосами.

– Где ваши справки? Где?! – недружелюбно спрашивала бородатого старика в обвислых трикотажных штанах и потрёпанном свитере.

– А вы на меня не кричите! – огрызнулся старик. – А то я возьму и умру здесь.

Настроение у Льва испортилось окончательно, он пошёл по длинному узкому коридору. Постучал.

– О! – открыл дверь нищий. – Пришёл-таки! – пропустил внутрь. – Чай будешь? – с трудом нагнулся и вытащил из нижнего стеллажа встроенного шкафа плитку. – Администрация с нами войну ведёт, прятать приходится.

Бухнулся на неубранную кровать, пузо чешет.

– Ты один в номере?

– Сейчас да. Смотри, – протянул гостю объявление, – сорвал, ты думаешь, стоящее?

В бумажке с аккуратно нарезанными телефонами было написано: «Энергия жизни, уникальная шерсть, регулярный доход».

– Чушь какая-то?

– Вот и я колеблюсь. А с другой стороны, регулярный доход? Ладно. Вот вспомнил, видел недавно одного кавээнщика по телевизору – шестьдесят лет, всю жизнь в еврейском театре играл евреев. Ну, дурак дураком, просто идиот! Представляешь? – Всю жизнь играть евреев... А здесь их хоть пруд пруди!

– Тут евреи даже в Кнессете, – нашёлся Лев.

– Точно! Да, так о чём я? – А, увидел недавно радио около мусорки, приволок, говорит ещё, тебе не надо?

– Нет, не надо.

– Так вот, включаю и жутко, понимаешь, заинтересовался политикой. Оказывается, наши, где это видано, сами хотят землю отдать! Ну, думаю, суки, шиш вам! Ты, кстати, правый или левый?

– Правый.

– А почему?

– Длинная история.

– Ну-ка, ну-ка, расскажи..., – он заинтересовался и присел поближе, – что молчишь? Давай! – и дружески стукнул по плечу, – давай же!

Лев зло посмотрел, но вдруг как бы что-то развязалось у него изнутри, и он начал:

– Понимаешь... В общем, так – в Союзе поехал я раз на курсы повышения квалификации в Киев. И там арабы учились на докторов. У каждого отдельная комната, музыка. Трахали ошалелых, вырвавшихся из дома, русских баб с белыми жопами, напропалую.

– А ты?

– Не было у меня удачи.

– Так, дальше...

– Да ничего особенного, – неохотно выдавил, – мне там тогда очень нравилась одна девушка. Один из них, самый жёлтый, провёл с нею ночь, а на второй раз к себе не пустил.

Она стояла, нажимала ручку запертой двери, и всё беспомощно прислушивалась, не веря.

– А ты откуда знаешь?

– Комнаты были в одном крыле. Я случайно вышел...

– Да, – нищий удовлетворённо откинулся назад и вкусно почмокал губами, – я понял. Правильно. В человеке всё должно быть параллельно. Твой случай, твоя ненависть достойна уважения, она предметна.

Лев поднялся:

– Ладно, пойду я...

– Куда? – удивлённо спросил хозяин. – Ты ж только пришёл?! И мы ещё о литературе не поговорили... – неожиданно схватился за голову, – б..., какая боль! Что со мной?

Проявился Гордон. Вернулся с очередной конференции.

– Про новый материал слышал? – спросил.

– Да.

– Химия впечатляет. Просто очень впечатляет. Он добился выделения наших белков в поразительных количествах.

– Володя – молодец.

– Да... сильный химик. Сильный химик с общим знанием. Я не ошибся. Как куры?

– Привиты, ждут заражения.

– Хорошо, но будь осторожен. А ещё лучше дожись меня – сделаем вместе.

– Ладно.

– И да, закажи цыплят, а на следующую неделю запланируй поездку – перенять у Владимира технологию.

– Слушаюсь.

– Что «слушаюсь»?

– Слушаюсь.

Помолчал:

– Ладно, пока. Приеду заражать – разберёмся.

Куры в курятнике. Наконец увидел. Во-первых, каким-то чудом вышли из клеток. Во-вторых – действие. Все сгрудились в круг. В середине две. У одной из гребня торчит неизвестно откуда взявшаяся серёжка. Светит изумрудом. Вторая, подпрыгивая, обходит первую, клюв открывает. А из клюва голосом известного певца Николая Гнатюка несётся:

*Птица счастья завтрашнего дня
прилетела, крыльями трепля.*

Выбери меня, выбери меня...

– А ну, по местам, – растерянно сказал Лев.

И куры разбрелись по местам.

– Как же мы их заражать будем? – подумал. – Ну, Гордон, сволочь, втянул! – попятился. Закрыл дверь. Подумал – закрыл на замок. Подумал – сделал дополнительный поворот ключом. Осторожно вышел:

– Или мне только кажется?

Обогнул административное здание, цеха, отметил рабочую карточку – уехал.

Опять шлялся – его всё чаще охватывали такие вот приступы одиночества, когда даже мыслей никаких, а только упругий ровный шаг между разговаривающими, занятыми людьми.

Пока не очнулся в подземном переходе около автобусной станции: электрический, замутнённый свет, закрытые двери туалетов, напротив них бомж спит, на руке с раскрытой ладонью пальцы подрагивают.

Чуть дальше от него музыкант. Молодой. Кипа, белая рубашка из-под тёмного костюма. Играет.

Лев, будто подкосились ноги, опустился на пол. Кинул в чехол от гитары мелочь – музыкант вежливо наклонил голову. Заиграл отдельно.

– Я и русское могу... – похвастался, – ...не слышны в саду даже шорохи... Правильно?

Лев кивнул. Музыкант продолжил.

– А скажи, – нетерпеливо поинтересовался через некоторое время, – у тебя дом есть?

– Есть.

– Девушка есть?

– Есть.

Музыкант подумал. Решил:

– Ну и иди домой, я помолюсь за тебя.

Лев, обычно бледный, стал багроветь:

– Это с какой стати, – медленно проговорил, – ты, скотина, уверен, что ближе к богу, чем я?

Музыкант поморщился:

– Ну, хотя бы потому, что я соблюдаю заповеди... – схватился за голову, застонал, – боже, какая боль!

– Неужели? А ты спой: «Машиах, машиах, машиах...», может, головка-то и пройдёт? – засмеялся Лев и заплясал, запрыгал в густом, жёлтом свете, кидая свою вдруг появившуюся тень на стены тоннеля, завизжал: «Машиах, машиах, машиах, айя-яя-яй!»

Музыкант посмотрел на него со страхом, но потом, как бы что-то вспомнив, быстро вытащил маленькую потрёпанную книжечку, сел и, раскачиваясь, постанывая, стал читать, шевеля губами.

От шума проснулся бомж, цапнул рядом жестяную банку с мелочью, потряхнул привычным движением...

Лев неожиданно успокоился и медленно, шаркающими шагами, ушёл.

Дома долго стоял у окна, барабанил костяшками пальцев по подоконнику и вглядывался в плоскую, неловко прикреплённую над городом луну.

– Есть такое, – откашлялся и сказал сам себе, – перед вечером на улице ещё светло, а в комнате уже темно. Вот и у меня тоже. Что-то надо делать с этими переходами...

На следующее утро проснулся, как толкнули. Проснулся и, даже не притронувшись к кофе, поехал на работу: дорога, разделившая город пополам, у Дамасских ворот арабские рабочие с узелками в руках, мост с лавиной машин из Писгат-Зева, вязь двоюродных букв в Шоафате, КПП – солдатики смену достаивают.

За воротами свежо – зелёная травка, цветочки, искусственный оросительный дождик брызгает. Тихо, легко – фабричные двери закрыли скопившееся внутри напряжение.

– Как дела, Борис Ефимыч?

Борис Ефимыч ничему не удивляется, никаких вопросов не задаёт, а с утра варёную курочку доедает, пальцы о газету «Вести» вытер, потом руками губы – и опять в руках газетой шуршит.

– Что-то у меня аппетита нет, – пожаловался, – ем просто, чтоб не испортилась... – Посуrowел, кинул газету в ведро, взял автомат со стула и пошёл делать обход против террористов.

Лев посмотрел вслед и направился к себе. Открыл дверь в лабораторию, зажёл свет и обомлел: под текущим кондиционером и осыпавшейся, не выдержавшей издевательств, штукатуркой, на полу, пробившись через продраный линолеум, сплошным ковром выросли бледные, тонкие, искривлённые грибы.

– *Что затуманилась, зоренька ясная, пала на землю росой?
Что закручинилась, девица красная? Очи блеснули слезой...*

– Откуда ты знаешь эту песню, Алиса?

– Бабушка моя пела.

– Мне нравится, а дальше?

– *Ой, приведите коня мне ретивого. Крепче держи под уздцы.
Едут с товарами тройками, парами Муромским лесом купцы.*

Вздыхнула, прижалась:

– Лёвушка, а у тебя на груди волосы седые...

– Маленький, я уже старый... Спой мне ещё...

Потянулась к уху, подула, кавалер дёрнулся, прыснула, зашептала:

– Неправда! Неправда! ...*Есть для тебя у нас юбочка шитая,
шубка на лисьем меху, Будешь ходить ты, осыпана золотом,
Спать на лебяжьем пуху...*

Помрачнела, легла на спину и закинула руки за голову:

– Кончается плохо. – *«Но Березовский судил по-иному и вынес
ему на расстрел»*. А как у нас кончится, ты не знаешь?

– Эти вопросы... Давай спать? А то мне работать завтра.

– Конечно, вопросы. Ты почему мне не звонишь, Лёва, – приподнялась на локте, голос дрожит, – почему?

– Ну, Алиса, ну зачем... Ничего между нами не изменилось, ну, правда, не изменилось, ну, поверь...

Бухнулась в подушку лицом. Мгновение спустя повернула голову:

– Обними меня, пожалуйста, – глаза серьёзные, большие, – крепче, крепче, вот так... – и чуть задыхаясь, – я просто хочу запомнить.

7

Крик:

– Лёв-ка-а! – к нему, щурясь от яркого солнца и убирая по привычке волосы с глаз, подходила Ханка, – ты почему угрюмый? Слышал – Общинный дом сгорел! Такой перформанс, такой перформанс...

Лев ошарашено посмотрел и вдруг расхохотался, да так, что слёзы выступили:

– Сгорел? Сгорел? Ой, не могу! – согнулся; смеясь. Замотал головой, – сгорел? Сгорел?

Ханка озадаченно смотрела.

Наконец, отдышался:

– Ничего себе смешочки, даже в пот бросило...

– Ты что, тронулся?

Улыбнулся:

– А если и да?

– Ну и дурак! – Ханка обиделась, – я к тебе по серьёзному, а ты...

– Да я слушаю, слушаю, Хан..., почему нет? – поймал за рукав.

– Ладно, ты представляешь, до меня только дошло, ведь Пашка Рабинович – это судьба. Подожди, подожди, сейчас объясню: год назад иду, спотыкаюсь, бах носом. Поднимаю глаза – на афише написано: «Приезжает маэстро Рабинович». – Через два дня мы встретились.

– Он ещё и музыкант?

– Да нет же! Просто фамилия его сопровождает меня всю жизнь, например: учитель физики был Рабинович, учитель музыки – Рабинович, даже учитель рисования в первом классе – Рабинович, ну и так далее, далее, далее. А теперь смотри, мы сейчас выяснили, что когда-то поступали в один и тот же институт и нас обоих не приняли. А самое главное! – Ханка торжественно замолчала.

– Что?

– Мы оба из Москвы и у нас обоих в квартирах родителей висели одинаковые люстры!

– Ой, Ханка, – Лев окончательно развеселился, – выдумываешь тоже!

– Я не выдумываю! – Ханка надулась.

Лев махнул рукой и пошёл дальше. Увидел двух около иешивы. Подумал, остановился.

– Извините, можно спросить?

Те вежливо склонили головы.

– Вот звёзды на небе, вот земля... И я хожу. А на руке у меня судьба написана. Почему? Почему? Откуда?

Растерянно посмотрели друг на друга:

– Запись делается каждый год, – сказал один, – верить надо, соблюдать заповеди – будет хорошая запись.

– Бог милостив, – поддержал второй.

– А вы-то верите? – спросил Лев и отскочил, – это я шушу так. Ну, пошутил, не поняли? Шу-чу.

– Вообще, Лёвушка, я выросла в деревне. Даже не в самой деревне, а на её окраине – сразу за нашим домом начинались заливные луга. Знаешь, было какое-то необыкновенное ощущение свободы – лес, луга, ветер, старенькая калитка хлопает. Потом переехали в город, и я долго не могла привыкнуть. А в одиннадцать лет, – улыбнулась, – появился у меня ухажёр, да-да, настоящий... очень взрослый, в десятом классе учился. Мы с ним на великах гоняли. Всё вздыхал: «Эх, была бы ты чуть постарше, мы бы с тобой в кино сходили...» А я злилась: «Ну а сейчас то, – думала, – что мешает?» Один раз дозлилась до того, что увидела и отвернулась. А он стоит сзади и так говорит печально: «Что, Алиска, откололась? Откололась, значит?» Ой! – схватилась за голову.

– Что? Что?

– Да нет, уже прошло – боль какая-то внезапная, никогда раньше не было...

– Странно, – Лев охрип. Откашлялся, – Алиса, ты слышала, Общинный дом сгорел?

– Да. Ну и что?

– Ты понимаешь... Ну ладно, ладно... Да ерунда, просто опять на работе какая-то глупость прёт... Да ничего, всё будет нормально.

Уборка изолятора:

– *Птица счастья завтрашнего дня прилетела, крыльями трепля. Выбери меня, выбери меня...*

– Выбрала.

Потный, грязный, замученный, со шлангом и с помойным ведром в руке. С лёгкой руки начальника обязанности чернорабочего за ним так и остались.

Как раз в этот день Гордон соизволил явиться. Тоже не в лучшей форме – усталый, в заляпанных ботинках, рыжие патлы торчат. Зашёл в пропускник, присвистнул:

– Вот это да! Ну, что случилось?

Лев ожесточённо искал какие-то бумаги, поднял голову:

– Исчезли.

– Кто?

– Куры.

– Как?!

– Так, – спокойно произнёс, мелькнула издёвка, – пришёл покармливать, открываю – клетки целы, всё закрыто, птиц нет.

– Ты уже не задаёшь вопроса – почему?

– А ты ответишь?

Гордон внимательно посмотрел:

– Знаешь, давай-ка поговорим... Пойдём, сядем около ваших цветочков – там всё-таки не так жарко. И спокойно, никуда не топча, побеседуем.

– Хорошо, – пожал плечами, – ты начальник.

Гордон ещё раз внимательно посмотрел:

– Да, я – начальник.

Вышли – к цветочкам, сели под тень от дерева.

– Выкладывай...

– И вот взлетаю я, взлетаю высоко...

– Не понял...?

– А что понимать-то? – осклабился, – и что выкладывать? – Уйти не могу, со мною, во мне, такое чувство, что-то происходит, меняется, а мне уже всё равно... Мне уже всё равно, понимаешь!? – неожиданно крикнул задрожавшим голосом. – Я даже хочу этого! – выдохнул. Продолжил: – Вот только уж очень мне непонятно, как ты собираешься получать разрешение на свою вакцину при таких побочных явлениях? Может, объяснишь?

– Ну, во-первых, – осторожно начал начальник, – препарат был-таки грязным, просто очень грязным, со многими добавками. Это сыграло существенную роль в изменении поведения кур. Возможно, повлияло и на тебя тоже... Но! Ведь ты помнишь, в каком

положении мы оказались? У нас не было ни капли времени! Мы были вынуждены использовать новое, недостаточно проверенное вещество и таки доказать силу вакцины!

И самое главное – теперь изобретение Владимира позволит так очистить препарат, что о побочных эффектах можно будет забыть. А нежелательные явления без подпитки пройдут сами собой.

– Как у тебя прошли руки?

– Шесть пальцев у меня с детства.

– Ты меня за дурака считаешь?

– Не за гарвардского профессора, но и не за дурака. В общем, так, делаем два удачных опыта в изоляторе и выходим на полевые испытания.

– А после?

– После и подумаем, – хлопнул помощника по колену, поднялся, – а хочешь, возьми отпуск! Париж, Лондон, а? Ну, пока, поеду...

– Нет, не поедешь.

– Не понял?

– Ответь, что со мною происходит?

– Я тебе что, врач? – рявкнул. – Иди, лечись!

Владимир изменился: в глазах лихорадочный блеск, похудел, побледнел, говорит скороговоркой:

– Это просто вопрос выживания, вопрос выживания, это не выпендрёж, кроме технологии производства экстракта у меня в руках ничего нет! Я всего лишь ищу средства к существованию, не больше, чтобы были во мне заинтересованы! И не отдать не могу, а как отдал – в ауте. Ведь моя фамилия нигде не фигурирует! Гордон наглеет, жмёт, ох, он и волчище, представляешь, я, кроме всего прочего, работал для него над определением последовательностей в гене, осталось немного – он вынырнул, говорит – стоп, хватит.

– Почему?

– Ну как, определив все последовательности, я буду обладать той же информацией – вот он и забил тревогу, хочет быть единственным. Кусочек тому, кусочек другому, а полные знания только у нашего с тобой друга. Хи-хи-хи, – мелко затрясся, – но меня не обманешь, не обманешь...

– Стоп, – сказали Льву.

Тот оглянулся:

– А, это опять ты?

– Ну, я, а ты что – против?

– Да нет. Просто стали часто встречаться, прямо как родственники...

Нищий не обратил внимания:

– Душа горит! – крикнул. – Душа! Позор!

– Это почему же?

– «Нобеля» дали не тому! «Букера» дали не тому! Даже «Триумф» – и тот дали не тому!

– А ты при чём?

– Я? Если хочешь знать, я уже в семидесятые годы писал о судьбе своего поколения! А мой друг?! Правда, он женился и уехал

в Чебоксары... И работал там дворником – мы были очень талантливые, но нам не было места при советской власти.

– Получается, ты хочешь, чтобы «Нобеля» дали тебе?

– Если мечтать, так уж ни в чём себе не отказывать, – гордо сказал нищий.

Лев засмеялся.

– Что-то мне в тебе не нравится, парень, – нищий отстранился, – как тебя встречаю, просто болею потом. – Сказал расстроенно: – Пойду я...

Успех. Грандиозный успех: куры продемонстрировали сильнейший иммунный ответ и к тому же вели себя абсолютно нормально.

Из-за этого Владимир возгордился так, что почти сошёл с ума, а Гордон вообще взлетел, как на крыльях – написал статью в лучший научный журнал, вместо разговоров поёт в телефонную трубку, бредит полевыми испытаниями, уже заключил договоры с несколькими киббуцами. При этом технология Владимира оказалась не только удачная, но и дешёвая, что очень повысило настроение Рауля и Дана. Воодушевлённые близкой прибылью, они предложили, не дожидаясь конца исследований, поставить в центре Иудейской пустыни курятник, прилепить к нему небольшую лабораторию, нанять арабов и начать выпуск вакцины.

Но тут с неожиданной стороны прогремел гром – услышав о достижении сотрудника, синеглазый, любящий яблоки профессор биохимии вытребовал договор с фабрикой, побежал к университетскому адвокату и, выяснив ситуацию, пришёл в ярость.

– Как ты смел отдать технологию! – неистовствовал он, готовый съесть своего подчинённого, – тут же ясно написано, – тыкал в бумагу, – «мы предоставляем обслуживание» – то есть, они получают готовый материал и только! Ты что, читать не умеешь!? Это то же самое, когда есть сейф, набитый деньгами, тебя просят открыть, ты открываешь, тебя хлопают по плечу и – до свидания. Где публикации, где научные доклады, где всё? Почему нигде не фигурирует лаборатория?

Но было уже поздно: Рауль, Дан и Гордон, оприходовав изобретение, молчаливо выстроились в оборону, оцетинившись адвокатами.

А в это время от китайских благодетелей фабрика, наконец, получила несколько крупных заказов, и люди повеселели. Под эту марку в лаборатории починили кондиционер, побелили стены и сменили линолеум. Валентин Моисеич каждый раз цепляет любимого лаборанта и рассказывает, как он работал в институте виноделия и виноградарства. Институт имел название «Магарыч», и каждый сотрудник носил с собой особый «дипломат», куда входило ровно семь бутылок.

– «Чёрный доктор», – мечтательно говорит Моисеич, – если б ты знал! Коньяк «Коктебель» – если б ты знал! «Мускат белый красного камня» – да что ты вообще в жизни знаешь!

При этом его голубые глазки сияют, а небольшой, всегда красный носик от счастливых воспоминаний краснеет ещё больше.

И вообще – опыты идут полным ходом, заказы есть, солнышко светит, но не жжёт, море тёплое, перспективы замечательные. Единственное – в машине Льва завелись мыши.

8

– Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, и вода по асфальту рекой. И неясно проходим в этот день непогожий, почему я весёлый такой...

– Понимаешь, Алиса, мне исполняется сорок лет и уже почти весь мир младше меня.

– Лёвушка, тебе грустно от этого?

– Не-ет. А вообще – да. Хотя мне почему-то кажется, что с возрастом я стал больше понимать...

– Что?

– Честно говоря, сам не знаю. Так, в общем. Мысли неопределённые...

– А я не верю в возраст.

– То есть?

– Это как штукатурка. Отслаиваешь слои, а под ними та же душа, что была.

– Ты уверена? Эх, Алечка, – потянулся, замурлыкал, – у тебя красивая грудь, попка, ножки, а если их раздвинуть...

Алиса поморщилась:

– Откуда это? – с упреком. – Я тебя просто не узнаю...

Вздыхнул:

– Да я себя сам не узнаю. Алиса, – собрался с силами, – Алиса... Давно хотел сказать... – и сдавленно произнёс, – мы разные люди, Алиса.

У Алисы задрожали губы.

– Да. Даже разных поколений. Мне кажется, нам лучше, лучше... – воздуха не хватало.

Алиса рывком поднялась, побледнела, глаза огромные, и в них он, маленький, корчится.

– Ты... ты... ты... – заикаясь, – да как... Господи, что ты за человек такой! – закричала. Заплакала.

Стремглав бросилась к двери.

Дёргает. Никак не может открыть.

Хлопнула.

Всё.

Лев обхватил голову руками – в зеркале отражается. Сидел долго-долго. Часы тикали, будто кто-то падал.

Наконец, отнял руки, встал, и медленно начал одеваться – белая рубашка, галстук, костюм, туфли.

Вышел – вечер, улица, фонари.

Вышел – вечер, улица, фонари, бейт-миркахат, одинокая Каштанка бежит. Ярко освещённый поваленный прямоугольник остановки, в нём бабки – рты невпопад раскрываются. Автобус подъехал. Сердце кольнуло – в город! В город!

Улицы замелькали: Штерн, Гватемала, Мексика...

Опомнился:

– А что город? Ну, город – скидки в магазинах, столики на улицах, пиво по одиннадцать шекелей, «лото» разыгрывается во вторник – ничто не поможет.

– Сегодня Израиль губит отсутствие еврейского единства. Но объединиться мы можем только на основе бескорыстной любви друг к другу. Этому нет альтернативы, нет! Никаких правых, никаких левых, вера, только вера спасёт! – человек на импровизированной трибуне около туалетов, рядом фонтанчик с подкрашенной водой, заплакал от умиления.

– Нет предательству Осло! Нет предательству Осло! – демонстрация с улицы короля Георга.

Ещё двести метров, и около Национального банка в белых плотных одеждах высокие, жилистые самозабвенно пляшут под ладонную дробь барабанов:

– Машиах, машиах, машиах! – бороды развеваются.

На них, перемигиваясь, смотрят джинсовые подростки, два зелёных солдата с автоматами остановились. А за поворотом, с танцплощадки «Андеграунда», перебивая всё, уже несётся победный клик Майкла Джексона.

Высокая женщина со страдальчески сжатым ртом, выбирая подходящих, конспиративно суёт им Евангелие.

Ешиботники вертятся – собирают мелочь на благостные цели.

– Ну, зачем я здесь? – подумал и вздрогнул от неожиданности.

Перед ним, почти у самых ног, картинно упал на колени молодой парень. На голове красная залихватская шапочка с пером. Протянул руки в мольбе:

– Дядя, будь другом, разменяй двадцать шекелей, очень прошу! – Рядом хихикала девочка.

Парень подмигнул:

– *Что наша жизнь – игр-ра-а-а....*

Разжал ладонь с денежкой.

– Точно, – согласился дядя, – игра. Вот только чья? – отступил на шаг и носочком ботинка ударил по руке.

Катастрофа. Настолько неожиданно, что хочется, хотя уже всё случилось – кричать. Полное отсутствие эффекта в испытаниях!

Гордон постарел лет на десять. Говорит медленно, с усилием, хватает воздух ртом:

– На этом конец. Проект я закрываю. Напишу статьи, поставлю точку и уеду. Всем – спасибо.

– Теперь это не только твой проект, – угрюмо сказал Лев, – он уже и мой, и Владимира. У нас должен быть шанс! Не спеши.

– Мой проект, – ссутулился, – моя ответственность. Завтра встречаюсь с Раулем, – и вдруг зевнул, – так спать хочу, глаза смыкаются, – ощупью, как слепой, зашарил руками, нашёл стул, сел, и опустил голову, – разбудишь? Разбудишь? – заснул.

Лев бросился к телефону:

– Надо что-то делать. Гордон совершенно раздавлен. Но что? И оцепенел. Владимир смеялся.

– Если б я знал... – хохотал, – если б я знал... – хохотал, – эти собачьи куры опять вывернулись! Продажа с потрохами! Изобретение! Ой, не могу! Раньше объясняли недостаточной очисткой, а сейчас что? Где ошибка? Ха-ха-ха! Ведь семьдесят третий белок просто уникален – в микроскопических концентрациях даёт бешеную стимуляцию! – закашлялся. – Американец паршивый. Всех втянул...

Лев, будто во сне, положил трубку – образовавшаяся странная пустота внутри побуждала к немедленным действиям. Но к каким – было непонятно. Он вышел во двор и, не зная, что делать, подхваченный призывом Моисеича, сел с ним – Моисеич пил из одноразового стаканчика чай с молоком. Прихлёбывал с печеньем:

– Не хочешь? А ведь очень полезно, а почему? – Успокаивает нервную систему. Особенно хорошо на ночь. Но не помогает, – опечалился, – старость. Поэтому беру таблетку, хлоп на бок – и не сплю, – хитро посмотрел. – Начинает действовать на работе. А это что за поц? – отвлёкся.

– Новый лаборант, вместо Рахели, – буркнул.

– А, понятно – небось, будущий учёный, надежда Израиля...

У меня целых три таких было: Валентин Моисеич, – подходят, – распишитесь тут... Я и расписываюсь. А почему нет? – и вдруг закричал, показывая на небо, – смотри! Смотри!

Над ними медленно делали круг какие-то странные толстые птицы, в которых Лев с забившимся сердцем узнал бывших своих питомцев.

– Ведь этого не может быть... – изумлённо проговорил уборщик, – куры?...

– Ну, куры, а что тут странного? – сказал внезапно севшим голосом, – в далёкий край товарищ улетаёт.

Поднялся. Откашлялся:

– Кстати, всё хотел сказать – прошло твоё время, Моисеич, не быть тебе больше начальником.

Поздно, очень поздно, звонок – Гордон. Голос вернул прежнюю решительность, но весь высох, шелестит, как сухие листья в парке.

– Считаю: куры заражены анемией. Считаю: необходимо изменить способ хранения, видимо материал проходит агрегацию: при склеивании исчезают активные поверхности.

На ближайшее время: для тебя – выбрать способ стерилизации. Для Владимира – поддержание активности препарата. На фабрике буду в семь. Жди, – отключился.

– Ишь ты, – потёр глаза Лев, – ишь ты...

Взмахнул дирижерской рукой:

Листья жгут, листья жгут, как прощальный салют, в сентябре листья жгут, листья жгут...

Наутро в лаборатории опять тёмной водой потёк кондиционер – разрисовал стены абстрактными картинками. И ещё шуметь начал. Правда, шум ритмичный, приятный.

Техники приходили – разбирали, собирали. Ничего не поняли – вроде, шуметь и течь нечему.

Грибы больше не появляются, но вместо них по углам проступает мыло пузырями. Бороться с мылом прислали Моисеича, тот молча драит, в сторону Льва не глядит – обиделся.

График работы опять напряжён донельзя – проверено уже сто вариантов, а решения проблемы так и не видно...

– Я больше не могу. Не могу. Удачных результатов почти нет, одни провалы, падения. У меня просто нет сил! – раз за разом звонит и повторяет Владимир. Периоды смеха у него сменяются бешеной работой.

И потрясшая всех новость – Рауль уволил Дана. Возложил на него ответственность за неудачи.

Лев случайно подслушал разговор Шломо Раскина с каким-то очкастым. Шломо, как всегда, посмеиваясь, говорил:

– Наконец-то сверху забили тревогу: где результаты? Вот Рауль и был вынужден кинуть дружка – а кто просил глотать пустышку? И ведь его предупреждали, так нет – принял идиотский проект, думал в одночасье всех обставить – мол, чего тут... А теперь ужом крутится – деньги затрачены, результатов нет и обратной дороги нет. Кстати, немцы под Хадерой успели построить завод нашего типа, так что лучше было начинать немедленную реорганизацию, а не прыгать – новая вакцина, новая вакцина! Тоже, приехал, – прорвалась враждебность, – мол, все вы тут слабаки, а я один стоящий – разогнался... Липа одна... Нет уж, это тебе не статейки писать.

Опять Гордон – неожиданно собрал помощников. Владимир и Лев сидят, он, стоя, молча смотрит на них.

Просипел:

– Несколько наблюдений. Первое – куры в опыте не умерли. Повторяю: не умерли. И это несмотря на то, что мы им отменили обычные антибиотики против лямпирий. Второе – не сбавили в весе. Третье – не было побочных эффектов.

Так вот, – выпрямился, – я считаю: у нас удачный опыт, – и резко бросил, – что скажете, коллеги?

– Даже так! – Владимир встрепенулся, как в былые времена. – Получается, что наши ошибки – это наши достижения? А как быть с провалом по иммунитету? А куда девать объяснения о заражении кур анемией? Нам ведь почти поверили... И что делать с действительной проблемой – агрегацией материала? Может, и это не мешает?!

– Гордон, что-то не то, – подал голос Лев, – одним и тем же фактам можно найти пятьдесят объяснений, ну, действительно, где наш семьдесят третий белок?

– Но ведь его след есть? Или я ошибаюсь? – Гордон, неожиданно заговорив полным голосом, подобрался и хищно подался вперёд.

– Ну, есть, но ведь это только след...

– Так что ж вам ещё надо? Даже в таких условиях вакцина действует! А объяснения будем искать, когда заработаем на ней.

Владимир задумчиво почесал чёрную шевелюру и вдруг рассмеялся:

– А ведь складно придумано. Молодец! Ладно, – хлопнул себя по коленям, – ты начальник. Что дальше?

– Дальше, – Гордон сел, – дальше очень просто – времени нет, поэтому в начале октября мы должны начать сразу два полевых испытания, плюс послать вакцину для проверки в Голландию. Если всё кончится хорошо, переходим к производству.

– А зачем Голландия?

– Международное признание.

– Опасно...

– Опасно. Но без них не обойдёшься.

– А где возьмём столько материала? И как его сохранить? Мы ведь ничего не успели?

– Нароботаем, – Гордон был готов, – кур для его получения уже привезли. Хотел использовать для других целей, но теперь отпадает. Второе: вакцину готовить только в стерильных комнатах. И третье – последнее: подготовленный материал немедленно переводить в эмульсию. Никакого хранения – тогда это была ошибка.

– Всё, – поднялся, – меня ждут в Технионе.

После его ухода ошарашенные Владимир и Лев посмотрели друг на друга:

– Кажется, живём? – неуверенно спросил Лев.

Владимир скорчил гримасу и развёл руками:

– Ума не приложу... – неожиданно охнул, – чёрт, что за боль! – взгляд стал на мгновение бессмысленным. Тряхнул головой – и, как освободился, – знаешь, после того извещения, у меня внутри как оборвалось, так до сих пор болит, болит...

Мошав «Сион». Семь часов утра. Гордон и Лев ждут рабочих.

– Где же они? – злится Гордон.

Подъезжает машина. Из кузова ловко спрыгивают пять тайландцев. Маленькие, коренастые. Среди них женщина. Высокий, улыбающийся выходит из кабины:

– Шалом, господа!

Тайландцы споро открывают дверь в курятник и исчезают внутри. Улыбчивый добродушно смотрит им вслед:

– Они у меня уже успели два часа на стройке поработать. Наш мошав просто преобразился с их появлением. И стоят недорого, гораздо дешевле, например, румын.

Слышит неожиданный смех и недоуменно поворачивается в сторону Льва.

– А что, хозяин – правильно, так держать! – брызгает жёлчью этот длинный, худой. – Недаром же мы из Египта вышли?

– Хи-хи-хи, – в тон разулыбался хозяин, – брось, парень, да эти косоглазые миллионерами в свою страну вернутся. Я бы сам согласился...

Отвернулся, больше не смотрит, подошёл к Гордону.

Вечер тянется, как резина. Ткнул пальцем в кнопку телефона:

– Вам оставлено сообщение... вам оставлено сообщение...

Ломкий, срывающийся голос:

– Лев... это я. Я думала... Мы всё-таки не можем... Лев... нам надо поговорить. Позвони мне... Пожалуйста.

Сжалось сердце: «Господи, если б я мог сказать, если б я мог сказать...»

Слонялся по комнате – дверь, окно, кровать, стол. В окне луна лыбится – бок объеден. Лыбится, дрянь, хоть стреляй в неё!

Слонялся.

– Может, забытую программистку навестить?

Но вовремя вспомнил злополучный тротуар около её дома – передёрнуло. Нет уж...

И таки придумал. Придумал – недаром учёный.

Дзинь в обшарпанную дверь.

– Здравсте.

– Здравсте. Проходи. Вот сюда.

По тёмному коридору вправо с толканием двери – комната, телевизор, кровать. В телевизоре звуки и голые тела.

– Деньги?

– Есть деньги.

– Подожди.

– Жду.

Появляется в полотенце, разматывает его – сиськи маленькие. Садится. В руке крем. Выдавливает на палец и смазывает себе внутри. Ноги расставила – внутрь, по окружности, внутрь. Остаток о простыни.

Лев тоже разделся. Стоит – руки, ноги, обтянут волосатой кожей, худой. Девка белокожая, быстрая. Наконец, обратила внимание:

– Ну что, дорогой, условие: туда – нельзя; так – нельзя.

– А как можно?

– Можно нормальный секс. Договорились, дорогой?

– Договорились.

Нагнулся, протянул к ней руку, потрогал – грудь. Ну, грудь. Молодая, упругая.

Усмехнулась, выпятила:

– Давно не пробовал? Ложись, чего ждаты?

Послушался.

– Оп-па, фокус! – в руках появляется изделие. Пакетик в сторону, наклонилась, прикладывает, одевает. Светлые волосы рассыпала, губы влажные. Язык.

Он застонал, шевельнулся. Она отступила. Легла.

– Сзади...

Поворачивается.

– Спину ниже...

Спину ниже.

И тут клиент неожиданно сел.

– Что сейчас?

– Не получается.

– Тоже мне... – помогает.

Лев делает несколько движений:

– Нет, ты знаешь, что-то нет...

– Со мной они связь до конца не прерывают. В случае если помощь понадобится, они, мол, дадут заказ, – и неожиданно хихикнул, – но и я им покажу фокус. Такой фокус, что они надолго запомнят!

Внутри заныло и странная, физически ощутимая пустота заполнила Льва. Он положил трубку и отсутствующими глазами посмотрел вокруг – новый лаборант Моше перебирает те же бумажки, какие перебирала Рахель, медленно тянется, медленно берёт бледными пальцами, подносит к очкам, кладёт. В открытой двери силуэт доктора Шломо Раскина, Шломо всовывает плечо, открывает рот, хочет заговорить и неожиданно выдувает большой, блестящий, как на солнце, прозрачный пузырь. Собственная рука замерла в полудвижении.

Вздрогнул, закричал холодильник, задвигались, заскрипели затёкшие ножки шкафа, засвистел, зашумел свой джаз кондиционер, и Лев очнулся – набитая предметами комната с несмываемым, пузырящимся мылом по углам угрожающе сузилась. Прошептал:

– Только одна есть защита, одна...

Дёрнулся, пошёл.

Снаружи голуби в экстазе гугаюют, а уборщик Моисеич очередные, легко разлетающиеся по воздуху, слова охраннику представляет:

– ...Сидим дома всей мишпухой, бутылочку взяли, зять с гитарой, сын с гитарой, а невестушка на скрипочке: пи-пи-пи... – увидел Льва, отвернулся.

Лев медленно двинулся к воротам и, забыв про машину, между горячими пыльными арабами направился в город.

Душно в городе. У синагог ортодоксы, как чёрные птицы. На рынке продавцы, ожидая дождь, кричат изо всех сил. Погода на изломе – тучи ломаются прорехами, расползаются, и поднимается забивающий все поры пылью ветер. А ветер сменяет наваливающаяся, нервная перед уходом, иссушающая жара. Но над её спиной, в вышине, уже опять сцепляются друг с другом набирающие силу мрачно-весёлые набухшие чернила.

Лев решительно шагнул внутрь парикмахерской:

– Вы можете меня подстричь?

– Для чего?

– Извините, это личное.

Парикмахер накинул простыню, ожесточённо заработал ножницами, потом поднёс зеркало:

– Некоторые мастера, как ни проси, стригут коротко, но я, смотрите, не такой!

– Спасибо.

Вышел наружу, глубоко вдохнул и, затаив дыхание, аккуратно, специальной защёлкой прикрепил на свежеподстриженные волосы кипу.

Дождя так и нет. Раввины в самолётах, облетая страну, молятся, призывая его. Ветер гуляет. Между порывами ветра Лев увидел понуро идущую Ханку.

– Ой, хорошо, что ты мне попался! Давно в кипе?

– Месяц.

– Понятно, – протянула неуверенно.

– Случилось что?

– Давай посидим...

– Посидим.

– Понимаешь, я сейчас встретила своего бывшего мужа. Он кормил мороженым ребёнка и расспрашивал, как я живу. Улыбался.

– А ты?

– И я улыбалась. Но дело не в этом, не в этом, всё ведь было правильно. Он мне не нужен.

– Так что?

– Я вдруг увидела близко его руку, ту, которой он кормил ребёнка. Оказалось, я помню её до мельчайших подробностей, – помолчала, – ведь он меня этой рукой всегда обнимал во сне. – У меня сердце дрогнуло. Просто провалилось. Но он, слава богу, не заметил...

Лев пошутил:

– Это перформанс. Не хуже, чем пожар. И какая милая деталь! Рабинович тебя так не обнимает?

Ханка оцепенела, открыв рот:

– Не знала, что ты такая скотина! – выговорила с трудом.

– А что я сказал? – разозлился, – смотри, – рванул воротник, – может я вообще божий человек, мезузу на шее ношу.

Ханка вскочила и бросилась бежать. Наконец, в это время наш единственный строгий Бог смиростивился – прогремел громом, полил наискось ноябрьским дождём, и ветер подхватил и понёс, всё убыстряя и убыстряя, вытянутые капли.

Лев озадаченно посмотрел Ханке вслед, сделал шаг и, неожиданно сбитый усилившимися, резкими струями, упал. Покатился. Попытался подняться – не получилось. Пополз.

Удалось встать только под навесом над входом в магазин. Усатый хозяин говорит:

– Кофе хочешь?

А сам посвистывает-поглядывает, поглядывает-посвистывает. Лыбится – когда человек не то делает, такой смешной!

– Ну что за дела! – Лев расстроился и на хозяина не смотрит. – Даже дождь сбивает! Может, провериться?

Побежал к дороге.

Притормозило такси:

– В больницу!

Сел и закрыл глаза, успокаиваясь. Досчитал до десяти, потом до двадцати, открыл, огляделся – такси вёл религиозный человек. Заложил пейсы за уши, одной рукой за руль, другая книгу держит. Машина внутри вся обклеена молитвами.

Лев, посмотрел на водителя с интересом.

– Извините, уж очень хороший комментарий... – почувствовав взгляд, но, по-прежнему не отрываясь от чтения, рассеяно сказал тот.

– Почему вы на дорогу не смотрите?

– Дорога привычная – Бог ведёт.

– Ага, понятно. А скажите? Вот я, например, уже месяц, как *мицвот* соблюдаю. Когда благодать нисходит? Через какое время?

Водитель с трудом отставил книгу и повернул голову к пассажиру.

– Да, и ещё: как к раву попасть? К хорошему раву? Они как раз сейчас с самолётов сходят. А то я уже везде побывал – и в публичном доме, и у колдуна, сейчас к доктору еду. А вот у раввина так и не случилось.

В больнице не было очереди, но и доктор не принимал. Лев устал ждать и влез прямо в окно.

– Куда вы? – недовольно спросил бородач в халате, – я всем сказал, что обедаю!

Вместо ответа посетитель снял рубашку:

– Между прочим, я деньги плачу.

Эскулап недовольно поджал губы:

– Ну что с вами делать. Ладно! Но только в виде исключения.

Осмотр продолжал недолго:

– Ничего не понимаю: у нас ведь обычно как – всё расписано... что против сердца, что против почек. А когда чуть не то, или всё вместе, я путаюсь. У вас же вообще – внутри пустота, гул какой-то. Сходите лучше к доктору Спектору, он вам что-нибудь или вырежет, или вставит.

– Я был, – вздохнул Лев, – но мне не по карману. Да и не актуально это уже.

Вышел. В близких окнах коридора арабка и еврейка синхронными движениями показывали, каждая своему ребёнку, ворону на дереве. Ворона недовольно каркнула и улетела.

Ещё две женщины рядом остановились. Одна полная, другая худенькая. Худенькая говорит полной:

– Суставы – это всё. Суставы – это всё!

– Что ты, милочка, – удивляется полная, – самое главное – холестерол!

Лев молча смотрел.

– Душа главное, – пробормотал. И застыл ошарашенный. Он вдруг понял.

– Здравствуй, мой дорогой религиозный коллега! – Гордон. Белозубая улыбка, уверенный, вальяжный. – Есть новость, – поддёрнул выглаженные, со стрелками, брюки, сел напротив, – у нас изменились обстоятельства.

– Знаю.

– Уже... От Владимира?

– Да.

– Та-ак... И что же он тебе сказал?

– Работа закончена.

– Для него. Но не для тебя. Надеюсь, ты разумный человек и его увольнение не меняет твоего отношения к проекту?

– На всё воля божья.

В глазах заблестели искорки:

– Ну да. Короче – ты мне по-прежнему нужен.

- По субботам я больше не работаю.
- Не работай. Мы поворачиваем в сторону биотехнологии. Наберём новых специалистов, а Владимир свою задачу выполнил.
- Так вы не продаёте?
- Продаём, – ответил с готовностью, – производство, а пока его будут запускать, потихоньку всунем 73-й белок в... допустим, кишечную палочку. И с этой поры нам не нужны будут ни куры, ни курятники, ни «Интервет», только инкубатор для производящих вакцину микробов. Кстати, – Гордон подмигнул, – давно хочу тебя клонировать, понаделать дубликатов. Такую работоспособность не всегда найдёшь...
- Плохая шутка.
- Ну, извини, извини, – совсем развеселился, – выпишем тебе лаборантку.

Алиса. Подошла к машине.

– Лев... Я... я вообще даже не знаю, зачем я здесь. Но мне кажется, тебе нужна помощь. Я звонила, – добавила торопливо, – у тебя телефон не работал.

Лев ссутулился, быстро открыл дверцу.

– Подожди, – она задержала рукой, – ты так и уедешь?

– Да, – сказал чужим голосом, – зря волнуешься: всё у меня нормально – работаю. Работа интересная, – и добавил, чтоб совсем закончить, – а ты чего? На автобус не хватает? Двадцать шекелей тебя устроят?

Алиса покраснела, отшатнулась:

– Извини, – сказала тихо, – я больше не приду.

Лев хлопнул дверцей:

– Прощай.

Зажёг фары. Включил зажигание. Выехал. И рванул по дерех Хеврон, так что в ушах засвистело.

Высохший стебелёк торчал в решётке, он накрутил его на палец, вытянул и, чуть помедлив, щелчком пульнул в окно. И тут почувствовал движение – по педалям и по ногам зашныряли мыши.

С белым от злости лицом замедлил ход и, остановив машину на обочине, ногами стал давить тварей.

Испуганные мыши пищали и беспорядочно метались из стороны в сторону, а Лев топтал, топтал. Наконец удовлетворился и, забрызганный мелкой кровью, поехал дальше.

Доехал. Поднялся домой и, открыв дверь, мрачно посмотрел внутрь. Вошёл. Включил телевизор:

...Взгляни, взгляни в лицо моё суровое, взгляни, быть может, в последний раз...

Выключил. Напротив, в окне, мужик в трусах сидел на диване. Толстый его живот стекал на пол. Лев задёрнул шторы, пошёл к кровати, лёг. Уставился в потолок. Мыслей не было.

Заснул – приснилось: он в «скорой помощи» на носилках, вокруг с добрыми морщинистыми лицами санитары в красных халатах, «скорая» носится по городу, но ни одна больница не принимает – санитары перешёптываются и сокрушенно кивают головами.

...Как из омуты выплыл – звон в ушах. Встал. Потряс головой. Посмотрел на всякий случай на себя в зеркало – одежда в пятнах. Медленно снял кипу. И смял в руке.

10

«Здравствуй, Лев!

Так как я заболел, и поэтому в последнее время мы перестали встречаться, то решил написать тебе письмо (адрес для ответа на конверте, если забыл куда приходить).

Врезаясь в разговор, вот о чём хочу сказать – про гинеколога и лодку всё враки! Ха-ха-ха, а ты верил. Но это ладно... На сегодня я материально обеспеченный народом поэт со стажем и ни в чём не нуждаюсь, кроме общения и сочувствия. Так вот, просматривал старые бумаги и нашёл свой потерянный, ещё с 50-х годов, стих. Тут на меня и накатило... Подумал, подумал и, надеясь на своевременную доставку, решил послать тебе. А так как творить в «пустыне» очень сложно, буду рад критической рецензии. Спеша на почту – закругляюсь.

Твой давний знакомый П. Г.»

Наступал вечер. С синего небесного покрывала светили редкие звёзды. Место для могилы было уже вырыто, и тело нищего, завёрнутое в белую материю, лежало возле.

Десятеро посмотрели друг на друга, двое из них нагнулись, подняли тело за ноги – плечи...

– Сто-оп!!! – с удивлением оглянулись: к ним бежал высокий худой человек. – Подождите! Подождите! – подбежал – задыхается, пот вытирает, – уф, едва не опоздал... Едва не опоздал!

И тут заглянул в яму:

– Да вы...! – Опять задохнулся, – да как вы смеее?! – и сорванно-жалко закричал, – я на вас в суд подам!

– Ты что мелешь, дурак? – разозлился самый чернобородый, руки, как деревья.

– Да как вы не видите?! – с отчаянием сказал бежавший, – здесь же мелко! Мелко!!

Неожиданно схватил лежащую рядом лопату, прыгнул вниз и со скрежетом вогнал остриё в каменистую землю.

– Я его единственный друг. Друг! У него больше никого не было! – вылетали слова.

Долбил, долбил, долбил. Десятеро смотрели ошарашенно.

Наконец, цепляясь пальцами за край могилы, подтянулся, вылез. Встал, грудь ходуном ходит.

– Теперь можно? – угрюмо спросил чернобородый.

– Да.

Опустили. Завалили камнями. Нараспев:

– Да будет возвеличено и свяtimo великое Имя Его...

...И скажите: Амен...

Пошли.

– Рано темнеть начинает, – вздохнул один.

Лев, совершенно обессиленный, плёлся следом. Уже на выходе из кладбища в который раз вытащил письмо, раскрыл:

*Было тучами небо затянуто,
То ли дождь моросил, то ли снег.
И на чёрном асфальте заплаканном
Кровянился неоновый свет...*

*А сегодня совсем по-весеннему
Расплескалась Нева под мостами.
И троллейбус, как конь карусельный...
Цокает весело ...*

Жду письма весьма... весьма. Твой старый знакомый П. Г.

Судорожно скомкал:

– Глубины маловато. Умер, а глубины маловато – я так не умру.
Начинающийся дождик капал на белеющий в темноте листок и смывал чернильные буквы.

Ворота кладбища захлопнулись.

Накрапывало. То темнело, то светлело. Накрапывало. На фабрике – беда. Мыло, вначале появившееся в лаборатории, распространилось и теперь проступает всё больше и больше. Расшатываются перегородки, взбухает линолеум, недавно обвалился склад. Производством уже давно никто не занимается, все ожесточённо дряют полы – пытаются убрать мыло. Но оно вскипает пузырями и наутро его всегда больше, чем вчера. Люди ходят какие-то ошарашенные, изумлённые. Приглашали раввина, тот сменил мезузу на двери. Приглашали каббалиста, он читал молитвы и вешал амулеты. Потравили тараканов – не повлияло.

А в лаборатории дополнительная проблема – без конца течёт кондиционер. Внутри него слышны какие-то сложные шумы, хрипы, стуки. Голоса появились. Такое впечатление, что внутри сидит целый оркестр и усиленно готовится играть.

– Этот идиот Владимир, ты знаешь, что он сделал?

– Что?

– Он уничтожил все журналы с опытами. Он сошёл с ума! Я требую судить его! Судить!

Владимир с гитарой приоткрыл окно, строго посмотрел и перекинул ноги с подоконника на крышу. Был светлый день в декабре и ветер мотал белые полотнища. Владимир подошёл к краю: внизу заходили и выходили из домов маленькие люди. Некоторые бежали к остановкам и садились в раскрашенные автобусы. Очагами вспыхивали музыка и смех. Неразбериха была внизу, и это ему не понравилось. Владимир проверил запас еды и благородно двинулся. Примерно через час сел на какой-то выступ, скупое поел и задумчиво легко тронул струны. В глазах его отразилась детская радость.

– Разрешите присоединиться? – перед Владимиром оказался небольшой человек в синем комбинезоне, одну руку спрятал за

спину, в другой держал дёргающийся под порывами ветра раскрытый зонтик, – меня зовут Григорий, когда-то я тоже так ушёл.

Владимир прищурил глаз и посмотрел:

– Разрешаю, – сказал важно.

Иерусалимское кафе «Тмоль Шильшом». Книжки составляют интерьер. На чётных столиках таблички «Писателям скидка», на нечётных – «Писатель в скидках не нуждается». Так как все места заняты, Лев сидит в углу, в кресле, столика перед ним нет, ждёт заказ. Звонок! – схватился за пелефон.

– Надо встретиться...

– Это ты, Гордон?

– Да, – голос Гордона был глуше, чем обычно.

Пожал плечами:

– Встретимся.

– Не на фабрике. Поедем к арабам в Абу-Гош.

– Это ещё зачем?

– У них там хороший ресторан.

– Ну и что?

– Поговорим.

– Кто б возражал, но почему именно туда?

– Так я хочу.

– Хочешь... Гордон, что случилось? Алло? Алло?! Не слышу!!!

Да подождите вы с вашими блинчиками!

Высокий, бело-чёрный араб с усиками небрежно подал меню:

– Господа?

Гордон, словно надевший непроницаемую маску на лицо, буркнул:

– Выбирай...

Лев не пошевелился.

– Ладно, я сам. Отпразднуем, так сказать...

– Это конец? – спросил. Отстраненно спросил, сам себе удивляясь.

Вместо ответа тот откинулся назад и задумчиво посмотрел в окно – в окне наблюдался тёмный вечер, и по дорогам его ездили машины с фарами. Гирлянды разноцветных лампочек снизу освещали вход. Серая кошка, выгнув до предела хвост, подошла и ласково потёрлась спиной о ножку стула.

– Гордон!

– Да?

– Ты мне не ответил!

– Подожди...

За соседним столом вели тайные переговоры начальники разведок Израиля и Арафата. Хмуро смотрели на соседей. Широкие листья винограда образовывали естественную крышу открытой террасы и как бы придавали интимность происходящему. Начальникам принесли шашлыки. И за счёт заведения хумус.

Гордон медленно повернул голову:

– Очень давно я защитил диссертацию и остался в Университете. Читал лекции, вёл семинары, получал спокойные, хорошие

деньги. И так продолжалось... ну, скажем, достаточно долго. Размеренная, немножко однообразная жизнь. И вдруг мне приснился сон. Не особо приятный сон, что меня сбивает машина. Утром встал, не по себе, конечно... Но мало ли что может присниться? Добрался до работы, идёт мой коллега и так странно на меня смотрит... Разговорил я его... Оказалось, ему тоже приснился сон. И какой! Сон, в котором я, именно я, попадаю в аварию. А потом мне встретились ещё двое по дороге и опять сказали! – Я обомлел. Бросил всё, вызвал такси, сидел в нём, мокрый, как мышь, с трясущимися от страха руками и ногами. Во мне возникло ясное, осознанное до ужаса, ощущение неотвратимого конца... Меня оставили жить! – внезапно крикнул, резко перегнувшись, почти ложась на стол, – ты это понимаешь?! Меня всё-таки оставили жить!! С единственной целью – чтобы я сделал что-то важное, такое важное, что никто не сможет! И я пошёл по пути! Я не считался ни с чем!! Меня нельзя обвинять! Я думал, у меня с Ним договор! Я был уверен! Как я был уверен... Лев! – схватился за голову, – вчера всё рухнуло, вчера всё изменилось... Я как учёный... – замотал головой. – Лев, ты один остался, только ты сможешь понять...

– Что, что случилось??

Гордон, не слушая, забормотал дальше:

– Мне было обещано, я так почувствовал – всё-таки отмена приговора, я должен был выиграть! Я многому научился, я сам почти... – осёкся.

– Гордон, что произошло?

– Побочные явления, – Гордон налил и отпил залпом воду, – согласно моей теории, они исчезают после очистки препарата, и так действительно было! Я же проводил опыты, у меня всё записано, – его лицо передёрнуло нервным тиком, – но вчерашний день... И это тогда, когда мы добились абсолютной очистки! – неожиданно остановился. Судорожно глотнул. Глаза расширились, уставились куда-то за спину Льва. – ...Но как учёный, я, я... – голос окреп, и он сказал почти с бешенством, – возьму ответственность на себя. Слышишь, ты, лаборант! Я запущу производство! Свою часть договора я выполняю!

У Льва потемнело в глазах, ему катастрофически стало не хватать воздуха:

– Мы же всех заразим!!

– Ну-ну, – Гордон сухим шелушащимся треском рассмеялся, – это ещё неизвестно. Прежде всего, необходимо закончить разработку. А погрешности, как всегда бывает, устраним в процессе производства.

– Нет.

– Что-о?

– Нет, – Лев еле дышал, – я ухожу.

Гордон остолбенел:

– Но ты не можешь! Не можешь! От меня никто не может уйти!

– Могу, – прошептал и с усилием, как бы ломая в себе что-то, добавил, – теперь могу. Я – освободился.

Гордон оскалил зубы:

– Так ты собираешься бросить проект в такой момент? И это после того, сколько я в тебя вложил? Ты не смеешь! Я повторяю – ты не смеешь!!

– Смею, – с каждым словом Льву становилось легче, – смею. Смею!

– Ничтожество! – глаза Гордона стали дикими, он зашипел, – это тебе не простится! Не простится!

Лев поднялся:

– Единственное, Гордон... Жаль, что ты до сих пор не понял – нет никаких договоров, Гордон, нет. Есть только игра.

Лёгкий скрип в воздухе. Ещё раз. Ещё. Чуть накренилось здание фабрики, где была многострадальная лаборатория... Застыло так. И медленно, нехотя повалилось. За ним повалилось административное здание и что осталось от склада. Освобождённое мыло выплеснулось потоком, сорвало ворота, закружило обломки и вынесло их на дорогу к Рамалле. Захватив с собой будку охранника. Борис Ефимыч, как всегда дежуривший по шабатам, еле выпрыгнуть успел. Весь в пене, задыхаясь, выбрался на берег.

И услышал, как от единственной уцелевшей, не упавшей стены с сохранившимся на ней кондиционером доносятся какие-то хриплые звуки:

– ...Крокодилы делают это, бегемоты делают это...

– А ну, заткнись! – внезапно разозлившись, сказал грозно и стащил автомат с плеч, – я кому сказал! Ах, ты так, сука! – и, не думая, – получай!! – автомат затрясся в руках и послал длинную цепь пуль.

Кондиционер замолчал.

– Порядок, бля, – удовлетворённо сказал Борис Ефимыч и с чувством выполненного долга посмотрел на часы, – смена кончилась.

В покачивающейся на волнах мыла будке его картонный сменщик занял место у окна.

Вечером Лев пришёл к зоопарку – сверху изо всех сил сияли звёзды.

– Я последний сегодня? – спросил у сторожа, стоящего тёмным силуэтом в синем прохладном воздухе.

Тот посмотрел на часы:

– По-видимому, да. Ваш билет? Всё должно быть по правилам.

Лев улыбнулся:

– Я не против. Подождите! – и внезапно, – вы слышите? Слышите?!

– Что?

– Песню... «И залпы башенных орудий в далёкий путь проводят нас...»

– Н-нет...

– Что ж, тогда это только для меня, – подмигнул, – какое уважение... Да! – покопался в сумке, – вот записка, передайте Алисе, девушка такая есть, скажите ей... а впрочем, не надо – просто пе-

редайте. – Запрокинул голову: «Эй, Ты! Ты слышишь?! Я сам решил! Я – решил! Я выиграл!»

– Лев...

Лев обернулся и чуть не упал.

– Ты извини, но я пришла. – Перед ним стояла Алиса.

– Как... как ты узнала? Тебе нельзя, – выдохнул, – тебе нельзя.

– Но почему?

– Я... я... я приношу боль, несчастья, я могу заразить чем-то таким, что сам не понимаю. Прошу тебя, оставь, уйди!

– Идиот! – она так крикнула, что он вздрогнул и растерялся. – Господи, какой идиот! Что ты нагородил?! Куры, судьба, гадание... И сам поверил? Поверил?! Решил соответствовать! Эгоист! – У него в голове взорвалась бомба. А у Алисы из глаз брызнули слезы, и она заревела, как ребёнок. – Дурачок, я же люблю тебя! – Всхлипывая, бросилась, вцепилась кулачками, затрясла. – Не отдам, не отдам! – подняла заплаканное лицо. – Ну, что ты стоишь! Мне так страшно здесь, давай поедem домой, ну, давай? – и мягко, но решительно потянула за собой. – Вот, вот, вот так. – Лев двинулся, как манекен. – Один шажочек, другой шажочек... Один шажочек, другой шажочек... Пора нам.

У него запершило в горле, он поперхнулся и закашлялся. В ушах зазвенело. Потряс головой и удивлённо осмотрелся.

Раздался недовольный голос сторожа:

– Сколько я буду ждать?

– Да пошел ты...

Накрапывало. На обломки фабрики, как снег, опустилась стая птиц. Лизонька, убрав со лба волосы, привычно прошлась по струнам. Подняла голову, подмигнула, и первый тенор с изумрудной серёжкой задорно запел:

...Моя Марусечка, моя ты куколка...

Моя Марусечка, моя ты душенька...

И весь хор грянул:

А жить так хочется, моя Марусечка...

Мир улыбался.

1998 - 2000, Иерусалим

Игорь Бяльский
НА УЛИЦУ ХЕВРОН

* * *

Владимиру Фромеру

как эта собака нерусской однако породы
конечно нерусской но северной что ли лохматой
томится у двери в ночи духотою объятый
не в силах убраться подальше от этой погоды

и молча ложится на как бы холодные плиты
такими глазами глядит что недолго и спиться
и можно конечно смеяться границы открыты
да только и там заграница везде заграница

как эта собака вздыхает и дышит неровно
дискретно сказал бы когда б у нерусского слова
значения здесь не случилось и вовсе иного
такого что даже себе не признаться дословно

забыться конечно забыться и вновь засыпает
готова сорваться на зов безусловного знака
и в плиты скребётся и логово что ли копает
его-то и здесь не случилось как эта собака

но вот уже мчится сквозного глотнув кислорода
хранимый смышлёною грустью нерусского фавна
хозяин не этой собаки а всё же забавно
и даже по-своему славно и тоже природа

ни внутренний голос ни поиски внешнего вида
баранка зажата в руках и в зубах сигарета
и мимо летит филистимских глазниц минарета
и мимо подсвеченной загода башни давида

о чём же грустится ему ни гэбэ ни шабака
чего он казнится куда он болезный несётся
от жизни конечно двоится но всё удаётся
ну скажем почти удаётся а эта собака

да ладно собака подумаешь тоже морока
зачем он глядится в руины библейского мрака
конечно любовь состоит из любви и порока
а вот из любви и любви как эта собака

ПОТОМУ ЧТО ЖИЗНЬ

* * *

Потому что жизнь всё же – не *что*, а *как*,
и уздечка – из кожи именно, а нейлон,
может быть, и прочнее даже, но мой резон,
что и лошади тоже – в коже особый смак.

А особый смак – он и есть настоящий вкус,
или жизни вкус, заходя на расхожий слог,
говоря о кайфе, молодости и плюс
о самой о жизни, если, конечно, смог.

А тем паче – всаднику. Что это за Чечня
или Иудея, что ближе, да и родней,
если глянешь – раз, и обчёлся лихих коней.
Ни коня уже настоящего, ни ремня.

Обсчитался, стало быть, перенадеялся
на Всевышнего, на удачу, на чёрт те что.
И печёт, и мороз по коже, и мчит авто.
И по свету дорог не хожено – жизнь вся.

* * *

Говоря о коже, продолжу ещё о ней.
Мне рассказывал дед, на первой на мировой
до шести воевали бой, ну а в шесть – отбой.
И они свежевали с братом убитых коней.

И меняли шкуры на шнапс, и айда в запой,
и братались с теми же немцами потом.
А наутро пели: «Смело мы в бой пойдём!..»
Или это уже на Гражданской про смертный бой?

* * *

Нет, про смертный позже, это без лошадей,
на второй, где конницы даже и след простыл.
Дед ремни тачал на весь на чарджуйский тыл,
а в тылу освенцимов снимали кожу с людей.

С иудеев, по большей части. Такой народ.
Из него, что хочешь – универсальный люд.
И на суперфосфат годится, чего уж тут...
И на абажуры. И золота полон рот.

* * *

Вот и встало мемориалов. Полвека – ах...
И в улыбках светится что ни на есть фарфор.
И о золоте, как же, если уж разговор.
О коронках тех переплавленных и счетах.

«Всё равно не любят – пускай хотя бы вернут...»
И за мир сейчас же, в обмен, до любых глубин.
Включишь новости – что ни день, а сюжет один:
ах, убит солдат... и далее – курс валют.

* * *

А закат падёт – занимается новый тур.
Тары-бары, базар-вокзал. А из новых эр
аказм торчит, а там уже бэтээр...
Не земля – набор чужих аббревиатур.

И вжимается свой шесток, предъявляя счёт.
Если знаешь, скажи, пожалуйста, не молчи:
от чего алеет Ближний Восток в ночи?
Светофоры, понятно, кровь. Но что-то ещё.

* * *

Заведи машину в праздник осенних дней
и листай эпохи, себе и Дубнов и Грец.
Тут стоял дворец, а здесь погребён мудрец.
А на этой ферме прокатывают коней.

Ты усадишь сына в пластмассовое седло,
да и сам в такое же, и в семенящий зной –
по земле родной, не тобой отвоёванной,
круговой тропой, пока зады не свело.

Дед бы вытачал, как положено. Он умел.
Это грамоту – он не очень, а кожу знал.
И семью кормил, и в лагере не пропал,
и на воле пел, а вот сюда не успел.

* * *

Потому что век – чужих коней стремяна.
Потому что внук, и ещё, и свой сад.
Там его деревья уже без него стоят
и сегодня, в послеимперские времена.

В самоволку к ним сбежал в свой последний раз,
у врача дежурного всё-таки отшутясь.
А потом и бабка рядышком улеглась.
Вся любовь. Как сказали бы раньше, «и весь сказ».

Ни коней. До больницы тоже довёз трамвай.
На еврейском кладбище с деда какой спрос?
Он с одесской вишней давно в небеса врос
и оттуда зрит на шагреневый мой край.

Хорошо с небес видать первородный храм.
Что скала под куполом или господень гроб?
И колхоз любил он. Не то чтоб деньгу грёб,
но себе на памятник сам заработал, сам.

* * *

О любви и хотел сказать безо всех саг,
что, империи если даже сменяются,
Иудейской нашей войне не видать конца.
Потому что любовь, любовь. Остальное – так.

НА УЛИЦУ ХЕВРОН

...на улицу Хеврон. Вдоль синагоги
в тени таких архитектурных вилл,
что я и сам купил полуподвал.
А выше проживают полубоги,
полубогини... Иностранец Билл,
спецкор от CNN, и та же Хана...
Прочёсывая города и страны,
на иерусалимский карнавал
(вы поняли, что речь о фестивале)
она привозит всяческих Ла-Скал.
Как жаль, что вы их тоже не видали.
А этот плющ по розовой стене...
Но я сказать не собирался, кроме
того, что в этой солнечной стране
я тоже грезил об отдельном доме.

...на улицу Хеврон. А сам Хеврон,
где Ирод обустроивал гробницы
и праотцев надёжно оградил
от, в общем-то, не золотых времён,
отсюда в километрах сорока,
ну, тридцати. А стоит ли молиться
святыням наподобие могил –
вопрос отдельный; прошлые века
его не разрешили, да и этот,
уже прошедший век не разъяснил.
Что ни еврей – то свой, отдельный метод.

...на улицу Хеврон. Или, буквальной,
на улицу «Дорога на Хеврон»
ежевечерний мой поход недалний
картошки прикупить и макарон,
а говоря ещё исповедальней,
и прочих ед. Десятка два ступенек,

свернул на переход – и снова вниз.
Тому назад, любви безумный пленник,
я прочитал: «Нет денег кроме денег».
Теперь я уточняю: кроме «виз».
Во чреве придорожного продмага,
Где полки ломаются дарами юга,
кредитной карточке иной предел –
слоёный, марочный, сырокопчёный.
Вези, тележка, всё, что углядел
репатрианта разум возмущённый.
Терпи страна, живущая в кредит.
Своё она всегда возьмет, природа.
Кого из нас не переубедит
Добыча ежедневного похода?
А впрочем, он уже еженедельный.
Но о машинах разговор отдельный.

...на улицу Хеврон. Поток машин
не так уж и силён, когда солдаты,
просматривают теудат-зеуты
и сумки зажигательных мужчин
из города Хеврона, где когда-то
и сам Давид семь с половиной лет,
помазанник, но также и поэт,
в те годы лучший друг филистимлян,
свою родню уничтожал как вид –
хромых и прочих без толку горячих,
слепых и, чтобы неповадно, зрячих,
любил и пел, плясал и воевал,
покуда всё-таки не основал
столицу повсемирнее Хеврона.
В ней жив и я почти непринуждённо
с тех пор, как оборвалась связь племён
в душе, не говоря уже о карте.

...Поток машин не так уж и силён,
особенно весной, точнее, в марте,
когда почти военные солдаты,
с иголки одеты и обуты,
рассядутся с утра на остановках
при амунициях и при винтовках
автобусные сторожить маршруты
уже наутро после похорон.
Но ждут, скорей, не утоленья мести,
а тихо бредят выигрышным «Лото» –
пускай не пять, хотя б один мильон...
И вот, со всей своей страной вместе,
я выхожу на улицу Хеврон.

ПОГРАНИЧНОЕ

на краю столицы и значит всему свой край
а теперь уже на границе поскольку пошёл процесс
по холмам струятся отары чужих огней
в тишине заполняя поры ночных небес
эти тысяча и одна ночь а потом дней
за арабских принцесс я спокоен за них да
а у наших иные сказки покой рай
и повсюду повсюду наши туда-сюда
на границе добра и зла и другого зла
на краю последнего города и мечты
осушив до дна улыбаюсь уже дотла
ни луны вокруг ни полиции только ты
и твои стихи от мужского чьего лица
и твоё лицо ботичеллиевских мадонн
или это бог ко мне возвращается
или это рок отлучается за кордон
за границу прожитых в этой и той стране
человеколет моих нечеловеколет
не болит и похоже дело идёт к войне
вот и тело тоже сказала физкультпривет
на границе любви-крови весны-красны
на краю что даже и камень взорвется рыж
ты стоишь со мною печальная только сны
ты сидишь со мною прощальная а лежишь
ну а миру конечно мир и любая твердь
на свету во тьме подымайся и падай ниц
если жизни нет не имеет значенья смерть
если смерти и предела нет а границ
и твоих ресниц а волос нерассветный дым
вдалеке приснится во сне и сто раз на дню
и когда по новой отстроят ерусалим
и когда я буду свободен и позвоню

* * *

Парк независимости. Фейерверк.
Народное гуляние евреев.
И лысый панк и бородатый клерк
Струят восторг неядовитых спреев.

Мой независимый народ объят
Безалкогольной радостью до пят,
Или, скорее даже, до макушек.
И наши чудо-головы легки,
Как эти надувные молотки.
Ударнее не выдумать игрушек.

Как долго не стихает людыход,
И хороводы образуя даже.
И пишет мой народ наоборот,
А пляшет, кто его поймёт, куда же.

...На то был вечер, а уже с утра
Машины понесутся на природу,
Где моему любимому народу
Пора мангалы выдать на-гора,
Расслабиться и закусить по ходу.

На фоне государственных флажков
Во цвете лет запечатлеет «Кодак»
День независимости шашлыков
От предвоенных сводок.

* * *

боюсь боюсь боюсь бабочек

и выровнять заново смысла почти не теряя
уже не по центру а снова от левого края
по новой почти что живые слова повторяя
лишь переставляя
конечно же можно их перерасставить равняя
по левому краю и смысла уже не центруя
а вновь группируя
почти не ушедшего смысла уже не фильтруя
отчасти рифмуя
живое
почти не ушедшего ада ушедшего рая

СОНЕТ

подвесить наверху аэростат
и ну его хермон ко всем хевронам
и телекамерой скользить по склонам
а те пускай ползут куда хотят

и заряжать комиссиям оонам
европам и америкам подряд
о всех передвижениях солдат
по самым спутниковым телефонам

а лыжи тоже в альпы и карпаты
ничуть не хуже члены упражнять
не скифы же и не единым хлебом

не азиаты нет лауреаты
народам землю а евреи небом
его пока и не на что сменять

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИНТЕРНЕТЕ ПОСЛЕ ЭКСКУРСИИ В ТУННель ХАСМОНЕЕВ

Владимиру Друку

* * *

...а хотя бы и подземелий, что вдоль Стены.

Загасив компьютер, выйдешь на белый свет.
Виртуальный – ладно. Собственно Интернет
негасимо прёт наружу из глубины.

Что касается дум, свобод и сибирских руд,
эфиоп запросит (кстати, и депутат).
Поглядишь на город, а Тит уже тут как тут,
с моего холма на Храмы заносит взгляд.

* * *

...полководец – да. При чём тут «антисемит»?
Разливая бренди, именно «Би-Би-Би»,
это мне говорит Поэт: Давида люби.
Ну а мне, чем Биби, даже и царь Давид.

Все грехи его – каких-то пяток страниц,
комментированных, к тому же, три тыщи лет.
А вон тот из Гомеля, Винницы, Черновиц –
не родной ли брат, не собственно Интернет?

Эти залы, ходы, проходы, туннель, проём,
и прощальный вид на любимую со спины.
На исходе, но нет, не выходе – о своём
в подземельях, как было сказано, вдоль Стены.

* * *

....и начала нет. Какой-нибудь Бен-Закай,
выходя из гроба сразу же за Стеной,
представляя Титу проекты с горы Синай,
продолжает путь довольно-таки земной.

И покуда Храм полыхает и спит Сохнут
и Отдел культуры, и всякий отдел другой,
он вполне с натуры садится писать Талмуд,
отбивая такт своей костяной ногой.

А какой ещё? Один язык – без костей.
Вот и я – говорю, пытаюсь, хочу сказать...
ну, по сути, что ли. Чтоб не одних вестей.
Не судьбу и волю, хотя бы слова связать.

– Мир ниде, – мычит Леонид Ильич, – ниде... ни-де-лим!
Из которой Мишны?.. какой-такой Йоханан?
Все повязаны, все – паутиной времён и стран.
Всё едино, всё, тем паче – Ерусалим.

* * *

...под мостом, который поныне впадает в Храм,
под мостом, который и нынче ведёт в галут,
под землёю каменной, в пику календарям
наперёд завязано неvirtуальных пут.

И назад завязано. Ты погляди назад –
на просвет военнообязанных прошлых лет,
олимпийских московских игр и маккабиад.
Ничего отдельного и неродного – нет.

И случайных связей. Собственно Интернет.
Потаённых нетей неvirtуальный плен.
Прошлогодний брод и предновогодний бред.
Генеральный сек и мой секулярный ген.

Даже если секс обойти и не брать в расчёт,
и напитки брать, выбирая на вкус и цвет,
я глотну и выдохну свой основной ответ:
С Новым годом! С этим. И с этим, что через год.

И покуда Восток алеет, и Храм горит,
и отходят воды, и снова мелеет сброд,
с Новым годом вас, пирамиды и мой Исход,
с Новым годом, мои любимые. Стол накрыт.

И Второй, и Третий. Кто же нас разберёт,
кто кому здесь Ирод, а кто упал за Стеной?
Мой иврит, он тоже ведь – задом да наперёд.
Запинается и подводит, ан нет – родной.

И пока не отводит небренного взгляда Тит,
и покуда не выпит бренди и Бога нет,
у меня займёт не более двух минут
прочитать ивритскими буквами над пивной
по-библейски ёмкое слово «Кибенемат».

С Новым годом, брат и собственно Интернет!

Давид Маркин *КОНЕЦ СВЕТА*

В особнячке по улице Ливанских кедров, третий дом от угла, подымались рано. Первым, в шесть утра, вставал Рувим Гутник, глава семьи и хозяин, мужчина за пятьдесят, с сильными руками и короткой мощной шеей, но уже проверяющий давление крови в две недели раз и прислушивающийся время от времени к усталому бегу сердца. Следом за хозяином послушно подымалась с коричневого матрасика собака Юка – рыжая сука доброго нрава и редкой породы, охотничьих кровей. А потом и Полина, Поля, со вздорным смешным характером, младше Рувима на шесть лет, появлялась в дверях спальни в своём бархатном, винного цвета халате и домашних китайских шлёпанцах со вздёрнутыми острыми носами. Один только дедушка Моисей Соломонович, книголюб и в дальнем прошлом гуляка и игрок, продолжал похрапывать в своей комнате под крышей. А больше в особнячке никого не было: дети – и общие, и раздельные – разъехались уже по разным краям страны и земли и жили обособленно, по своему разумению.

Фасадом особнячок выходил на улицу Ливанских кедров, а тылом – в зелёный дворик, на ухоженную травяную лужайку с дачным столиком, в самом центре которой красиво росло серебристое масличное дерево. За белым ажурным забором, ограждавшим земельное владение Рувима Гутника, кипела стройка: там возводили дом, загорелые рабочие тюкали молотками по доскам опалубки, а бетономешалки, установленные на платформах грузовиков, рычажи и фыркали. За стройкой широко расстилалась апельсиновая роща, там жили зайцы под тёмными кронами, осыпанными искрами плодов. Апельсинов оранжевых луны восходят и светят.

Умывшись и обстоятельно причесав остатки волос на угловатом черепе, Рувим спустился со второго этажа в нижнюю гостиную и, отперев задвижку, широким хозяйским движением распахнул двери, ведущие на лужайку. Проделывал он это каждое утро – и для себя, и для Юки: ему не терпелось после тесной затемнённой спальни поскорей окинуть взглядом сверкающий простор мира, а разумное охотничье животное после ночного отдыха желало ограниченной свободы для отправления естественных надобностей. Распахнув двустворчатую, похожую более на небольшие ворота дверь, Рувим по-хозяйски оглядел простор с масличным деревом, проснувшейся уже стройкой и бесконечным небом над утренней равниной и, отступив от порожка, прошёл в кухню включить электрический чайник. Всё, что произойдёт дальше, было известно Рувиму досконально: Юка вернётся в дом и примется грызть свои шарики, чайник вскипит, Поля спустится сверху, со второго этажа и займётся тостами и яичницей с помидорами и сыром. В семь часов

придёт пора уходить на службу – Рувиму в его магазинчик электротоваров, приносящий, слава Богу, устойчивый доход, а Поле – в почтовое управление на полставки. И в доме останутся двое: Юка и дедушка Моисей Соломонович, похрапывающий покамест в комнате под крышей. Такой устойчивый распорядок не то что нравился задубевшей за долгие годы однообразия душе Рувима Гутника, но внушал уверенность в незыблемости и правильности мирового существования.

Юка, стоя на пороге, в дверях, то ли на кого-то зарычала, то ли заскулила, и Рувим обернулся удивлённо: эт-то ещё что такое? Рабочие со стройки, что ли, дразнят собаку? Прижав хвост к брюху и нагнув голову, Юка продолжала тоскливо рычать на одной ноте.

– Ну, я вам сейчас покажу!.. – пробормотал, неизвестно к кому обращаясь, Рувим и решительно шагнул к дверям.

Во дворе никого не было. Посреди лужайки, на месте масличного дерева, рос гигантский, в три обхвата ливанский кедр, острой своей короной вымахнувший куда выше крыши рувимова особнячка. На мощной нижней ветви, на высоте второго этажа, почему-то сидела крупная, размером с пони обезьяна и нагло скалила отменные зубы. У Рувима опустились руки.

– Н-да... – отступив вглубь гостиной, озадаченно молвил Рувим. – Не может этого быть. – Юка боязливо жалась к его ногам.

Тут на лестнице показалась Поля в своих китайских шлёпанцах.

– Иди сюда, – строгим шопотом позвал Рувим. – Смотри!

Поля выглянула через порог, как через невидимый барьер – изогнувшись в поясе.

– Обезьяна, – сказала Поля. – Не может быть. А вдруг она из зоопарка убежала?

– А кедр? – сказал Рувим, держась на расстоянии от двери. – Из Ливана убежал?

Самым неприятным, возможно, было то, что за ажурным заборчиком не кипела теперь никакая стройка – не было там ни рабочих, ни их машин, а только суровые валуны, покрытые зелёным лишайником, и близкие снежные горы, отродясь неведомые в этих жарких библейских краях.

– Так это как же, Рува, – потухшим голосом сказала Поля. – Это что ж случилось-то...

Тут спустился нежданно из-под крыши дедушка Моисей Соломонович, храпевший в обычные дни до девяти часов.

– А то и случилось, – отпихнув внучку и с опаской выглянув наружу, сказал дедушка, – что конец света наступил. Дожили. Вон, чёрт на дерево залез.

На замечание дедушки Моисея Соломоновича внимания не обратили, пропустили его мимо ушей. Рувим, надев очки и повторяя, как заведённый, «сейчас, сейчас», листал телефонный справочник, а Полина, отступив к лестнице, ведущей наверх, стояла совершенно неподвижно, вцепившись в перила. Зубастая обезьяна на ветке испугала её ужасно, и более всего ей сейчас хотелось, чтобы кто-нибудь решительный и смелый – Рувим ли, дедушка ли – закрыл дверь, отгораживающую хоть хлипко, хоть

как спокойную гостиную от опасного внешнего мира. Надежды на такой мужественный подвиг было немного, поэтому она принялась убеждать себя в том, что всё это ей привиделось, что нет никакой обезьяны на неизвестно как появившемся ливанском кедре – но заставить себя выглянуть наружу, чтоб убедиться в наваждении, она не могла.

А дедушка Моисей Соломонович снял с крюка вешалки зонтик и шаркающей, куда как не геройской походкой вышел из дома на волю. Подойдя вплотную к ливанскому кедру, он деликатно постучал зонтиком по его необъятному стволу и взглянул вверх, в красивые заросли ветвей. Обезьяна неодобрительно вылупилась на него, потом сунула в пасть коричневые пальцы и противно оттянула щёки. Дедушка Моисей Соломонович подумал и замахнулся на зверя зонтиком. Тогда обезьяна лёгким движением освободила руки и сделала непристойный жест. Дедушка снова немного подумал и засмеялся вполне искренне, а обезьяна хлопала в ладоши.

– Не так страшен чёрт, как его малюют, – сказал дедушка Моисей Соломонович и угодливо погрозил обезьяне пальцем.

В гостиной сдобнячка царила тем временем напряжённая атмосфера. Говорить о неожиданных изменениях за окном было ещё страшно, поэтому невысказанные горькие слова клубились, как рой мошкар, в глубинах беспокойного существа Полины, а Рувим усердно листал телефонный справочник, в котором насчитывалось не менее полутора тысяч страниц.

– Что ты мусолишь этот дурацкий справочник? – оторвавшись от перил, сказала Полина. – Сделай что-нибудь! Ты же мужчина.

– Ну, конечно! – не отводя глаз от бесконечных колонок цифр, сказал Рувим. – Ты всегда считала, что настоящий мужчина – это тот, кто умеет чинить водопровод.

– Ах, вот как ты заговорил! – разыграла фальшивое удивление Полина. – Вместо того, чтобы...

– Вот! – воскликнул Рувим, направив палец в строку справочника. – Нашёл! Муниципальная служба защиты граждан от диких животных! – Он потянулся к телефонному аппарату и снял трубку. Телефон был мёртв, как стол, на котором он стоял.

– Ну? – спросила Полина.

– Молчит, – озадаченно сказал Рувим. – Не работает...

– Сходи к соседям да позвони, – сказала Полина и плечом повела. – Ну, иди же!

– Сама иди, – подымаясь из-за стола, огрызнулся Рувим. – Ишь, разошлась!

– Хам, – сказала Полина, впрочем, беззлобно.

Рувим пересёк гостиную и подошёл к входной двери, ведущей на улицу. Позвонив ключами, он отпер замок и вышел на крыльцо. Не было перед ним ни знакомых соседских домов, ни самой улицы Ливанских кедров. До самого горизонта лежала влажная степь с разбросанными по ней островками чёрного леса. Наискосок равнину прочёркивала полноводная медленная река в зелёных берегах. Ни людей не обнаруживалось в поле зрения Рувима, ни их строений.

Более всего в открывшемся пейзаже Рувима поразила река. Он, Рувим, знал совершенно однозначно и безоговорочно, что нет здесь никаких полноводных рек — ни одной. Такой уж получился тут изначально безводный край, и испокон веков жители этих мест воевали друг с другом из-за воды. И вдруг — река, хоть рис тут сажай, как в Индонезии.

— Река, — вернувшись в дом, мутным голосом сказал Рувим. — Там — река.

— Может, это наводнение? — с надеждой в голосе спросила Полина.

А дедушка Моисей Соломонович, постукивая зонтиком, вошёл как-то боком, бочком и сказал уверенно:

— Наводнение, наводнение... Неси, Рувим, коньяк. Наливай, а то что-то ноги зябнут. И обезьяне этой чёртовой нальём стопку.

Рувим достал из бара бутылку бренди и пару винных бокалов и налил.

— Держите, дедушка, — сказал Рувим. — Ну, что там? — Он кивнул в сторону лужайки, как в сторону линии фронта. — Эта сидит?

— Сидит, куда денется, — чуть сварливо, как о хулигане-родственнике, позорящем репутацию семьи, сказал дедушка Моисей Соломонович. — Он пока смирный, не кидается.

— Почему «он»? — придвигаясь поближе к старику, озадаченно спросил Рувим. — Это ж обезьяна.

— Чёрт это, — высказал уверенность Моисей Соломонович. — Ты на него только погляди — глаза человечесь, как у татарина.

— А там — река, — сообщил Рувим, указывая на окно, ведущее на улицу.

— Река? — с долею недоверия в голосе переспросил дедушка Моисей Соломонович.

— Да, река, — скорбно кивнул головой Рувим.

— Ну, река так река, — сказал дедушка и допил последние капли из бокала.

— А вам не страшно? — шепотом, как о тайном, спросил Рувим. — Всё это — река, и мы совершенно одни в какой-то степи...

— Ну, одни, ну, река, — сказал дедушка Моисей Соломонович. — Человек не собака, человек ко всему привыкает. А чем тебе река хуже пустыни? Ведь пока нас никто не убивает!

— Магазины, наверно, все закрыты... — подойдя, высказала предположение Полина. — И продуктовые, и все.

— Где ты тут видишь магазины? — взбеленился Рувим. — Можешь ты, наконец, понять: мы отрезаны, от-ре-за-ны от всего!

— Конiec света пришёл, — дедушка Моисей Соломонович подмигнул зятю повеселевшим глазом и придвинул к нему порожний бокал. — Давай, лей!

— Ну, взялся за своё! — глядя, как веселится дедушка Моисей Соломонович, сварливо заметила Полина. — Хоть бы постыдился клюкать-то! Старик ведь у же!

На замечание внучки дедушка не обратил ни малейшего внимания, как будто муха пролетела в другом конце комнаты.

– Опьянеете, а потом что будет? – не успокоилась Полина. – Сейчас, когда надо сохранять трезвую голову...

– А зачем? – справился дедушка. – Трезвую – зачем?

– Что-то она разошлась! – обращаясь к дедушке, строго подметил Рувим, а потом обернулся к жене:– Эй, ты! Чего это ты разошлась? А ну, замолчи! И неси завтрак!

Полина окаменела, не поверив своим ушам: за без малого двадцать лет счастливого брака Рувим впервые сказал ей «эй, ты!» Да и «замолчи», пожалуй, она от него никогда прежде не слышала.

– Ах, так, – доставая яйца и сыр из холодильника, сказала Полина. – И это ты мне смеешь говорить – ты, который мне всю жизнь исковеркал...

Это было что-то новое – насчёт исковерканной жизни, и Рувим разведочно взглянул на дедушку Моисея Соломоновича. Дедушка взгляд перехватил и беззаботно пожал плечами. Мало ли, что женщине взбредёт в голову! Мели, Емеля, твоя неделя... Рувим уже привык за два десятка лет и почти перестал обращать внимание на эти вечные полинины «ты – лучше всех», «у тебя самая лучшая голова», «ошибаться ты просто не умеешь». Имелось в виду и электроинженерное, ещё до репатриации в Израиль, прошлое Рувима Гутника в городе Кривой Рог, и его коммерческое настоящее в городе Кирьят-Оно. Рувим знал, был уверен, что есть на свете и поумней его люди, и покрасивей, – но пускаться в спор с женой не желал: Полина стояла на своём с твёрдостью, достойной лучшего применения. Поэтому внезапное откровение насчёт исковерканной жизни озадачило Рувима – прежде само это мясорубочное понятие всецело относилось к первому полининому браку, неотступно маячившему где-то позади. О бывшем муже – горном каком-то гое и красавце, умевшем замечательно жарить шашлык, – Рувим выслушал немало интересных историй, вольно размещавшихся в сказочном прошлом, мебелированном красивыми озёрами и горами и украшенном пирами с праздничной стрельбой и верховыми скачками в разных направлениях. Горный гой, как следовало из полининых, чуть тронутых романтической ностальгией рассказов, о хлебе насущном для себя и для своей молодой жены не задумывался никогда – всё необходимое, как бы с неба свалившись, оказывалось на нужном месте, под рукой: и баран в венчике из изумрудной киндзы, и ископаемое изумрудное ожерелье из сейфа краеведческого музея, не говоря уже о «жигулях» и каменном родовом гнезде с деревянным сторожевым мезонином... С небес, как известно, редко что падает, кроме града да птичьего дерьма, – поэтому полночную горную жизнь внучки Поли дедушка Моисей Соломонович уверенно объяснял особенностями характера красавца-гоя: «Разбойник с большой дороги». Союз горного льва и низинной овечки носил сезонный характер: с наступлением зимних холодов горячие обещания и ветвисто составленные клятвы увяли и зачахли, делать было нечего, и углублённая в себя Полина была посажена в поезд, катящийся под горку, в низинные края. Помимо главного подарка – живой горной луковицы, не по дням, а по часам на-

бухающей и набирающей силу в полинином бархатном чреве, в купе были щедро сложены и другие памятные дары: тяжёлая, как дверь, белая бурка, сапоги-ичики для исполнения горных танцев, четыре пары пёстрых шерстяных носков ручной работы, полосатый конский рюкзак под названием «курджун», белая сванская шапочка на чёрном шнурке и завёрнутая в чистый головной платок вяленая баранья нога. Ископаемое изумрудное ожерелье, к сожалению, было решительно изъято из груды подарков разбойной рукою горного красавца, не пожелавшего в последний момент навсегда расстаться с реликвией своего маленького, но зато чрезвычайно гордого народа.

Рувима эта горная эпопея не занимала ничуть. Ну, было, ну, проехало. Сам Рувим был человеком сугубо низинным, хотя и у него, как говорится, случались в жизни встречи...

— Это я тебе исковеркал жизнь, — скептически улыбаясь, повторил Рувим слова жены и налил в придвинутый дедушкой винный бокал бренди «777». — Я! Я, который, по существу, дал тебе всё: дом, положение, службу на полставки. Которого не смутило твоё прошлое!

— Прошлое? — глухо и грозно, как из вулкана, донеслось из нежных полининых недр. — Какое-такое прошлое? Я могла, как тебе известно, стать актрисой — а осталась никем, потому что вышла замуж за неудачника, за инженеришку. Ну, что ты пьёшь с утра? Иди, торгуй в свою жалкую лавчонку!

Дедушка Моисей Соломонович глядел в сторону с большим безразличием, а Рувим удивлённо и отчасти даже встревоженно пожал плечами: о несостоявшейся артистической карьере жены он слышал впервые.

— Где она, моя лавчонка! — сказал Рувим и махнул рукой. — Покажи хоть, где!

— Нет, ты меня изволь выслушать! — продолжала Полина на более высокой ноте. — Сегодня, когда, когда... я тебе всё...

Рувим, взяв бутылку бренди за тонкое горло, со вздохом поднялся из-за стола и вышел на лужайку. Дедушка Моисей Соломонович с бокалами поспевал за ним, как катер за крейсером. На лужайке не произошло никаких перемен. Обезьяна угрюмо помещалась на ветке, как будто эта ветка всегда была её местом жительства, а ливанский кедр приходился ей унылой родиной.

— Я боюсь, дед, — отхлебнув из горлышка и протягивая бутылку Моисею Соломоновичу, сказал Рувим. — Я страшно боюсь...

— И я тоже, — откликнулся Моисей Соломонович. — Может, до завтра доживём...

— Гляди, Полина как выступает! — как бы между прочим заметил Рувим.

— Она тоже боится, вся дрожит, — рассудил дедушка и сделал мелкий глоток.

— Полный финиш, — вздохнув, сказал Рувим. — Всё. А мы ещё почему-то сопим, вот что странно...

— Я когда-то то ли кино такое смотрел, то ли книжку читал, — сообщил Моисей Соломонович, — «Момент истины» называется.

Про то, как все вдруг решили говорить только правду и ничего, кроме правды – и такое наплели! Вот и сейчас так получается...

Полина, неизвестно зачем, выглянула из дома на лужайку и недобро взглянула на двух мужчин, стоявших под ливанским кедром. Рувим, желая разрядить немного атмосферу, смешливо вытянул толстую шею и сказал «ку-ку!». Полина, однако, не улыбнулась, а обезьяна с ветки гневно взглянула.

– Давай выйдем отсюда, – предложил Рувим. – А то с ума сойдём...

Дедушка Моисей Соломонович с готовностью пошлёпал вслед за Рувимом через гостиную к двери.

– Палку возьми, – посоветовал дедушка. – На всякий случай.

– Ну да, – легко согласился Рувим. – С гвоздём... От кого отбиваться-то?

Они вышли на крыльцо и спустились по лестнице вниз. Тропуара теперь не было, но травяное поле, подступившее вплотную к рувимову особнячку, оказалось вполне пригодно для передвижения пешим ходом. Возможно, в невысокой сочной траве скрывались змеи и другие неприятные животные, но думать об этом не хотелось: солнце светило любезно, да и «три семерки» сделали своё доброе дело.

– Далеко не пойдём, – твёрдо сказал Рувим, как будто дедушка Моисей Соломонович уговаривал его и тянул отправиться отсюда и прямо сейчас на Южный полюс. – Просто немного прогуляемся.

Но и прогуляться не пришлось со спокойной душой. В ста метрах от особнячка, из-за аккуратного взлобочка появилась молодая пара – парень в эластичных спортивных штанах и привлекательная барышня с пупком наружу, с подсолнушком за коричневой бархатной ленточкой соломенной шляпы. Рувим и дедушка насторожённо остановились. Вежливо остановились и встречные и глядели по-добрососедски.

– Доброе утро, – неуверенно сказал Рувим, не трогаясь с места.

Тогда парень отставил мускулистую ногу и пропел сахарным тенором:

– Двадцать восемь – сорок шесть – тридцать девять – восемнадцать!

А барышня, с казённой улыбкой глядя на оторопевших встречных, напрягла загорелый животик, привела диафрагму в должное состояние и поддержала своего музыкального кавалера сильным и чистым дискантом:

– Цать! цать! цать!.. Сто четырнадцать! Восемь сорок – три пятнадцать – сорок восемь – тридцать пять.

Дедушка Моисей Соломонович вопросительно поглядел на Рувима, а потом полуотвернулся от артистов и деликатно сплюнул в траву. Барышня ему понравилась.

– Вы теперь тут живёте? – с искательной улыбкой задал вопрос Рувим. – Соседи?

Тенор снова отставил ногу, подрожал плотной икрой и пропел:

– Три – четыре – сто семнадцать – двести шесть – четырнадцать!

– Цать! цать! цать! – немедленно поддержала милая барышня.

На сильные музыкальные звуки из-за взлобка, как из-за кулис, вышел грудастый хмурый бык, на его широкой и плоской спине помещалась совершенно уже голая девка. Она лениво там лежала, опершись на локоть и уложив подбородок в чашку ладони. Пшеничные её волосы были неряшливо распущены, а округлое простоватое лицо выражало скуку. Тенор, обернувшись, поглядел на быка и его ношу безразлично, как на кошку.

– Ну, мы пойдём... – сказал Рувим и попятился, не сводя круглых безумных глаз с бычьей девки. – Извините...

– Тридцать пять – сорок четыре! – наклонив голову к плечу, прожурчал тенор, а барышня его преданно поддержала своим дискантом:

– Тыре-тыре-тыре!

Возвращались молча, не оглядываясь. Уже на крыльце, перед самой дверью, Рувим сказал «ну и ну», покачал головой и вытянул губы дудкой. Делать было нечего.

Полина сидела за столом, грызла сухарь с рокфором.

– Что ж ты маску свою не мажешь? – цепляясь, спросил Рувим и указательным пальцем обвёл вокруг лица, показывая, каким образом и где Полина ежеутренне устраивала противоморщинную маску из какой-то коричневой дряни.

– Не думай, что я такая идиотка, – не дала прямого ответа Полина, – чтобы с тобой связываться и тебе вообще отвечать. Подлец! Ты разрушил мою жизнь! Я тебя просто ненавижу! Я тебе всё скажу, всё, прежде чем... – и всхлипнула, покривив красный рот в сырных крошках.

– Там соседи цифрами поют, – сообщил дедушка Моисей Соломонович.

Полина взглянула недоверчиво, а потом сказала:

– Ты ещё выпей, алкоголик.

Рувим не слушал. Он решительно, размашистыми шагами прошёл на лужайку с кедром, а дедушка потащился за ним. Усевшись за дачный столик, он неприязненно взглянул на обезьяну над головой и сказал:

– Может, поесть ей дать что-нибудь?

Дальше такого хорошего намерения дело не пошло: не собачьими же шариками её кормить, да и подходить страшно. Глядя на обезьяну, на её сильные опасные руки Рувим растроганно подумал о том, как хорошо было бы сейчас по-хозяйски приласкать какое-нибудь преданное животное, родную какую-нибудь четвероногую душу – и свистнул Юку. Собака, стуча когтями по полу, послушно добежала до порога и остановилась, как будто упёрлась в стеклянную стену. С опущенной головой и поджатым хвостом она и не собиралась выходить из дома и глядела на хозяина виновато.

– Ну, иди! – сказал Рувим. – Я тоже боюсь!

Собака дрожала и не двигалась с места. Рувим отвернулся и забыл о ней.

Приятное опьянение пришло к Рувиму, он ощущал необременительное опустошение сердца и был равно готов и к дальней-

шей жизни, и к немедленной смерти. Он не сожалел больше о том, что исчезла неизвестно куда строительная площадка за забором, с её привычным уже созидательным шумом и привезёнными из Румынии чернорабочими. Он обречённо не думал о будущем с его отвратительным завтрашним днём – а только о тёплом прошлом, и ему хотелось плакать. С облегчением и благодарностью он отметил, что нет Полины в этом прошлом и нет ничего, что напомнило бы ему о Полине. А обнаружилась там, в светящейся голубой глубине, девушка Клава Фефёлкина, с тяжёлой шаткой грудью, крупная и крутого замеса, с простоватым округлым и добрым лицом. Эта Фефёлкина встретила когда-то, в незапамятные почти времена, в октябрьский золотой и высокий день тощему студенту Рувиму Гутнику то ли в какой-то нищенской столовке, то ли на площади Трёх вокзалов, куда она прибыла то ли из Иванова, а то ли вообще из Иркутска. И они были вместе, по молодому и милому делу, шлялись по осенним улицам, ели и спали, глазели по сторонам и находили темы для ненавязчивого бегущего разговора. Они сошлись, вошли друг в друга на отрезочное недолгое время, а потом распались на всю оставшуюся жизнь. Она и имени его не могла толком выговорить, и звала – Роман, Рома... И вот теперь, сегодня, в день конца света он вспомнил почему-то именно эту деревенскую деваху, заворачивавшую мыло на какой-то заштатной фабрике, и имя её вспомнил, почти стёршееся в ряду других, как бы случайных имён. Навивная бессеребренница, вспоминал и думал Рувим, всегда благодарная, а характер какой – просто золотой. И никак ведь уже не вспомнишь, почему у них ничего не вышло, о какой камень они споткнулись, – да это сегодня уже и не важно.

– Я сейчас вспомнил одну, – глядя в стол, тихонько сказал Рувим дедушке Моисею Соломоновичу, – девушку одну, Клаву. Лёгкий она была человек... Где она теперь, что...

– У меня тоже гойка была, – охотно сообщил Моисей Соломонович, – в Екатеринославе, ещё до покойной Славы Мироновны. Это был праздник, это была любовь! Если б я тогда на ней женился, может, всё пошло бы по-другому...

Да, с горечью подумал Рувим, да-да. Если б ты, старый хрыч, женился на той гойке, а не на Славе Мироновне, то и никакая Полина не появилась бы на свет Божий и, таким замечательным образом, ему, Рувиму, не пришлось бы жениться ни на какой Полине. Вот так, из ничего, из дурацких каких-то случайностей, и происходят ужасные катастрофы. А что, разве женитьба на Полине и вся последующая жизнь, выброшенная козе под хвост, – не катастрофа? А то, что сейчас, перед самым концом света, когда каждая минутка может стать последней, – они с Полиной, с этой манерной идиоткой, расположены как бы на разных концах жизни, они не вместе, они не составляют одно душистое целое, как когда-то с Клавой Фефёлкиной – разве это не катастрофа?

– Самое интересное, что она всегда врёт, – подумав, сказал Рувим. – Всю жизнь врала. Или выдумывала: несла всякую чушь, и ей казалось, что это правда. А я слушал, дурак.

– Да, прошла жизнь... – беспечно сказал дедушка Моисей Соломонович, и с этим нельзя было не согласиться.

Собака Юка завывала в доме, вой был жуток. Рувим огляделся. Обезьяна, задрав тёсаную башку, глядела в небо. Там, в небе, как распылителем по потолку, размашисто писали цифру за цифрой, в ряд: 6,1,0,1,9,6,1.

– Пишут... – поглядывая из-под белых бровок, уважительно сказал дедушка Моисей Соломонович и потянулся за бутылкой неверной рукою.

Обезьяна с кедра наблюдала за небесной работой неодобрительно, сунув нечистый палец в рот.

– Буквы куда лучше цифр, – мёртвым голосом сказал Рувим. – Я всегда так думал. А вышло всё по-другому...

Полина, пряча руки за спиной, возникла на пороге, взглянула на небо, на чёрные цифры, и устало поморщилась.

– Как бы там ни было, – сказала Полина, – имей в виду: мы чужие. Да, сейчас надо говорить правду. Так вот: ты – ничтожество, неудачник и вообще импотент. Я совершила страшную ошибку, когда пошла за тебя замуж. Но можешь не волноваться, ты своё получил. У тебя рогов больше, чем волос на голове. – Она высвободила из-за спины руку с зеркальцем. – На, смотри! – Рувим взглянул, хмыкнул удовлетворённо.

– Где только охотники нашлись! – сказал Рувим. – Дичь-то с вонцой!

Полина вздрогнула, как будто к её спине приложили кубик льда, повернулась на пятках своих китайских шлёпанцев и вернулась в дом. Поднявшись наверх, она заперла дверь спальни на ключ, села к окну и заплакала, бормоча и подвывая. Какой подлец! «С вонцой!» Сквозь слёзы небо в цифрах казалось зыбким, как море. Сочетание плывущих цифр вдруг дошло до её сознания, она перестала всхлипывать и поспешно вытерла глаза мягкими подушечками пальцев. 610-19-61. Номер телефона Бори.

Раньше, до репатриации, Боря Белый был артистом вышневолоцкого ТЮЗа, человеком богемы и замечательно высокого полёта. Здесь он устроился сторожем в автомастерскую, но душа его от такой резкой перемены жизненной атмосферы ничуть не задубела и не загрубела, он остался тем же игровым лёгким человеком, и высота его полёта не снизилась ничуть. В Полине он обнаружил родственную душу – немного загнанную, но открытую настежь в ожидании приятного чуда.

Они познакомились случайно, где-то. На исходе первого часа знакомства Полина уверилась в том, что Боря – полная и совершенная противоположность Рувима с его инженерскими шуточками, с его патологической любовью к гороховому супу, с его диким ночным храпом. Особнячок и лужайка – это, несомненно, хорошо, это лучше, чем квартира и балкон, но Рувим своим присутствием, самым своим существованием окрашивал всё в серые тона. А Боря Белый был весь разноцветный, как радуга... Много вопросов задавала себе Полина: на сколько лет Боря младше, есть ли у него другая любовница, был ли он женат когда-нибудь.

Один только вопрос не догадывалась задать Полина: на кой чёрт она, Поля Гутник, в девичестве Просяная, немолодая и сварливая женщина, понадобилась разноцветному Боре? А Боря похотывал, обнимал за плечи и лез за пазуху, и на море с ней ходил, и деньги брал.

Но случались и другие, до Бори. И во всём виноват был Рувим.

Но теперь всё кончено. Совершенно всё. Конец света? Ну, что ж, пожалуйста. Лучше уйти из этой жизни свободной, чем подневольной и стреноженной. Этот Рувим, этот пьяный идиот, просто не понимает, что они уже чужие друг другу люди, что они больше не муж и жена. Она свободна. Обидно только, что Боря об этом никогда уже не узнает.

Время поворачивалось ни шатко ни валко, и трудно было прикинуть, сколько привычных часов прошло с утра. Однако и застывшим время назвать было никак нельзя: солнце по исписанному цифрами небу двигалось не быстрее и не медленней, чем в обычные дни, и перевалило уже, как будто, зенит. Западный ветерок дул с моря приятными порывами. Птиц не было слышно, но крылатые твари испокон веков не злоупотребляли пением в этих местах.

На ливанском кедре, на лужайке, крупная лазоревая птица со стальным отливом, с красной грудкой и белым шелковистым хохолком на голове появилась нежданно-негаданно и вначале была не замечена сидевшими за столом, за второй уже бутылкой бренди Рувимом и дедушкой Моисеем Соломоновичем. Обезьяна оказалась наблюдательней: завидев птицу, она вкатила голову в сильные плечи и погрозила пернатой морёным кулаком. Птица, однако же, ничуть не испугалась. Вертась на ветке, невысоко над обезьяной, она принялась прихорашиваться, а потом, приняв напряжённую позу, обронила крупную, величиной с лесной орех, каплю. Капля пролетела мимо обезьяны, проводившей её угрюмым взглядом, и шлёпнулась на стол меж Рувимом и дедушкой Моисеем Соломоновичем. Мужчины задумчиво поглядели на каплю и – враз – подняли глаза вверх.

– Что за птица... – сказал Рувим. – Тут таких раньше не было.

– Птичка хорошая, – оценил дедушка Моисей Соломонович. – Только дерьмом вот кидается. Хорошо, что не в стакан.

– Не было, не было, – повторил Рувим и пожал плечами.

– Раньше много чего не было, – согласился дедушка Моисей Соломонович.

Полина показала на пороге, глаза её были заплаканы.

– Обедать давай, – сказал дедушка. – А то ждём-ждём, а есть-то хочется.

Полина открыла уже рот, чтобы сказать Рувиму всё, всё. И про Бору Белого, и про Антона Марковича, и про немедленный развод, – но Рувим смотрел отрешённо вверх, мимо птицы, над которой, выше кроны кедра, было натянуто небо в цифрах. 6101961. 6.10.1961. 6 октября 61. День, когда он встретил Клаву. Клаву Фефёлкину.

Полина повернулась и ушла. Дедушка Моисей Соломонович смотрел ей вслед с дурацкой улыбкой, покачивая головой, а Рувим не заметил ни прихода её, ни ухода. Вернувшись в дом, Полина достала из холодильника кусок рокфора, села к столу и, отщипывая кусочки, принялась жевать без азарта. Шар не отпускающего страха висел над её головой, она уже не думала ни о Рувиме, ни о Боре Белом – а только о неизбежной тоскливой смерти, которая вот-вот придёт. Крошки подсохшего рокфора падали на грудь её халата, она не стряхивала их. Хотелось плакать, всхлипывать. Подошла собака Юка и положила тёплую голову ей в колени.

Смерклось рано, тьма без луны и звёзд накрыла особнячок на улице Ливанских кедров. Людям в доме не о чем было говорить между собой, они урывками вспоминали прошлую жизнь, и горечь заливала их память. Ничего не было сделано в их жизни, никакое дело не было закончено. Спать разошлись каждый в свой угол и заснули, уткнув лица в подушки.

Их разбудило рычание бетономешалок на стройке. Рувим, волоча ноги, подошёл к двери, ведущей во дворик, и приоткрыл её. Не было на лужайке никакого кедра, и обезьяны не было видно. На дачном столе стояли две порожние бутылки из-под бренди, между ними серела лепёшка подсохшего птичьего помёта. Собака Юка проскочила мимо Рувима на волю и взялась бегать вокруг масличного дерева. За белым ажурным забором загорелые рабочие тюкали молотками по звонким доскам опалубки. Полина в халате и китайских шлёпанцах спустилась из спальни, а дедушка Моисей Соломонович спал у себя наверху.

– Давай, давай, Рува, – сказала Полина. – Доброе утро. Садись, ешь. У тебя есть бензин? Подбрось меня до работы.

– Ну, конечно, – сказал Рувим. – Одевайся быстрее. У меня сегодня дел выше головы.

Начался новый день, очередной.

Январь-февраль, 1997

Морис Симашко

ИЗ КНИЖИ «ЧЕТВЕРТЫЙ РИМ»

Журнальный вариант

Состоял, не привлекался...

Из «Личного листка по учету кадров»

Не представляю, к какому литературному жанру отнести написанное. Просто биографией это все же не назовешь, для исторических заметок тут слишком много личного, для политического исследования – мало серьезности, сатиру я тоже не собирался писать, назвать это «Повестью о жизни» – банально. Роман? Но помнится определение сущности этого жанра классиком русской сатиры в трех словах: «она приподняла подол». С этим мог бы соперничать другой роман, где «она еще выше приподняла подол». Не дожил классик до наших дней, когда подолы вовсе отменены. Какой уж тут роман, тем более что «подолы» я разбросал по другим вещам!..

1. РОДИЛСЯ, НЕ КРЕСТИЛСЯ

А родился я в студенческом общежитии Одесского института народного образования (в прошлом Императорского Новороссийского университета, в будущем – Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова), в интернациональной семье. Отец, в свое время учившийся в хедере, затем в фабзавуче, воевавший в гражданскую войну, заканчивал биологический факультет. Мать, закончившая лютеранскую гимназию, вынуждена была из-за моего рождения уйти с третьего курса немецкого отделения математического факультета (были тогда такие национальные отделения в высших учебных заведениях). И поскольку родился я 18 марта, мои родители в честь Парижской коммуны дали мне французское имя. В интервью для газеты «Монд» я как-то сказал, что не было бы революции в России – я бы не родился...

Знаю, что моей матери приходилось мыть полы у богатых нэпманов, а отец к студенческой стипендии подрабатывал в качестве управдома. Это была типичная молодая семья первого десятилетия революции. Они не носили колец, брошек, серёжек и молча презирали тех, кто пытался как-то «по-буржуазному» украсить себя. Смотрю на их фотографию: они и без этого были красивы.

Первые мои воспоминания – веранда со стеклянной дверью и выходом прямо в сад, где росли вишни и были грядки с огурцами. Поперек справа стояло одноэтажное здание школы, откуда слышались разноязычные детские голоса. Это было на Винниччине, в

местечке Ладыжин, куда отца по комсомольской разнарядке направили заведовать школой. При впоследствии «разоблаченном за национализм» нарком просвещения Украины Скрыпнике в школе были украинские и еврейские классы. А еще помню, как соседка тетка Горпына купала меня в деревянном корыте, приговаривая: «Ручки, ножки, жопку трошки!» Наверное, с тех младенческих лет звучный и прекрасный, поистине славянский украинский язык стал моим родным наравне с русским. А еще тетка Горпына как-то повела меня в церковь. Было это весной, Буг разлился, и мы долго шли через половодье по качающимся доскам к чуть слышному за синими лесами звону. В церкви было полутемно, десятка полтора людей жались друг к другу. Я видел испуганные глаза батюшки, не совмещаемые со всей его осанистой фигурой, и понял, что об этом нельзя рассказывать дома.

Остальное вряд ли интересно читателю: как фельдшер надрезал мне нарыв на щеке, и было очень больно. Или как я ел вишни прямо с ветки, доставая их ртом. Отец говорил, что следует мыть эти вишни перед едой, а мать махала рукой: «Здоровее будет!» Но то, что произошло позже, врезалось в мою память на всю жизнь...

Он был бандит, Бондарь, и лежал головой к забору. Его боялись и мертвого. Это я точно помню, хоть не было мне тогда, по видимому, и четырех лет. Держась за куст бузины, я смотрел из школьного сада сквозь щель в заборе на площадь. Он лежал в двух шагах, и в жизнь мою до конца моих дней вошла откинута в бурьян голова с буйно разбросанным русым волосом. Лишь бровь на белом лице была темной, круто изогнутой к запачканному пылью виску. Его бросили здесь, на краю площади, чтобы все увидели и убедились, что знаменитый Бондарь убит и некого больше бояться в тульчинских лесах. Однако конная милиция стояла у въезда на площадь. На мосту через речку и по обе стороны забора тоже стояли милиционеры, но никто не подходил ближе, чем за пятнадцать шагов. Я до сих пор помню этот общий страх к неживому человеку. На нем была белая нательная рубаша, босые чистые ноги торчали из штанов с тесемками. Никакой крови я не видел. Милиционер с высоты коня негромко прикрикнул на меня: «Гей, хлопчик... не можно тебе тут!»

Где-то тогда и явилось это имя. Даже не имя, а некое понятие. Оно содержалось в воздухе, с утренними тенями залегая в балках, садах, перелесках. А к ночи вдруг взрывалось выстрелами, сполохами огня и затем похоронами в обитых кумачом гробах с троекратными залпами в небо. К слову «Бондарь» неотвратимо добавилось слово «петлюровщина», и глаза учеников в еврейских классах были расширенно-тревожные. Это был привычный во все времена каинов знак контрреволюции: «Бить жидов и коммунистов!» Меченное этим знаком уже не могло отмыться...

Но что-то там было не так. Рядом с понятием «Бондарь» явилось имя Гриша. Оно прозвучало в тихом ночном разговоре родителей. Уже потом, сделавшись старше, я осознал все компоненты трагедии. Отец мой, естественно, был членом не то укома, не то еще какого-то комсомольского органа. А Бондарь тоже был неко-

гда убежденным комсомольцем и знал отца. Мне так и осталась до конца неизвестной степень их близости. Это были годы уполномоченных с наганами в руках. Начало крутой коллективизации: с реквизицией скота, обобществлением птицы... Завершалось это потоками бредущих по жидкой грязи людей: стариков и молодых, женщин с детьми на руках в сопровождении молчаливого, исполненного классовой непримиримости конвоя. Тогда комсомолец Григорий Бондарь ушел в Тульчинские леса...

Происходившее выстраивалось в памяти много лет спустя из всплесков воспоминаний, обрывков разговоров, неотвратимого осмысления собранных вместе разнородных осколков. Но я точно помню материнскую тревогу, когда отец собрался в Тульчин со школьным отчетом. «Бондарь» – это повторялось дома, на улице, в школе, где я путался под ногами, мешая всеобщей ликвидации безграмотности. Только тетка Горпына молчала, поджав губы.

Прошел день, как ушел отец, потом наступила ночь с привычными выстрелами и заревом у горизонта. Мать не спала и все подходила к стеклянной двери, за которой темнел школьный сад. Потом опять был день и снова ночь. Так прошли четыре дня, и вдруг стихла шумная детская беготня во дворе. Учителя и ученики стояли молча и смотрели на отца, который шел от школьных ворот к дому. Все в местечке знали, что по дороге в округ он был захвачен бандитами...

Подробностей я не помню. Приходили какие-то люди, среди них – начальник милиции, тоже член укома. Кто-то приезжал из округа, потом отец два или три раза ездил в Тульчин и зачем-то в Гайсин. Мне понятным это стало много позже: от отца требовали объяснений, почему бандиты отпустили его. Ведь «петлюровщина» и все остальное...

Ночью горела прикрученная керосиновая лампа. Я не спал и слышал, о чем тихо рассказывал отец. Сам Бондарь вышел из леса и позвал его к себе. Они пришли на хутор, и там отец пробыл с ним целые сутки. Они пили, ели и разговаривали.

– Откуда ж та напасть на селянство?.. Нет такого у Ленина, Давид!

Это, схватившись руками за голову, все повторял у ночного костра в лесу Бондарь. Потом он сам проводил отца к дороге на Тульчин. Там они попрощались и разошлись.

В то же лето и увидел я Бондаря сквозь доски забора. Отец сидел в комнате, положив обе руки на стол. Мать хотела пройти к убитому, но милиционер поставил лошадь поперек тропинки в саду и не пропустил ее. Тетка Горпына поставила свечку к иконе в углу и тихо, беззвучно молилась. Я сидел рядом...

Мы жили уже в Одессе, на улице Свердлова, 17. Закончивший аспирантуру отец работал бактериологом на консервном заводе имени Ленина и на полставки – в только что построенном в порту у самого мола огромном и белом, на целый квартал, холодильнике. Осенью в городе появились первые голодающие. Они неслышно садились семьями вокруг теплых асфальтовых котлов позади их законных хозяев-беспризорников и молча смотрели в огонь. Глаза

у них были одинаковые: у стариков, женщин, грудных детей. Никто не плакал. Беспорядки что-то воровали в порту или на Привозе, порой вырывали хлеб из рук у зазевавшихся женщин. Эти же сидели неподвижно, обреченно, пока не валились здесь же, на новую асфальтовую мостовую. Их места занимали другие. Просить что-нибудь было бессмысленно. По карточкам в распределителе научных работников мать получала по фунту черного вязкого хлеба на работающего, полтора фунта пшена на месяц и три-четыре сухие тарани. Эта деликатесная рыба была тогда основной едой:

*Йиж тараньку, пый водычку,
Та выконуй пятаыричку!*

Одесса шутила...

Это была очередная «неформальная» вежа, Тридцать Третий Год. С середины зимы голодающих стало прибавляться, а к весне будто вся Украина бросилась к Черному морю. Теперь уже шли не семьями, а толпами, с черными, высохшими до костей лицами, и детей с ними уже не было. Они лежали в подъездах, парадных, прямо на улицах, и глаза у них были открыты. А мимо нашего окна к портовому спуску день и ночь грохотали кованые фуры, везли зерно, гнали скот. Каждый день от причалов по обе стороны холодильника уходили по три-четыре иностранных парохода с мороженым мясом, маслом, битой птицей, консервами. В городе вместо тарани стали выдавать на месяц по полтора фунта на человека синеватой с прозеленью конины. Мне в тот год предстояло идти в школу. Помню буйный майский дождь. Задрав штаны, мы, припортовые дети, бегали в потоках несущейся вдоль тротуаров воды и во все горло пели:

*Телятину, курятину буржуям отдадим,
А Конную-Буденную мы сами поедим!*

Это было так или иначе связано с Бондарем, я уже знал...

А потом он возник в угрожающей реальности. Это был тихий родительский разговор. Отец явился из некоего «ниоткуда», до глаз заросший черным нечеловеческим волосом, неузнаваемо худой, и шел от него тот особенный запах отмирающей плоти, которым мне самому пришлось надышаться уже в войну. Человек все прочувствует только сам, даже опыт отца не служит гарантией понимания сути вещей.

Гудел примус. Отец долго мылся в отгороженной части коммунального коридора. Ел он как-то совсем по-новому, движения его были точные, вроде бы как у слепого...

Была следующая вежа – Тридцать Седьмой Год. Отца взяли по дороге с завода домой. Я держал на руках шестимесячную сестру, а следовательно внимательно просматривал пленки в удачно купленной матерью по случаю детской коляске. Несколько ночей по очереди с матерью я стоял на Преображенской наискосок от памятника Воронцову с пушкинскими строками. Арестованных перевозили отсюда, обычно ночью, в тюрьму в открытых грузовиках, и нужно было успеть забросить отцу завернутые в «Чорноморську

комуну» полтора килограмма сала. Сотни людей стояли здесь в ожидании молча на зимнем морском ветру.

Учился я сначала в 70-й украинской школе, стоявшей прямо над портом, а потом перешел в пятый класс новой русской 116-й школы, прямо напротив нашего дома. Мне было все равно, потому что оба языка я знал одинаково хорошо. На свою беду, бегая в школьном вестибюле, я не удержался на ногах и головой надколот краешек гипсового бюста М. И. Калинина. Учитель черчения, молодой дородный мужчина со жгучими черными глазами, потребовал у директора Рыгаловой моей общественной изоляции. Рыгалова когда-то училась с моим отцом и не прореагировала на эту патриотическую инициативу. Тогда учитель стал организовывать учеников, чтобы проучили сына врага народа, покусившегося на бюст вождя. Товарищи предупредили меня, и я перестал ходить в школу. А через четыре года этот мой учитель стал одним из самых свирепых офицеров румынской политической полиции в оккупированной Одессе...

Отца обвинили по четырем статьям! Там значились измена Родине, шпионаж, диверсии и еще что-то сопутствующее. По делу было целиком арестовано руководство «Укрконсервтреста» и все директора, главные инженеры и бактериологи рыбоконсервных заводов Азово-Черноморского побережья. В частности, утверждалось, что где-то в Днепропетровске были отравлены консервами двести командиров Красной Армии...

Произошло одновременно закономерное и невероятное. Без технического руководства и бактериологической службы встали все консервные заводы юга страны. Особенно неудобна была остановка завода имени Ленина, работавшего на экспорт. Второй месяц дожидались погрузки в порту иностранные суда. Начинался 38 год. Нарком пищевой промышленности Микоян, уже осведомленный о предстоящей борьбе с клеветниками, взял на поруки все руководство треста, завода, в том числе и моего отца. Вскоре дело прекратили, а некую активистку, написавшую сто тридцать восемь заявлений на врагов народа, расстреляли. Отцу выдали полугодовой оклад, и он купил себе зимнее пальто из драпа с большим каракулевым воротником. Кто-то хранил этот драп еще с дореволюционных времен.

В ночь возвращения отца я услышал опять это имя. Речь шла не о шпионаже и диверсиях, и следователь был совершенно прав. Он искренне не мог понять, почему когда-то в Тульчинском лесу бандит и националист Григорий Бондарь не убил еврея, заведующего школой – моего отца. Это никак не соответствовало расстановке политических сил на Украине, выразившейся в определенных партийных решениях. По имевшимся у следствия некоторым данным, отец с Бондарем обнялись при расставании.

Но я забежал вперед. Вернусь к началу своего осмысления времени. В Ладыжине я помню высокого, сутулого от собственного роста старика в черном сюртуке и с длинной, удивительно белой бородой. Даже фамилию его помню – Гисюк. Это был, что называ-

ется, провинциальный интеллигент; жил он неподалеку от школы над самой рекой, и отец часто приходил к нему, беря и меня с собой. Старик щурил глаза и, поднимая вверх палец, говорил: «По закону петлюровцы не должны были делать погромов. Так они их делали против закона!»

Много лет спустя известный лингвист профессор Александр Лазаревич Жовтис, родом из Винницы, рассказывал мне, что еще в тридцать шестом году по городу ходил интеллигентный еврей, бывший член правительства Симона Петлюры. Что же, бойцы Первой Конной, несмотря на верховное командование Троцкого, тоже резали евреев в Польше...

2. ПРОМЧИМСЯ, ОЗАРИМ КОСТРАМИ!..

Идеологию революции, как говорится, я впитал с молоком матери... А жизнь шла своим чередом. Рядом с «Чапаевым» виделась страдальческая улыбка Чарли Чаплина. Родители вернулись в Одессу, отец поступил в аспирантуру, и жили мы на казенных квартирах при научно-исследовательских станциях сначала на Куяльницком, а затем на Сухом лимане. Отец занимался исследованием микроорганизмов лечебного лиманного ила и параллельно дрожжевым брожением, в частности, при виноделии. Она так и называлась на Сухом лимане – Винодельческая станция Академии наук Украины. Это я точно помню.

Станция была лишь частью большого научного комплекса, образованного в девятнадцатом веке, чуть ли не во времена Воронцова. Вокруг Одессы было несколько немецких поселений, заложенных здесь Екатериной Великой для культивирования европейских методов хозяйствования. Станция располагалась в пяти верстах от Одесского курорта Люстдорф, напротив селений Кляйнлибенталь и Гросслибенталь. На склоне к лиману рос великолепный старый сад с необычно крупными абрикосами и сливами-ренклюд. Сюда приезжали из дальних украинских хозяйств для покупки племенного скота. Корова немецкой породы давала до трех ведер молока в день. Нас, мальчишек, было двое на станции: я и постарше меня – Тошка (так звала его мать). Мы целыми днями купались, рвали зеленые абрикосы и лазили туда, куда нас не просили. Там я впервые выпил вина. Хорошей питьевой воды на станции не было, и ее возили из Люстдорфа бочками. Она была теплая и противная. Сторож при подвалах дядя Семен пожалел нас и дал нам по кварте холодного молодого вина. Мне понравилось...

Как-то мы с Тошкой забрели на соседний участок, где ученые-селекционеры занимались сортовым картофелеводством. Там между грядок стояли двое и о чем-то спорили. Потом один из них, с густой бородой, довольно увесисто дал по шее другому, молодому, и тот покорно опустил голову. По-видимому, был это работавший в то время на станции Трофим Денисович Лысенко со своим отцом, природным агрономом. Тот и оценил сына по достоинству...

Начинался великий голод тридцатых годов, и я не понимал, что родители отнимают от себя последнее, чтобы я был сыт. Они ку-

пили поросенка, но тот почему-то издох. Отец с матерью сидели и думали, можно ли его есть. Потом закопали...

Далее я все четко помню, как отцу дали комнату уже в городской коммунальной квартире – целых восемнадцать квадратных метров. Квартира была, по-видимому, бывшим магазином, а сам дом, точнее – три дома с большим двором, находился в квартале от порта, и здесь жили большей частью грузчики или моряки «Совторгфлота». Тут мы и прожили до самой войны...

Все было как в тысячах других одесских дворов: гоняли в футбол, пропадали на море, играли в цурки, казаки-разбойники, кое-кто с верхних этажей гонял голубей...

Жизнь одесского двора проходила у всех на виду. Я описал, как помнил это, в рассказе «Бербека». Такая была фамилия у начальника Одесского ГПУ. Чтобы выкачать из населения оставшееся после конфискаций золото и драгоценности, были организованы «торгсины» («торговля с иностранцами») – спецмагазины, где в самый жестокий голод можно было обменять золотое колечко или серебряные ложки на фунт масла или пару фунтов крупы. В городе было известно, что ежедневный план по Одесскому торгсину составлял два пуда золота. Когда план перестал выполняться, Бербека организовал шайки выпущенных из тюрьмы уголовников, которые под командованием агентов ГПУ ночами выбивали это золото из состоятельных в прошлом людей. В соседнем доме были зверски убиты бывший нэпман вместе с женой, и все знали, кто это сделал. Профессиональные одесские урки не хотели участвовать в этом деле и жестоко расправлялись со своими, кто ходил «колунами» при ГПУ.

Где-то в тридцать четвертом отец с делегацией ударников рыбоконсервной промышленности поехал в Москву. Консервные заводы работали, в основном, на армию. Видимо, поэтому их принимал Ворошилов. Я очень гордился большой фотографией, где отец сидит за столом за три человека от наркома обороны. Однако ярче всего мне запомнился привезенный отцом из Москвы большой чемодан. Он был полон белого хлеба, булок и калачей. Я ел их, уже засыхающие, с утра до вечера. Кажется, именно тогда впервые в жизни я ел настоящий белый хлеб.

Как всякий одесский пацан, я прошел обязательный возрастной период воровства. Было это где-то в четвертом-пятом классе. Крали бутылки сидро с проезжающих конных площадок. Как-то с моим другом Толей Данько своровали мы деньги. На Новом базаре, будто бы стоя в очереди за мясом, я приподнял в пазах отделяющее продавцов витринное стекло, а Толик проволочкой с крючком вытащил из кучи денег красную тридцатку. В одесском порту мы знали не только каждый причал, но и каждую сваю под водой, куда ныряли за крабами или в поисках выброшенных с иностранных пароходов всяких вещей. В Арбузной гавани, подплывая к дубкам, выкатывали в воду полосатые херсонские арбузы и ели их, уединившись на Австрийском пляже у маяка. Торговый порт еще со времен порто-франко был окружен высокой каменной стеной, но мы знали такие лазы, какие и в голову не могли прийти охране...

По-моему, я не пропустил ни одного фильма, которые выпускали в предвоенное время на экраны. Впрочем, они мало отличались друг от друга. Но что любопытно, я сделался заядлым театралом. Жили мы по соседству со знаменитой одесской оперой, а один из наших соседей, с которыми дружили родители, был дядя Андрей, рабочий сцены. Он и запускал через рабочий вход меня с другом Витькой Литвином на дневные спектакли. Первую оперу таким образом я прослушал лет восьми. Была она сугубо советской и называлась (дай Бог памяти!) «Поход «Малыгина». Речь шла об одном из первых походов ледокола «Малыгин» в северные широты. Больше всего мне понравилось, как на широкой сцене штормовой ветер развевал волосы у провожавшей ледокол женщины.

Само мое бытие с рождения раскололось на две части. Наряду с тем человеком, про которого до сих пор рассказывалось, жил некий другой. Преданный социалистической родине и ее вождям, готовый пожертвовать всем для неё, даже жизнью. Пишется это сейчас без всякого дурного пафоса, как и без омерзительного хихиканья над исторической трагедией, в которой все мы, все без исключения, рабочие, крестьяне и интеллигенция, принимали участие...

Ничто не влияло на мои убеждения – ни трупы на улицах тридцать третьего года, ни арест отца, ни очевидные реалии повседневной жизни. Уж не знаю, за счет каких ресурсов в центре города, посещаемого иностранцами, открылись несколько «микояновских» магазинов с кафельными стенами, мраморными стойками, холодильными установками и невиданным до той поры томатным соком. Появился белый хлеб. По поручению матери я бегал на Дерибасовскую, угол Екатерининской, за пастеризованным молоком в бутылках с широким горлышком и на угол Ришельевской за мясным фаршем, вылезающим прямо из электрической мясорубки. Прошел год-полтора, и все это куда-то исчезло. На той же Дерибасовской, угол Ришельевской, я стоял в полутысячной очереди за макаронами в пачках. Очереди выстраивались во дворах, чтобы не видели иностранцы. Белый хлеб сделался желтым и остро пах кукурузой.

Для моей убежденности это не имело ровно никакого значения. Я твердо знал, что «жить стало лучше, жить стало веселей!» Вышел на экраны фильм «Пепо», где маленький испанец взрывает фашистский крейсер. Целые дни выстаивал я с такими же патриотами на Соборной площади, наблюдая за передвижениями флажков на карте воюющей Испании; ночами обдумывал планы побега туда на одном из торговых судов, чтобы воевать с фашизмом. Мою маленькую сестру родители называли Долорес в честь легендарной Пассионарии. И когда в тридцать девятом году началась прямая советская экспансия в сторону Европы, я вместе со всей страной с восторгом перекрашивал на карте в красный цвет освобожденные от оков капитализма земли и страны.

Лишь однажды я смутился душой, когда на приморском бульваре имени Фельдмана увидел людей в черной форме с фашистскими знаками на рукавах. Они весело болтали с каким-то нашим командиром со «шпалами» в петлицах. Было это уже летом соро-

кового года. Я отбросил это от себя, как дурной сон. В том же сороковом году я поступил в восьмой класс открывающейся Одесской спецшколы Военно-воздушных сил РККА №14. О том, что я был не одинок в своем порыве, говорило то, что на одно место в этой школе претендовало по двадцать семь человек. Нас целую неделю крутили на особых приспособлениях, проверяли зрение, слух, способность к перегрузкам. Отбор был самый тщательный. В войну, уже летая самостоятельно, я ни разу не проходил такой авторитетной комиссии...

3. ЭХ, ДОРОГИ!

Война началась как-то весело. Накануне в Зеленем театре, в синей форме с золотыми крылышками на рукавах и в петлицах, я слушал – уже на законном основании! – джаз Эдди Рознера...

Через две недели немцы были во Львове. А 22 июня 1941 года я с утра поехал купаться в Аркадию. Поплавал и лишь потом заметил на пляже какое-то тревожное шушуканье. Уже на обратном пути в трамвае узнал, что началась война и даже бомбили ночью одесскую нефтебазу, еще что-то. Был я радостно-спокоен. Ждал сообщения о революции в Германии и взятия через день или два Берлина. Тем более, что к полудню через город проехала казачья воинская часть и у казаков через плечо алели ленты с надписью «Ростов-Дон – Берлин»...

...За месяц до начала войны в Одессе начались затемнения. По ночному городу двигались к границе войска: артиллерия, бронетехника, кавалерия с пресловутыми тачанками. Говорили, что через город в направлении на Измаил прошла знаменитая двадцать пятая (Чапаевская) дивизия. На улицах появились рослые скуластые солдаты, то ли буряты, то ли калмыки. Военный порт, Каховские казармы, батареи береговой обороны, другие военные объекты по причалам и крышам ошетинились зенитками. По улицам ходили патрули, а у Сабанских казарм, рядом с нашим домом, выстроились многочисленные женские очереди. Шла негласная мобилизация, и женщины провожали мужей. Из школ вывозили парты. Всякую ночь по небу шарили прожекторы. Сопоставляя все это с последующими событиями, невольно разводишь руками...

К вечеру первого дня войны нас по тревоге собрали в школе и отправили в лагерь за Куяльницким лиманом. Сначала ехали трамваем, потом всю ночь шли строем. В небе слышался непрерывный самолетный гул, в стороне Днестра полыхало зарево. Нас разместили в каких-то необжитых помещениях с выбитыми окнами. Неподалеку на пригорке стояли два самолета с проржавевшими моторами и оголенными от перкала плоскостями. Это были наши учебные пособия. И ранним утром следующего дня нас уже бомбили. От самолетов остались лишь одни обгоревшие остовы. Мы валялись в казармах на сене и ничего не делали. А дня через три нам, подросткам, выдали осоавиахимовские учебные винтовки с тремя дырочками в патроннике, из которых невозможно было стрелять. С ними нас послали прочесывать виноградники, где буд-

то бы был высажен вражеский десант. Я шел в цепи среди незрелого винограда и думал, как мне способней уложить немецкого парашютиста: штыком или прикладом. К счастью, бог миловал меня тогда от такой встречи.

Через месяц нас вернули в город. В тот день Одессу уже бомбили по-настоящему. Выпускной десятый класс пошел в училища, а нас распустили по домам, дав направление на эвакуацию. Выбирались из Одессы кто как мог. Я пешком прошел Украину от Одессы до Геническа, где мы попали в окружение и выбирались по Азовскому морю на моторной барже «Адлер». В тот год был необыкновенный урожай, и мы шли, набив пазухи незрелыми яблоками, среди неубранной, в рост человека, пшеницы. По всему горизонту вздымали пыль угоняемые на восток стада. Ревели недоенные коровы, вола тащили тяжелые, груженные нехитрым скарбом фуры. Нас бомбили отдельные самолеты, и мы отлеживались в кюветах. Радиоточки в селениях, через которые мы шли, передавали, что бои идут где-то под Винницей, за полтысячи километров от нас. Перейдя Днепр и примкнув к уходящему на переформирование учебному артиллерийскому полку с четырьмя орудиями и полусотней бойцов, мы дошли до Мелитопольского шоссе. Расположились на пригорке, артиллеристы распрягли коней. Еще не взошло солнце, со стороны шоссе послышался гул моторов. Мы стояли в полукилометре и смотрели, как по шоссе движется нескончаемая колонна техники: танки, артиллерия, грузовики.

— Есть еще у нас сила! — сказал командир полка и послал мотоциклиста с кубиками в петлицах договориться, чтобы полк мог влиться в общую колонну. Мотоциклист подъехал к шоссе, проехался вдоль колонны и вернулся.

— Немцы! — сказал он.

Орудия наши стояли на пригорке, кони паслись, а немцы даже не плюнули в нашу сторону. От шоссе отходили на рысях. Где-то по дороге выяснили, что на Перекопе сброшен немецкий десант и Крым отрезан. Тогда повернули к Азовскому морю.

В Геническе мы помогали спустить зерно в море из стоящего на высоком берегу элеватора. Далеко в воду затаскивали широкие брезентовые рукава, и море вздувалось от тысяч тонн пшеницы.

Там же, в Геническе, я поднял сброшенную с самолета немецкую листовку. Она была разделена на две части. Слева улыбающийся Гитлер держал руку у замка тяжелого осадного орудия. Справа Сталин так же держал руку у бедра выбросившей вперед ногу балерины Семеновой. Под всем этим была подпись: «Вот почему мы будем в Москве»...

Баржу загрузили пшеницей, на палубе закрепили орудия. Ночью из города слышался какой-то шум. Громкоговоритель в порту передавал последние известия. Уже засветло я пошел из порта вверх с ведром за водой. У колонки стояла небольшая очередь: две женщины, старик, девочка с большим чайником. Я стал за ней, кто-то подошел с ведром, стал сзади. Сначала я обратил внимание на ведро: ярко-желтое, с какими-то цифрами. А подняв голову, увидел немца в черном комбинезоне. В саду за проваленным плетнем

стоял танк с уже знакомым немецким крестом. Я был в майке и спецшкольных брюках с кантами. Немец посмотрел на меня и приветливо улыбнулся. Так было. Я, будто деревянный, набрал воды в свое ведро и пошел вниз, к барже. Через полчаса мы отплыли.

Немецкие самолеты летели куда-то на восток и нас почему-то не трогали. Через сутки, подойдя к Мариуполю, увидели тонущий пароход, по которому прямо с мола били немецкие танки. Пароход горел, и кричали люди. Уйдя далеко в море, поплыли к Ростову. Одесский университет, педагогический и учительский институты были эвакуированы на Северный Кавказ, в город Майкоп, куда я направился и где соединился с семьей. Отец к тому времени был ученым секретарем университета и заведовал кафедрой микробиологии, организованной еще Ильей Ильичем Мечниковым.

В Майкопе я закончил девятый класс и уже вместе с университетом и обоими институтами за полдня до прихода немцев эвакуировался через Закавказье в Среднюю Азию.

По дороге нас дважды бомбили: возле Туапсе и в Сухуми. Моя маленькая сестренка сидела, оглушенная, с широко раскрытыми глазами. Мне это уже было знакомо, но к звуку пикирующего на тебя самолета никогда не привыкнешь. Тут следует сказать, что несмотря на все трудности и неувязки, общая эвакуация чуть ли не половины страны проходила с, что называется, революционной дисциплиной. На всех продовольственных пунктах выдавали хлеб, организовывали горячее питание, санобработку и прочее. Хуже было тем, кто эвакуировался диким способом.

Одесский университет и оба института обосновались в туркменском городке Байрам-Али (старый Мерв), где им предоставили фундаментальное здание бывшего сельхозтехникума со всеми службами. Отец с семьей получил отдельную комнату, и это было неслыханное везение. Я, поскольку не имел законченного среднего образования, поступил в двухгодичный учительский институт на отделение русского языка и литературы. И тут же подал заявление в районный военкомат о направлении меня в действующую армию. Таких заявлений в течение года я подал более десятка...

Несмотря на голод и холод, студенты, среди которых было немало уже инвалидов войны, жили дружно. Основной состав был на фронте, в группах порой было по четыре-пять человек. Ходили по ночам грузить вагоны с хлопковым жмыхом на масложиркомбинат, и этим жили. Некоторые умельцы наловчились делать колбасу из ишачьего мяса, сдабривая ее чесноком. Пели украинские песни...

Осенью сорок третьего в военкомате удовлетворили, наконец, мою просьбу. Я перешел на второй – выпускной курс учительского института и не подлежал призыву. Райвоенком, старый кавалерийский капитан-армянин, спросил с искренним удивлением:

– Что в армию спешишь? Натворил чего или бабе заделал?..

Я просто не понимал, о чем он говорит. И не в авиацию я попал, куда стремился всей душой, а в снайперскую школу, нечто вроде нынешнего спецназа. Стояли мы на границе с Ираном, в Бикрове, под Ашхабадом. Учили нас стрелять по-всякому и из любого вида оружия. Поразить мишень следовало, катясь при этом с

горки или прыгая через препятствие. В школе была отменная дисциплина, нас по тому времени великолепно кормили. Не могу забыть начальника школы, пожилого подполковника Ермакова, бывшего офицера еще царской службы. Это был, что называется, отец солдатам. Порой происходили естественные трения с требовательными сержантами, но о дедовщине в то время не могло быть и речи.

...Трижды проклятое российское армейское воровство присутствовало и тогда, но не в таких чудовищных размерах. Размах был не тот. Некий майор Столбур, пользуясь тем, что в документах стояло слово «крупа», поменял в туркменском колхозе вагон первосортного риса на обычную перловку. Вес сходился, и в Туркестанском военном округе дело замяли. Об этом знали даже курсанты.

Но не только для снайперской подготовки была размещена школа на самой границе с Ираном. Здесь по Гауданскому шоссе проходил Большой пороховой путь, как назывался он потом в зарубежной прессе. Откуда-то из Южной Африки морем в Бендер-Шахпур, а оттуда через весь Иран в Безмеин под Ашхабадом день и ночь шли колонны «доджей» и «студебеккеров» с английским порохом. Бывало, что в сутки приходило три-четыре колонны по четыреста-пятьсот машин в каждой. Порох везли в двухпудовых жестяных ящиках с двойными стенками и складывали прямо на песке вдоль железной дороги за Безмеином. Здесь его перегружали в маршрутные составы и двумя паровозами «ФД» спереди и сзади гнали через всю Центральную Азию на артиллерийские заводы Урала и Сибири. Тут скапливалось порой до восьмидесяти тысяч тонн пороха.

Когда наши и союзные английские войска вошли в сорок первом в Иран, находившиеся там несколько тысяч немецких инструкторов, прекрасно знающих страну, рассосались среди мирного населения. Германская разведка действовала там с особой активностью. Нанимались целые племена, чтобы препятствовать поставкам по ленд-лизу в Советский Союз военных материалов, оборудования и, конечно же, пороха. Дешевого пороха у нас не было. Между тем, северные морские конвои теряли до трети своего состава, Дальний Восток был отрезан от союзников вступившей в войну Японией. Путь через Иран, таким образом, имел особое значение. И на всем этом пути, вплоть до самого Безмеина, происходили нападения нанятых для этого террористов. Впоследствии выяснилось, что немцы платили за это вождям племен фальшивыми фунтами стерлингов. А пока что, валясь в пропасти, горели ярким оранжевым пламенем машины с порохом. На территории Союза, в Безмеине, обстреливались трассирующими пулями крытые брезентом пороховые пирамиды. Нас, снайперов, раз за разом задействовали в конвоях и особых мероприятиях, которые нынче именуются «зачистками». Очевидно, было это очередной демагогией, но дважды, выстраивая нас, незнакомый майор говорил, что к нам обращается сам Верховный главнокомандующий, поскольку на уральских заводах осталось на четыре дня пороха, а диверсанты пытаются в очередной раз перекрыть Большой пороховой путь.

На краю расположения нашей части в Бикрове, в окружении деревьев, стоял небольшой дом с вечно прикрытыми ставнями. Там был какой-то старший лейтенант, имевший отдельный джип с шофером-сержантом. Дом этот у нас числился как пост номер девять, и никто не знал, каково его назначение. Как-то под вечер туда вызвали моего товарища Шурку, тихого, молчаливого парнишку. Я как раз стоял там на посту. Шурка вошел и долго не выходил. Из-за закрытых ставней пробивалась полоска света. Слышался резкий, требовательный голос, по-видимому, старшего лейтенанта. Время от времени что-то тихо говорил Шурка. Потом он вышел, постоял и пошел, неуверенно ступая, словно слепой. Отойдя к текущему рядом Золотому ручью, Шурка сел. Мне показалось, что он плачет. Я подошел и спросил, в чем дело. Шурка, захлебываясь и утирая лицо, все мне рассказал. Когда-то, еще в седьмом классе он по детской глупости чего-то там натворил. Следовательно кричал и угрожал ему тюрьмой. Потом с ним еще кто-то поговорил и сказал, что, если он будет регулярно сообщать куда надо, о чем говорят между собой ученики или их родители, то дело его приостановят. В армию он пошел с радостью, думая, что здесь его оставят в покое. А теперь вот его вызвали и сказали, что он должен докладывать обо всем, что делается и говорится в роте. Я был ошарашен. Шпионов надо выявлять, на то и СМЕРШ, но при чем здесь наши солдатские разговоры? Господи, до чего же я был наивен... Не шпионы им были нужны!.. Если не считать конвоев и «зачисток», шла обычная армейская жизнь...

...О, как кривятся губы у записных патриотов, когда говорят о вкладе союзников в нашу победу. Речь даже не о том, что они шесть лет воевали, отвлекая на себя, кроме всего прочего, Японию (вспомним сибирские дивизии под Москвой). Я помню первый день Отечественной войны и сотни людей, стоящих у громкоговорителей в ожидании речи Сталина. Москва молчала, лишь время от времени передавая какие-то невнятные сообщения. И вдруг сильный, уверенный голос: «Мы с вами, русские!» Это был Черчилль, тот самый. Слышно было, как волнуется переводчик. И вздох облегчения прошел по толпе. Только потом, запинаясь, выступил Молотов. Сталин выступил на одиннадцатый день после начала войны...

Кроме пороха, день и ночь шли через Иран колонны с военным оборудованием, обмундированием, продовольствием и прочим, без чего трудно выжить воюющей стране. Это не говоря о героических северных конвоях и воздушном пути через Аляску. В войну я носил английскую шинель и ботинки, затем канадскую летнюю куртку, ел американскую тушенку и яичный порошок, американский серый шоколад. Даже портянки и нижнее белье были у меня английские, и мылся я английским мылом. Вспомним и о пенициллине, спасшем миллионы жизней наших солдат.

Не только дешевого пороха не было у нас, но и в должном количестве качественного бензина. В первые же месяцы войны американцы привезли и собрали на Каспии новейшие крекинг-установки (на их базе возникли современные заводы в Красноводске, Баку, Гурьеве). На этом бензине воевали наши танки и авиация.

Невоенный человек обычно считает танки, орудия, военные корабли и не понимает, что куда важнее современные станки и оборудование, необходимое для их производства. Но самое необходимое в современной войне – это *мобильность армии*. Мы начали войну, в основном, с артиллерией на конной тяге и знаменитыми полуторками ГАЗ, которые заводили ручкой. Союзники поставили нам *пять с половиной миллионов «доджей», «студебеккеров» и «виллис»*, на которых мы и въехали в Европу...

4. ПАРТИЯ И СВЯТАЯ РУСЬ

Меня вызвали в клуб. Там сидели знакомые сержанты и старшина из второго батальона – человек, по нашим понятиям, в возрасте, лет двадцати двух. Пока ждали приема у капитана Горохова, славного интеллигентного офицера, разговорились. Оказалось, что сержанты попали сюда из авиации, а старшина и вовсе перед войной летал в аэроклубе. Мы не знали, что и думать, пока капитан Горохов не сообщил нам, что четверых из нас направляют в 11-ю Военно-авиационную школу пилотов...

К третьему году войны была выбита значительная часть летного состава. Промышленность, между тем, стала производить все больше самолетов, да и союзники стали подбрасывать свои «спитфаеры» и «кобры». Тогда и решено было объявить «сталинский» набор в училища для ускоренного обучения летчиков... Со всех фронтов, частей и кораблей отбирали людей, имевших в прошлом хоть какое-то отношение к авиации. Переучивали в летчиков и прежний, ликвидируемый к тому времени политсостав...

В армии самое обиходное слово было «организовать». Пришло оно, скорее всего, из партийного лексикона. И означало самую суть проблемы. Скажем, дежурный офицер вызывает лихого сержанта и приказывает «организовать» дрова для полковой кухни на ближайшие сутки. Никому и в голову не приходило снабжать воинскую часть топливом во время войны. Вокруг на десятки километров – голая степь без единого деревца. Сержант отбирает трех-четырех надежных солдат и уходит с ними в ночь. К утру возле армейской кухни высится штабель нарубленных дров. А в соседнем селении кто-то разводит руками: ночью оказался разобраным сарай или сняты с петель ворота.

Последствия известны. Сержант считается настоящим солдатом, на которого можно положиться и в бою, и в разведке. Впрочем, так оно и есть. Не «послушники» выигрывают войны. Ему и отличившимся солдатам выдается двойная порция каши с мясом и разрешается спать до обеда. Но если, не дай Бог, его поймут у того самого сарая, никто из начальства за него не вступится. Мародерство будет караться по всей строгости закона: дадут на всю катушку «губы», а то и загонят в штрафную.

Дрова – самое простое. В армии многое приходится «организовывать». В той же летной школе брали мы «студебеккер» и выезжали далеко в Голодную степь, где паслись колхозные отары. Возвращались с тремя-четырьмя пострелянными баранами в ку-

зове. В каждом городке вокруг стояли воинские части, поди узнай, кто это сделал. А мясо отдавали большей частью своим инструкторам. Дело в том, что нас, «сталинский выпуск», кормили как на убой: девятая норма, к ней стартовый завтрак, высотный паек. У нас масло на столе оставалось. А у офицеров-инструкторов была лишь седьмая норма. Сама по себе она была неплохая, но у них были семьи, и сами они часто летали голодными. Тогда мы решили, чтобы инструкторы кормились с нами. Да разве только это!.. Свистнуть со склада казенное обмундирование считалось доблестью. А что сказать о посылках из поверженной Германии! Впрочем, танков тогда не продавали...

Пишу, а перед глазами наше летное поле. На другом его краю, под чахлым карагачем, – кое-как сплетенный из травы и прутьев шалаш. В нем перед тусклым костерком сидит древний, совершенно слепой старик в рваном халате, а рядом девочка лет восьми в выцветших шаровариках. Это все, что осталось от большой семьи крымских татар. Старик сидит прямо, неподвижно и смотрит в огонь своими незрячими глазами. Каждый вечер девочка приходит к нашей столовой с глиняной миской и молча ждет, что останется от нашего ужина. Мы кладем ей в фартучек хлеб, повариха накладывает в мисочку кашу, и она уходит к своему костерку. Господи, будь прокляты все идеологии на земле! Все до единой!...

Это я сейчас так думаю. А тогда я свято верил тому, над чем ныне так заразительно смеются нравственно ушибленные митрофанушки. Им кажется, что, не в пример нам, они оседлали саму историю. Она еще напомнит им этот смех....

Между тем, с окончанием войны стали расформировывать и летный состав. Проболтавшись несколько месяцев между небом и землей, в октябре сорок пятого я демобилизовался по студенческому списку. Армейскую карьеру делать мне уже не хотелось, да и острая надобность в летных кадрах отпала. Это потом уже одну за другой я проходил офицерские переподготовки...

Залетев после демобилизации на две недели к родителям в Алма-Ату, я поехал затем в Одессу. Там за полгода закончил учительский институт, женился и был направлен на работу в среднюю школу села Большое Плоское Великомихайловского района Одесской области. Мог бы не ехать по распределению как демобилизованный, так мы ведь верили. Верили в особое предназначение человека на земле. Вся русская литература звала нас к этому. И на фундаменте этой святой веры выстраивал свою двуликую идеологию не чей-то там со стороны, а свой, родной Иудушка Головлев. Как будто из-под его пера выходили все замечательные партийные решения, и образцом служила сталинская конституция. Ну а русский характер жаждет подвижничества, грезит Беловодьем, и никаким общим аршином не желали мы мерить свою веру. Как теперь не желаем мерить свою беду...

Полгода студенческой жизни пролетели незаметно. В комнате общежития по улице Дегтярной, 24 жили со мной тоже демобилизованные – танкист, кавалерист, матрос с Дунайской флотилии и шофер, откатавший всю войну на «виллисе» с известным генера-

лом. Помимо студенческой баланды, питались тем, что «толкали» на барахолке привезенные с собой трофеи и обмундирование. Девушки получали по талонам американскую помощь – платья, туфли, белье и тоже тащили на знаменитую одесскую толкучку.

...В нашем общежитии при румынах был военный госпиталь, от которого остались кровати с панцирными сетками. Товарищи по комнате помогли мне «организовать» одну из них. Ее разобрали, спустили мне через окно со второго этажа, и я прихватил ее на будущее место работы.

Ехали в Плоское попутной машиной. Где-то на развилке дорог между станцией Раздельная и Тирасполем задержались у степного колодца с торчащим в небо журавлем. Из колодца доставали трупы стариков, женщин, детей. Рядом стоял уже отмытый от крови «студебеккер» со знаком «гвардия» и надписью «Третий Украинский фронт». А случилось то, что военная машина подрядилась на одесском Привозе подвезти торговавших вином молдаван домой, в Тирасполь. Все ехавшие были с деньгами. У степного колодца старший лейтенант с шофером-солдатом и сержантом «организовали» семнадцать человек из автомата и побросали в колодец. Их накрыл особый отдел где-то возле Раздельной, и теперь шло следствие. Сержант с шофером сидели в сторонке и курили. Старший лейтенант с хорошим русским лицом и орденами во всю грудь как-то застенчиво улыбался, глядя на вытаскиваемые из колодца трупы. Мы поехали дальше...

Село Плоское имело свою особую историю, созвучную истории России. Находилось оно когда-то в архангельских лесах и при «тишайшем» царе Алексее Михайловиче выгорело до основания. Они придерживались старой веры, эти красивые, сильные люди, и когда захотели насильно заставить их отказаться от нее, заперлись в храме с женами, детьми и сгорели заживо, вознося молитвы Господу. Оставшихся в живых переселили под Москву, где до сих пор тоже стоит село Плоское. Сорок семей так и не захотели менять веру и бежали в Польшу, где была относительная веротерпимость. Екатерина Великая, разделив Польшу, вернула их обратно, поселив по указу в «безводные бессарабские степи». В огромном селе с более чем десяти тысячным населением стоял дом, где старой европейской черепицей на крыше был выложен год их поселения. С тех пор стоял и старообрядческий храм, куда ходили семьями: впереди мужчины с большими черными бородами, за ними женщины в темных платках и дети. Учителей здесь не любили, поскольку они в тридцатые годы закрывали храм. За три дня, пока ушли румыны с немцами и еще не пришли наши, в селе разобрали школу-десятилетку. Из ее камня построили забор вокруг храма. В войну старообрядцы прятали у себя несколько семей тираспольских евреев, за что четыре человека были расстреляны. В селе числилось семь колхозов, но никто, ни один человек не выходил на работу.

Тому была причина. До войны Великомихайловский (бывший Гроссуловский) район входил в состав Молдавии. Там разрешалось иметь до гектара виноградников в личном пользовании. Старообрядцы, великие труженики, смогли создать на этом свое бла-

госостояние. Их вино еще со времен графа Воронцова продавалось по всей Российской империи. Это к ним приезжал Пушкин по поводу нашествия саранчи. После войны район был отдан Украине, и две с половиной тысячи гектаров элитных виноградников передали в колхозы. За два года виноградники одичали и заросли бурьяном. От села посылались делегации к товарищу Сталину с просьбой вернуть их в Молдавию. Никто из ходоков домой не вернулся...

Село вымирало от голода. По тридцать-сорок покойников хоронили ежедневно. День и ночь за закрытыми ставнями домов слышались характерные стуки головой об пол и стократное повторение «Господи, помилуй!» Зима выдалась такая, что снегом замело дома выше крыш. Дети ходили в нетопленную, с замерзшими чернилами, школу лишь ради американской помощи – ста граммов хлеба и тарелки горохового супа.

Невольно вспоминается какая-то патологическая ненависть к Америке. ...Даже трудно определить, сколько русских жизней спасла американская продовольственная помощь в голод двадцать первого года, в тяжкие военные и послевоенные годы. Да и в мирное время четверть века ели дешевую, а то и бесплатную американскую пшеницу. Неблагодарность – великий грех...

Школа располагалась в бывшей румынской жандармерии. Не было даже мела, не то что учебников. Дети, ожидая горячего супа на большой перемене, сидели, отрешенные от всего земного, и смотрели куда-то вдаль светло-голубыми, цвета льдистого северного моря, глазами. Я не знал, что мне делать. Подойдя к окну, я тоже долго смотрел на снежные узоры по стеклу. И начал читать им вслух:

*Прямо дороженька, насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские...*

Они вдруг зашевелились, придвинулись друг к другу. А я читал им, урок за уроком, все, что сам помнил.

*...и широкую, ясную,
Грудью дорогу проложит себе;
Жаль только, жить в эту пору прекрасную
Уж не придется ни мне, ни тебе!*

Несмотря ни на что, я твердо знал, о какой прекрасной поре говорил поэт. Так учили меня в школе, так я воспринимал всю мировую литературу, чуть ли не от Гомера. Вся она звала к светлому будущему. А то, что в жизни есть кое-что такое, чего никакая литература не осилит, так это находилось за гранью моего мироощущения. Жизнь и мираж никак не хотели встать на свои места.

Для самого себя я звучал гордо, и этому нисколько не мешало то же мародерство, например. Это при том, что здесь обозначены лишь мелкие подробности, биография не исповедь. Одно другому не мешало: величие идеи и мародерство. Они находились как бы в разных измерениях. О покаянии не могло быть и речи. Эта свойственная вульгарному атеизму раздвоенность личности и была тем оселком, на котором закалялась сталь нашего мировоззрения...

5. ВРЕМЯ, НАЗАД!

«По семейным обстоятельствам» с Украины я переехал в Туркмению, в город Мары, рядом с которым почти год прожил в войну. В Марыйской школе рабочей молодежи я преподавал русский язык и литературу. То ли сержантская хватка у меня была, то ли что другое, но ученики, во многом великовозрастная и разноразнонациональная блатная шпана (их называли «вечерняя молодежь»), меня слушались. Приходилось кое-кому и по уху съездить, но не жаловались... Все это особого интереса не представляет. Разве что я начал писать...

Как выяснилось, это было не так трудно. У Джерома К. Джерома в вольном пересказе это звучит так: «Жена мне говорит: посмотри, какие бездарные, скучные повести нынче пишут. Я уверена, что ты мог бы написать такую же!». Я перечитал литературный альманах «Ашхабад» и решил для себя так же. Написал я пьесу за неполных четыре дня, по акту в день. Писал днем и ночью. Даже на уроках, давая ученикам вольное задание. Когда будущим исследователям потребуется образец социалистического реализма в чистом виде, пусть разыщут в анналах Управления по делам искусств Туркменской ССР эту пьесу. Там было все: пограничники ловили диверсантов, геологи с бочками искали нефть, русские женились на туркменках и неминуема была победа нашего образа жизни. Правда, о Сталине пока не упоминалось...

Было, очевидно, в этой пьесе что-то искреннее. Еще в иранских конвоях, затем в летной школе меня интересовали окружающие люди, их нравы, обычаи, древние строения, от которых остались одни развалины. Это входило во вторую половину моего раздвоенного мироощущения. Я так был воспитан родителями, что не было для меня на земле народа, который бы я считал ниже себя. Не в одних же расстрелах Чека правда революции. С этим ее наследием и сегодня не могут ничего поделаться зюгановы с баркашовыми. Может быть, поэтому моя пьеса «На крайнем юге» получила поощрительную премию на республиканском конкурсе. Затем она была поставлена в туркменском областном театре имени Кемине, в туркменском академическом театре драмы имени Сталина, других театрах Средней Азии.

С ходу я написал пьесу из жизни... Сирии. Основанием для нее послужила статья в «Правде» о происках мирового империализма на Ближнем Востоке. Пьеса называлась «Джамиль Фейсали уходит в отставку». Когда она не была принята, я добавил к ней эпилог и назвал пьесу «Знамя за бортом». Здесь уже присутствовал Сталин. Эпилог дословно повторял его речь на девятнадцатом съезде партии. Он говорил, что коммунистам бывших колоний следует подхватить знамя дальнейшей национально-освободительной борьбы, выброшенное за борт буржуазно-демократическими партиями этих стран, и строить социализм по известному образцу. С моей стороны это было похлеbbe солдатского мародерства. Пьеса не пошла, однако мне выплатили половину гонорара. Это объяснил мне уже состоявшийся драматург Бекге Пурлиев. Он посетил Управление

по делам искусств в разрушенном землетрясением Ашхабаде и был встревожен. «Понимаешь, – сказал он, – там у них лежат пятнадцать пьес, а деньги людям не платят!». «Может быть, это плохие пьесы?» «Да, но люди писали, трудились!» – взволнованно говорил он. Гонорары, как я потом узнал, всем этим драматургам выплатили. Государство, как могло, помогало пострадавшей от стихии республике. Кроме всего прочего, в Ашхабад были направлены два выпуска Ленинградской балетной школы...

А писать я прекратил так же неожиданно для самого себя, как и начал. Что-то придержало мою руку на добрых десять лет. Почему не стал я записным социалистическим реалистом, до сих пор не могу объяснить. К этому были все предпосылки – от веры в светлое будущее до обычного материального интереса...

Впрочем, писать-то я писал, но это уже не имело отношения к высокой литературе. Дело в том, что, наверстывая упущенное за годы войны, я закончил заочное отделение факультета журналистики Казахского госуниверситета имени Кирова (государственный университет, государственная опера, государственное радио, государственный цирк, государственная партия – все это было реальным выражением диктатуры пролетариата). В то же время, после долгого кандидатского стажа, я вступил в ряды ВКП(б). И не потому, что моя дальнейшая журналистская деятельность была невозможна без этого, чем и пытаются оправдаться некоторые нынешние функционеры. Будучи в свое время октябренок, пионером, комсомольцем (даже комсоргом роты в войну), я не мыслил себя вне партии. Другое дело, как это меня приняли в пятидесятом году, когда повсюду уже развернулась кампания по поводу критиков-космополитов сплошь известной национальности. Думается, сыграла свою роль во всех смыслах гигантская отдаленность Каракумов от политических центров страны. Это было так далеко, что даже чеченцы сюда не доехали...

Полгода я сотрудничал в областной газете «Марыйская правда», основная задача которой заключалась в том, чтобы освещать уход за посевами хлопчатника. Половина четырехполосной газеты отводилась передовой статье. Писал ее, как правило, сам редактор, Матвей Давидович Однопозов, бывший преподаватель Украинского института журналистики при ЦК компартии Украины. О хлопке он знал, что тот произрастает не на деревьях, и всякий раз советовался по телефону со знающими людьми. Как-то он спросил у одного из них, какого рода сорняки мешают хлопчатнику. Ему назвали один из них, в туркменском просторечии именуемый шакал-ташшак (шакальи яйца). Наутро вышла разгромная передовая, где рисовалась ужасная картина: поля ряда колхозов, сплошь заросшие шакальими яйцами...

Вскоре я был утвержден собственным корреспондентом печатного органа ЦК КП Туркменистана газеты «Туркменская искра» по Марыйской области. Признаться, я был в затруднении. Как растет хлопок, я видел издали, с партийными и советскими руководящими организациями не соприкасался. И когда поступило задание организовать полосу об окончании весеннего сева хлопка в Тахта-

Базарском районе, несколько смутился. Единственное, что проявляло ситуацию, было слово «организовать». Сразу вспомнились дрова для полковой кухни. К тому же, в помощь мне были направлены заведующий отделом сельского хозяйства Женька Курылев, почему-то подписывающий свои статьи «Е. Бунин», и старый газетный волк Михаил Бодрый.

Начали с того, что крепко «посидели» в ресторане. Наутро Миша Бодрый, когда-то, в двадцатые годы, известный сценарист, успевший и посидеть, и повоевать, разбудил нас на рассвете. Дело есть дело, сказал он и распределил обязанности. Женьке Курылеву предстояло идти в областное управление сельского хозяйства, а мне съездить в Тахта-Базар за материалом. Сам Бодрый надел чесучовый китель и шляпу.

– Я пошую в обкоме! – сказал он.

Женька направился в облисполком, а я выехал поездом Мары-Кушка, со старыми, еще «николаевскими» вагонами, в Тахта-Базарский район. Ежегодная заслуга этого самого южного района страны состояла в том, что он, согласно с законами природы, первым заканчивал сев хлопка.

Райцентр был типовой: круглая площадь и совершенно одинаковые, одноэтажные, с круглыми, крашенными известкой античными колоннами здания райкома и райисполкома. Между ними, на постаменте – крашенный бронзой Сталин. Разумеется, прежде всего я отправился в райком. При входе там тоже стоял бюст Сталина. В кабинете секретаря висел еще один Сталин. На секретаре был надет точно такой же, как у вождя, китель с отложным «сталинским» воротником. На мою просьбу написать статью он только кивнул головой. По знаку его словно из-под земли явился малый лет пятнадцати в застегнутой до шеи рубашке и с папкой в руках. Деловитость была во всем. Малый вытащил из папки несколько листочков и подал мне.

– Тут все написано! – сказал секретарь.

Я бегло просмотрел плохо отпечатанный на машинке текст, по-видимому, четвертый экземпляр. Это был отчет о работе районной парторганизации в период весеннего сева хлопка... На нем значилась прошлогодняя дата. Я недоуменно посмотрел на секретаря.

– Ай, в этом году тоже все правильно делали! – заметил он небрежно.

И я принялся «организовывать» его выступление. Факты приводились в должном порядке: райком партии с самого начала строго контролировал ход посевной кампании и, главное, организовал социалистическое соревнование. Во все колхозы были направлены уполномоченные райкома, которые провели необходимую работу. На полевых станах действовали детские ясли, были образованы агитпункты, выпускались боевые листки. Были и отдельные недочеты в работе. Так, в колхозе имени Буденного плохо работали агитаторы, но после обсуждения этого вопроса на бюро райкома партии положение было исправлено. Благодаря конкретному руководству со стороны райкома, колхозы района завершили сев первыми не только в республике, но и в стране...

– Может, назвать в отстающих другой колхоз? – предложил я.

– Ай, Буденный всегда отстают! – сказал секретарь и без лишних слов подписал статью.

Через много лет, читая «Малую землю» Брежнева, я сразу угадал по стилю, кто ее «организовал»...

Рассказывать о том, какой великолепный той закатали, провожая меня, нет смысла. Это тоже было некое партийное правило, естественно сопряженное с национальным обычаем беспредельного гостеприимства. Так или иначе, я не помнил, как ехал обратно. Проснулся уже в гостинице, у своих. На окне стояли три бутылки зеленоватой водки-мамы местного производства. Михаил Бодрый деловито разлил одну из них по стаканам, и мы выпили.

– И все, – сказал он. – Остальное потом!

Мы принялись каждый за свою часть работы. Я писал очерк о достижениях тахтабазарских хлопкоробов. Там было все: райком и райисполком с размахом и деловитостью руководили севом, агитаторы агитировали, «Боевой листок» звал к трудовым свершениям, дети играли в детском саду на полевом стане. Были, конечно, и недостатки, которые быстро преодолевались, как это случилось в колхозе имени Буденного. Писалось легко и просто. А, главное, мне самому нравилось то, что я написал. Никогда позже, когда я писал уже романы, не испытывал я такого чувства удовлетворения...

Так получилось, что я оказался первым корреспондентом на самой великой стройке коммунизма – Главного Туркменского канала. Того самого, что, по словам поэта, должно было увидеть с Марса. При мне прорыли в Тахиаташе первых восемь километров обводного канала, чтобы заложить на Амударье фундамент будущей ГЭС. А начальник строительства – генерал-майор госбезопасности Семен Константинович Калижнюк прямо сказал мне, что канал этот – утопия. Я был в затруднении, что мне писать. Тем более что заместитель начальника строительства по политической части полковник госбезопасности Уразов вполне определенно говорил, что некоторые товарищи саботируют план строительства, лично подписанный товарищем Сталиным. Дело в том, что, как правило, начальники великих строек коммунизма получали генеральское звание. В этом была своя логика, поскольку строили коммунизм заключенные.

Лет через десять после этого мы с белорусским кинодраматургом Николаем Фигуровским сидели в ленинградском ресторане при гостинице «Европейская». С ним был его знакомый, оказавшийся бывшим и. о. председателя КГБ Литвы. Он и поведал нам, как это делалось. Однажды пришла ему разнарядка на арест десяти инженеров – строителей дорог и мостов. Литовцы в этом деле имели большой опыт. Он и отобрал из представленного ему списка тех, у кого была в прошлом какая-нибудь провинность: прогулы, замечания по работе, нарушение общественного порядка в нетрезвом состоянии. Им быстренько дали по десять лет уже по политическим статьям и отправили по назначению. Дня через два у него зазвонил на столе особый красный телефон и он услышал страшный русский мат со знакомым акцентом. Это был Берия.

– Ты кого нам послал? – шипел тот в трубку. – Бездельников, прогульщиков! Нам лучшие люди нужны, понимаешь, лучшие! Для великих строек коммунизма стараемся! Или сам хочешь туда поехать?..

Наш собеседник, в то время полковник, слушал, ни жив, ни мертв.

– Ладно, – смилостивился Берия. – Этих мы оставим, пригодятся. А ты присылай еще десять. Лучших!..

Пришлось взять десять лучших дорожников Литвы. Те тоже во всем признались, и их отправили строить коммунизм. Так было...

А пока что разворачивалось строительство. При мне отгородили колючей проволокой большой участок Каракумов, поставили вышки, привезли служебных собак. А затем и первую партию заключенных. Человек четыреста их сидело при свете прожекторов ровным черным прямоугольником. Прямо на песке.

...Кончилось тем, что Сталин умер, эту великую стройку коммунизма, вбухав в нее миллиард рублей, тихонько прикрыли, а Калижнюка послали строить другой – Большой Каракумский канал. Пройдя уже южной трассой через все Каракумы, он должен был обеспечить водой хлопковые поля предгорий Копетдага, газовые и нефтяные месторождения Прикаспия. Дальновидные специалисты предложили бетонировать канал, но это в два или три раза удорожало строительство и не успевало по времени за планами партии. Решили рыть канал напрямую, бульдозерами и скреперами раздвигая пески, а вода уже сама завершала дело, размывая берега. Фактически прокладывали не канал, а русло новой реки в сыпучих песках. Барханы, порой величиной с десятиэтажный дом, были пронизаны миллионами переплетающихся туннелей, оставленных усохшими многометровыми корнями древних саксаулов. Вода немедленно поглощалась или растекалась на десятки, если не сотни километров вокруг, подрывая бесценную флору и фауну пустыни. Но это было только начало. Под барханными песками на относительно небольшой глубине находится многометровый соляной щит, оставленный тут древним океаном. Разлившаяся вода стала вымывать и вытягивать на поверхность эту соль. В древних оазисах при Амударье, Мургабе, предгорьях Копетдага, где зарождалась человеческая цивилизация, стали сохнуть деревья, рушиться фундаменты домов. Соль выступала наружу, образуя сверкающие на солнце топи. А затем пришла главная беда: стало усыхать Аральское море. То самое, что определяло климат всей Центральной Азии. Удивительно мне сегодня слушать всяческие теории по поводу этой глобальной катастрофы, когда добрая половина Амударьи, главного поставщика воды в это море, на три четверти бесцельно выливается в Каракумы.

...Верный природе «социалистического реализма», я написал документальную повесть «Пионерный пробивает Кара-Кумы». Со всей присущей этому методу убедительностью я воспевал строителей канала за экономию средств на бетоне и смелое использование мощных потоков воды для размывания барханов. Пусть это признание зачтется мне как явка с повинной...

6. «БЫВАЛИ ХУЖЕ ВРЕМЕНА, НО НЕ БЫЛО ПОДЛЕЙ!»

Делал ли я что-нибудь полезное в те годы? Можно ведь и писание колхозных очерков оправдать философией жизни. Опять-таки, «честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!» Впрочем, очерк этот у меня был первым и последним. Было, правда, два-три других «положительных материала», как это тогда называлось, но писал я, в основном, фельетоны. Было их что-то около ста, и рассказывали они о воровстве, коррупции, чиновничьем самодурстве. Отнюдь не стрелочниками являлись их персонажи. Партийный призыв о критике и самокритике как движущей силе нашел во мне самый прямой отклик. Необходимо было защищать от преступных элементов политическую систему, к которой я считал себя причастным. И первый же мой фельетон в «Туркменской Искре» «Тот самый Балдыев» служил утверждению этой моей позиции.

Вспомним, что было это еще в сталинское время. Заведующий Марыйским областным отделом народного образования Балдыев собирался ехать отдыхать в Кисловодск. Накануне, и это было многолетним правилом, директора всех детских домов области собрали для него положенные суммы денег. Один из директоров, наиболее к нему приближенный, ехал вместе с ним в качестве кассира. Стало известно, что в Кисловодске Балдыев подарил известной московской певице шубу в десять тысяч рублей. А проведенной в домах-интернатах ревизией было установлено самое бесстыдное воровство. Детям-сиротам, потерявшим отцов в Отечественную войну, недодавали молоко, масло, сахар, одевали в дерюгу. Конфеты-подушечки с повидлом к чаю выдавали по две вместо трех. Девочка-подросток, как выяснила проверяющая комиссия, оказалась беременной от одного директора и потом исчезла неизвестно куда. Дело при помощи Балдыева замяли.

В обкоме партии тянули с проверкой изложенных в фельетоне и подтвержденных документами фактов. Балдыеву, наконец, дали строгий выговор по партийной линии, о чем сообщили в газете. Я был потрясен. До меня не доходило, до какого падения нужно дойти, чтобы обворовывать детей-сирот. Здоровый упитанный дядя с лоснящейся рожей отнимал у ребенка жалкую конфетку для того, чтобы тешить себя на курортах. Можно ли настолько не любить свой народ!? С этим мучающим меня вопросом я обратился ко второму секретарю ЦК Компартии Туркменистана Федору Архиповичу Гришаенкову, в недавнем прошлом первому секретарю Сталинградского обкома комсомола, а в ближайшем будущем генералу и, если не ошибаюсь, начальнику Московского областного управления госбезопасности. Мужик неплохой, он радушно принял меня, полностью согласился с моим мнением, но заметил, что в деле Балдыева есть и смягчающие обстоятельства.

– Понимаешь, он неплохо показал себя на руководящей работе, – сказал он. – И еще наша рабочая косточка, сын рыбака!

Я только хлопал глазами.

– А потом... – голос секретаря сделался строже. – Обком партии принял решение?

Я сказал, что принял.

— Ну вот, ты не подумал о том, что партия лучше нас с тобой знает, что правильно, а что нет. Мой тебе совет: не считай себя умнее партии!

Сколько раз потом я слышал эти слова...

Самый нашумевший мой фельетон был о директоре Марыйского центрального универмага № 49. А началось с того, что я с заведующим школой рабочей молодежи и преподавателем математики Артемом Арутюновым шел по улице Полторацкой мимо этого универмага. На пороге стоял его директор, весь какой-то масляный, самодовольный, с золотой цепочкой на жилетке, тоже Арутюнов. Каким-то особенным покровительственным жестом он остановил Артема, что-то сказал по-армянски. Они говорили, а я стоял в стороне. Говорил, в основном, директор универмага, похохатывая и вертя пальцами сведенных на животе рук. Артем, простреленный в грудь на Курской дуге командир батареи, стоял весь какой-то жалкий, худой, в стоптанных туфлях и застиранной рубашке.

— О чем это ты с ним говорил? — спросил я, «когда мы пошли дальше. Артем молчал. И только когда мы выпили порядком в привокзальном буфете, он вдруг заговорил как-то глухо, опустив голову:

— Он сказал: почему ходишь в таком виде, в стоптанных ботинках. А еще с высшим образованием, ученый человек. Вот я четыре класса закончил, а посмотри, как хожу. И люди меня уважают, с поклоном приходят!..

Я слушал, стиснув зубы. Ко мне уже обращались из Контрольно-ревизионного управления по поводу вопиющего воровства в этом универмаге. Кто-то наверху всякий раз гасил заведенные на завмага Арутюнова дела. Я брезговал заниматься торговлей и не обращал внимания на эти сигналы. Но тут не мог спать всю ночь. На следующее утро я получил в КРУ результаты последней ревизии, которая состоялась в универмаге неделю назад. Все делалось просто. В магазин поступили в тот день три партии дефицитных в то время женских резиновых сапожек... Сапожки второго сорта продавались по цене первого, а третьего сорта по цене второго. За три часа торговли пересортица дала Арутюнову сто тысяч рублей чистой прибыли, что равно было Сталинской премии первой степени. Еще семьдесят тысяч в этот день дала пересортица на тюлевых занавесках. Обнаружили это сами покупательницы — жены офицеров. Они и обратились в КРУ. Не успели только проверить ревизоры, сколько было в этот день заработано на проданных из-под полы немецких котиковых шубах. Фельетон был напечатан, и началась новая проверка, уже со стороны обкома партии. Шум поднялся большой, и вопрос вынесли на бюро обкома.

Обком партии находился в лучшем здании города на берегу Мургаба. Через город шла когда-то российская торговля с Афганистаном и Индией, и в здании этом до революции располагался публичный дом. В день заседания на лестнице, ведущей к кабинету первого секретаря, меня остановил член бюро, зампредоблисполкома Амбарцумов, милейший, располагающий к себе человек:

– Слушай, что ты на Арутюнова навалился? Он же хороший человек. Видишь на мне костюм? Сто двенадцать рублей заплатил, а лучше тех, которые по тысяче. Он же не виноват, что такие разные цены где-то устанавливают. Может человек ошибиться? Пойди к нему, он тебе такой же дешевый костюм, пальто-мальто, что пожелаешь, продаст. Все по закону будет, не сомневайся!..

Часа четыре бюро, как водится, разбирало всякие текущие вопросы и лишь потом приступило к персональному делу Арутюнова. Я сидел, полный гордости за партию. Члены бюро, и Амбарцумов в первую очередь, громили Арутюнова, не стесняясь в выражениях. Правда, докладывающий инструктор заметил, что в универмаге хорошо поставлено социалистическое соревнование, висит доска с фотографиями лучших людей, коллектив завоевал переходящее красное знамя министерства торговли Туркменской ССР. Но новый первый секретарь обкома Овезов загремел:

– Гнать подлеца из партии! Посадить!..

И Арутюнов заплакал крупными слезами, простирая вперед обе руки:

– Жизнь свою... всю кровь отдам за партию! Обещаю искупить!..

Его было не узнать: жалкий, всклокоченный, в каком-то поношенном костюме, с галстуком на боку.

Поговорили еще минут пять.

– Что же, примем такое суровое решение, чтобы никому не было повадно, – голос Первого звучал спокойней. – Есть предложение снять с работы. И по партийной линии – строгий выговор!

Все согласно кивнули. Арутюнов принялся благодарить членов бюро, обещал исправить свои ошибки. А я сидел как дурак, с открытым ртом. С театром я уже был знаком не понаслышке.

На следующий день Арутюнов, снявшись с партийного учета, убыл из республики в неизвестном направлении. Вскоре через своего товарища по университету Соколовского, работавшего в самаркандской газете, я узнал, что Арутюнов там заведует универмагом. Мне тихонько шепнули сведущие люди, что оставление в партии и, следовательно, освобождение от уголовной ответственности стоило полмиллиона рублей... Могу предположить и сколько стоила Арутюнову новая должность в Самарканде. По негласной таксе того времени, место заведующего хлебным магазином в этих широтах стоило от двадцати пяти до пятидесяти тысяч рублей. За директорство универмагом платили миллион.

Меня вдруг перевели с повышением в Ашхабад на должность заведомо литературы и искусства «Туркменской искры». Я думал, что это за заслуги в области критики и самокритики.

– А как тебя еще убраться из области? – заметил Мишка Бодрый, всегда и все знающий. – Обком недоволен...

Да и мог ли я на что-нибудь обижаться? Мне дали две комнаты в трехкомнатной квартире в самом центре города, и это в полуразрушенном после землетрясения Ашхабаде. Третью комнату занимали один ответственный товарищ с женой. Она громко негодовала по поводу того, что им не дали всю квартиру, писала заявления. Я не придавал этому значения...

Я все испытывал терпение начальства. Не зная, что байрамалийский базарком является родичем первого секретаря ЦК Сухана Бабаева, я написал фельетон о том, как тот собирает дань с продавцов, содержит при базаре опиекурильню и отхватил себе целый дом в бывшем имении царя Александра Третьего. Потом написал фельетон о заведующем Красноводским отделением госбанка (уже зная, что он приходится племянником тому же Бабаеву). Этот совсем молодой человек каждый вечер простодушно приказывал кассиру выдать ему четыре-пять тысяч рублей и шел с друзьями в припортовый ресторан. После публикации в газете его из банка тихонько перевели куда-то в министерство.

В КГБ мне выдали «вальтер» № 2 и посоветовали быть осторожным в командировках.

...В Ашхабаде явились ко мне в редакцию начальник республиканской милиции полковник Житков и работник прокуратуры с полновесными документами. К тому времени Хрущев, следуя большевистской логике командного переустройства мира (волютаризм – это нечто иное), развил бурную реформаторскую деятельность. Передавались из республики в республику целые области, раздваивались облисполкомы, сливались министерства. Одним из таких новообразований стало министерство промтоваров народного потребления. Из документов явствовало, что вместе с годовым отчетом этого министерства в Москву был отправлен вагон с подарками. Текинские ковры, каракуль высших сортов, банки с паюсной и зернистой икрой, ящики с вином, коньяком и другие дары природы – всего по оптовым ценам на три миллиона восемьсот тысяч рублей.

– Ничего не можем сделать! – развел руками полковник Житков, невысокий собранный человек лет сорока. – Не дают делу ход ни здесь, ни выше. Может быть, вы поспособствуете...

Дмитрий Андреевич Зотов долго жевал чистую бумагу (такая у него была привычка), затем как-то по-лошадиному мотнул головой и поставил фельетон в номер. Ждали грома и молний, однако два месяца все было тихо. И вдруг меня вызвали на бюро ЦК. Я взял с собой необходимые документы по фельетону. Но речь пошла о другом. Соседка по квартире подала заявление, что у меня дома произошла пьянка. Гости сильно шумели, нехорошо выражались и своротили кран на кухне. Она при этом боялась выйти в коридор, поскольку знала, что у меня есть пистолет. Проверявший заявление инструктор ЦК доложил, что кран на кухне действует, но пил я с друзьями днем, в рабочее время. И второй секретарь ЦК Федор Архипович Гришаенков осуждающе покачал головой. Он и вел бюро, в то время как Сухан Бабаев сидел в стороне. Я попытался объяснить, что все происходило не в рабочее время, а после ночного дежурства в газете, когда даются сутки отдыха. Проверявший товарищ мягко заметил, что двое моих гостей должны были в это время находиться на работе. Получается, что я их споил.

Едва я начал говорить, как члены бюро набросились на меня. Они кричали, что я веду себя нескромно, сознательно позорю партию, выискивая отдельные недостатки и раздувая их значение.

Умные люди в таких случаях каются, а я что-то кричал в ответ. Это больше всего бесило их. Нескромность – самое тяжкое обвинение в партийном лексиконе. Человек склонен обсуждать действия руководства, а худшее преступление трудно представить. Много позже я узнал, что предварительно среди членов бюро распространили грязную справку обо мне, присланную из Марыйского обкома партии. Часа полтора это длилось, пока они не вспомнили, по какому поводу обсуждают меня. По предложению того же Гришаенкова меня освободили от работы в «Туркменской искре» и дали строгий выговор с предупреждением «за организацию коллективной пьянки в рабочее время». В трудовой книжке мне записали статью 47-Г, означающую профессиональную непригодность. Это при том, что я закончил с отличием факультет журналистики...

Мне плохо помнится, что было дальше. Сразу после бюро я зашел к живущим поблизости друзьям, выпил один за другим три граненых стакана водки и сказал, что отныне не будет большего врага, чем я, у этой партии. Плохо я себя знал...

Далее все пошло по обкатанной схеме. Я полетел в Москву, в ЦК КПСС. Там терпеливо выслушали меня, дали совет вернуться и изменить статью увольнения в трудовой книжке. «Они в этом не правы!» – сказали мне. Помнивший о своем драматургическом прошлом, я пошел в газету «Советская культура». Редактор Николай Николаевич Данилов сразу все понял и направил меня спецкором в Среднюю Азию. Нужно сказать, что этому здорово поспособствовал Сергей Михалков, который сидел у редактора и тоже слушал меня. Он вдруг принялся вовсе хвалить мои фельетоны, хотя вряд ли держал когда-нибудь в руках «Туркменскую искру»...

...По возвращении в Ашхабад меня определили старшим редактором партийного отдела Туркменского отделения ТАСС. Это был ответственный пост, но фельетонов здесь не писали. Я правил выступления участников различных партийных пленумов и конференций и имел возможность подумать о своем антипартийном поведении.

...Далее мне видится как бы столб прожекторного света, прорезающий тьму ночи. В городе слышался какой-то невнятный шум, шуршание шин по асфальту... К утру стало известно, что приехал секретарь ЦК КПСС Шелепин и с ночи идет расширенное заседание бюро ЦК КП Туркменистана. Назывались и подробности. Сухана Бабаева обвинили в приписках к выполнению плана сдачи хлопка-сырца, подборе кадров по мотивам личной преданности, покровительстве преступным элементам. Сам он признался, что употребляет терьяк, но это для того, чтобы с большей энергией отдаваться делу руководства республикой. Когда его обвинили в сожительстве с третьим секретарем ЦК (по пропаганде и агитации) Нурджамал Дурдыевой, он не стал оправдываться. Зато она категорически все отрицала. Тогда товарищ Шелепин раздал членам бюро фотоснимки, где она была запечатлена с первым секретарем ЦК в различных позах. Товарищ Дурдыева упала в обморок, и ее увезла «скорая помощь». Но партии все было известно. На следующее утро, когда она возвратилась, товарищ Шелепин сообщил

членам бюро, что всю ночь она развозила ковры по квартирам родственников. Всего ковров, сказал товарищ Шелепин, было сорок восемь. Ее «уличили» и в том, что она раздаривала своим интимным друзьям автомобили.

Заседание бюро ЦК было закрытым, но все почему-то обо всем знали. Рассказывали, что Бабаев отправил в ЦК КПСС телеграмму о подрыве авторитета руководящих партийных кадров республики со стороны Шелепина. В этот же день газеты сообщили, что товарищ Шелепин назначен председателем Комитета государственной безопасности СССР. Бабаев хотел было взять обратно свою телеграмму, но ему не дали. На внеочередном пленуме ЦК КП Туркменистана Сухана Бабаева и Нурджамал Дурдыеву освободили от работы и вывели из членов ЦК. Но партия не разбрасывалась кадрами. Сухана Бабаева назначили директором строительства Безмеинской электростанции, а Нурджамал Дурдыеву – заведующей безмеинским отделом народного образования. Им предстояло доказать, что они осознали свои ошибки...

Однако, сколько дурака ни учи, все мало. Я рассчитывал, что явится, наконец, тот необыкновенный человек, который поведет партию в нужном направлении, и состоится общество, о котором тысячелетиями мечтало человечество. О природной греховности человека я и сам догадывался. В связи с этим обязательно должен был явиться мессия. Явился Леонид Ильич Брежнев...

Наиболее ярким эпизодом заключительного периода моей газетной деятельности был двойной подвал в «Учительской газете» (я к тому времени был ее собкором по Средней Азии и Казахстану) под заголовком «Пржевальская трагедия».

В далеком городке на берегу знаменитого озера Иссык-Куль ученик четвертого класса убил учительницу. Я летел туда старым, еще времен войны, перкалевым Р-5. Вершины Тянь-шаньских гор приходилось облетать, поскольку выше подняться он не мог. Рассказывали, что к границе с китайской Кашгарией в этих горах пограничники добрались лишь в 29 году. Там нашли казачью заставу, где люди что-то слышали о революции в России от проезжих китайских купцов, но веры им не давали. Перевалы все эти годы были засыпаны снегом, и жили здесь натуральным хозяйством. Они сменили погоны на петлицы и продолжили свою службу...

Вечером я обошел городок и насчитал восемь электрических лампочек. За глухими заборами гремели цепями собаки. А с утра началась выездная сессия Верховного суда Киргизской ССР. До Нового года оставалось два с половиной дня, суд был показательный, и следовало рассмотреть накопившиеся за год важные дела, связанные с убийствами.

Прежде всего, я направился в горком комсомола. Первый секретарь, милая девушка-киргизка, с грустью поведала, что в городе нет промышленности и семьдесят процентов молодежи – безработные. Отсюда и преступность. Она вызвала нескольких парней. Городок был чисто русский, и я спросил у них, почему не едут в большие города. В горкоме висело объявление о том, что требуются рабочие в самой Москве. Гарантировались общежитие и профобразование.

– Вот еще, ехать куда-то на край света! – недовольно пробасил один. Остальные согласно кивнули головами. Они, потомки обжившихся здесь переселенцев, не согласны были покидать местную цивилизацию. Работали они, и хорошо работали, на себя. Об этом свидетельствовали добротные дома с огромными садами, каких не увидишь в России. В садах стояли укрытые на зиму ульи, виднелись утепленные коровники, свинина на базаре стоила вдвое дешевле, чем во Фрунзе. И еще рыба всех видов, вплоть до форели, продавалась совсем задаром. Чем бы их могла порадовать Москва – балетом Большого театра?.. Дело с убийством учительницы Зверевой получало самое простое объяснение. Убил ее прямо в учительской средней школы имени Чехова молотком по голове сын школьной уборщицы. Это был многократный второгодник, которому на беду его за неделю до этого исполнилось восемнадцать лет. Он услышал, как Зверева в разговоре с другими учителями обвиняла его мать в том, что та обшаривает карманы висящих в учительской пальто. У учителей регулярно пропадали мелкие деньги. Я разговаривал с подследственным в тюрьме. Здоровенный парень со скошенным лбом так и не понял, что он наделал. Отец погиб на фронте, и мать воспитывала его, едва сводя концы с концами.

Суд завершился на сцене местного клуба. В зале сидело человек тридцать. Вечером зажигалась тусклая лампочка, но свет раза два или три гас. Прокурор, как и защитник, был один для четырех дел. Оба, как было видно, хорошо угостились по приезду. Защитник – киргиз, фронтовик без ноги, в донельзя поношенном френче – весело шутил, перебывал судью. С первым делом справились часа за три: два внука, двадцати и восемнадцати лет, пристукнули свою бабушку, в доме которой жили. Та корила их за многодневное пьянство. Суд выяснял, кто же из братьев нанес ей последний, смертельный удар.

– Да вот, Васька! – сказал младший.

Старший не отрицал, что добил бабушку:

– А чего она лежит, ноет!..

Когда прокурор потребовал для старшего высшей меры наказания и суд с ним согласился, по залу прошелся недовольный гул.

– За бабу-то? – удивился кто-то. – Мало ли что там у них было. Тогда нас всех пострелять можно!

Суровый народ жил в этих местах.

В деле об убийстве учительницы Зверевой суд пропустил как несущественные свидетельства о разговорах в учительской, услышанных подсудимым.

– Ай, я бы тоже убил! – сказал защитник, после чего заснул.

Подсудимого тоже приговорили к расстрелу. Суд спешил, и 31 декабря были вынесены последние смертные приговоры. Всего их было пять, остальные по мелочи: десять-пятнадцать лет.

«Пржевальская трагедия» наделала немало шума. Кто-то в ЦК сказал, что в очерке рисуется слишком мрачная картина положения дел в отдаленных районах Союза. Убийство учеником учительницы – не тема для широкой публикации. На беду мою материал

перепечатали зарубежные издания. И меня перестали печатать. Целый год получал я зарплату, но ни одной моей строчки не появилось в газете. Я написал резкое письмо редактрисе с заявлением об уходе. Вскоре я переехал в Алма-Ату...

7. В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ

Я ничего для себя не планировал. Вечером играл в преферанс, а утром почему-то сел писать повесть. Называлась она «Повесть Черных Песков», впоследствии – «В Черных Песках», и это была, пожалуй, единственная правка, которая случилась при ее публикации. Прошло десять лет с того времени, когда упражнялся я в драматургии. Успех повлиял на меня в лучшую сторону. Мне достаточно было убедиться, что социалистический реализм мне по плечу. Что-то бессознательное подсказывало, что «писать литературу» мне еще рано.

Сюжетной канвой повести не была борьба с басмачеством, которое всколыхнуло всю Среднюю Азию в тридцатые годы как ответ на коллективизацию. Басмачество двадцатых годов входило естественным компонентом в гражданскую войну. Ликвидировались вековые ханства, эмираты, бекства, и движение это носило другой характер, сочетая так называемую классовую борьбу с национальными движениями... Связь между басмачеством двадцатых и тридцатых годов безусловно имелась, но по целям и участвующему в них контингенту это были совершенно разные процессы. Меня в повести интересовало, как приходят в большевистскую революцию простые полуграмотные дехкане. В принципе, слово это отнюдь не означает крепостного, тем более раба (*кула*), а свободного человека, имеющего свой удел и определенные права. *Ганлы* – кровная месть – являлась способом утверждения этих прав. Большевики подменили этот обычай классовой борьбой.

Писал я повесть месяца полтора, часто ночами, поскольку днем приходилось править по линии ТАСС информацию о событиях, случившихся за истекшие сутки в партийной жизни Туркменистана. В газетах выделялась отдельная рубрика, которая так и называлась – «Партийная жизнь». Нужно сказать, что жизнь эта кипела: каждый день кого-то снимали, перемещали, снова назначали, и все следили за этим с неослабевающим интересом. Повесть я сдал на ежегодный закрытый конкурс при Союзе писателей Туркменистана. Второй экземпляр я, на всякий случай, отправил в «Новый мир» с единственной надеждой: получить оттуда рецензию.

...При всей моей вере в окончательное торжество социализма, конструировать эпопеи о превосходстве советского образа жизни с расчетом на Сталинскую премию я не мог, даже если бы и захотел. Есть некие тормоза от Бога в самом человеке. Так называемая «лейтенантская проза» уже писалась, и прибавить что-то новое к ней было трудно. К слову, проза эта – веская страница в русской литературе. Правда войны пробивается в ней к читателю, несмотря на золоченые шоры социалистического реализма. Со-

рвать эти шоры с дьявольского лица войны пока что удалось только Виктору Астафьеву.

Да и тема эта была не моя. А историю я не то чтобы любил – это неподходящее слово. Я ее как бы чувствовал, когда еще лет восьми отроду копался в двух кварталах от нашего дома в загаженных за два века развалинах турецкой крепости Хаджибей. И еще пушка с английского фрегата «Тигр», в Крымскую войну обстреливавшая Одессу, стояла на Приморском бульваре. Я лазил по ней, ощущая тепло вылетающих некогда из ее чугунного чрева ядер! Потом история обступила меня со всех сторон. В древнем Мерве высилась гробница последнего сельджукского султана Санджара, шумный и красочный базар располагался в стенах крепости времен Сасанидов; вокруг на многие десятки километров холмились слегка присыпанные черным песком горы из легких, как бумага, человеческих костей и вязкого пепла, оставленных временем Чингисхана. А посередине плоской, как стол, равнины была насыпана чудовищная гора с цитаделью, построенной, по преданию, первыми арийскими царями Кеями и разрушенная Александром Македонским. Двурогим называли его здесь. Рога у него будто бы росли острыми концами вовнутрь и причиняли ему нестерпимую боль, когда останавливался он хоть на один день в своих завоеваниях. Потом уже при конвоях с порохом я видел солнцепоклонников и их капища. А в Тамерлановых воротах, где базировалась рядом наша эскадрилья 11-й школы пилотов, была на скале надпись арабского полководца об очередной победе над язычниками-гяурами.

Все это была лишь затравка, осевшая где-то в памяти. В мире, где миражи утверждались как реальности, необходимо было обрести некую твердь. Для меня она располагалась не в пространстве, а во времени. Лишь там можно было найти ответы на вопросы, которые задавала эпоха «реального социализма». Правда, и тут она пыталась установить диктатуру пролетариата. История – это политика, опрокинутая в прошлое, – таков был метод познания. Дрова для полковой кухни, таким образом, заготавливались и здесь. Даже песню пели: «Мы покоряем пространство и время». Только муза Клио, курирующая историю, не заканчивала академии общественных наук при ЦК КПСС, и это вселяло надежду...

Волею судьбы я находился в центре огромной евразийской равнины. Но это было пространственное измерение, неизменное от начала времен. Само время не имело начала или конца. Оно менялось с каждым восходом или заходом солнца. Отсюда начиналось движение истории как некоего отрезка времени, и сколько великих переселений народов происходило отсюда. Они двигались в освобождающуюся ото льда Европу, в близкую – рукой подать! – Америку, на острова Океании и в самую Австралию, на пересыхающие после потопа берега великих рек, где Творец озадачил человечество. Словом, да мало ли куда! Смешивались расы, рушились и обновлялись верования, древо познания добра и зла плодоносило, и попытки мичуринцев всех времен и народов выращивать одни лишь сладкие плоды оставляли в истории горькую оскомину. Особые пути отвергались Временем, и теория относи-

тельности помогла лишь разрушить Хиросиму. История – наука конкретная и, как сама природа, не терпит нарушения законов всемирного тяготения. Отсюда – блуждающие в космосе осколки некогда великих планет...

Не писать я уже не мог. Незаметно для себя я узнавал такое, чего не найти было в учебниках, специальных трудах и исследованиях. Текущая жизнь была, как призма, через которую преломлялось время. Не одни только орнаменты на вышивке у щиколоток колхозницы и на кувшине двухтысячелетней давности были одинаковыми. Поворот головы, манера речи, усмешка человека служили как бы окном в прошлое. Прокаленный солнцем, превратившийся в сероватую пудру от постоянного движения барханов, пропитанный солью древних морей, каракумский песок хранил органику получше рукотворных египетских мумий. Такими же устойчивыми ко времени были тут и человеческие характеры...

Мне не нужно было уже конструировать тему, конфликт, сюжет. Дружба народов в те времена выражалась способом, понятным каждой кухарке. Положительный герой, чаще всего грузин, был мудрым советником при начальнике какого-нибудь строительства. Отрицательный герой не имел национальности, но носил специфическую фамилию: скажем, Шапиро. Или, как в моей пьесе – туркмен женился на русской и наоборот. Подходящую фамилию можно было найти в телефонном справочнике. Помню кинофильм первых послесталинских лет, где небритый туркмен в окопах первой мировой войны втыкает штык в землю и говорит: «Будя, наваявались!». Это при том, что туркмены в боевых действиях тогда не участвовали.

В своей повести я не то чтобы ушел от принятого макета дружбы народов, но содержание, сам материал, помимо моей воли, выбивался куда-то в иные времена, к первооснове конфликта. Связь времен – неперемненное, органическое условие любого вида творчества. Этого как раз и лишено плоскостное, сугубо пространственное видение кухарки от литературы. От этого нелегко было избавляться. Для меня история и стала той целительной стихией, которая сама уводила меня за руку от кулинарных ухищрений социалистического реализма.

Помню, в юго-восточных Каракумах налетевший как-то ветер-афганец в несколько часов сдвинул миллионы тонн песка. Обнажился целый караван в сотни верблюдов с поклажей, погонщиками, охраной. Соль и йод пропитали их плоть, и лежали они в единой связке, засыпанные тысячи лет назад таким же внезапным ураганом. Кто были эти люди? Я смотрел на них и думал, что все наши современные мечтания, радости, тревоги повторялись в поколениях, как этот ураган на Великом шелковом пути. Для меня тогда как бы открылось окно в прошлое, куда не опрокинуть никакую политику. Не знаю, успели ли оприходовать эту находку ученые, но через месяц, когда я снова оказался на этом месте, там уже громоздился новый бархан, неотличимый от тысяч других.

В повести сам собою наметился сюжет, который, подобно орнаменту, мог бы повториться тысячу и две тысячи лет назад. В этот раз он пришелся на время революции в России. Древние страсти

были лишь спроецированы на классовую борьбу, но суть от этого не менялась. Туркмены в песках, куда мало кто любил заходить, сохранили в наиболее чистом виде знаки движения во времени. Для меня они уже не были тем, что однозначно именуется прошлым. При переходе через Копетдаг взбунтовалась фаланга Александра Македонского, отказавшаяся идти дальше через пустыню. По традиции, каждый третий был казнен, а остальные поселены при дозорной башне охранять перевал. Им даны были в жены местные женщины, и с тех пор вот уже две с лишним тысячи лет ни один человек из рода *нохурли* не ушел отсюда. Никто вам не скажет тут о заклании Искандера Двурогого, но никакие уговоры не могли заставить местного партсекретаря переехать отсюда на работу в ЦК. Я разговаривал с этими высокими красивыми людьми, и в глазах их явственно видел, как фаланга выстраивается к бою, выставив пять рядов копий. В домах у них говорило радио, во дворах у некоторых стояли машины, сами они давно были туркмены, и все вместе составляли некое единство, которое представляет историю не просто как предмет изучения, а как живое тело в круговороте мироздания.

Меня не удивляло уже, почему многие мои друзья-текинцы, сбросив краснополосные халаты, затерялись бы сегодня в толпе римлян или неаполитанцев. Одиннадцать легионов неудачливого консула Марка Красса были пленены парфянами в битве под Каррами и отправлены в Маргиану – Александрию, позже Маргиану-Антиохию, а точнее – в Марыйскую область Туркменской ССР, где я работал корреспондентом, строить плотину на реке Мургаб. Она и поныне образует там водохранилище Султан-бент. И потомки римских легионеров давно уже туркмены, если не ушли с сельджуками завоевывать Византию и строить затем Оттоманскую империю. В таком случае, сегодня они уже турки – такова генетика истории.

Долго не мог я разобраться в существующем у туркмен особом аристократическом слое, который не просматривается в других тюркских народах. Племенные образования и союзы среди них были известны науке: текинцы, ахал-текинцы, йомуды, сарыки, эрсари, гоклены, чоудуры, алиэли, нохурли и прочие. На протяжении бурной истории Черных Песков они соединялись в союзы: скажем, салорский союз племен. Или, наоборот, раскалывались, как примургабские текинцы, на отамыш и тохтамыш (правобережные и левобережные). Как и у других тюрков, выделялись среди них тюре (торе) – привилегированные потомки чингизидов. Были и ходжи – прямые потомки пророка Мухамеда или его ансаров. История оставляла как бы верстовые столбы во времени, и я не по книгам знакомился с этим. Советская этнография покоилась на принципах исторического материализма и мало что объясняла. Я долго не мог разобраться с неким, нигде не отмеченным явлением. Речь шла о тех, которые назывались *иг*. Какой-нибудь молодой человек мог бездельничать, вести вполне непотребный образ жизни, нарушать родовые традиции. Ему позволялось то, за что другого перевели бы в разряд изгнанников – *кумли*, без права появляться когда-нибудь в родном ауле. (Помните племя «Джан» в замечательном рассказе Андрея Платонова?) Если *иг* попадал в

тюрьму, весь род делал все возможное и невозможное для его вызволения. Когда заходила речь об этом явлении, туркмены замолкали и переводили разговор на другую тему. У *из* были особые приметы: например, высокий лоб, несросшиеся брови, и не должны были расти волосы на груди. Остальные считались *кул*, то есть те, которых некогда завоевали, смешавшись с ними, «чистые туркмены». А еще туркмены, в отличие от других тюрок, отличались искусственной долихоцефалией. Только что родившемуся мальчику матери таким образом обвязывали голову, что она приобретала заметную продолговатость. Вместе с традиционным обрезанием это входило в обязательный ритуал истинного туркмена, *из* он был или *кул*. Чем только ни объясняли это учение, находя сходный обычай где-то среди племен Африки или островов Тихого океана. Беседуя с доверившимися мне стариками, сопоставляя их сведения с историческими событиями, я докапывался до истины.

...Повесть моя, как стало известно при подведении итогов конкурса, не была рекомендована к участию в нем по причине ее литературной несостоятельности. Премию присудили сопредседателю жюри из политруков-пограничников, курирующему русскую литературу в Союзе писателей Туркменистана. В тот же день я получил телеграмму, что «Новый мир» принял повесть к опубликованию и редактором утвержден член редколлегии Борис Лавренев...

Борис Андреевич Лавренев подчеркнул три-четыре слова в повести и сказал, что мое дело решать, к месту ли там они. Думается, их поколению импонировала сама тема. То, что кровная месть в контексте революции подменялась классовой борьбой, было явлением времени. Так вера в мессию неосознанно накладывалась на Ленина и наследующих ему апостолов большевизма...

По-видимому, что-то еще привлекало внимание редколлегии «Нового мира» – та же связь времен. Произведения на подобные темы обычно представляли гражданскую войну в Средней Азии словно бы в историческом вакууме, все совершалось по воле партии. Согласно советской традиции, история Центральной Азии начиналась лишь с победы Октябрьской революции. А до прихода России в степях и пустынях кочевали туда и сюда какие-то орды, лишь меняющие свои названия: хазары, печенеги, кипчаки, киргиз-кайсаки, туркмены. Если и обозначалась где-нибудь какая-то государственность, то представляла она собой сплошное феодальное безобразие. Лишь немногие русские писатели пытались прорваться сквозь эту вязкую, имперскую по сути своей паутину...

Когда я впервые перешагнул порог «Нового мира», который тогда располагался окнами на Пушкинскую площадь, у меня рассыпалась рукопись. Какой-то человек, шедший вслед, принялся помогать мне собирать листы. Только потом я понял, что это Твардовский, и вовсе расстроился... На следующий день заведующий отделом прозы Евгений Николаевич Герасимов, весь обсыпанный пеплом от сигарет, которые непрерывно курил, предложил мне зайти к главному редактору.

Для меня Твардовский был и остался не просто великим русским поэтом, но и совестью России.

– Разрешите? – спросил я, приоткрывая дверь в его кабинет.

Твардовский посмотрел на меня и как-то весело сказал:

– Разрешаю!

В светло-голубых его глазах читались доброжелательность и еще явное понимание моего состояния. Он уже не скрывал улыбки:

– Что скажете?

Я сказал, что учел замечания и все поправки в повести сделаны.

– Вы кто по национальности? – неожиданно спросил Твардовский.

Я будто ударился обо что-то, все тело напряглось. Здесь я такого не ожидал. И увидел, как потемнели у Твардовского глаза и двойная складка прорезала лоб. Он уже не улыбался. Выражение брезгливости к чему-то невидимому, бесчестному, понятному нам обоим, появилось у него на лице.

– Не о том я совсем! – он сделал резкий отрицательный жест. – Просто чувствуется, что вы хорошо знаете Среднюю Азию, любите. А имя у вас французское. Меня это и заинтересовало.

Твардовский опять улыбался: «Как же ты мог подумать обо мне *такое?*» – читалось в его глазах. И мне сделалось стыдно...

По выходе повести я получил в Ашхабаде срочную, на синем бланке, телеграмму: «волнением прочитал вашу повесть в черных песках желаю творческих успехов федор панферов». Зная о принципиальных разногласиях Твардовского с Панферовым, если не сказать больше, стал думать, что кто-то из друзей разыгрывает меня. Да и откуда в «Октябре» знают мой адрес? Но получил еще и письмо, написанное по поручению Панферова с предложением сотрудничать с его журналом. Дней через десять, будучи в командировке в Москве, зашел в «Новый мир» и рассказал об этом Твардовскому. Он выслушал меня, усмехнулся:

– Что же, зайдите, поблагодарите. Федор Иванович – крупный писатель, в литературе толк знает.

Я так и не понял, усмешка относилась к Панферову или ко мне: как себя поведу в этом случае.

В приемной «Октября», наискосок от редакции «Правды», секретарь сказала мне, что адрес мой по поручению Панферова она узнала в «Новом мире». Он с большой теплотой говорил о моей повести и сейчас примет меня. Сразу почувствовал железную революционную дисциплину в журнале – не то, что в «Новом мире». В кабинет меня пригласили минут через десять. Пронзительно светлые, с едва заметной голубизной, глаза сидящего за столом человека казались еще светлее на бледном, исхудалом лице. Какое-то удалое, отчаянное веселье читалось в этих глазах. Панферов был очень болен, но полон энергии. Сказал, что он и его жена, известная писательница, читали мою повесть. Так обычно делают они – читают и сопоставляют свои впечатления. И пусть не его, а ее мнению можно доверять. У нее отменный литературный вкус...

Ему принесли завтрак. Он открыл тарелку, там была пустая рисовая каша.

– Предложил бы вам со мной позавтракать, да это такая штука... Даже без соли, на голой воде. Понимаете?

С видимым отвращением съел он две-три ложки, налил в стакан воды, выпил.

– Вот, воду пью! – сказал он с горечью.

Проницательность в его глазах сделалась почти нестерпимой. Федор Иванович знал об этой своей особенности и не пытался ее скрывать. Этаким чекистский взгляд.

– Поговорим о вашей литературной судьбе. Вы – человек молодой, все у вас еще впереди... Нет, я знаю, чем вы обязаны «Новому миру». Они вас нашли, и я ни в коем случае не намереваюсь перебить, так сказать. Александр Трифонович – большой поэт, и журнал у него хороший. Но он только поэт. И знаете, у каждого есть свои слабости.

И он начал, что называется, «лить» на Твардовского. Как тот не захотел печатать Евтушенко, других молодых поэтов, а «Октябрь» их напечатал. И Паустовскому сказал, что его «биографийка» не представляет литературного интереса. Привел еще несколько примеров того же рода. Я потом узнавал: с Паустовским все происходило несколько иначе...

– Ну, были в «Октябре»? – спросил меня на другой день Твардовский.

Я подробно рассказал о разговоре с Панферовым, кое о чем умолчал. Понимая это, он опять лишь усмехнулся.

– Что ж, Федор Иванович все правильно вам говорил!

Сразу после публикации в «Новом мире» повесть вышла огромным тиражом в «Воениздат», стала переводиться на другие языки. Первыми ее перевели литовцы. Потом она вышла и в Ашхабаде...

Тема следующей моей повести была самая расхожая – Поэт и Власть. А вот истоки. Уже много лет мучило меня некое чувство, на первый взгляд не имеющее никакого отношения к теме или сюжету этой повести. В старом Джизаке, неподалеку от нашего аэродрома, были какие-то развалины. Нет, не старые крепостные стены, а обычные жилища с прогоревшими крышами, обрушенными дувалами и буйно разросшимися садами. Ветви гнулись там от перезрелых яблок, урюка, персиков-шапталы, гроздьями висел виноград. Была война, страшный голод, и никто туда не заходил – ни взрослый, ни ребенок. Воды реки Санзарки временами прорывались в эти развалины, размывая оставшиеся фундаменты и подпитывая сады. Как-то мы, курсанты, хотели перепрыгнуть туда через арык, но проезжавший на арбе старик-узбек что-то крикнул нам, указывая в глубину сада. Мы пригляделись, и холодок прошел по спине. То, что мы принимали за виноградную лозу, были змеи. Они гирляндами свисали с деревьев, и все новые выползали из развалин к свету, образуя живую шевелящуюся массу.

Потом уже, работая корреспондентом, я видел такие заброшенные селения в Ферганской долине, вдоль Зеравшана, в Гиссаре, на Памиро-Алае. Об этом говорили неохотно, но я уже знал правду. В конце двадцатых – начале тридцатых годов, в связи с маниакальной коллективизацией, по всей Средней Азии вспыхивали народные восстания. Это и называлось басмачеством. Тогда-то партия и бросила на его ликвидацию свое проверенное еще в

Тамбове оружие – Первую Конную армию. За два года она прошла Великим шелковым путем от Красноводска до Пишпека, заливая кровью очаги восстания. Делалось все просто. Если где-то оказывалось сопротивление, был когда-либо убит милиционер или красноармеец, город или аул окружали, в ход пускалась артиллерия. Выбегавших из огня, независимо от пола и возраста, брали в клинки. Потом двигались дальше, как водится, с боевыми песнями.

Была, однако, тут древняя, еще зороастрийских времен, традиция. Нельзя было продолжать жить на том месте, где произошло великое кровопролитие, безразлично – из-за природных сил или по воле человека. Так, парфяне после следовавших одно за другим разрушительных землетрясений дважды переносили свою столицу Нису. Там же был потом построен Ашхабад. После того, как Чингисхан разрушил Мерв, перебив всех его жителей, город строился на новом месте. Людям виделось что-то вроде радиации: силы зла продолжали присутствовать в таком Богом проклятом месте.

...Последним аккордом сталинской национальной политики была опрокинутая в прошлое яростная война с легендарным прародителем всех тюрков – Дедом Коркутом, или Коркут-атой, как именуют его разные народы. Национальный эпос, утверждающий их историческое и культурное родство, был объявлен вне закона как идеологически вредный. Это как если бы потребовать верности идеям Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, скажем, от «Илиады» Гомера.

Все было не так просто. Перед этим шла свирепая борьба с космополитизмом. Евреи, как всегда, служили лишь затравкой для более широких партийных свершений. Обратной стороной космополитизма был объявлен национализм, то есть, стремление евреев не быть «беспаспортными бродягами в человечестве» и сохранить свои исторические и государственные корни. Массы охочих до всяческой травли маргиналов, прежде всего, «образованщину», стали пугать сионизмом. Потом с этого традиционного плацдарма обрушились уже на национализм в республиках. Буквально по следам Первой Конной шла широкая всеохватывающая волна репрессий. Делалось это организованно, в плановом порядке. В «Правде» появлялась статья, подписанная обычно тремя авторами: известным «востоковедом в штатском» Люцианом Ипполитовичем Климовичем, кем-то из местных ученых того же пошиба и собственным корреспондентом газеты. В день, когда газета выходила в свет, на месте арестовывалась группа наиболее авторитетных ученых, так или иначе связанных с изучением эпоса. В Туркмении таким образом были арестованы Баймухамед Каррыев, Мяти Косаев, Оразмамед Абдалов, Журменек и другие. Им быстро дали по десять лет и отправили в Карлаг, лишь придерживав для доследования Журменека. Как этого добивались (в прямом смысле), мы сегодня знаем, и профессор Журменек дал показания, что они не просто изучали антинародный эпос «Коркут-ата», но по сговору с иностранной агентурой образовали туркменское национальное правительство в подполье. Всех привезли назад из Караганды и судили заново.

При закрытом слушании Журменек часа два давал показания о составе и программе подпольного правительства. Премьер-министром, по его словам, был избран ими Оразмамед Абдалов, все другие стали министрами. Когда он закончил и дали слово подсудимым, Оразмамед, крепкий невысокий йомуд с индийским лицом Будды, сказал:

– Дорогой наш соратник Журменек все правильно здесь говорил. Не сказал он только одного.

– Чего же он не сказал? – оживился один из судей.

– Какой ответственный пост доверили ему самому!

– Какой же? – спросил судья.

– Министра государственной безопасности. Ему было решать, кого из партийного руководства надо расстрелять в первую очередь. Зачем же скрываешь это, Журменек? Ты еще пьяный тогда лежал под диваном, помнишь?

Тут даже судьи не выдержали, рассмеялись. Вместе с Журменеком всем теперь дали по двадцать пять лет и отправили назад в Караганду. Когда после смерти генералиссимуса всех их выпустили, я как-то назвал своего друга Оразмамеда Абдалова принятым им самим русским именем-отчеством – Михаил Иванович. Он посмотрел на меня своим долгим, серьезным взглядом и сказал:

– Михаил Иванович *там* остался. А я – Оразмамед!

Параллельно шли процессы над учеными по поводу Шамиля, оказавшегося английским шпионом, чингизида Кенесары Касымова и других национальных деятелей разных веков и народов. В Туркмении из более чем ста известных поэтов, мыслителей, сказителей были разрешены для изучения лишь пять-шесть имен. Сгустились тучи над отцом туркменской поэзии Махтумкули, чье литературное имя было Фраги (Разлученный со счастьем). Родившийся в восемнадцатом веке, он был муллой, и охочие критики выискивали в его стихах религиозные мотивы, которые не соответствовали курсу партии. Все эти поэты, и Махтумкули в том числе, остались под подозрением и после смерти Сталина. Сусловская десница не разжималась на горле литературы. Лишь сбавив на время обороты, имперский каток продолжал двигаться по той же прямой. Ученых частично реабилитировали, но тот же Оразмамед Абдалов, кандидат наук, талантливый экономист, работал рядовым редактором на «Туркменфильме». Дед Коркут, кроме всего, родоначальник тюркской национальной музыки, как и поэты разных веков, оставался под подозрением. Так что свою новеллу о Махтумкули я писал вполне сознательно. Ученый Мяти Косаев, «без пяти минут Махтумкули», как называли его туркмены, написал от руки на две с половиной страницы отзыв на нее, и с этим я поехал в Москву. Твардовский тут же опубликовал ее, и это была чуть ли не единственная повесть на историческую тему, напечатанная в «Новом мире». Национальная тема тоже не была в журнале главенствующей. Кроме того, это – первая повесть о самом Махтумкули. Потом уже появилось много других. Публикация о поэте в центральном журнале как бы реабилитировала его в глазах идеологических служб. Стоит напомнить и об этой заслуге Твардовского...

8. ОКЕАНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

В Союз писателей я вступил достаточно поздно, уже в Алма-Ате. Рекомендации у меня были от «Нового мира» и еще от двух известных писателей. У меня выходили и переводились на другие языки книги, поставлена была пьеса, снят фильм. Первый секретарь Союза писателей Казахстана Габиден Мустафин, видимо, не знал, какой же мне задать вопрос. Он подумал и спросил, пью ли я. Это был самый больной вопрос советской литературы. Не пить писателю было просто непатриотично, и я честно сказал, что пью. Габиден-ага тяжело вздохнул и сказал, что есть предложение меня принять. Все проголосовало «за», и я с приятелями пошел в пельменную напротив, воспетую впоследствии Андреем Вознесенским...

Литературная жизнь республики вращалась в те годы вокруг журнала «Простор». Классик советской литературы, линейный казак из Северного Казахстана Иван Петрович Шухов сумел объединить вокруг журнала достаточно интересных, неоднозначно мыслящих писателей. В журнале работали или состояли в редколлегии Галина Черноголовина, приехавший вслед за мной из Ашхабада Алексей Белянинов, Юрий Герт и Владлен Берденников из Караганды, Николай Ровенский, Валерий Антонов, Павел Косенко, Ростислав Петров, Юрий Плашевский. Как-то сами собой отшелушивались от журнала литературные посредственности, как водится, считающие себя обойденными славой. Из них, а также из мелкотравчатых газетных графоманов формировалась оппозиция журналу. По вековой традиции она надела на себя тогу патриотов. Советских пока еще патриотов. Торгующие любовью в прямом смысле куда честнее торгующих любовью к родине...

Собственно, никаких диссидентских поступков «Простор» не совершал. Просто первым в стране после долгого перерыва начал печатать Андрея Платонова, Бориса Пастернака, Марину Цветаеву, Павла Васильева, ту же Ирину Кнорринг. Увидели здесь свет и ряд московских, ленинградских и сибирских авторов, чьи произведения не смогли напечатать центральные журналы. Больше года у меня на стеллаже лежала повесть Владимира Максимова «Двор посредине неба», которую мы пытались у нас опубликовать. Лежали неизданные в свое время роман Всеволода Иванова, повесть Бориса Пильняка и многое другое. Безмерно любивший литературу, в свое время знавший многих репрессированных писателей, Иван Петрович Шухов жил и дышал журналом.

И был еще Иван Петрович Шухов настоящий казахстанец. Так или иначе, в шестидесятые годы именно в «Просторе» вышли в переводе на русский язык значительные произведения казахской литературы. А после публикации к тому времени не реабилитированного великого казахского поэта Магжана Жумабаева состоялось специальное решение ЦК Компартии Казахстана. Известно было, что Сулов кричал на одного из республиканских руководителей: «Что вы там у себя второй «Новый мир» развели!».

Началась облава на журнал. Возглавил ее редактор газетенки «Вечерняя Алма-Ата». Не проходило недели, чтобы в газете не

появилось разоблачительной статьи или рецензии по поводу очередного номера журнала. Начальству раскрывали глаза на белоэмигрантские опусы, на увлечение журналом московскими и другими сомнительными авторами в ущерб своим, заслуженным казахстанцам, требовали больше уделять внимания нашей героической современности. И чуть ли не в каждом материале прямо или косвенно намекалось на засилье в журнале людей известной национальности. Евреем среди сотрудников «Простора» был один Юрий Герт, великолепный писатель, пользовавшийся большим уважением у молодежи. Я был только членом редколлегии. Процентная норма была соблюдена даже по законам Третьего Рима.

Это была как бы артиллерийская подготовка. И, по правилам партийного фарисейства, вовсе не за все это сняли главного редактора журнала. «Простор» имел огромный тираж, широко распространялся в Союзе, имел иностранных подписчиков. Как всякий массовый журнал, он время от времени печатал детективы. Так, начал он печатать известный роман классика детектива Фредерика Форсайта «День шакала». И не закончил. Опять, не без доноса из Алма-Аты, бдительные люди в Москве посчитали, что роман этот чуть ли не инструкция, как подготовить покушение на вождя. В данном случае, по-видимому, Брежнева. Иван Петрович Шухов был освобожден от работы, а главным редактором журнала, конечно же, стал бывший редактор «Вечерней Алма-Аты», которого тут же приняли в Союз писателей. То, что это был жестокий удар по русской культуре в Казахстане, мало кого в Москве волновало.

Шухов не мог жить без «Простора» и вскоре умер подобно Твардовскому, которого лишили «Нового мира». Четвертый Рим не мог не убивать писателей хотя бы и таким способом. (Любопытно, что «День Шакала» вскоре был напечатан в одном из центральных журналов и не вызвал никаких нареканий). С другом моим Николаем Степановичем Ровенским мы вышли тогда из редколлегии.

...Приблизительно в то же время произошел скандал с публикацией в «Просторе» очерка Марины Цветаевой «Вольный проезд», который она напечатала в середине двадцатых годов, живя уже в Париже. В очерке речь шла о грабительских, по своей сути, действиях продотряда во главе с комиссаром-евреем. Комиссар этот самое ценное из награбленного оставлял себе, а на шее носил подвешенный на цепи увесистый слиток золота.

Понимая, что очерк может быть истолкован как антисемитский, поэтесса, публикуя его, в качестве послесловия поместила великолепное стихотворение, смысл которого в том, что Христос как раз и выражает суть и характер еврейского народа.

«Простор» опубликовал очерк без этого стихотворения. К тому времени в журнал пришли те самые литературные посредственности, чья главная забота была о том, чтобы их фамилии не забыли перечислить в докладе секретаря Союза писателей. Именно этот контингент проповедовал антисемитизм как национальную идею...

Судьба «Простора» была предрешена. После публикации «Тайного советника вождя» журнал получил значительный прирост читателей, прежде всего за счет бывших охранников Карлага.

...Это витало в воздухе, которым я дышал. Древний тюркский хлеб – *баурсаки* имел особую горечь, незаметную для равнодушных. Пуд соли я тут уже съел...

Не верю в разное время жившим здесь разноплеменным писателям, художникам, композиторам, которые в лучшем случае писали, рисовали, музицировали «с натуры», не пытаюсь даже ощутить те заповедные начала, которые составляют понятие «казах». Или «туркмен». Или «чеченец». «Хаджи-Мурат» Толстого – это вершина такого проникновения в самую суть проблемы. Ибо всякий народ задает свой вопрос времени (не путать с «особыми путями» в истории). И дело тут не в преходящей политике. В горских аулах Кавказа висят портреты Лермонтова, который воевал с казачами. Портретов Проханова нигде не повесят.

...Это был странствующий сюжет, но имел он определенные корни. Упомянут был он в Волынской летописи. Я знал его с детских лет по стихотворению А. Майкова. Кое-что мне рассказал писатель Сергей Николаевич Марков, а мой юный тогда еще друг Олжас Сулейменов сообщил мне, что видел в Каире могилу султана Бейбарса. Эпитафия на ней гласила, что был он кипчаком из рода Берш. И еще была казахская пословица, что лучше быть подошвой горы на родине, чем вершиной (султаном) горы на чужбине. Писать, как собирал я материалы о четвертом бахритском султани Египта, победителе монголов и крестоносцев, не буду. Научные труды, литературные источники лишь служили подспорьем. Главное было – тот пуд соли, который я тут съел. И горечь полыни на губах, когда я писал. Повесть «Емшан» – о том, как вывезенный маленьким ребенком из родных степей прославленный владыка Египта бросает свой забрызганный кровью трон и возвращается простым странником к своему народу, чтобы разделить его трагическую судьбу. Повесть получила неожиданный, в том числе и международный, резонанс. Мамелюки были классические манкурты, и, кажется, впервые в советской литературе присутствовала эта болезненная для всего государственного устройства тема.

Углубляясь в историю, пытался я найти там корни происходящего. Сколько лет работал я над романом «Маздак»? Может быть, с того дня, когда в военной юности увидел живого зороастрийца, обвязанного под одеждой веревкой с тремя узлами.

От Эраншахра – великой державы Сасанидов – остались лишь развалины царского дворца в Ктесифоне, барельеф на скале и серебряные блюда со сценами царской охоты, найденные почему-то в Перми. Книги Эраншахра еще более древних времен сохранились отрывками лишь в поздних арабских рукописях. «Шах-наме» – только художественный перевод на фарси-дари «Книги владык».

Это была почти невыполнимая задача – писать по таким скудным источникам исторический роман. Сначала, как бы собирая его остов, написал я «Хронику царя Кавада». Потом уже, наращивая эпизоды, писал роман. И не думал я тогда о какой-либо связи с современностью, это выстраивалось само собой. Полтора тысячелетия назад все происходило по тем же законам истории, что и

сегодня. Время было неумолимо, а главный маг Огня (*Мобедан-мобед*) обосновывал свое учение о возвращении времени вспять, к истокам зороастризма. Тогда, по преданию, люди были счастливы и держава – великой. В этом виделось спасение от поразившего Эраншахр небывалого голода и несправедливостей государственной системы. А было это не что иное, как фундаментализм, одновременно религиозный и социальный.

Но очередной мираж не мог существовать сам по себе в окружающем его реальном мире. Это вечная проблема – государство и революция. Идеи первобытного равенства вступали в противоестественный союз с тем самым безоглядным великодержавием, которое и привело Эраншахр к последней черте. Только недавно царь царей Пероз с десятью тысячами своих «бешеных» ускакал дальше завоевывать мир и погиб где-то в горах Афганистана. Строился Второй, Третий, а может быть и Четвертый Эраншахр тех канувших в вечность времен, когда персидская держава распространяла свою власть от границ Индии и Китая до древнего Египта включительно. Царь царей тогда приказал высечь само море, которое помешало ему окончательно победить эллинов и скифов. Они звали назад, звучные победы «великих предков»:

Мой трон – седло, моя на поле слава,

Венец мой – шлем, весь мир моя держава!

Революция побеждала. Состоятельных, именитых людей казнили, богатства их, включая жен, распределяли поровну среди неимущих, имения разграблялись. Потом маздакиды, как назывались они по имени своего вождя, принялись друг за друга: «троцкистов» того времени вылавливали и поднимали к небу особыми крючьями для погребения усопших. Несмотря на то, что самый любимый в истории Эраншахра царь Бахрам Гур был сыном еврейки, а многие евреи участвовали в движении Маздака, их стали травить, а заодно и тех, кто «смотрит на Запад» (там находился наследственный враг – Второй Рим). Фанатически настроенные отряды маздакидов одерживали одну победу за другой, вернув Эраншахру ряд городов за Евфратом. Учение Маздака пустило корни в самой Византии, перекинувшись оттуда в Европу. Его отголоски отдавались в веках то богомилством на Балканах, то альбигойской ересью в Южной Франции, а на Востоке – восстанием Бабека на Кавказе и движением «людей в белых одеждах» в Маргиане. Такие идеи заразительны и, подобно чуме, сохраняются в могильниках времени веками, а то и тысячелетиями. Они лишь мимикрируют, являясь каждый раз миру, когда распадается связь времен. Коллективная память человечества – до сих пор не изученная научной категория, как дальние птичьи перелеты к своим гнездовьям...

Эраншахру не дал окончательно увязнуть в пучине времен новый царь царей. Он собрал маздакидов в Ктесифоне на диспут, предварительно приказав вырыть в своем саду три тысячи круглых ям для посадки деревьев. Их выводили группами и закапывали головой вниз, присыпая так, что только ноги болтались снаружи. «Это был замечательный сад!» – с удовлетворением замечает позднейший летописец. Произошла очередная реставрация все

того же Эраншахра, и, как водится, никто ничего не забыл и ничему не научился. Не прошло и века, как тяжеловооруженное, с боевыми слонами и метательной техникой войско Эраншахра дрогнуло и побежало, топча друг друга, перед легковооруженной арабской конницей. Выпавший из времени сасанидский Иран исчез навсегда, оставшись лишь небольшой главкой в учебниках истории.

Несмотря на предисловие директора Восточного отдела Государственного Эрмитажа В. Луконина, отзывы других известных востоковедов, роман пролежал год в республиканском комитете по печати. Там не знали, что с ним делать. Я приходил в комитет к куратору русской литературы из неудавшихся газетчиков и здоровался по-свойски, по-партийному, употребляя трехэтажный сержантский мат. Он весь расцветал:

– Ну, вот видишь, наш ты человек, сразу видно. И говорить по-хорошему умеешь, пить не отказываешься. А вот пишешь как-то так, что не поймешь тебя. Чувствую, что в романе тут у тебя не то, а вот что, никак не могу понять!

И он, глядя на меня своим косым глазом, ожидал, что я сам ему об этом расскажу. Закончилось тем, что я пошел в ЦК, и там в отделе пропаганды и агитации прочитали роман и дали добро. Как-никак, темой была революция, но они великолепно понимали, о чем там идет речь. Нет, не все было однозначно в самой партии.

Понимая, насколько необычен роман для чтения, я не ожидал его массового издания. И вдруг в короткие сроки «Маздак» вышел в разных издательствах чуть ли не миллионным тиражом, не задерживаясь на полках книжных магазинов. Однако рецензии на него поначалу стали выходить во Франции, Германии, Польше, в других странах. У нас их, по-видимому, не решались писать, боясь скомпрометировать автора. Директор Института востоковедения Академии наук СССР Бободжан Гафуров передал мне через общих знакомых: «Скажите Морису, что я сразу узнал, где в его романе Ленин и где Сталин!» Все было совсем не так. У меня и в мыслях не было, подобно Фейхтвангеру, осовременивать историю. Просто законы ее незыблемы для всех времен и народов. Когда над ними совершается насилие, повторяются одни и те же трагические сюжеты...

Из московских писателей я ближе всего сошелся с теми, кто подолгу жил у нас в Ашхабаде и Алма-Ате. Был я в дружественных отношениях с Юрием Трифоновым, убежавшим всякий раз в Каракумы от семейных и политических неурядиц. Здесь он работал над романом «Утоление жажды» и участвовал в написании сценария к фильму «Чайки над барханами». Часто уходил в себя и подолгу молчал. О своем отце – командарме Трифонове, командующем Красной гвардией, бывшей ударной силой Октябрьской революции, он говорил неохотно. Как и о дяде, командарме второго ранга.

– Понимаешь, их сперва развратили и потом уже расстреляли!

Это он вдруг произносил после давно законченного разговора, думая о своем. Тогда еще не были написаны «Дом на набережной», «Отблеск костра» и «Старик». Он рассказывал, как в начале тридцатых, когда в стране целые деревни вымирали от голода,

отец всякий раз уже под утро возвращался домой. Пахло от него коньяком и дорогими духами. В Кремле что ни вечер устраивались пьянки с балеринами и, разумеется, теми обаятельными женщинами, которые писали подробные доклады в ГПУ.

Это по его поводу Сталин сказал, что сын за отца не отвечает, и Юрию Трифонову за роман «Студенты» дали Сталинскую премию...

В приятельских отношениях, естественно, был я с Юрием Домбровским, отсидевшим немалые сроки в лагерях. Всякий раз сажая, ему всю жизнь не давали писать. И все же им написаны лучшие романы о Тридцать Седьмом годе: «Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей». У меня есть отдельный рассказ о наших с ним встречах – «Орнаментальная проза». В отношениях между нами как-то не чувствовалась разница в возрасте...

Когда снимали в Ленинграде мой фильм «Случай в Даш-кале», одним из кураторов его был муж актрисы, выступавшей с Аркадием Райкиным. Таким образом мы с режиссером Мерехом Атахановым попали к Райкину на ужин. Были там еще люди, и он рассказывал, как вскоре после войны встретился с товарищем Сталиным. Каждый год его театр миниатюр приезжал на три-четыре месяца в Москву, где выступал в саду «Эрмитаж». Как-то в середине ночи, когда он крепко спал после спектакля в гостиничном номере, раздался властный стук в дверь. Зашли двое в штатском.

– Райкин?.. Одевайтесь! – коротко сказал один из них.

Ни жив ни мертв, Райкин спросил, брать ли с собой вещи.

– Не надо! – сказали ему.

Когда он увидел, что внизу ждет их длинный черный «ЗИС», несколько пришел в себя. Ехали они, не выезжая из центра, и это тоже успокаивало. Его привезли в Кремль, и когда он встретил там сразу нескольких знакомых руководителей московских театров, то вовсе успокоился. Человек пятнадцать их – народных, заслуженных, известных стране и миру артистов – провели в небольшую комнату и предложили подождать. Они сидели молча, лишь переглядывались друг с другом. За дверью в соседней комнате слышался какой-то разговор. Часу уже в пятом утра оттуда вышли три или четыре человека, среди них они узнали одного министра. Тот шел бледный, с невидящими глазами, и все вытирал себе платком лоб.

Им, наконец, предложили пройти туда же, и они увидели товарища Сталина. С ним были Молотов, Маленков, Ворошилов, кто-то еще. Все они сидели на расставленных в ряд поперек комнаты обычных стульях. Напротив были тоже расставлены в ряд стулья, точно по количеству приглашенных. Сталин был занят окончанием какого-то состоявшегося здесь разговора и не смотрел в их сторону. Они неслышно уселись лицом к вождю. Сталин продолжал тихо обмениваться фразами с Молотовым и Маленковым. Комната была абсолютно пустая, только стулья... Где-то сзади открылась невидимая дверь, и оттуда на носках, изгибаясь всем телом (Райкин показал это), очень долго шел человек. Это был Поскребышев. Подойдя сзади к уху Сталина, он что-то зашептал. Сталин подумал с полминуты и коротко сказал:

– Не витекает!

Тот закивал: «Да, да, не вытекает!» и, так же изгибаясь, пошел обратно. Сталин закончил свое совещание и посмотрел на сидящих перед ним руководителей театров:

– Здравствуйте, товарищи!

Все вразнобой ответили. Сталин подумал с минуту и заговорил:

– Мы пригласили вас, чтобы сказать, что партия и правительство придадут большое значение театральному искусству. – Он обвел глазами сидящих и остановился на Райкине. – И вы, товарищ Райкин, должны знать, что искусство сатиры тоже очень важно для нас. Спасибо, товарищи, что пришли. До свидания!

Все они молча вышли и в свете наступающего утра разъехались по домам. Что это было: прихоть или точно рассчитанный ход, прямо по книге великого вазира Низам аль-Мулька?

В провинции все делалось топорней. Бакинские друзья рассказывали мне о Павле Антокольском. Тот, в связи с переводами азербайджанской поэзии, приехал в Баку, и Самед Вургун пригласил его и еще нескольких писателей к себе домой. Хозяином Азербайджана был в то время кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, в прошлом известный бандит Мирджафар Багиров. Сам Берия его побаивался. Багиров почему-то не любил Самеда Вургун. И когда в разгар приема на улице раздались сирены машин сопровождения, побледневший поэт побежал встречать неожиданного гостя.

– Почему меня не приглашаешь, Самед? – сказал, входя, Багиров.

Самед рассыпался в приветствиях, предлагая ему сесть на почетное место, но тот не садился. Перейдя на азербайджанский язык, он стал ему что-то громко выговаривать. И тут Антокольский решил заступиться за друга:

– А вы знаете, Самед Вургун – очень хороший поэт. Его лирика...

– Антокольский, встать! – оборвал его речь Багиров.

Тот встал.

– Антокольский, сесть!

Тот сел.

– Антокольский, встать!

Это повторилось несколько раз.

– Помни! – сказал Багиров и вышел.

Павел Григорьевич потом рассказывал, что ничего не соображал. Какая-то сила заставляла его вставать и садиться. Наутро он улетел обратно в Москву...

9. КРУГОМ ОДНИ ЕВРЕИ!

...Пратюрки до орхоно-енисейской письменности и наряду с ней употребляли знаки, близкие к буквам иврита. Единобожие было им знакомо еще с догуннских времен. А в Средней Азии бытует предание о том, что Чингисхан при завоевании Хорезма истреблял всех подряд, в живых оставляя только евреев. Мусульмане спасались тогда в еврейских кварталах. Эта историческая загадка до сих пор не разрешена. Говорить об особой ценности для тюркомонголов искусных еврейских ремесленников – слишком простое решение задачи.

Характерна в этом смысле судьба величайшего историка Востока Рашидаддина Абу-ль-Хайра, еврея по происхождению, ведущего свою родословную из дома Давидова. Документальная история монголов, которой пользуются все современные исследователи, – лишь часть его трудов. Им была составлена всеобщая история известных тогда народов и государств. Древние иудеи и мусульмане, Рим, папства, империи «франков», государства Восточной Европы, Эраншахр, Индия, Китай... Автор трактатов по мусульманскому праву и теологии, был он также известным врачом, за что и получил приставку к своему имени «ат-Табиб» («Исцелитель»). Он писал труды по естествознанию, сельскому хозяйству, строительству. Но был он еще великим вазиром при последних монгольских ильханах в Иране. Возрождая экономику страны, разрушенную в результате завоевания, он проводил смелые реформы.

А затем произошло обычное. Последнего монгольского ильхана убили, а евреям припомнили, что они странным образом уцелели при монгольском нашествии. Рашидаддина обвинили в причастности к убийству его покровителя и всенародно казнили.

Не одна Библия свидетельствует о весьма деятельном еврейском присутствии далеко за реками Вавилонскими. «Шах-намэ» – перевод древнейших арийских сказаний – лучшее тому доказательство. Любимейший герой их – Бахрам Гур, сын царя царей и иудейки. Когда этот знаменитый своей неукротимостью царь царей погиб со своим войском где-то в Черных Песках, среди его многочисленных сыновей надлежало выбрать того, кто достоин был бы надеть на себя корону Сасанидов. Для этого следовало пройти через комнату, где находилось шесть львов. Никто из царевичей так и не решился на это.

Бахрам Гур в это время воспитывался у своих родственников-арабов. Прискакав в Ктесифон с сотней арабских всадников, он спокойно перешагнул через рычащих львов и надел на себя корону. Предание гласит, что он был наделен всяческими талантами и время его царствования считается золотым веком Эраншахра...

Ученые-востоковеды никак не придут к единому мнению, в каком тысячелетии познакомились с Торой некоторые пуштунские племена. Будучи мусульманами-суннитами, они исполняют также многие иудейские обряды. Различают себя они по коленам Израилевым, депортированным в Соломоновы горы (так они называют Гиндукуш) после ассиро-вавилонского разгрома. И страна их – Афганистан – названа так по имени Афгана из дома Саулова. Так они говорят, а то, что случилось две тысячи шестьсот лет назад, и случившееся вчера находится здесь в одном ряду...

Влияние еврейской идеи единобожия просматривается у народов Центральной Азии задолго до христианства и ислама. Ветхий завет с его традициями, формой хозяйствования, пророками, патриархами был близок их миропониманию. Восприятию единого Бога, как уже говорилось, способствовало тенгрианство с его культом Неба. На протяжении трех с половиной веков иудаизм был государственной религией Великой Хазарии. Двадцать пять народов входили в состав или находились в разной степени зависимо-

сти от Великой Хазарии, доминирующей на огромной территории от Тобола до Дуная. Символическую дань платили ей и Киевская Русь и булгары («по белке с дыма»). Историческое значение Великой Хазарии прежде всего в том, что была она перевалочным пунктом на Великом Шелковом пути между Европой и Китаем.

О еврейском присутствии с древнейших времен на Кавказе, в Приазовье и Причерноморье свидетельствуют могильные плиты с ивритскими и арамейскими эпитафиями, которые находят там при раскопках древнегреческих городов-колоний.

Багратиды, грузинские цари (и знаменитая царица Тамара!) ведут свою родословную от царя Давида.

Дальше – больше. Негус Абиссинии, первой принявшей на себя удар фашизма, представитель самой древней династии на Земле, носил официальный титул «Лев Иудей». Сталин слал ему телеграммы с грифом «Императору из Четвертого колена Иудова». А род его напрямую происходил от царя Соломона и царицы Савской, тех самых Сулеймана и Балкис, о любви которых из поколения в поколение рассказывают в Центральной Азии. Я слышал разные варианты этого библейского предания в туркменском Куня-Ургенче, в узбекском Намангане, казахской Кзыл-Орде. И как в России рюриковичи, в Эфиопии до сих пор почитаются прямые родственники негуса, князя или «расы» из того же колена, тоже потомки царя Давида. Три века назад в результате непрерывных войн один из них ребенком попал в плен. И ввиду происхождения не был «продан за бутылку рома», а в качестве *аманата* передан молодому русскому царю. О благородном происхождении своего прадеда Пушкин писал в «Арапе Петра Великого»...

...«Евреи, евреи, кругом одни евреи!». Однажды услышанная мною в Ялте эта бесхитростная песенка стала как бы музыкальным сопровождением эпохи. Здесь не было преувеличения, песня лишь протоколировала очевидную реальность. Действительно, в ядерной физике, химии, математике, космонавтике, моторо- и самолетостроении, генетике, биологии, медицине, куда ни плюнь, попадешь в еврея. Целый раздел математики издревле именовался еврейским (аль-гебрай). Это не говоря уже о философии, политэкономии, литературе, музыке, живописи, шахматах, театральном и киноискусстве. И плевали, еще как!..

Хватало среди евреев политиков, государственных деятелей, банкиров, революционеров, бандитов и попросту дураков. Древняя легенда рассказывает, что когда Господь пропускал мимо себя народ избранный, то у девятисот девяносто девяти отбирал глупость и всю ее отдавал тысячному. С тех пор у евреев бытует выражение «тысячник». Если уж еврей дурак, то это такой дурак, какого ни в одном другом народе не сыщешь.

...Едва началась война и миллионы людей в поездах, машинах, телегах и пешком двинулись на восток, как тут и там послышался шепоток, что «евреи бегут, а нашим сражаться!» Это относилось не ко всем двадцати пяти миллионам эвакуированных, а только к евреям. Фашистские листовки падали на веками унавоженную почву.

Когда пришел приказ о моем направлении в авиацию, старший лейтенант Кононов, тот самый, что воровал солдатский хлеб в снайперской школе, подписывая мои документы, заметил вполголоса: «Ну да, Морис будет летать, а Иван, как всегда, в пехоте-матушке на брюхе ползать!». Вместе со мной в летную школу направлялись еще трое, все неевреи, но антисемитизм – чувство слепое, мрачное и никаких доводов не принимает.

А в авиации тогда и в помине не было антисемитизма. Разве что прошел в конце войны слух о каком-то приказе по поводу евреев, но никто из нас этому не верил. И до сих пор до конца не понимаю, почему потом сам чуть ли не на месяц задержал собственную демобилизацию.

Дело было в том, что где-то в штабе напутали в моих анкетных данных имя, год рождения; на самом деле я был двумя годами моложе, просто шел в общем списке со старшим набором в училище. Но мне написали еще, что я – русский...

И это было мне тогда все равно, так меня воспитали. Или, может быть, остались в памяти какие-то рубцы от моей классной руководительницы Ольги Федоровны, от командира роты, старшего лейтенанта Коконова, от услышанного где-нибудь в поезде анекдота о «кривом ружье»? Но было это для меня, как жужжание помойной мухи, никак не могущее изменить мое чувство по отношению к России. Присутствовало во мне нечто иное, уж не знаю от каких начал, от Бога или от революции. Чувство это было – д о с т о и н с т в о...

Имя и год рождения мне так и не исправили, но документально подтвердили, что я – е в р е й.

...Абсолютно закономерным было для меня признание Израиля Советским Союзом. С самого начала я считал, что государство это должно войти в самые тесные союзнические отношения со страной победившего социализма. Особый интерес представляла для меня коммунистическая партия Израиля, в которую на равных входили евреи и арабы. Ближайшее будущее Израиля виделось как равноправная конфедерация обоих народов.

Ничего в этом не было удивительного. Как и миллионы людей воевавшего поколения, я не для карьеры вступил в партию. Раздвоенность миропонимания позволила выстраивать самые фантастические сюжеты. В их числе был патронаж Советского Союза над молодым еврейским государством. Что было плохого в том, чтобы в составе СССР была образована еще одна – Еврейская Советская Социалистическая Республика, или, на манер Карело-Финской, Еврейско-Арабская ССР?.. Должен сказать, что многие евреи – ветераны войны разделяли со мной эти иллюзии, которые сегодня смогли бы сойти за бред тяжело больного человека. Война такая штука, что наряду со многими полезными навыками учит однозначному, как выстрел, мышлению. Такое оглушенное состояние самой души человеческой не могло долго продолжаться, но ломка растянулась на полвека.

...Услышав о прекращении дела врачей, я на радостях напилсь и, придя на пустырь перед Марьинской телефонной станцией, при

слабом свете городских фонарей расстрелял из «вальтера» все ролики-изоляторы на телефонных и электрических столбах. Стрелял я тогда хорошо, свет вырубился по всему периметру квартала, а мне удалось затеряться во тьме...

Однажды зашел я в «Марыйскую правду» к редактору Абраму Давидовичу Райчуку – милейшему человеку, которого любили все журналисты за возможность подкормиться у него, находясь тут в командировке. Старый добрый еврей с ужасным жмеринским акцентом и некоторыми странностями в поведении... Меня всегда удивляло, как с такими данными мог он быть во второй половине тридцатых специальным корреспондентом «Правды». Причем, по Азово-Черноморскому краю – колыбели донского и кубанского казачества. Все знали, что посылал его туда лично Сталин и имеет он орден Трудового Красного Знамени. В те, довоенные годы это было чрезвычайной редкостью для журналиста...

Накануне передали доклад Хрущева с разоблачением культа личности. Рабочий день закончился, в редакции было темно, лишь из кабинета редактора падал слабый свет. Абрам Давидович сидел за своим столом. Через очень сильные, двойные линзы очков глаза его казались неестественно огромными, как два блюдца. Он направил куда-то в пространство остановившийся взгляд. Я поздоровался, но он не слышал. И вдруг заговорил, не отводя глаз от стены:

– Это был великий человек, такого больше не будет... Это неправда. Он все знал, все. И он сказал мне, куда ехать... Приезжаю, беру посевное зерно, нюхаю. А там яд... Яд! Отравленное зерно!..

– Может быть, это было протравленное зерно? – сказал я. – Хлопок тоже протравливают от вредителей...

– Это было отравленное зерно, – он не слушал меня и говорил как во сне. – Еду дальше, куда Он сказал. Беру зерно, нюхаю. Тоже отравленное. И так кругом. Он все это знал. Это был гениальный человек... Приезжаю, говорю ему, что все подтвердилось. Отравленное зерно... Они все признались потом. А он пожал мне руку!..

Я вышел, но он этого не заметил. Из кабинета слышался его ровный глуховатый голос, говоривший как бы заученное:

– Приезжаю, беру зерно, нюхаю. Отравленное зерно, вредительство!.. Они думали, что это им так обойдется. Но Он все знал!..

У него была жена, тоже еврейка, очень красивая женщина с темными кругами у глаз. Она всегда молчала, никто не слышал ее голоса. Детей у них не было. Ходили слухи, ее первого мужа расстреляли, а Абрам Давидович, невзирая на то, что она была дочь и жена врагов народа, женился на ней. Ее поэтому не посадили. Что там было тогда между ними – неизвестно.

Вскоре Райчука и здесь освободили от работы. Они с женой поехали в Москву. На станции Арысь Абрам Давидович в одной пижаме вышел из вагона и прямо на перроне умер от разрыва сердца. Жена даже не вышла из вагона, чтобы попрощаться, только передала милиции его документы и вещи...

...А несколькими годами раньше, еще в Ашхабаде, я увидел и услышал Микояна. Он прилетел на республиканскую партконференцию и выступил по поводу ввода наших танков в Будапешт.

Венгерские события он объяснил засильем евреев в Венгерской рабочей партии. «А евреи, сами знаете, где два, там и третий!»

Это был старый, больной человек. Вставные челюсти его неприятно щелкали. Мне его стало жалко. Среди руководящей деловой технической интеллигенции Ашхабада доминировали армяне. Именно о них шли извечные разговоры, что, мол, «тянут друг друга». Они сидели группой, и все стали посматривать на них. На этот раз Анастас Иванович не учел фактора аудитории. «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича» – так говорили после его политической измены Хрущеву о двадцать седьмом бакинском комиссаре, почему-то не расстрелянном вместе со своими товарищами в песках под Казанджиком.

В перерыве ко мне подошли мои друзья-армяне.

– Извини, Морис, старый он человек, говорит, что ему скажут. Армяне так не думают!..

Были и совсем комические моменты, хотя как сказать... В возглавляемой мной редакции отирался писатель М. Слово «работал» тут никак не подходит, поскольку за целый год он сдал в набор одну книжку в восемь печатных листов, да и то потому, что заслуженный автор устроил ему квартиру. Когда редакция взбунтовалась и я заметил ему, что за него не обязаны работать другие, он обиделся и ушел в себя. А через три дня меня вызвали в Комитет по печати и показали большое, полное благородного пафоса заявление. Там говорилось, что я закоренелый носитель сионистской скверны. Об этом свидетельствуют шестиугольные звездочки в выпускаемых за моей подписью книгах.

В 37 году расстреляли бы меня, и дело с концом. Но тут посмотрели в другие книги, а там такие же звездочки. Выяснилось, что эти типографские знаки употребляются еще со времен Гутенберга и что даже «Краткий курс истории партии» ими помечен. Кто-то в Комитете вспомнил, что падающие с неба снежинки тоже имеют гексагональную структуру. Тут уж, кроме Бога, некого винить...

Все было не так просто. Накануне газеты сообщили, что в Свердловской опере взбунтовался хор. Режиссер-еврей отказался черпать из этого хора таланты для замены ими ведущих солистов. Одним из пунктов обвинения как раз и были шестиугольные снежинки на театральном занавесе. Писатель М. это, конечно, читал. Вообще, он был читающий писатель. И еще через день у меня на работе был произведен обыск. Три молчаливых человека ловкими, отработанными движениями освободили шкафы от рукописей, стали их бегло просматривать. Потом проверили каждую щель, прощупали все за батареями парового отопления. Руководитель опербригады, плотный мужчина с розовыми щеками и залысинами, все допытывался, где мой рабочий стол. Когда я в третий раз объяснил ему, что руковожу редакцией по польскому методу, без стола, он задумчиво покачал головой и что-то долго писал в свой блокнот...

Пик антисемитизма пришелся на начало семидесятых. Чувствовалось желание начать, так сказать, всенародную кампанию, наподобие «дела врачей», но всякий раз происходили осечки. Алма-Ата в смысле сопротивления таким кампаниям служила

примером. И дело не только в том, что сюда еще в начале тридцатых ссылалась интеллигенция и оседали в большом количестве бывшие узники Карлага. Ксенофобия, как я уже писал, несвойственна казахам. Проявляется она лишь в ответ на провоцирующую идеологию. Ни один народ не хочет чувствовать себя «младшим братом». Государственный антисемитизм при этом служит как бы закрепителем для такого рода вещей. Казахи очень чутки в этом отношении. Кроме двух-трех спекулятивных выступлений по поводу «сионизма» где-нибудь на пленуме Союза писателей, я не слышал плохого слова о евреях от простого казаха и тем более от казахского интеллигента.

Где-то в конце сороковых прилетел я в Алма-Ату сдавать экзамен на заочном отделении университета. По всей стране организовывалась «ярость масс» по поводу «буржуазного космополитизма» (Маркс считал себя просто космополитом). По сигналу «Правды» в местной печати появились статьи о засилье космополитов в университете. Естественно, назывались фамилии исключительно еврейского звучания. В листок по учету кадров профессора Blumenfelda просто не заглянули – он был чистокровный швед. Аспиранта Жовтиса, которого особенно любили студенты, в газете обозвали «начинающим космополитёнком». Ни одного казаха среди подписывавших эти статьи не было. В числе возглавивших борьбу с космополитами в университете особое рвение выказал начинающий писатель Анатолий Иванов, будущий парторг Союза писателей СССР и редактор «Молодой гвардии».

Абсурд достиг высшей точки. Преподавателей западной литературы обвиняли в том, что они пропагандируют эту литературу. Все было привычно, ждали арестов. Как вдруг взбунтовались студенты, среди которых не последними были казахи. В зал, где шло открытое партийное собрание в связи со «свившими себе гнездо» в университете космополитами, их набилось человек шестьсот. Они кричали, топали ногами, с девушками начались истерики. Скандал продолжался три дня, и со студентами ничего не могли поделать. Дело спустили на тормозах, и кардинальных репрессий не последовало.

Все повторялось, только начиналось не с газетных статей, а прямо с обысков. Искали диссидентскую литературу, но только у евреев. А в городе распространился слух, что обнаружено сионистское гнездо, где найдена множительная техника. Назывались некий проектный институт и точная сумма, за которую эта техника была там приобретена, – пятьдесят тысяч рублей. Мой сосед, доцент пединститута, участник Отечественной войны Ефим Иосифович Ландау был выбран для всенародного аутодафе. Это был высокообразованный, глубоко порядочный и очень одинокий человек. Беззаветно любящий литературу, он только ею и жил. Возможно, в собранной им огромной библиотеке был и «самиздат». А еще он знал досконально казахский язык, и одно это уже вызывало подозрение. Для чего вдруг еврею понадобился этот язык?..

Человека мягкого, ранимого, его допрашивали чуть ли не сутками, шантажировали какими-то фотографиями, обыск шел за обыском. Рано утром в его дверь постучали. Он вышел на балкон

и бросился с четвертого этажа. Оказалось, что это соседка пришла попросить соли...

Смерть доцента Ландау и его похороны внесли коррективы в планы дальнейшей антисемитской кампании. Недели через две я уже читал в центральной печати, что это в Кишиневе раскрыт заговор. В целях активизации своей деятельности местные сионисты приобрели в неназванном проектном институте множительную технику – за *пятьдесят тысяч рублей*. Судя по всему, там уже начались аресты. Искусствоведы в штатском не удосужились хотя бы переписать свой рабочий план. В кино так поступали заведомые халтурщики: не приняли сценарий на «Таджикфильме» – передадим его на «Узбекфильм»...

Несколько слов о пресловутом русском антисемитизме. Речь не о полностью отмороженной твари, которая и русского ребенка зарежет вместе с матерью. Нас интересует не патология. Уж на что был кадровый антисемит Анатолий Софронов! И вот мой земляк, родом из Одессы, поэт Александр Лемберг уже в достаточно зрелом возрасте решил, что пришло его время покорить Москву. Евреи меня поймут: в каждом местечке был какой-нибудь такой человек не от мира сего. И выбрал Саша Лемберг именно такой момент, когда начинались повсеместно еврейские посадки и готовилось в этом смысле нечто глобальное. Разумеется, именно в журнал к Софронову пришел он со своими ступенчатыми стихами об Испании и покорении космоса. Тощий, с горящими черными глазами, Лемберг представлял собой ярко выраженный тип библейского пророка. Или, на худой конец, полностью охваченного идеей марксиста. Одним словом, был это еврей по всем параметрам...

Саша потом рассказывал, как у Софронова при виде его широко раскрылись глаза. Видимо, тот готовил в это время очередную яркую антисемитскую статью в номер, вроде той, кто виноват в смерти Маяковского. Так или иначе, он выслушал приехавшего издалека поэта, бегло просмотрел стихи. Потом вышел куда-то, походил, вернулся. Очевидно, увидел Сашину обувь, чиненные штаны.

– Ты хоть знаешь, в какое время приехал? – спросил он.

Саша не совсем понял вопрос.

– Ладно, со стихами мы разберемся, – сказал Софронов. – А сейчас я выпишу тебе командировку. Сдашь в бухгалтерию билет в Москву для учета и езжай обратно.

Вот я и думаю по этому поводу: где еще, кроме России, мог бы так поступить закоренелый антисемит?

10. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

...Отнюдь не из-за каких-нибудь жизненных неудобств улетал я из Казахстана в Израиль. Произошло это, как говорится, по семейным обстоятельствам, но ехал я не в чужую страну. Провожал меня потомственный семиреченский казак Юрий Алексеевич Кошкин, создатель уникального музея, которому я оставил весь мой архив. Провожали мои друзья-чеченцы: Нажмудин Абдуев – президент известного научно-производственного объединения «Ремас»,

нефтяник Ахмед. Провожали евреи, и среди них Леня Гирш, полковник-танкист, с которым дружу полвека, еще из Туркмении.

Если еврей очень уж большого роста и с хорошей выправкой, то в шутку называли его «елисаветградский». Дело в том, что с восемнадцатого века в Елисаветграде, ставшем потом Кировоградом, стоял полк гусар, куда подбирали дворянских детей двухметрового роста. Так уж случилось, что за два века окружающие евреи значительно подросли. Леня Гирш отвечал этим параметрам.

Судьба его типична для многих евреев. Бедняцкая семья, ранняя работа. ПТУ. С первых дней войны – в действующей армии. Отступление через всю Украину, первое ранение, госпиталь. Потом – военно-морское училище на Дальнем Востоке. Только не судьба была стать ему морским офицером: в составе морской пехоты был брошен на защиту Сталинграда. Затем краткосрочное обучение в танковом училище и участие в легендарном сражении под Прохоровкой. Затем командиром танковой роты прошел он в обратном направлении всю Украину, форсировал Днепр, освобождал Польшу, в составе отдельной танковой бригады брал Берлин. И на три дня позже других закончил войну, освобождая Прагу.

А за спиной было страшное. Проходя рядом с Кировоградом, отпросился у командования узнать, что с оставшимися в оккупации матерью и всеми родными. По приказу комбрига ему загрузили «виллис» продуктами, и он поехал. В доме жили чужие люди, а соседи рассказали, как расстреляли и бросили в ров его мать и родных. Назвали знакомое имя человека, который выдал их. Леня, человек дисциплинированный, не стал его убивать, а передал особому отделу. У кого повернется язык назвать его доносчиком?..

После войны Леня со своим танковым корпусом попал в Туркмению, где я с ним и познакомился. Во время моей краткосрочной работы преподавателем Марыйского женского пединститута он сдавал мне предварительные экзамены по истории СССР для поступления в Академию бронетанковых войск в Москве – тогда это практиковалось. На вступительных экзаменах его узнал председатель комиссии, маршал Ротмистров, и он стал слушателем Академии. И быть бы Лене генерал-полковником, не будь он Гирш...

Меня провожали казахи. Прямые потомки Чингисхана по линии Джучи и хана Аблая братья Канапьяновы подарили мне «раритет» – золотую пайцзу (ярлык на правление во времена Александра Невского). Казахский Пен-клуб накануне выдвинул меня в качестве номинанта Нобелевской премии по литературе. Понимая фантастичность подобного предприятия, я не давал на это согласия три года. И согласился лишь потому, что если мусульманская страна выдвигает русского писателя и еврея, потенциального гражданина Израиля, то это знаковое явление. Для меня оно является свидетельством того, что к концу второго тысячелетия в мире что-то меняется. Для меня, всю жизнь занимающегося историей Востока, это и ничто другое, было главным.

Я обнялся со всеми и полетел...

1948 – 2000, Ашхабад – Алма-Ата – Москва – Бат-Ям

Яков Шехтер

БАБУШКИНЫ СКАЗКИ

О чем бы мы ни говорили, мы всегда говорим о себе. Тема не имеет значения; с египетских манускриптов или марсианских каналов собеседник незаметно планирует на заранее подготовленный аэродром. Дурного в этом ничего нет: противоборство с вечностью заложено в человеке на генетическом уровне. Страх навсегда исчезнуть из этого мира движет рукой обормота, царапающей на безумной высоте «здесь был Вася», и пером знаменитого писателя.

Сочинил же какой-то бездельник, что чем глубже личность, тем интереснее рассказ. На самом деле, статья оригиналом весьма просто. Необычное – та же заурядность, только стоящая на сантиметр от столбовой дороги. Хотите пример? Пожалуйста; все люди рассказывают о себе, а я расскажу о своей бабушке.

Моя бабушка родилась в Одессе, в самом начале двадцатого века. Прадедушка Хаим снимал большую квартиру в одиннадцатом номере Треугольного переулка, там бабушка и прожила до самого замужества. Одесситам название переулка и номер двора сразу скажут о многом. Тех же, кто не удостоился родиться в нашем городе, я прошу спокойно продолжить чтение. Не волнуйтесь, все тайны будут раскрыты.

Поскольку ни очевидцев, ни домово́й книги не сохранилось, я могу писать, о чем вздумается. Но самый сильный ход заключается в том, чтобы говорить правду. Врать трудно, на этом и основан полиграф. Лжецы напрягаются чуть больше, потеют слегка обильнее, и датчики сообщают об этом опытному наблюдателю. Но как проверить сочинителя, ведь не станешь после каждой книги присоединять его к детектору лжи и грозно допытывать – а это было? И вообще, чем писатель отличается от обыкновенного враля? Старый-престарый вопрос, и ответ на него давно найден.

Выходящее из сердца всегда доходит до других сердец, а вранье неизбежно повисает в воздухе. «Верю!» читателя превращает вымысел автора в правду такой мощи, что подлинные события немеют перед придуманной истиной. Хотите подробности? Пожалуйста, но чуть позже.

Одиннадцатый номер представлял собой типичный одесский дворик. По периметру его огибал деревянный балкон, на который выходили двери квартир второго этажа. У дверей стояли столы, а на столах примусы, дабы керосиновый чад не отравлял комнаты. Поскольку на примусах всегда бурлили кастрюли или шкворчали сковородки, то, помимо чада, со второго этажа струилось блаженство ароматов южной кухни. Слегка принюхавшись, можно было определить, что готовит тетя Песя и сколько чеснока съел, вернувшись из порта, старый Бимбас.

Тайн во дворе, как в сегодняшнем Интернете, не существовало. Виноваты ли распахнутые из-за жары окна, помноженные на зыч-

ные голоса обитателей, или всему виной южный темперамент, превращающий любую закавыку в маленькую драму, где все, кроме децибелов, слегка понарошку?

Простите, я забегаю вперед. Всякий одесский двор начинается с ворот, и, чем вычурнее узор их тяжелых створок, тем солиднее ощущают себя обитатели. Один чудак погулял по Одессе с фотоаппаратом и в результате защитил кандидатскую диссертацию. На чем, вы думаете? А ни на чем, на тех самых узорах. Защита диссертации происходила в счастливые шестидесятые, когда за границу пускали только партийных работников с плотно завязанными глазами. В наши дни такого соискателя, скорее всего, провалили бы с позором.

Несколько лет назад я побывал во Франции и, наконец, понял, почему Одессу называли «маленьким Парижем». Маленьким потому, что много утащить не смогли, денег хватило только на мелкие детали архитектуры. Я узнавал решетки под платанами, и сами платаны, и формы карнизов, и виды чердаков, и те «самобытные узоры» на створках.

Именно в Париже мне объяснили назначение таинственных тумб по обе стороны ворот. Где каменные, а где чугунные, они были обязательной принадлежностью старых одесских дворов. Сколько я ни пытался выяснить, ни одна живая душа не могла объяснить, для чего их врыли в землю по самые плечи. Истуканы, словно статуи острова Пасхи, хранили свою тайну, беззвучно посмеиваясь над моими расспросами. И, как всегда, для самых таинственных обстоятельств существуют самые простые объяснения. Тумбы парижских дворов защищали косяки ворот от ступиц въезжающих и выезжающих карет. В одесские дворы кареты сроду не езживали, но... маленький Париж, *la noblesse oblige* – положение обязывает. Впрочем, в бабушкин двор однажды все-таки заехала карета, но и об этом – чуть позже.

Посреди двора, в крошечном скверике из двух деревьев и одной колченогой скамейки, высился колодец с проржавевшим воротом. Устье колодца являло собой шедевр одесской архитектуры девятнадцатого века. Оплывшие каменные обручи, полустертые гроздья винограда, лица с сифилитически провалившимися носами... Колодец был наглухо забит деревянной крышкой, прочность которой служила предметом неустанных забот управдома и дворника. Утверждали, будто камушек, брошенный через проколупнутую перочинными ножами дырку, летит до водной глади около тридцати секунд. Насколько мне известно, по его прямому назначению колодец использовали дважды: первый раз – сразу после постройки, то есть, чуть ли не при Пушкине, а второй – во время блокады сорок первого года.

В конце двора, возле каменной стены прилепились сарай, раньше угольные и дровяные, а потом просто подсобки. По их крышам поступью Командора вышагивали дворовые коты. Это были здоровенные горластые твари, способные переорать даже тетю Песю. Кормились они от всех жильцов, требовательно рыча под окнами. Жильцы сами любили покушать, но и котам оставалось.

Прадедушка Хаим занимал первую от ворот квартиру, с окнами в переулочек, за ним жили богачи Гиперы, а за богачами – Вайсбей-

ны. «Богачи» – те еще богачи, если жили в Треугольном переулке, – слегка держали дистанцию; а вот Лёдя – сынишка Вайсбейнов – целые дни проводил с Зисей, средним сыном прадедушки. Зися, как и четверо его братьев, не вернулся с фронта. Последнее письмо от него пришло из осажденного Севастополя.

Лёде очень нравилась моя бабушка, нравилась настолько, что он даже сделал ей предложение. Бабушка была не против, но прадедушка Хаим встал горой. Его соображения были начисто лишены романтики и жаждали на, казалось бы, совершенно материальной основе.

– Что есть у него в руках? – спросил прадедушка на семейном совете. – Из гимназии его выгнали, из Ришельевской, даже из Ришельевской! Что я скажу людям, что у меня зять, которого выгнали даже из Ришельевской гимназии?

Соображение было весьма основательным, до Лёди из Ришельевской не исключили ни одного человека. Это учебное заведение славилось катастрофической мягкостью нравов и, чтобы вылететь из него, надо было хорошенько постараться. Закончить обсуждение прадедушка решил эффектным жестом. Он был красноречивым высшим классом и во всяком деле ценил доводку, последний взмах кисти.

– Папа отдал его в сапожники, мальчик сбежал, пытался пристроить в столяры – он не переносит древесную пыль, а от иголки и ножниц у него, видите ли, болят глаза. Чем он занят? расклейкой афиш у кинотеатров? распеванием песенок перед началом сеанса? Талант, вы мне говорите, талант... На талант хорошо смотреть из зала, а в доме нужно иметь что посерьёзней!

На этом Лёдино сватовство закончилось. Бабушка долго не выходила замуж, безжалостно бракуя претендентов, и только в тридцать шестом году приняла предложение начальника цеха, в котором работала. Через год родилась моя мама, а в сорок первом дедушку забрали на фронт. Впрочем, все эти события произошли гораздо позже, чем история, которую я хочу рассказать.

Случилась она в девятнадцатом или двадцатом году, точнее бабушка не могла вспомнить. Времена наступили лихие, и многие хорошие еврейские мальчики пошли в бандиты. Нет, убивать они не убивали, но раздеть на улице человека было для них, что папиросу раскурить. «Богачи», соседи прадедушки, сильно боялись налета. Что уж там у них было брать, но люди боялись...

Впрочем, вскоре выяснилось, что их опасения имели под собой основу. На всякий случай Пиперы договорились с прадедушкой и Вайсбейнами: если придут, они стучат условным стуком в стену, а те бегут за милицией. Так и получилось.

Сначала «богачи» постучали к Вайсбейнам, но тех не оказалось дома. Тогда начали стучать к прадедушке. И прадедушка не подвел – грузовик с бойцами ЧОНА примчался через десять минут.

Когда в дверь забарабанили приклады, грабители вдруг превратились в хороших еврейских мальчиков.

– Спасите нас, спрячьте, эти «хазейрим» даже до участка не доводят, расстреливают у ближайшего сарая.

Насчет «хазейрим» они слегка привирали, многие ЧОНовцы ходили вместе с грабителями в один хедер. Тонкость вопроса состояла и в том, что Пиперы, несмотря на типично еврейскую внешность, были болгарами.

«Богачи» растерялись, но бандиты принялись так просить, так умолять, так плакать, что даже самое железное сердце в мире сдалось бы под их напором. Грабителей спрятали в шкафу, а ЧОНовцам соврали, будто налетчики ушли за минуту до их приезда. Мальчики просидели в шкафу до глубокой ночи, сердобольная хозяйка кормила их картошкой с морковным чаем и расспрашивала о родственниках. Уходя, злодеи пообещали:

– Мы ваши должники, если что понадобится, не стесняйтесь, вы нам помогли – и мы вам поможем.

Подобного рода обещания забываются через минуту, в лучшем случае, на следующий день. Но налетчики все-таки получили приличное воспитание, их учили помнить добро и воздавать сторицей. Увы, ничто так не поддается коррозии жизни, как хорошее воспитание. К счастью, случай воспользоваться услугами бандитов представился довольно скоро.

У Пиперов служила сирота из еврейского местечка Красные Окна. Варила, убирала, стирала, одним словом – Золушка. Золушка – Золушкой, но и на нее нашелся принц, еврейский мальчик откуда-то с Бугаёвки. Чем именно он занимался, история не сообщает, может извозом, может, Привозом, но не это главное. Главное – надо было устроить *заручення*.

Заручення – это ворт, зрусин, помолвка. В Одессе, в те годы, как бы репетиция свадьбы, а по количеству выпивки и закуски – репетиция генеральная. Поскольку у девушки кроме хозяев и соседей родственников не оказалось, то выдавали её замуж всем двором.

Заручення – это хорошо, но где взять еду? Время стояло голодное, даже «богачи» пили морковный чай с картошкой. Голодные коты выли по ночам, как тигры, и злобно точили когти о деревья у колодца. Пришлось обратиться к бандитам.

На какое другое дело они, может, и не откликнулись бы, но на выпить и погулять отозвались о-го-го! Утром дня помолвки во двор заехала телега, груженная продуктами. Был объявлен общий сбор, и хозяйки, изголодавшиеся по хорошей готовке, принялись за дело. Запах поднялся такой, что прибежали коты даже с Тираспольской.

Заручення гуляли шумно. Бимбас, как всегда, напился и принялся проклинать турок. Он был контрабандистом, старый грек Бимбас, и всю жизнь обворовывал сначала царя, а потом Совнарком. В Греции он сроду не бывал, но алкоголь пробуждал в нем гидру патриотизма. Бимбас стучал кулаком по столу и, целуя затертую открытку с фотографией греческого крейсера, пел что-то на родном языке. Так ему казалось. На самом деле, путая греческие и еврейские слова, Бимбас исполнял «Купите папиросы». «Аф идиш» он говорил не хуже любого еврея, и в сорок первом году его по ошибке, вместе с не успевшими эвакуироваться соседями, сожгли в бараках за городом.

Налетчики привезли с собой скрипача и флейтиста. Шепот скрипки и хохот флейты заполнили двор. Когда село солнце и над крышами проступили крупные звезды юга, приехал Мишка Япон-

чик. Моя бабушка, конечно же, гуляла на помолвке, и впервые о короле одесских бандитов я узнал от непосредственного свидетеля. Бабушка любила вспоминать свою молодость – наверное, это свойство всех бабушек – и любила о ней рассказывать. Когда она доходила до этого места, я всегда спрашивал:

– Ну, и какой он был, Мишка Япончик? Как выглядел, что носил, о чем говорил?

– Да ничего особенного. Рыженький, плюгавый такой, лицо в оспинках, а глаза чуть раскосые, как у японца. Во что одет был – не помню, одет, как в те годы одевались. Весь вечер он молчал, только в конце поднял руку с бокалом. Все сразу замолкли, Япончик приподнялся со своего места и негромко произнес:

– Здоровье молодых!

«Молодыми» они еще не были, но кого это волновало. Гуляли до утра, теплая ночь, вздыхая и прислушиваясь, стояла за окнами.

– А штейгер, на котором приехал Япончик, – тут бабушка поднимала указательный палец, – штейгер стоял всю ночь!

Наверное, по тем временам это считалось неимоверной роскошью, почти преступным расточительством. Лошади штейгера, большой коляски, похожей, скорее, на маленькую карету, обьели кусты в палисаднике у колодца и украсили двор пахучими колобками. Утром Мишка устало повалился в темную глубину кареты, извозчик заботливо поднял верх, и застоявшиеся лошади, взяв с места в карьер, задели ступицей правого колеса чугунную тумбу у входа. Глубокая царапина, уже едва заметная под наслоениями краски, видна до сих пор.

– А с молодыми, что с ними стало, бабушка?

– Они поселились где-то на Бугаёвке, он пошел учиться, закончил рабфак, работал инженером на Канатном заводе. Перед войной его арестовали, она поехала за ним на Магадан, и больше я о них ничего не слышала.

Когда бабушка начинала рассказывать о прошлом, я никогда не знал, куда уведет её ниточка воспоминаний. Двадцатые годы перетекали в шестидесятые и, совершив пируэт, возвращались в сороковые. В памяти бабушки события увязывались по иным законам, история в её интерпретации совсем не походила на плавное перемещение по оси времени, а скорее напоминала американские горки.

За несколько дней до начала блокады Одессы в доме прадедушки собралась вся семья. Из огромной «мишпухи» остались только старики и женщины, мужчины уже воевали на разных фронтах. Речь зашла о вечном – ехать или не ехать. После недолгого обсуждения решили остаться.

– Одессу не отдадут, – утверждал дядя Мойше, парикмахер Дома офицеров. Он стриг самого генерала Петрова и поэтому считался большим знатоком по стратегической части.

– И кому всё оставим, – вторила тетя Циля, вспоминая недавно купленную перину. Три года она собирала на неё деньги, и бросить за здорово живешь представлялось совершенно невозможным.

Прадедушка Хаим сидел с отсутствующим видом. Слова кружились по комнате словно мухи, цеплялись за занавески, ползали по влажной клеёнке.

– Цыц! – вдруг закричал он и ударил кулаком по столу. Удар был такой силы, что столешница треснула.

– Собирайте деньги, документы и немедленно в порт. Может быть, успеем на пароход.

Бабушка смотрела на него изумленными глазами. Сколько она себя помнила, прадедущка ни разу не поднял голос.

Собрались быстро. Очередь к сходням начиналась чуть ли не у Потемкинской лестницы. Через несколько часов терпеливого переминания с ноги на ногу, когда до поручней трапа осталось несколько десятков метров, началась бомбежка. Самолеты проносились так низко, что бабушка успела разглядеть лицо немецкого летчика в больших очках.

Несмотря на обстрел, из очереди никто не ушел. Перед самым трапом моя трехлетняя мама начала страшно плакать. Оказалось, что забыли её любимую игрушку – тряпичную мышку Мими. Без Мими мама отказывалась уезжать. Прадедущка внимательно посмотрел на маму и вдруг вышел из очереди.

– Сходи за куклой, – сказал он бабушке. – Видишь, как ребенок просит.

Бабушка оторопела.

– Я не успею вернуться до отхода.

– Так не успеем.

Мими, заботливо наряженная в два платья и шапочку, грустно сидела на стуле. Когда бабушка прибежала обратно, пароход уже разводил пары на рейде. Оставшиеся, целая толпа, зачарованно следили за его маневрами. Из трубы повалил густой черный дым, пароход протяжно загудел и двинулся в открытое море. Под форштевнем начал закипать белый бурун, полоса дыма, гонимая ветром, потянулась к Пересыпи. И вдруг – тут бабушка всегда оставалась на несколько длинных секунд – пароход со страшным грохотом выскочил из воды и развалился на две половины.

– Мина, – закричали в толпе, – плавучая мина!

Обломки затонули со скоростью ломаного железа. Через минуту на поверхности воды осталось только огромное пятно масла. В наступившей тишине раздался голос мамы:

– Как хорошо, что мы опоздали! Мими совсем не умеет плавать.

На следующий день Пипер привел к прадедущке знакомого возчика. Бабушка уложила на подводу несколько чемоданов, посадила маму. Прадедущка и другие домашние пошли пешком, держась за борта. Через несколько дней они благополучно добрались до Николаева, а из него – в Сталинабад.

Когда мне исполнилось десять лет, отец купил у спекулянтов «Избранное» Бабеля – тоненькую книгу в коричневом переплете. Проглотив «Одесские рассказы», я побежал к бабушке. Бабушка читала много и основательно. Больше всего она любила толстые исторические романы. За чтение она принималась после окончания телевизионных передач и часто засыпала в постели над раскрытой книгой. Видимо, из-за этого каждую книгу она читала по несколько месяцев. Но Бабеля бабушка прочла быстро.

– Вранье, – постановила она, возвращая мне книгу. – В-первых, так никто не разговаривал. Он собрал все словечки, нани-

зал вместе, как баранки на веревочку, и хочет доказать, будто так оно и было. А я говорю – не было!

А во-вторых, Мишка Япончик. Фармазонщик, бандит, головорез! Скольких людей покалечил, сколько слез из-за него пролилось. А Бабель сделал из него Робин Гуда. Враньё, сплошное враньё!

Честно говоря, бабушке я не поверил. В детстве вообще больше веришь цветастым обложкам и звонким именам, чем тонкому голосу тишины. Детство для меня категория не возрастная, а духовная. Есть старые дети и ребячливые старики. Впрочем, это трюизм, общее место. Но, с другой стороны, я ведь и не обещал потчевать вас оригинальным варевом. Так, похлебкой из цитат...

«Наверное, – думал я, – была и другая Одесса, не та, в которой жила бабушка. Вернее, было много Одесс, как и сегодня много Иерусалимов, Петербургов и Конотопов. Но даже в той самой Одессе Бабель смог увидеть и записать то, что ускользнуло от дочери красnodеревщика».

Сомневаясь и негодуя, я пошел к Адасе, старшей сестре моей бабушки. Адася отличалась феноменальной памятью, она помнила все или почти все. Поскольку её детство пришлось на самое начало двадцатого столетия, она помнила посещение Одессы Николаем Вторым. Еврейская женская гимназия, где училась Адася, в белых платицах выстроилась вдоль Пушкинской с цветами в руках. Адася, благодаря живости характера, всегда оказывалась в первом ряду. Спустя восемьдесят лет она подробно описывала фасон и цвет платья императрицы, которая махнула ей рукой из окна кареты.

За два дня до нашего отъезда в Израиль Адася упала, сломав шейку бедра. В Вену я привез её в полубессознательном состоянии. Представитель Сохнута не шибко возликовал при виде девяностолетней старухи на носилках, но Адася заметно оживилась.

– Янечка, – сказала она мне громким шепотом, – позови его сюда, я спою ему песенку.

В полной уверенности, что у Адася от перелета совсем замутилась голова, я принялся её отговаривать.

– Нет, позови, позови обязательно, – настаивала Адася.

Пришлось позвать. И тогда Адася запела ему «А-тикву». За всю свою жизнь я ни разу не слышал от неё ни одного слова на иврите. И вот, прорвало. Видимо, в еврейской гимназии разучивали не только «Боже, царя храни»...

Представитель Сохнута чуть не заплакал от умиления и побежал заказывать «амбуланс». Адасю отвезли в больницу, сменили гипс, накачали лекарствами. В Израиль она прилетела почти в нормальном состоянии. В реховотской больнице «Каплан», куда я отвез её прямо из аэропорта, она вдруг начала читать надписи на больничных простынях. Самое удивительное, что она не только читала, но переводила, и переводила правильно!

С томиком Бабеля под мышкой я отправился к Адасе, в те годы еще весьма бойкой или, как написал бы Исаак Эммануилович, жовиальной старушке. Быстро пробежав глазами текст – Адася читала с безумной скоростью, сто страниц в час – она постановила:

– Не было этого. То есть, может и было, но не в Одессе. А уж Одессу, – тут она улыбнулась, – уж Одессу я знаю хорошо!

Признаюсь честно, об этом несоответствии я забыл на следующий день. В десять лет столько всего происходит с человеком, что частные вопросы литературы сами собой отступают на второй план. Спустя много лет я вспомнил свое небольшое расследование, но теперь это несоответствие уже не кажется мне странным.

Правда литературы сильнее, чем правда жизни. Бабель создал свою Одессу, свой одесский язык и своих одесситов, и этот придуманный мир, словно чугунные створки ворот, перекрыл живую реальность. То есть, подлинная история осталась, можно пойти в музей, поднять архивы, а сегодня влезть на нужный сайт в Интернете. Но кого это волнует, как оно там на самом деле? Абсолютное большинство говорящих по-русски убеждено, что в Одессе разговаривали так, как написал Бабель, а Мишка Япончик – невинно убиенный большевиками Робин Гуд с Малой Арнаутской.

Из этого логического построения следует замечательный вывод. Подлинная история создается не в правительственных кабинетах, а под пером писателя. То, как сегодня выглядит Израиль, о чем спорят в России и как живут в Америке, будут судить не по толстым монографиям, а по книжкам в мягких переплетах. Хочется воскликнуть: берегите писателей! – но вот это действительно банально.

Ну, вот, мы и добрались почти до конца. Осталось несколько эпизодов, которые я обязан досказать.

Одесса показалась Лёде Вайсбейну провинциальной. Талант требовал простора, и Лёдя переехал в столицу, сменив чересчур характерную фамилию на псевдоним – Утесов. Под этим именем он и вошел в историю – настоящую или созданную музыкальными критиками – не всё ли равно? Артистом Леонид Осипович оказался большим, по-настоящему большим. Его узнавали на улицах, им восхищались, и Леонид Осипович, не скупясь, дарил людям радость общения с талантом. Особенно щедро он оделял женщин. Что при этом чувствовала его жена, никого не интересовало: жена артиста – это особое призвание, а большого – призвание вдвойне. Елена Яковлевна терпеливо сносила сложную личную жизнь мужа, и тот, кто немного знаком с печальной историей семьи Утесовых, не может не оценить мудрость прадедушки Хаима.

Прадедушка дожил до глубокой старости и умер, увидав правнука, то есть меня. Из его огромной семьи остались в живых только две дочери; пятеро сыновей и зятя не вернулись с войны. Но прадедушка до последнего дня верил в милость Творца и утверждал, что с Неба на землю спускается только хорошее.

Бабушку и Адасю я привез в Израиль, обе они покоятся в Святой Земле. С её высоты память об Одессе представляется мне глубоким колодцем, тяжелую крышку которого я предпочитаю не открывать.

По ночам, когда бешеные израильские коты начинают свои разборки, я просыпаюсь и подолгу стою у окна. Вдалеке взмывают красные огоньки – с военного аэродрома Тель-Ноф уходят в патрульный полет «Фантомы». То, что за мою безопасность отвечает не генерал Петров, а Рабинович или Шарон, успокаивает. Реховот не отдадут. Я поправляю сетку от комаров над кроватью дочери. Дасенька спит, обняв бабушкин подарок – розовую мышку Мими.

Эйнат Якир

ЗЕРКАЛЬЦЕ

Когда мать умерла, его вызвали к адвокату.

Ему сказали, что она пролежала неделю, разлагаясь – в своей комнате, в своей кровати, и ни один человек не пришел.

Взломали квартиру в полуподвале и нашли ее мертвой.

Ему напомнили, что имущество ее конфисковано, потому что за отцом – долги, а сама она не проработала ни одного дня.

После того, как за неуплату отключили у нее телефон, он уже больше ее не слышал.

В день, когда умерла мать, выкликнули его из кухни рыбного ресторана, чтобы зачитать завещание, которого не было.

Облаченный в белый замызганный передник, скрывавший его полноту, появился он в адвокатской конторе.

Он расчесал редкие волосы на пробор и прилепил их кончики сплюной. Руки, пропахшие рыбой, спрятал в кармане передника.

Адвокат Бецалель был бледен и светловолос. Тело его выглядело больным, болезнь эта происходила, очевидно, от напряженной работы. Тонкие черты лица. Он разъяснял параграф за параграфом, и сроки действия каждого параграфа, безостановочно что-то писал, неотрывным взглядом следя за движением авторучки. Его длинный чуб соскальзывал на глаза, напоминая о потерянном детстве и постоянном недовольстве собой. Так он встретил Арика.

Обе одеревеневшие ноги Арика застыли на персидском ковре. Руки опирались на засаленные подлокотники кожаного кресла, взгляд уперся в адвоката.

Смущенный взгляд адвоката на упитанную фигуру Арика как бы говорил, что и после смерти матери тот сможет жить. Казалось, весь ужас известия о ее смерти адвокат готов принять на себя.

Он перебирал папки с документами и бланки, ища среди них папку Эстер Шмилович; бормотал, что секунду назад она была здесь и ее куда-то засунули.

Имя Эстер было выведено на зеленоватом картоне, и этот горький цвет внезапно вернул Арика к мертвому лицу матери.

Адвокат раскрыл папку. Поток воздуха, направляемый вентилятором с потолка, подхватил тощую стопку бумаги и повлек ее к краю стола. Адвокат вскинул длинные руки и ухватил листы, устало их перелистал, и цвет его лица стал еще более серым. Помолчал. Медленно проговорил Шмиловичу:

– В наследство она вам не оставила ничего.

Шмиловича донимал рыбный запах. Окна были закрыты, и ветхие деревянные жалюзи скрипели о смерти.

– В наследство она вам не оставила ничего, – повторил адвокат и быстро пробормотал: – Квартира им не принадлежала, вы знаете, что квартира была не их, вы знаете.

– Да.

– Да. Стало быть, так. Ничего. – Его голова, как у тряпичной куклы, вскинулась и вновь пошла вниз, к тощему телу.

– Если бы вы зашли к нам в ресторан, господин адвокат, я бы вас накормил, как следует, – хихикнул Арик, – у нас рыбные блюда, из рыбы я делаю деликатесы.

– Вы, конечно, знаете, что квартира принадлежала...

– Да.

– Да.

Арик вцепился в кресло, его ноги повисли в воздухе, но выглядел он спокойным. Вытаращенные глаза адвоката напомнили ему взгляд, которым вчера смотрела на него рыба, перед тем, как он бросил ее на сковородку. Он потянулся за сигаретами в кармане рубашки.

– Пожалуйста, не здесь, господин Шмилович, – раздраженно вскинул голову адвокат. Скорбный взгляд, выражение вины и беспомощности.

Арик снова засунул руки в карман передника. Вытащил их. Сжал оба подлокотника, высвобождая из кресла большое свое тело.

– Я очень благодарю вас, господин доктор юриспруденции, – Арик протянул ему руку. Бецалель слабо кивнул.

Шмилович собрался уходить. Тонкие сухие пальцы Бецалеля потянулись к завернутой в газету коробочке.

– Минутку, господин Шмилович, – вскрикнул он.

Арик перевел взгляд на адвоката. Глаза Бецалеля таранились на сверток.

– Только это, – подвинул он сверток Шмиловичу.

– Что это?

– Не имею понятия, – вскинул голову Бецалель. – Это было у соседки. Ваша мать передала это своей йеменской соседке с просьбой сохранить и отдать вам после того, как она умрет.

– Подарок из могилы? – попытался сострить Арик.

– Не дай Бог, не дай Бог, – лицо адвоката исказила гримаса, – не дай Бог.

Арик потянулся за свертком и вновь ощутил сильный рыбный запах, которым пропахли руки.

– Вы рыбак?

– Нет, я их готовлю.

На кухне о чем-то перешептываются повара. Сигаретный дым смешивается с чадом кипящего масла. Котлы отскребает от пригоревшей рыбы. На мокрых столах – разлитое масло, картофельные очистки.

Воздух заполнен криками официантов, передающих заказы на кухню, издевательскими репликами поваров.

И над всем этим – резкие, лающие окрики хозяина ресторана. Хозяин собственноручно готовит что-то для клиентов в скороварке. Замороженную рыбу вынимают из холодильников и швыряют на кипящие сковородки. Переворачивают слева направо и справа налево, чтобы стала золотистой как масло.

На грязных стенах – вырезанные из газет фотки девочек в одних трусиках, их глаза обещают такие удовольствия, такие удовольствия, и Арик глядит на них, не выпуская сверток из рук.

– Не могу я дать тебе отпуск. Даже на похороны не могу я тебя отпустить, Ушастый, – раздраженный хозяин хлопает его по плечу. – Больше мне тебе сказать нечего. За работу. Надо пахать.

Арик смотрит на него уставшим взглядом.

Официанты и повара толкают его, перекрикиваются условными названиями блюд, выбрасывая пальцы: «Две порции! Три порции!».

Руки его в кармане передника ощупывают сверток. Арик исчезает в служебном туалете.

Понос. Долгое время организм работал как часы. А тут вдруг понос. Вскрывает с унитаза, закрывает задвижку и усаживается вновь.

Достает пакет, вертит его в руках, но нету даже сил его развернуть. Вдруг его охватывает страх, ему чудится, что в воде – обнаженный труп матери. «Ты что, сдурел?» – говорит он сам себе и вскрывает пакет.

По вискам катятся градины холодного пота, странно, пот, он ведь совсем другой – горячий, липкий, льющийся в кастрюли вместе со слезами от свеженарезанного лука, пот, который невозможно остановить.

Широкая овальная золоченая рамочка с цветочками и листиками и блестящее стекло.

Этого зеркальца у нее в доме он никогда не видел. Может, потому, что она носила его все время в сумке.

Он вертит его, прошупывает, как будто внутри зеркала или за ним может что-то быть. Что за фокус выкинула мамаша?

Его круглые глаза загораются. Где? Куда она засунула то, что приготовила ему на самом деле и спрятала от соседки? Где же он – выигрышный билет на остров миллионеров, билет на остров блаженства.

Ничего. Чистая поверхность. Пустота. А за ней – его лицо, целиком заполняющее зеркало до самого ободка.

Он рассмеялся. Закрыл крышку унитаза, давась от смеха.

Поварята столпились у двери. Пацаны, а туда же:

– Чему ты так радуешься, Ушастый? Что ты там высрал? Мерседес?

В антикварных лавочках Яффо за зеркальце ничего не дали. Ничего оно не стоит, старое, никому не нужное зеркальце в рамочке с сусальной позолотой. Засунул его в карман передника и поехал домой.

Он положил зеркальце на стол рядом с собой и уселся смотреть телевизор.

Смотрел, как лучи заходящего солнца отражаются в голых стенах. Он следил за игрой света и не мог сосредоточиться. Выстрелы полицейских и погони за потрошителем сейфов шли без него.

Во сне он ворочался. Встал к холодильнику, затолкал в себя несколько виноградин. Достал зеркальце. Уселся на диван и гляделся в него, пока не задремал.

Он проснулся в час ночи и, убедившись, что все еще ночь, заснул и снова проснулся. Комнату освещал оранжевый свет уличных фонарей; предметы в этом свете теряли свои очертания, когда он закрывал глаза, и снова обретали форму, когда он их открывал.

Взгляд его вновь скользнул к зеркальцу. Он никогда не смотрел в зеркало так подолгу. Дома было всего одно зеркало, приклеенное к стене в ванной, у которого он брился – всегда наспех. Теперь он снова и снова рассматривал свои густые брови, круглые глаза, пухлые щеки, мясистый рот. Смотрел, пока не уснул.

Проснувшись, он заглянул в зеркальце и увидел в нем мать. Зеркальце выпало из рук, и ее лицо исчезло. Объятый ужасом, он снова медленно и с опаской заглянул в него. Она сидела в полосатом кресле, одетая в блеклый халат, волосы накручены на разноцветные бигуди, и вязала. Сердце его забилося, лицо стало красным, он вскочил с дивана и закричал:

– А-а-а!..

Он подбежал к раскрытому окну, выставил руку, сжимавшую зеркальце, наружу. Мать была погружена в свое вязание.

– А-а-а!...

Он зажег в доме весь свет, отставлял и приближал зеркальце, смотрел в него с разных сторон. Мать не отрывала глаз от вязания. Голубая шерсть принимала форму рукава. Однажды, когда Арик заходил к ней, он попросил связать ему голубой свитер. Она сказала, что глаза у нее больные, и сил нет. Больше он ни о чем ее не просил. Он положил зеркальце рядом с подушкой, повернулся к нему спиной, и попытался уснуть. «Спокойной ночи, мама!»

В эту ночь он больше не спал, поворачивался к ней и снова отворачивался.

На работе он появился не выспавшийся, с воспаленными глазами. Приладил зеркальце между кастрюлями и время от времени в него поглядывал.

Ребята собрались вокруг него: «Стареем, Ушастый?». Он не отрывал взгляда от зеркальца. Пряжи становилось все больше и больше. Она тщательно отделяла один ряд от другого.

Судя по движению ее губ, она что-то пела, но голоса слышно не было. Что она поет? Он начал напевать про себя давно позабытую колыбельную. Ему ужасно хотелось услышать ее голос.

Иногда, глядя на мать, он забывал о работе. Его взгляд был прикован к движениям ее рук, головы, к вязанию. Он глубоко вздыхал и продолжал шинковать овощи. Орудия ножом, он трижды порезал пальцы, не обращая внимания на кровь. Раздраженные повара делали ему замечания.

В обеденный перерыв он курил, усевшись напротив нее, зная, что мать не любит, когда он курит, надеялся, что она обратит внимание хотя бы на сигаретный дым. Никакой реакции.

– Мама, мама, – шептал он, вертя головой, затем он стал ей кричать. Она не поднимала головы. Она собирается связать целую гору из этой голубой шерсти.

– Слушай, Арик, тебя нельзя отпускать на перерыв, – пролаял хозяин. – Ты же не здесь. Ты не на работе. Давай, возвращайся.

Арик посмотрел на него с безгливостью.

Куда подевались все его смешки, пощипывание поварят, подначивание официантов. Он бросал яичную скорлупу в сковородку. Ему не было никакого дела до работы. В час дня он вышел из кухни и заперся в туалете. Его несло без остановки.

Тело стало будто чужим, глаза моргали, голова кружилась от кухонного чада и криков, все его задевало и раздражало.

Арик. Его имя разделилось на слоги и стало ничего не значащим. Словно из длинной трубы ему слышалось: а... рик... а... рик...

Он поспешно проглотил ужин. Запил его водой из бутылки, обливая передник и себя.

Он смотрел на нее неотрывно во время еды, телефонных разговоров, которые он, поглядывая на часы, старался закончить как можно быстрее. «Мама». Она посмотрела на него, рассмеялась и снова погрузилась в вязание.

Он хотел быть ближе к ней, но она давала ему так мало. Иногда это была смущенная улыбка, помахивание рукой, кивок головой. Когда он обращался к ней, она поворачивала к нему голову, как бы спрашивая: «Как дела?»

Пожимала худыми плечами, как бы говоря:

– Старею. Сердце уже не то, легкие не те. Голова, слава Богу, в порядке.

Он прижал зеркальце к уху, надеясь услышать ее, ее песню, но ничего не услышал.

Она была погружена в свое вязание, и ее нельзя было от него оторвать.

Он стал рассказывать ей обо всем, что с ним происходит. Дома и на улице. Он рассказывал ей, куда он идет и куда сворачивает автобус, рассказывал о витринах и вывесках, и о девушке, которую любит. Он ничего от нее не скрывал. Но она никак не реагировала. Она вернулась в его жизнь бесплотным ветерком, но была везде. Когда он ее стеснялся – ел свинину, ковырял в носу, выдавливал прыщ, – он переворачивал зеркальце лицом вниз и быстро-быстро делал то, что ему хотелось. Это было удобным, и он радовался, что нашел такой способ.

Хозяин вызвал его на разговор.

– Я должен тебя предупредить, Ушастый. Ты не с нами. Ты в каком-то другом мире. Работай. Возвращайся к нормальной жизни.

Арик смотрел на него раздраженно.

В ресторане решили, что он влюблен, причем смертельно.

Вначале он объяснял свое состояние воспалением глаз, затем – жуткой зубной болью, затем – глубоким порезом щеки, затем – страшным выпадением волос.

– Ты просто слишком себя любишь, – кричали ему ребята. – Ты так себя любишь, что нас тошнит. Просто рвать хочется. Извращенец, щипатель задниц. Псих.

Они отъедали от блюд, которые он готовил для клиентов, они кричали на него и толкали: «Проснись!»

В тот день хозяин его уволил.

На автобусной остановке он стоял с поварятами.

Вместо того чтобы, как всегда, спорить, кто угостит Ушастого сигаретой, они плевались и кукарекали. Один из них залез в карман его передника, вытащил зеркальце и убежал. Шмилович был поражен. Стоял с раскрытым ртом, по щекам его катились слезы. Парень исчез.

Арик проехал свою остановку. Он долго шел пешком и плакал.

До самой полуночи он звонил тому парню, чтобы вернул ему зеркальце, но в ответ услышал лишь два слова: «Ты ненормальный». Гудки отбоя в телефонной трубке отозвались раскалывающей болью в грудной клетке. У него отняли мать.

Он пошел к Яркону, чтобы утопиться.

Вылез из воды, весь грязный.

Утром его нашли на берегу Яркона дрожащим от холода, кашляющим и отхаркивающим мокроту.

Его отвезли в больницу.

В дневнике он написал:

Мать умерла дома, а я умру в больнице.

Мать умерла ночью, а я умру днем.

Мать умерла в потемках, а я – при свете.

Мать умерла в одиночестве, а я вместе с еще тремя больными, в присутствии лечащего врача и медсестры.

Мать умерла во сне, а я умру, бодрствуя.

Оба мы умрем, лишённые всего.

Разные микробы пролезли в его организм и стали его разрушать. В организме было множество нечистот, и он возненавидел себя.

Против своего желания он выздоравливал. Может, это был знак от нее, от кресла, в котором она сидела, обвязанная голубыми нитями шерсти, такой он ее представлял. Ее украли. Ее рот был закрыт шерстяными нитями. Глаза были закрыты. Эти нити душили ее, и тот парень, которого он хорошо знал, угрожал ему двумя расческами.

Его объяли кошмары, спать он не мог. Его глаза были открыты, он вслушивался в больничные звуки – стоны и храп. Он сидел, опершись на подушку, и тупо глядел в окно.

Силы восстанавливались, но его не оставляло странное ощущение, будто за ним следят. Она наблюдала за ним. За его движениями, походкой, за раскрытыми глазами.

Он стал экономным в движениях, похудел, ходил, держась за стены.

К зеркалам он не приближался. На душе было мерзко, но все нечистоты из него уходили.

Он хотел остаться в больнице.

– Что с тобой происходит, Шмилович, – допытывался врач.

Кто-то горячо шептал ему в ухо: «Здесь готовят к кладбищу». Из него вырывался радостный торжествующий смех.

Арик широко раскрыл глаза на доктора.

– Что вы, доктор. Я вовсе не стремлюсь умереть.

Он помолчал и добавил:

– Я приглашаю вас на обед в ресторан. – Тут он вспомнил, что его уволили, и лицо его перекосилось. Он стал умолять:

– Доктор, оставьте меня здесь еще на пару дней.

Доктор отрицательно покачал головой и ушел.

Арик вышел в коридор побледневший и стал разглядывать больных, которых везли в палаты.

Он хотел быть больным. Но его признали здоровым.

Прошла неделя, но душа его не находила покоя. Его охватила странная усталость, все тело стало тяжелым.

Из палаты выносили мертвого старика. Он вошел в палату. На него обрушилось белая, дурно пахнущая тишина, сопровождаемая гудением люминесцентных ламп.

Он влез в кровать умершего и укрылся простыней с головой. Спрятался.

Ночью старшая сестра стала снимать простыню, и от ее визга проснулось все отделение.

Его хотели положить в психушку. Но лечащий врач сказал, что все это фокусы и велел выставить из больницы.

Он оказался вне больницы. Брел домой.

Много часов он прошатался по пустынным ночным улицам. Машины слепили фарами, сбивая его снова и снова.

Утром на площади сновали голуби. Он сидел и глядел на них. Один из них, голубой, подошел прямо к его ногам и наклоном головы напомнил ему мать.

– Цып-цып-цып, – позвал он. Он был рад, что мать счастлива и довольна тем, что еще живет и превратилась в голубя. Он пошел на рынок. Купил рыбу, красный перец, черный перец-горошек, лавровый лист, петрушку, укроп, чеснок, томатную пасту, лимон, белую картошку, столовое вино, розмарин, замороженные овощи, укус, оливковое масло, лук.

Он готовил с любовью, тоской, радостью и аппетитом. Он сдобрил рыбу пряностями, солью, перцем, маслом, бросил мороженные овощи в кипяток, посыпал рыбу мукой, полил красным вином. Рыбный запах распространился по комнате, он втянул этот запах – горячий, сладкий, первозданный, как материнское лоно.

Она отовсюду подавала ему сигналы, наблюдала за ним.

Он уложил рыбу на металлический поднос, уложил гарниры в пластиковую коробку, и поехал в свой ресторан. Он вызвал хозяина. Протянул ему рыбу.

– Ну, не могу я тебя уловить, Ушастый. Не хватает тебя. Ладно, возвращайся на работу.

Ребята с кухни, повара и официанты сидели и уничтожали творение его рук, высасывали косточки, жевали и перешептывались.

В углу, у холодильника, стоял парень, который украл у него зеркальце. Он смущенно поманил Арика. Тот смущенно приблизился.

– Вот.

Парень вложил ему зеркальце в руку. Рука Арика застыла в воздухе. Парень вложил зеркальце в его руку.

– Ну, бери, чего ты.

Арик ощутил, как колотится его сердце, и покраснел. На его лице застыло удивление.

– Ну, сколько можно на меня смотреть, – говорил парень, – каждый день одно и то же. Меня уже тошнит от этого. Бери, ну!

Дрожащими пальцами Арик взял зеркальце. Если бы оно не выскользнуло в карман, упало бы. Он скрылся в туалете.

Дважды повернул ключ.

Снова понос. Он уселся на унитаз.

Дрожащими пальцами, весь покрытый потом, вынул зеркальце. Заглянул в него.

Черты его одутловатого лица постепенно растаяли, и появилась мать.

Она все так же сидела в кресле с вязанием, и свитер был почти готов. Работа закончилась. Она издали взглянула на него.

Лицо ее было мягким, спокойным, прощающим.

– Мама!

– Да.

– Мама, как дела?

– Все хорошо, Арик. Очень хорошо.

По всему его телу и в голове стучали молотки. В глазах появились слезы.

Они лились, как вода в унитазе, как вода, которой он промывал рыбу, чтобы отделить ее ото льда, и их невозможно было остановить.

Мать смотрела на него долгим спокойным взглядом.

Слезы затуманили зеркальце, и он протер его туалетной бумагой. Мать все еще была там. Наступила тишина. Он не знал, что ей еще сказать.

– Оставь это, Арик. Иди спать.

– Спасибо мама, – рассмеялся он, – спасибо.

Мать исчезла, и в зеркальце опять возникло его лицо.

Он смеялся и плакал, под глазами были мешки, появившиеся за последнюю неделю.

Спрятал зеркальце в карман. Когда он засовывал зеркальце в карман передника, он уснул.

Перевод с иврита Шони Лавана

Сергей Баумштейн
НА УЛИЦЕ АЛЕНЬКИ, У ПАНИ

Из повести «Искусство узких квинт»

...Ремонт пианино «Бехштейн» шел к концу.

С настройкой басов покончено – к счастью, ни одна струна не лопнула. Лишиться заработанного столь обильным потом полтинника было бы обидно. Без четверти одиннадцать. Когда Витя выехал из дому, не было трех.

Тетушка Шуля, единственная Витина родственница, уже сходит с ума – девяностопятилетней старухе на каждом углу мерещатся усатые арабы с ножом в зубах и бомбой на животе.

Настроить середину и верхи от си-бемоля первой октавы до последнего ля займет минут двадцать. Ключ и резиновые заглушки носились над вирбельбанком: заткнуть вторую и третью струны хора, надеть ключ на вирбель первой, левой рукой взять октаву, правой потянуть ключ, попасть в нулевые биения, отжать ключ вверх и чуть вниз – зафиксировать строй. Потом то же с двумя другими струнами.

Последнее ля. Правым боком «Бехштейн» упирался в стенку. Пришлось докрутить левой рукой. Снял ключ с последнего вирбеля, вытащил резинки, в изнеможении повалился на банкетку. Уф!

Взял несколько аккордов, правой рукой пробежался по клавиатуре, пытаясь изобразить триольный пассаж из «Фантазии» Шопена.

– Я свышэм, пан Витольд юж гра! Чыжбы пан сконьчыу працэм?¹ – возникла на пороге пани Батья Береловски, хозяйка «Бехштейна».

– Так, прошэм пани, вшистко готовэ. Я тэраз замыкам². – Бывший житель полутрущобного польского квартала Вильнюса, Витя мысленно потешался над своим полиглотским ухарством.

Бросил под клавиши шарики нафталина, привинтил цирлейстик, надел клавиатурную крышку, поставил рамы. Шлепнул напоследок ре-мажорное трезвучие. Все!

– Прошэ пана до кухни.

На столе ждали чашка чая и конфетница с осыпавшимися по краям вафлями. Пани уселась напротив, сжимая тесно подобранными пальцами – не дай Бог по-холопски отставить мизинец – точеную чашечку, в другой руке дымилась тонкая коричневая сигарета.

¹ – Я слышу, пан Витольд уже играет. Неужто пан закончил работу? (польский).

² – Да, если угодно, пани, все готово. Я сейчас закрываю (польский).

Витя остекленело запивал теплым чаем пожилые вафли. Чаю можно дома выпить. Что бы это значило?

Пани оттягивает печальный момент расставания с деньгами, не иначе. Витя вчера предупредил – чеков не берет. Значит, сейчас попытается всунуть чек. Хорошо бы – не отсроченный.

– Иле лят пан баарэц?³

– Девять, если угодно пани...

– Як пан мыслит – пан доволен?

– Хотел бы лучшего.

Тянул кто за язык? Диспут на тему «Когда мы приехали» прямо-таки необходим. Особенно, когда от усталости не соображаешь...

Пани понимающе закивала:

– Так, так, пане. Я то знаю добже – то ест бардзо тяжелый край. Пан знает – почему? – Не дожидаясь ответа, заговорщицки снизила голос. ШАБАК, что ли, мать его, на стреме? – Этот край, это государство так задумано, что жить тут невозможно. – Слышать такое от старожилов, хотя нечасто, Вите, впрочем, доводилось. – И весь этот зверинец придумало то проклятое ничтожество со своей бандой красной.

– О котором человеке пани мовит?

– Пан Витольд не знает истории израильской?

– Прошу прощения, пани, не очень.

– Мовем о Бен-Гурионе.

Витя поперхнулся чаем.

За последние девять лет его сионистские чувства основательно скукожились. Вдобавок, правнук киевского купца первой гильдии, подразоренного революцией и окончательно добитого «золотухой» времен ликвидации нэпа, Витя на генетическом уровне ненавидел еврейских социал-демократов в любой ипостаси – что большевиков, что мапайников.

Но назвать Бен-Гуриона ничтожеством?

– Татуш, зихроно ливраха, был человек бардзо мудрый, имел образование экономическое, и, самое главное, он был настоящий хозяин пятьдесят лет... Он всегда говорил: чем больше платишь рабочему, тем выше конечная прибыль. Як мы приехали в Палестину, татуш три года импортовал мебель с наших фабрик польских, а потом открыл фабрику в Тель-Авиве, в квартале Флорентин. Те красны холеры с Гистадрута такие придумали законы, что еврею в Палестине открыть фабрику труднее, чем в Польше или в Германии. Татуш мувил: «Я мог бы заниматься импортом, денег от этого хватит и нам, и нашим детям. Но если мы привезли капиталы, нужно открывать предприятия. И у евреев должны работать только евреи, иначе ишув не выживет. Те сумасшедшие просто не понимают, что делают». Он, конечно, не брал к себе абы кого, але знал по имени каждого работника, их жен, детей. Кто с них болел, татуш платил за лечение – не в купат холим⁴,

³ – Сколько лет пан в стране? (польский, иврит).

⁴ В те годы единственная больничная касса в Израиле принадлежала Гистадруту, который фактически являлся придатком правящей Рабочей партии.

настоящему врачу. У работника свадьба, брит или бар-мицва – мар Аврамэк первый гость, и он приходил не с пустыми руками. Если, хас вз-халила, кто-то из его людей умирал – татуш не оставлял семью, помогал выучить детей, дать профессию. У нас люди работали по тридцать лет. Татуш тому двадцать три года умер, а наши стары работники мне и сейчас иногда звонят. Если бы не те гистадрутские холеры, у него и здесь не было бы ни одной забастовки. «То не профессиональные политики, то любители! – говорил татуш о правительстве. – Если те кибуцажи хотят жрать из общей миски и спать под общим одеялом – прошэ паньсътва! Но нельзя управлять государством, как кибуцем. Не умеете – не беритесь, мы – капиталисты, эксплуататоры, все за вас сделаем. Пусть только те сволочи не мешают богатым людям зарабатывать деньги. Если государство не будет грабить хозяина, он и рабочим сможет платить больше».

Вспомнив своих израильских работодателей – аудитора; компаньонов из магазина «Концерто»; генерального подрядчика мара Эрдецвайга, каждый год урезающего бюджет еженедельника, выпуская который Витя зарабатывал на жизнь, он сильно усомнился в правоте покойного отца пани Баси.

– Забардзо тяжелый край... – сокрушенно качая головой, повторяла она.

Интересно, перекрывали хоть раз пани Басе банковский счет? Вырубали электричество, отключали телефон за неуплату? Воистину – у кого жемчуг мелок...

– Прошу прощения, могу ли спросить пани Басю?

– Так, прошэм пана.

– Почему вы не уехали?

– Так сразу не объяснишь... Во-первых, меня привезли в семь лет. Уже привыкла к этому балагану.

– К нему можно привыкнуть?

– Евреи привыкают к любой холере – даже к такому государству. Во-вторых, мой муж, зихроно ливраха, был большим сионистом; не левым, не дай Бог! – бейтаровцем, дружил с Бегоном. Его отец, мой свекор, полковник генерального штаба Войска польского, начинал службу с Пилсудским – пан может представить. Он отдал сына учиться в Оксфорд, а в тридцать девятом, за неделю до войны, вывез фамилию в Англию. Мой Рышард оставил университет, пошел волонтером в английскую армию, служил тут, в Палестине. Осенью сорок пятого вышел в отставку, командовал «боювкой» у Бегина. Его искала военная полиция. Але як Бегин разоружил своих людей, Рышард разошелся с ним. После войны, в сорок девятом, вернулся до родителей в Англию, закончить студии.

...Война за независимость, боевики Эцеля, Бегин, борьба с пальмахниками!.. Будто «Эксодус» листаешь. Казалось, привык: здесь античная история забредает в каждый дом замызанного

Яффо – что уж говорить о Иерусалиме! Но от дел сорокапятидесятилетней давности мурашки по коже...

– А почему же пан Рышард уехал? Ведь он воевал за эту страну.

– Так, пане, але Рышард, як татуш, не выносил ту бен-гурьёнску банду. Он хорошо помнил, як пальмахники вылавливали людей Бегина и сдавали англичанам. Даже учиться тут не хотел – мувил, все профессора настолько левые, противно зайти в университет. Як Рышард закончил Оксфорд и вернулся в страну, они с татушем случайно познакомились в польском клубе. Татуш пригласил его к нам. Я через месяц объявила – выхожу замонж за Рышарда. Татуш только сказал: «Ты знаешь, сколько нам с мамусей выпало горя. Даже верить боюсь, что это произойдет... Хоть под конец жизни порадуемся». Мы прожили с Рышардом сорок лет и были почти счастливы – сколько получалось Он только переживал за творящееся здесь блядство.

С детства родное слово в «шляхетских» устах звучало чудовищно.

– Як дети были малые, много раз предлагала Рышарду: уедем в Англию. Его родители имели дом в Лондоне, швагер – глава адвокатской конторы – много раз приглашал в дело. Рышард всегда говорил: «Я воевал, чтобы оставить страну на растерзание красным мерзавцам и черным идьётам?» – Сложив руки в молитвенном жесте, пани пару раз качнулась, дав понять, кого имел в виду адвокат Береловски. – А потом никак не могли уехать.

– Прошэ пани, почему?

– Эта земля не отпускает. Може, пан Витольд хочет глянуть на мою теперешнюю компанию? Прошэ пана...

На хера Вите ее компания! За работу заплати, старая селедка, давно пора домой, устал, как собака.

Проклиная сакраментальное неумение сказать «пан не хцэ», с трудом поплелся за пани по коридору. В темной комнате горело несколько свечей. Щелкнул выключатель, желтоватое пятно высветило сильно увеличенную фотографию в массивной черной раме. Над отложным воротом рубашки – неписаной униформы мапайников – торчала тонкая шея подростка. Коротко стриженный блондин с чуть вытянутым европейским черепом. Застенчивая улыбка пухлого рта, удивленно-растерянные выпуклые глаза. Галутный взгляд будущего Нобелевского лауреата.

Как с таким лицом выжить на помойке под названием Земля?..

– То ест брат мой младший Зиги. Пан Витольд видел в лесу по дороге на Ерозолим сгоревшие машины?

– Так, пани, – выдавил, сглотнув пересохшим ртом.

– В июне сорок восьмого, за неделю до смерти, Зиги разругался с татушем из-за политики – единственный в семье боготво-

рил Бен-Гурьёна, – и вышел з дому. В Ерозолимском коридоре арабы обстреляли грузовики с продуктами. Машина вспыхнула, Зиги сгорел заживо – нечего было хоронить.

Снова щелкнул выключатель. Молоденький офицер с «фалафелем» на погоне – этакий очаровашка, сабра-блондин европейских корней – улыбался в тридцать два зуба.

Там, в совке, отказники обменивались тайно привезенными израильскими журналами. Вглядываясь в радостные, не замутненные интеллектом лица сабр, Витя неизменно захлебывался от восторга: «Они совсем другие! Вот что значит вырасти в собственной стране!»

– То ест сын наш средний Номэк. В октябре семьдесят третьего, над Синаем, в самолет попала ракета. Похоронили немного пепла. Через месяц снова сидели шиву: татуш этого не пережил.

Под каждым портретом на тумбочке два высоких подсвечника. Пламя свечей теряло очертания, двоилось, разъезжалось, превращаясь в инфузорию. Заложило нос. Сжал зубы – твою мать, еще не хватало!..

Снова щелчок. Автор снимка поизгалялся: занимая почти все пространство, на столе царили рифленные подошвы десантных ботинок, за которыми торчали колени. Лежавшая поверх винтовка диагонально переламинавала кадр, где-то сзади подмигивал в объектив звероватый, коротко стриженный широкоплечий парень в лихо заломленном берете с парашютиком посреди скрещенных крылышек. Явно второе поколение сабр – Европой не пахнет: обычный тусовщик тель-авивских пабов и дискотек.

– То ест внук наш Ронэк.

Так уже нечестно!..

– Когда? – еле протолкнул в глотку.

– Тому десять лет, в Ливане. Мы с Рышардом прийшли до дочки. Телефонуют: «То не ест гверет Ариэли?» «Не». «А она ест дома?» «Так». «Ниц не говорите, тилько слушайте. Говорят со гошпыталя «Рамбам» в Хайфе. Тэраз на хеликоптере привезли ее сына, делают операцию. Срочно приезжайте – може, успеете...» Успели, прожил еще десять часов. До него не пустили – нельзя было смотреть: патрульная машина подорвалась на мине, Ронэк обгорел, ему оторвало ноги. Пан розумеет – нам нема где уехать...

Нервишки, нервишки... Поистрепались за сорок-то с лишним к Йоганна матери... Бог с ним, с увядшим сионизмом! Как быть с безотказным воображением? С душой, где – лишь сорви корочку усталости, – кровоточит Бабий Яр?

Разнести все вокруг, разодрать грудь, вырвать ком, задохнуться в крике, сдохнуть!..

Пани молча стояла рядом.

Витя выбежал из комнаты, пани, щелкнув выключателями, последовала за ним. Почти наощупь, не спросив разрешения, бросился в ванную – плескать в раскаленное лицо холодную воду.

Не к моменту ли грядущего облегчения кошелька приурочено посещение Витей пантеона семейства Аврамек-Береловски?

Натянув улыбку, подошел к сидящей за столиком пани.

– Чы пани Бася позволит на минутку зателефоновачь?

– Пшепрашам, куда пан хочет зателефоновачь?

Куда, куда... В Гренландию. Или еще куда подороже.

– Прошэ пани, до Яффо.

– Так, прошэ пана.

Шуля, как обычно в его отсутствие, негодовала:

– Паршивый мальчишка, это безобразие!

– Я только закончил работу, – скрипел он, – минут через двадцать пять буду дома.

– Ты же знаешь, как я волнуюсь: нельзя было раньше позвонить?

– Дома поговорим! – со злостью нажал на рычаг.

Пани усердно превращалась в мумию.

– Так сколько я должна заплатить пану?

– Если пани угодно, как мы договаривались.

– Чы можэ пан зробичь анаху⁵?

Твою мать!

– Нет, прошэм пани. Если пани угодно, могу только поднять цену.

– Пан Витольд неудачно пошутил.

– Так само, як пани Бася.

– Я дам пану два чеки...

– Не, прошэм пани. Я ведь предупредил заранее – только наличными.

– Пшепрашам пана, у меня нет наличных.

Предвидя такой поворот, Витя знал, как с этим справиться.

– Помнит ли пани – я купил материалы за свой счет?

– Так, прошэм пана.

– Могу дать пани кабалу⁶...

– Так-так, прошэ пана, – оживилась она.

Предъявишь квитанцию – любой израильтянин становится уступчивее. Зачем она пани, к чему ее подошьешь? Покупая на триста шкалей материалы для ремонта «Бехштейна», Витя взял еще кое-что для себя. Поскольку, согласно договоренности, пани должна была ему за ремонт восемьсот, он с чистой совестью и – чего таить – с некоторым злорадством вручил квитанцию на пятьсот.

Пожевав губами, пани Бася стала выписывать чек.

– Прошэ пани, чек на завтра, дахуй⁷ не возьму.

⁵ – Может ли пан сделать скидку? (польский, иврит).

⁶ Кабала (иврит) – квитанция.

⁷ Дахуй (иврит) – отсроченный.

Укоризненно качая головой, по-шляхетски надменно подняв черенные брови – наглым образом обирают! – выписала трехсот-шекелевый чек на завтра. Встав с оскорбленным видом и резко отодвинув стул, направилась в одну из комнат за наличными. Витя посмеивался...

Пани Батье Береловски – в ее-то годы – следовало понять: на тот свет не забрать даже агоры. К чему вся комедия? Очень даже к чему: внук пани, «человек очень порядочный», на сэкономленные бабцей деньги откроет магазин фортепиано, наймет какого-то Витю и будет платить тому «добрый маскорет» – две тысячи шекелей.

Пани вплыла в комнату, небрежным жестом – пан слишком любит деньги – бросила на стол пять бледно-кремовых бумажек.

– Очень благодарна пану Витольду. Пан – прекрасный мастер!

– Спасибо! Пани Бася очень любезна. – Демонстративно пересчитал сотенные и медленно засунул в кошелек. – Прошу пани Басю рекомендовать меня своим приятельницам, всем знакомым.

– Да, пан, разумеется.

– До вичжени, пани!

Надев на плечо кофр, Витя, крикнув, подхватил чемодан и вышел на площадку. Дверь захлопнулась, одновременно щелкнул замок. Реле в подъезде настроено экономно: свет гаснет прежде, чем успеваешь добежать до очередной кнопки выключателя. Интересно, как жильцы дома, по всей видимости, ровесники пани, ухитряются преодолевать подъем. Навернуться в темноте на ступеньках и сломать что-нибудь – раз плюнуть. Но Бог с ними, с соседями пани, людьми не самыми бедными. Предпочитают спотыкаться в темноте – на здоровье. Не хватало думать о чужих хрупких шейках бедер. Покрепче держись за перила – свет гаснет в самый неподходящий момент, – чтобы не загреметь со всей своей музыкой и не разбить очки. Иначе весьма ощутимая часть полученного от пани чека перейдет в карман соседнего оптика.

Он вышел на Алленби, окунулся в липкую жару.

Точно против угла улицы Бен-Иегуда, рядом с фотоателье, где в витрине красовался великолепный черно-белый портрет Шимона Переса, маячила опершаяся о фонарный столб человеческая фигура. Судя по недвусмысленно короткой юбочке и еще более недвусмысленной позе – ночная дива.

Повернув на звук шагов лицо – маску белого клоуна из третьеразрядного советского цирка, – труженица вагины мельком глянула в Витину сторону: рабочая лошадь с огромным чемоданом в руке делового интереса не представляла.

СИОНСКИЕ ВОРОТА

Михаил Фельдман *ПО МЫСЛИ РЕЖИССЕРА*

Тексты песен

ЦИФРА НА ГЛОБУСЕ

Эта страна обозначена цифрой на глобусе,
В этой стране чудесам не дивятся давно.
В эту страну приезжают и варятся в соусе,
Привкус которого всем оценить не дано.

В этой стране ни весны не бывает, ни осени,
В этой стране что ни мир – то сплошная война.
Силы небесные нас еще, видно, не бросили, –
Значит, колодец еще не исчерпан до дна.

В этой стране до вершины горы доползу ли я?
Или на склоне крутом заклюёт вороньё?
Я бы, наверно, влюбился в неё до безумия, –
Если бы не обезумел уже от неё...

СВЕЧА ПАСТЕРНАКА

Это было когда-то, а когда – угадайте –
Собирались ребята у кого-то на хате,
Приходили оравой, но всегда были кстати,
И не считали отравой даже кильку в томате.

В обстановке привычной всё всегда было ново –
От бутылки «Столичной» до буханки ржаного,
Было пиво, таранька, были свежие рифмы,
Были Инка и Танька, – а куда же без них мы?

Сколько было открытий! Как мы строили замки!
Как надеялись выйти за постылые рамки,
Сколько чуши пороли головою и сердцем –
Всё искали пароли к заколдованным дверцам,

Всё не спали ночами в ожидании знака,
Согреваясь лучами от свечи Пастернака...

Приходите, ребята, на моё новоселье, –
Что за новая хата без вина и веселья,
Будет вам вечеринка, будет пьяная вишня,
Будут Танька и Инка – это тоже нелишне.

Каждой твари – «кампари» с апельсиновым соком,
Побренчим на гитаре, попоём о высоком:

Про отсутствие рамок, про московские кухни,
Про воздушный наш замок, что возьми, да и рухни,
О свече Пастернака и о прочем о вечном,
Что не вышло, однако, в суете уберечь нам...

Приходите, ребята, вы ко мне на поминки –
Бытие и утрата – это две половинки.
Ну а в целом, а в целом, было мило – не так ли? –
Прощвырнуться по сценам в этом дивном спектакле.

Я прошу вас – не плачьте, ни о чем не горюйте,
Хватит лазить по мачте, – посидите в каюте,
Просто так посидите в пустоте полумрака
И зажгите, зажгите мне свечу Пастернака...

ПАРТИЗАНЫ ПОЛНОЙ ЛУНЫ

Вот едут партизаны полной луны...
Б. Г.

Где была тюрьма-кабала – там теперь раздолье,
Где в неравной схватке со тьмой победил рассвет –
Партизаны полной луны вышли из подполья,
Зарядили ружья свои, а врага-то нет.
Что ж вы, милы братья мои, кровью поостыли,
Что ж не рады, братья мои, свету и весне?
Постреляли братья мои в воздух холостыми,
Да спугнули пару ворон, спящих на сосне.
Видно, отсырели в боях порох и гитары,
И мороз трескучий в лесу струны оборвал...
Партизаны полной луны пишут мемуары
Про былые битвы свои, про сырой подвал.
Докурить бы старый бычок, да начать сначала,
И вернуть утраченный свет горькой той звезды...
Чья бы лошадь ела овёс, а моя б молчала,
Да бежит солёной струёй кровь из-под узды.

БЫЛЬ О БАБЕ И КОБЫЛЕ

Ой! Давненько это было. Вспомню только под гипнозом:
По степи брела кобыла и тащила бабу с возом,
Воз проехал по ухабу – с воза вытряхнуло бабу.
Без неё – другое дело, – нету тяжести и гнёта,
И кобылой овладело ощущение полёта:
Быть не клячей, а Пегасом – это очень возбуждает,
Принадлежность к высшим расам воз иллюзий порождает.

Если радостно кому-то, значит, – муторно другому,
Навернулась баба круто, и вдобавок впала в кому.
Приходили полисмены, составляли протоколы,
Натирали бабе вены и кололи ей уколы.
Приводили следопыта, проводили экспертизу,
Замеряли все копыта той кобыле сверху, снизу,
И патологоанатом прибыл в поисках наживы,
И ушел, ругаясь матом, так как все остались живы.

Заключение гласило, что упала баба с возу.
Только где ж в народе сила доверять официозу? –
Поползли по миру слухи, выдвигали много версий –
От обычной бытовухи до возможности диверсий.

Мол, у бабы были боли, мол, узду держала слабо,
Потеряла силу воли и вела себя, как баба,
Но скопытилась кобыла – бабе сразу полегчало,
А пословица забыла, где конец, а где начало.

Говорили, что у бабы были приступы падучей,
А иначе, мол, могла бы обойти несчастный случай.
Говорили, будто в кляче тлела дьявольская сила,
И на третьей передаче ей кардан перекосило.
А потом явился Лысый и вещал широким массам,
Называя бабу крысой, а коня – рабочим классом.
Эти пагубные страсти нам до перхоти знакомы:
Лошадям – декрет о власти, миру – мир, а бабе – кому!

Это было, это было – запряженная кобыла,
За кобылой – баба с возом и ухаб апофеозом.
Этой присказки обломки соберут за нас потомки:
Нам сегодня не до клячи, а историкам тем паче.

В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ

Я возлежал в тени величественных вишен
Я был циничным и ленивым по натуре,
Дыханье ветра заменяло мне condition,
А запах вишен доводил до полудури.

Я возлежал в тени разлапистого вяза,
Прильнув губами к запотевшей горловине, –
Я пил вино, и в этом было столько джаза,
И столько блюза – сколько *veritas in vino!*

Я возлежал в тени могучего платана,
Я был частицей первобытного пейзажа,
И мне гетера (что по-нашему – путана)
Открыла тайну тайландского массажа.

Я возлежал в тени пленительных акаций,
Весь очарован томным голосом гетеры,
И я не верил, что божественный Гораций
Не дотянул совсем чуть-чуть до нашей эры.

Я возлежал в тени задумчивых черешен,
Я пил вино, а мне подыгрывал Бетховен,
И я клянусь, что стал бы девственно безгрешен,
Когда бы не был столь чудовищно греховен.

Я возлежал в тени большого носорога,
И мне не нужно было роскоши и бабок,
И я лежал бы, пил вино и славил Бога...
Но носорог перевернулся с боку на бок.

Я возлежал на солнцепёке после смерти,
О безвозвратности ушедшего горя,
И я всё ждал, когда придут за мною черти,
Но запах смирны подсказал мне, что в раю я.

Я удивился, ибо знал довольно четко,
Что буду бит плетьюми и за ноги подвешен,
И я спросил у Бога:

– Бог! Какого черта?...

А Бог лениво пил вино в тени черешен.

НА МОГИЛЕ КАРЛА МАРКСА

На могиле Карла Маркса отцвела давно черешня
И черёмуха, конечно, отцвела давным-давно, –
На могиле Карла Маркса собираются марксисты,
Любопытные туристы, да и прочее говно.

На могиле Карла Маркса ходит призрак в красном платье
И ужасные проклятья извергает на отца,
На могилу Карла Маркса благодарный пролетарий
Всех мастей и полушарий носит цепи без конца.

На могиле Карла Маркса вовсе нету мавзолея –
Для крещеного еврея не положен мавзолей,
На могиле Карла Маркса караул нести не надо, –
Потому что есть ограда из разорванных цепей.

На могиле Карла Маркса не бывает столкновений,
Потому что мёртвый гений умирает до сих пор.
На могиле Карла Маркса всё первичное – вторично:
Там сознание тактично бытию даёт отпор.

На могилу Карла Маркса из Советской из России
Тоже цепи приносили – от рабочих и крестьян,
На могилу Карла Маркса наш народ принёс бы бомбы,
Если не был бы рабом бы, если б не был слишком пьян.

Над могилой Карла Маркса засыпает город Лондон –
Город Лондон не был отдан на расправу темноте.
На могиле Карла Маркса Карл Маркс из чистой бронзы
Смотрит пристально и грозно, но глаза уже не те.

На могиле Карла Маркса двустороннее движение –
Это признак уваженья там у них, за рубежом, –
Ведь могила Карла Маркса служит предостереженьем
Политическим движениям с очень левым виражом.

УДАЧА

Я помню дождливую ночь и оплывшие свечи,
И чайник, который напрасно мечтал о покое,
И я по сценарию будто бы в роли изгоя,
А дождь, морозящий и плачущий, – в роли предтечи.
И помню еще, что по радио шла передача, –
Гоняли зачем-то отрывки из оперы Верди,
И вдруг неожиданно в дверь постучала удача –
Бродила в чем мать родила и продрогла до смерти.

Я ввёл её в дом и закутал в своё одеяло,
Свернувшись в калачик, она примостилась на стуле,
Быть может, её перед этим немного спугнули,
А может быть, просто покинула всех и гуляла.
Мы долго смотрели на свечи и долго молчали,
Внимая фокстроту огня и теням на обоях,
И всё, что болело, – осталось внутри у обоих,
И стрелы Амура той ночью остались в колчане.

И только под утро я ей намекнул осторожно –
Мол, вряд ли способен тебе предоставить жилище,
И люди, проснувшись, тебя спохватились и ищут,
Со мной же тебе оставаться, увы, невозможно:
Ведь жизнь – это лишь треугольник, в котором я – катет,
И синус угла между мной и тобой бесконечен,
Ты очень практична, а я недалёк и беспечен,
Я только умею мечтать, а за это не платят.

Ты скажешь, что синус не может быть больше, чем надо
И глупость мою, безусловно, сочтешь за обиду,
Но в том-то и дело, что я не живу по Евклиду:
Мы в разных с тобой измерениях – и в этом преграда.
Она загрустила, потупив невинные очи,
И вдруг, улыбнувшись, растаяла в сером рассвете...
С тех пор иногда при каком-то загадочном свете
Мы вместе с удачей проводим бессонные ночи.

ИСТОРИЯ МИРА – 2

С неба рухнула комета и упала прямо в лужу,
содрогнулись основы –
Отделилась тьма от света, твари вылезли наружу,
было утро дня восьмого.

Так, по мысли режиссера, начинается афера,
и не скоро прекратится,
Оператору до фени, что творится там на сцене, –
он желает похмелиться.

Эти взбалмошные люди из Египта убежали –
ну и скатертью дорога,
На Синае, как на блюде, получили по скрижали
от разгневанного Бога –

Так, по мысли режиссера, начинается афера гениального народа.
Оператор хочет выпить – хоть дерьма из речки Припять, –
такова его порода.

Крики чаек, шум прибоя, а за сценой чей-то голос,
преисполненный гордыни –
Гладиатор после боя получает гладиолус
от возлюбленной рабыни –

Так, по мысли режиссера, начинается афера мускулистого кретина.
Оператор изувечен – у него большая печень от вина и никотина.

Но вперед идет Создатель, и в какое-то мгновенье
разрушается препона –
Обалдевший воздыхатель получает от дуэньи –
ох! – веревочку с балкона –

Так, по мысли режиссера, начинается афера молодого скалолаза,
Оператор наш болезный возвышается над бездной
голубого унитаза.

Словно блохи из окопа, появляются таланты от Парижа до Дуная,
Возрожденная Европа получает от Рембрандта голозадую Даная.

Так, по мысли режиссера, начинается афера
штамповальщиков подделок,
Оператор на диете, но скрывается в буфете от автографов и девок.

Спит Марат в клубничной маске, только сон его не сладок,
у него удел особый –
Он изысканные ласки получил промеж лопаток
от молоденькой особы.

Так, по мысли режиссера, безобразная афёра
переходит плавно в драму.
Оператор на галёрке, попивая «три семёрки», кроет пиковую даму.

А кому какое дело?

Бина Смехова *ПЛАЦУЮТ ВСЕ*

Синай вырос перед их глазами неожиданно. Панорама приблизилась и заняла полнеба. Как при вспышке молнии, раздвинулось время – и впустило путешественников в лагерь, стекающийся к Горе...

– Ой, – жена художника схватила его за рукав. – Быть того не может! Ты отсюда, вот отсюда взгляни!

Не только абрис Горы – осязаемая глазом ее фактура, дыхание ее морщин и складок, переливчатый свет, нюансы и оттенки – все в точности было как будто списано с его картины.

Не спешите клеймить меня за перебор фантазии. Сидя в своем иерусалимском Писгат-Зеэве над иллюстрациями к историческим книгам, издаваемым Институтом Второго Храма, Зелий Смехов н и к о г д а здесь, на Синае, прежде не был и н и к о г д а этого пейзажа в глаза не видел. В нынешней жизни, во всяком случае.

Однако я собиралась рассказать совсем не об этом. Ученые-фелинологи обнаружили, что кошки, оказывается, видят мир – и нас с вами, и мышей, и свое лежбище на полке в шкафу – в совершенно ином ракурсе. В природной кошачьей оптике, в их колбочках-палочках верх и низ поменялись местами. Это так, как если бы, скажем, кошка, уставясь своими фарами на ненаглядного хозяина, видела бы его перевернутым – на той, противоположной стороне земного шара. Вот он, к примеру, по Америке идет, несет кошелку с продуктами, или там плошку с молоком, идет себе и не падает, и шляпа с него не слетает, и молоко не выплескивается, хотя, по человеческим представлениям, должен был бы и свалиться, и разлить, и хотя бы потерять шляпу, раз уж он там, на той стороне, где все не по-нашему, вверх тормашками. И только когда кошка принимает одну из своих немыслимых поз и смотрит на тебя как бы опрокинуто, ушами книзу, усами кверху – вот тогда ей якобы видится все в такой же вертикали, как простому обыкновенному человеку. На этой стороне.

Я склонна верить ученым, которые предполагают, что такое видение – лишь одно из тайных знаний, даденных этому астральному существу.

У них, у художников, я думаю, тоже по-другому, по-особенному что-то устроено в способе видеть окружающую действительность. И мало того, что увидеть – еще надо другим передать, экстраполировать то, что внутри клокочет, – на полотно или там картон, бумагу, клеенку. Камень, глину и т. д. Многообразие фантастическое, все-таки высшие существа, правда?

Есть бедолаги, которые так и остаются недовысказавшимися. Есть счастливики, которым удается, опершись на ребра, высоко-

чить – как из собственной грудной клетки, как из горящего здания (Маяковский – о своей попытке, – помните?).

Но из Зелия слова не вытянешь! Он же великий молчальник, как и отец его, замечательный еврейский рисовальщик Лев Сметов. Никогда никаких «наводящих» ни искусствоведам, ни поклонникам. Помалкивает, слушает остраненно, как ему про него же самого объясняют: и что хотел изобразить, и что подразумевал, и что бы все это значило. На самом деле, он стесняется любых попыток интерпретировать, толковать его произведения; он ничего в них не декларирует, не провозглашает, не демонстрирует – он ими живет.

Тяжело переводить с языка живописи на любой другой. Тяжело, но больно уж заманчиво, тем более, что многим еще не посчастливилось побывать на его выставках, увидеть его работы.

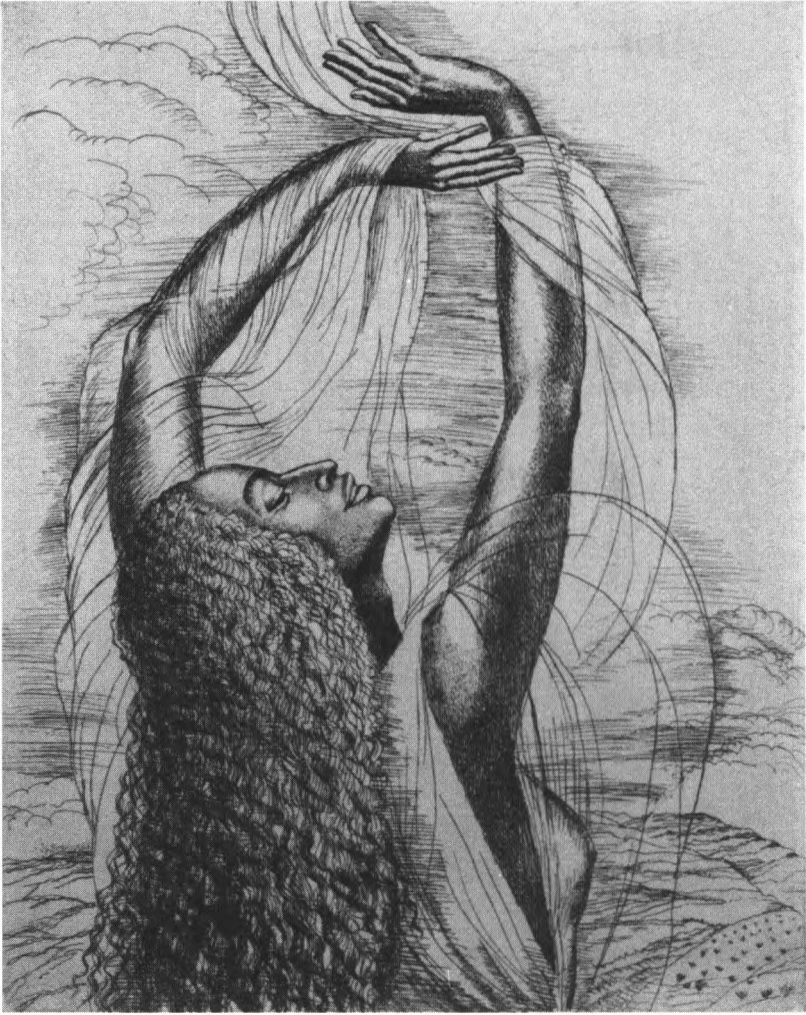
Вот первые из выставленных в Израиле тринадцать картонов – «Апокалипсис». Боль, страх, безумие и полная отчаяния безысходность. Прошлое, которое не отпускает. Вздрыбленные кони. Кони, которые суть страсти человеческие – кони обреченные, мятущиеся, загнанные, ослепленные увиденным на краю пропасти...

«Маски», «Карнавал», «Ночной Иерусалим» – это лишь некоторые из последовавших за «Апокалипсисом» серий. Портреты. Натюрморты. Пейзажи Израиля. Новая серия: лица, лики, облики, такие знакомые. Шарж, гротеск, сатира... Снова и снова – образ любимой Женщины. Он узнаваем в портретах дочерей Израилевых, населяющих картины, а также книги, иллюстрированные художником за последние годы. Снова и снова – «Танцы»: движение как песня, как жизнь духа. Стремительность, полет, преодоление. Сочетание мощи и нежности. Спор – или состязание? – древнейших пластических искусств за право первородства: танец или рисунок...

Шесть лет тому назад племянник художника, только-только отслуживший в Армии обороны Израиля и поступающий в Оксфорд, собирался навестить в Лондоне человека, бывшего в свое время его сандаком. Никаким подарком такого не удивишь: старинная усадьба в аристократическом еврейском районе, дом – полная чаша, фамильная картинная галерея... Заскочил вчерашний солдат в Писгат-Зеэв к родственникам попрощаться, увидел – и оштолбенел от восторга: стоят на мольбертах юный Давид, глаз не оторвать, а рядом – Суламифь. Пусть и не его возлюбленная, но тоже глаз от пастуха не отводит.

Короче, вручение свеженаписанного Давида из Иерусалима стало событием в лондонском доме. А вот оставшийся на родине портрет Суламифи вдруг поблек и померк, как будто кто-то стер с него живость и сияние. И лишь тогда ожила Суламифь, когда на месте увезенной в Лондон работы появился на соседнем мольберте другой, еще более дорогой ее сердцу образ...











Ефим Котляр *МОЙ БРОДСКИЙ*

Мой Бродский это, конечно же, поэт, эссеист и философ. Но, прежде всего, мой Бродский – это человек, который в зените своей поэтической славы мог отложить в сторону свое любимое занятие – писание стихов, а также все остальные дела, для того чтобы попытаться помочь другому поэту, которого он даже не знал.

Бродский затратил большое количество времени и энергии на участие в демонстрациях и собраниях, на попытки повлиять на политический процесс и бюрократию PEN-клуба, на участие в поэтических вечерах, где он читал не свои стихи. Он зажег своей энергией и подключил к борьбе за освобождение поэта – узника совести большое количество американских писателей, включая Нормана Мейлера, Курта Воннегута, Сюзан Зонтаг, Артура Миллера, Эдгара Лоуренса Доктору, Аллена Гинзберга и Джона Апдайка.

При этом он не верил в успех своих усилий и даже сказал однажды в интервью газете «Нью-Йорк Таймс», что это «futile exercise» («тщетные попытки»).

Мое знакомство с Бродским было очень эпизодичным. Наше общение почти не выходило за рамки одного дела, которое, собственно, и заставило меня позвонить ему ранней осенью 1983 года.

Должен признаться, что я тогда почти ничего не знал о Бродском, кроме того, что он пользовался авторитетом у многих русско- и англоязычных литераторов, писателей и поэтов. Конечно же, я слышал несколько его стихотворений, ставших в 70-х годах песнями Клячкина, Дулова, Мирзояна и, возможно, других авторов. Еще у меня была книга его ранних стихов «Остановка в пустыне», подаренная мне Робин Ронар, студенткой Northwestern University и первым редактором и даже автором моих писем в защиту Ирины Ратушинской. Но, приехав в Соединенные Штаты, я очень мало читал по-русски и большую часть свободного времени проводил в изучении нового языка и новой культуры. Впрочем, с большим ин-

Эти заметки были подготовлены для частного празднования шестидесятилетия со дня рождения Иосифа Бродского, которое организовала Галя Калманович в своем доме в пригороде Чикаго 3 июня 2000 года. Галя была знакома с Иосифом Бродским и его поэзией с 1958 года. Её дядя Г. В. Мельников проводил семинары с молодыми поэтами в своей комнатке на Васильевском острове, на которые в 58 – 59 годах несколько раз приезжал и Бродский. Галя Калманович собрала большую коллекцию книг, статей, и воспоминаний о жизни и творчестве Бродского. Галя была также знакома с А. А. Ахматовой и приезжала к ней в Комарово, в «будку». В 80-х годах Галя Калманович совместно с художницей Раей Хайсман, профессором русской литературы Кэрл Эвинс, и многими другими составили ядро Чикагской группы в защиту Ирины Ратушинской.

тересом с новой культурой и средой обитания познакомились очень многие люди, вырвавшиеся за пределы «железного занавеса».

Летом 1983 года я узнал об аресте и последующем приговоре к семи годам лагерей и пяти годам ссылки, вынесенном Ирине Ратушинской, с которой я познакомился в Одессе в студенческие времена. Ирину арестовали 17 сентября 1982 года. Ее осудили за «изготовление и распространение» стихов неугодного советскому государству содержания.

Я сразу стал искать встреч с людьми, которые могли бы привлечь большее внимание общественности к судьбе и стихам Ирины Ратушинской. Мне казалось, что это единственный шанс вытащить ее из лагеря, или хотя бы дать советским властям понять, что на Западе Ирину знают и ее поэзию ценят, и таким образом, возможно, ограничить лагерный произвол.

Одним из первых людей, согласившихся меня выслушать, был легендарный в Чикаго профессор Northwestern University Ирвин Уайль. Он дал мне телефоны и адреса нескольких людей. Один из них, Джордж Клайн, профессор русской литературы в Bryn Mawr College, ответил мне довольно быстро и, в свою очередь, посоветовал связаться с Бродским¹, прислав его адрес и телефон.

Я не помню подробностей первого телефонного разговора с Бродским. Помню только, что он сказал мне, что уже знает о Ратушинской. «Приходила ко мне такая серьезная дама и принесла пачку стихотворений». Потом я узнал, что это была покойная Женя Беркович, о которой мне Ирина рассказывала еще в Одессе. Женя преподавала английский язык в Одессе, используя метод «погружения». Она уехала в Америку в 1978 году и была единственным среди известных мне эмигрантов преподавателем английского языка в старших классах американской школы.

Бродский сказал мне, что ему понравились стихи Ирины, и спросил, чем он может помочь. Он предложил мне связаться с PEN-клубом. Кроме того, он порекомендовал мне обратиться ко Льву Лосеву, снабдив меня его телефонами и адресами. Бродский очень пессимистически относился к возможности освобождения

¹ Голос Бродского в защиту Ирины Ратушинской был очень громким и эффективным, но, конечно же, не единственным. Автор просит прощения у Василия Аксенова, Александра Алойца, Жени Беркович, Джонатана и Фрэнсис Brentов, Владимира Буковского, Александра Есенина-Вольпина, Роберта Ван-Ворена, Александра Гинзбурга, Натальи Горбаневской, Мири Деверньи, Романа Жеребчевского, Флоуренс Козн, Гали и Миши Калмановичей, Лары Кобринской, Алены Кожевниковой, Генри Кольта, Лины Котляр, Раи и Игоря Кригеров, Лорен Лейтон, Рины Левинзон, Джой Льюис, Кронида Любарского, Александра Ляхова, Дэвида Мак-Даффа, Карла Мейера, Михаила Моргулиса, Анны Морган, Ильи Найкина, Дианы Немец-Игнашевой, д-ра Ричарда Роджерса, Робин Ропар, Майкла Салика, Надии Светличной, Валерия Скорова, Ванды Сордженто, Марины Темкиной, Давида и Марсели Толмазиных, Людмилы Торн, Людмилы Шаковой, Ларисы Шенкер, Людмилы Фостер, Памелы Уайт-Хадас, Раи и Григория Хайсманов, Кэрл Эвинс, Катерины Юнг, Юрия и Юли Ярим-Агаевых, и многих-многих других за то, что их действия в защиту Ирины Ратушинской остались за пределами этого короткого рассказа о нескольких эпизодах движения, связанных с Бродским.

Ирины из лагеря, был щедр на эмоции по отношению к советской власти, но выражал их в довольно сдержанной форме.

Я уже тогда планировал издать книгу стихов Ирины и попросил Иосифа Бродского написать предисловие. Бродский сказал мне, что стихи Ратушинской не нуждаются в предисловии, на что я возразил, что, возможно, в его предисловии не нуждаются ее стихи, но сама она очень нуждается в этом.

Через несколько недель, в конце октября 1983 года, я поехал в Нью-Йорк и встретился с представителями разных организаций, в том числе, с Карен Кеннерли (Executive Director of Pen American Center) и ее помощником Филом Балла. К счастью, у меня с Филом сразу же установился замечательный контакт. (Он оказался человеком с огромной энергией, ошеломляющим организаторским талантом и необыкновенными способностями убеждать людей. Чем бы он ни занимался – будь то письма, петиции, резолюции, демонстрации или секретные переговоры в защиту Ирины между тогдашним президентом PEN-клуба Норманом Мейлером и представителями советского литературного истеблишмента, – все делалось на самом высоком профессиональном уровне.) Мы с Филом провели долгую беседу и наметили несколько шагов в защиту Ирины в Нью-Йорке – с надеждой привлечь Иосифа Бродского, что давало шансы на более широкий интерес прессы.

Фил имел очень сильное влияние на Бродского. В ретроспективе мне кажется, что Бродский доверял вкусу Фила. Во всяком случае, я не помню, чтобы Бродский хоть раз отказался от участия в какой-либо акции в защиту Ирины, поддержанной Филом Балла. Одно из мероприятий, которые мы спланировали с Филом, поэтический вечер, посвященный Ирине Ратушинской, – в Нью-Йорке, с участием Иосифа Бродского и других известных американских авторов.

Вечер состоялся в день рождения Ирины 5 марта 1984 года в книжном магазине «Endicott Booksellers» на пересечении Коламбус Авеню и Восемьдесят второй улицы.

Мне памятен не только сам вечер, но и подготовка к нему. PEN-клуб запланировал провести серию литературных вечеров под общим названием «Silenced Voices» («Заглушенные голоса»). Один из комитетов PEN-клуба должен был утвердить проведение чтений, посвященных Ирине, что он и сделал, но выдвинул при этом следующее условие: разбавить чтения на этом вечере другими поэтами, голоса которых были «заглушены» в Америке. Фил Балла писал мне в ноябре 1983 года, что Бродский, узнав об этом, отложил все свои дела: «...Я известил Иосифа, который возмутился настолько, что решил прийти на заседание Комитета PEN-клуба по защите свободы писательской деятельности, которое как раз состоялось сегодня. ...Ему удалось убедить всех присутствовавших в том, насколько важно сосредоточить все внимание на деле Ирины ...и в результате Комитет согласился посвятить один из поэтических вечеров ис-

ключительно Ирине, ее творчеству и тем обстоятельствам, в которых она находится, и провести его в начале февраля»².

Помимо Иосифа Бродского, в вечере участвовали поэтессы Каролин Форше, Грейс Шульман, Марина Темкина, а также Илья Найкин, друг Ирины, живший тогда в Сент-Луисе. Стульев на всех не хватило, некоторые стояли в проходах. Все, кроме Бродского, выступали очень хорошо. К моему большому удивлению, он с трудом подбирал слова, часто останавливался и заикался больше обычного. Порой паузы были настолько длинные, что я чувствовал неловкость ситуации.

Но Бродского, видимо, совершенно не смущало его ораторское несовершенство. Вспоминая вечер, я вижу его сосредоточенным на наиболее экономичном подборе слов и не замечающим смущения публики. Он говорил по-английски, без какой-либо бумажки и, вероятно, без особой подготовки. Возможно, это и было причиной его ораторского фиаско в тот день. Но по содержанию выступление Иосифа Бродского было очень интересным. По сути, это был свободный пересказ его предисловия к первой книге стихов Ирины:

«...Какую бы, однако, пропорцию государство не устанавливало между подлинностью искусства и судьбой его создателя, оно неизменно упускает из виду, что терновый венец на голове певца имеет свойство превращаться в лавровый. Любое искусство, особенно искусство поэтическое, всегда одновременно старше и долговечнее государства. Изготовление стихов неизбежнее любой социалистической – впрочем, любой политической – системы; распространение их тоже выходит за пределы, отпущенные государству пространством и временем. Отсюда – страх и ненависть государства к подлинному поэту: зависть и ненависть к тому, кто его переживает.

Прятать поэта за решетку – это как ломать часы, это фальсификация времени, ибо стихотворные размеры есть не что иное, как реорганизованное время. То, что именуется музыкой стиха, то, что почитается лиризмом поэта, суть реакция взаимодействия времени и языка, освещения языка временем. Ратушинская – поэт чрезвычайно подлинный, поэт с безупречным слухом, равно отчетливо слышащий время историческое и абсолютное...»

²: «...Sorry you got the news last Wednesday that PEN Events Committee had authorized an Irina event with the proviso that some other writer be celebrated at the same time. I did not know what the committee has decided until I got back from the Thanksgiving weekend. When I learned of it, and let Joseph know, he was appalled and made it a point to come to the Freedom-to-Write committee meeting which we have just had today. In short order, you'll be happy to know, he instilled in all present the basic reasons to focus on Irina singly – this committee, as it turns out, is quite sympathetic to writers abroad anyway – and the final result is that this committee will sponsor an event for Irina focused entirely on her plight and her work, to be held sometime in early February...» На мой взгляд, английский подлинник позволяет передать чувства Иосифа Бродского и Фила Балла и сам дух времени лучше, чем мне это удалось в пересказе. (Е. К.)

После вечера Фил Балла пригласил Марину Темкину, Иосифа Бродского, мою жену Лину и меня отпраздновать это событие, которое прошло, как нам казалось, очень успешно.

Это был маленький, набитый битком, но уютный ресторан в Манхеттене. По-видимому, Бродский бывал там часто – он вел себя как гостеприимный хозяин: с энтузиазмом и подробно объяснял меню – блюда и спиртные напитки. В то время мой английский словарный запас включал некоторые технические термины, но мои кулинарные познания были еще более ограничены. Я довольно смутно помню содержание нашей беседы. Вначале это был «small talk». Но позже Бродский заговорил о своем отце. Отец Иосифа Бродского был тогда еще жив и делал безуспешные попытки приехать к сыну.

Вскоре первая книга стихов Ирины Ратушинской с предисловием Бродского и переводами на французский и английский была издана издательством Игоря Ефимова «Эрмитаж» при содействии PEN-клуба. В первый и в последний раз в своей истории эта организация выступила в роли пусть и номинального, но соиздателя книги. Я попросил Фила посодействовать мне в издании поэтического сборника Ирины Ратушинской еще во время нашей первой встречи, но тогда он мне тактично отказал, поскольку это противоречило официальным правилам PEN-клуба. Я, однако, не терял надежду и время от времени возобновлял с Филом этот разговор о книге. Скорее всего, чашу весов перевесили поддержка и предисловие Бродского. Для меня это была большая победа – я полагал, что книга, изданная международной писательской организацией, имеет больше шансов повлиять на КГБ. Фил разослал книгу Ирины известным писателям, поэтам и лидерам PEN-клуба. Я, в свою очередь, отправил экземпляры политическим и религиозным лидерам, группам Amnesty International и другим организациям и отдельным людям, участвовавшим в движении за освобождение Ирины, а также представителям прессы.

Другое событие, в котором Бродский принимал косвенное участие, это 48-й конгресс писателей в Нью-Йорке в середине января 1986 года. В начале декабря 1985 года Фил прислал мне письмо, в котором рассказывал о подготовке к конгрессу. Он писал, что вряд ли удастся устроить специальное заседание, посвященное стихам Ирины, но, возможно, о ней будет говорить в одном из своих выступлений Аксенов. В этом же письме он сообщал, что Бродский решил не участвовать в конгрессе (*«Joseph is boycotting the congress»*) из-за несогласия с его тематикой (*The Writer's Imagination and Imagination of the State*³), а также потому, что организаторы послали приглашения Евтушенко и Вознесенскому.

Вступительную речь произнес госсекретарь Шульц. Многие писатели просто пытались заклевать Нормана Мейлера за его выбор первого «докладчика».

³ «Писательское воображение и воображение государства». В переводе на русский язык это звучит, возможно, еще более нелепо. (Ред.)

По иронии судьбы, даже если бы Бродский передумал, то все равно не сумел бы приехать на конгресс. Незадолго до его начала Бродский попал со вторым, кажется, инфарктом в госпиталь, где ему сделали операцию на сердце.

На заседаниях часто делались объявления о состоянии здоровья Бродского. В перерыве Сюзан Зонтаг сказала мне, что Бродский звонил ей из больницы и напомнил о ее обещании рассказать в своем выступлении об Ирине Ратушинской. Это уже была не моя просьба, а его собственная инициатива.

И еще одно событие, которое мне запомнилось. К весне 1986 года начавшаяся в Союзе перестройка еще не коснулась системы подавления в советских лагерях. Более того, в это время в результате лагерного произвола умерли двое политзаключенных – Василий Стас (47 лет) и Валерий Марченко (37 лет). Муж Ирины, Игорь Геращенко⁴, чудом оставшийся на свободе, сообщил, что Ирина больна и находится в критическом состоянии.

К этому времени популярность Ирины Ратушинской на Западе значительно выросла; появились новые, не всегда пересекавшиеся группы в защиту Ирины – политические, литературные, правозащитные, академические, юридические...

Фил Балла помог скоординировать демонстрации и чтения стихов Ирины одновременно в трех городах – Лондоне, Нью-Йорке и Чикаго, состоявшиеся 24 мая 1986.

В Нью-Йорке Бродский вместе с двадцатью другими писателями, вышел читать стихи Ратушинской перед советской миссией на углу Третьей авеню и Шестьдесят седьмой улицы. В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» Иосиф Бродский сказал: «Basically, it's futile exercise, but there is always the hope that this will be the straw that breaks the beast»⁵. Он видел в этой демонстрации возможность популяризации поэзии Ратушинской. «She is a lovely poet, with tremendous intelligence. ...It's not so much a political matter, it's a matter of literature»⁶.

⁴ На протяжении всех четырех лет, которые Ирина провела в заключении, информация о ней и других узниках Мордовского лагеря регулярно поступала на Запад. Дважды сюда удалось переправить целые сборники стихов Ирины, написанных в заключении. В этом, несомненно, большая заслуга Игоря Геращенко, который проявил незаурядную изобретательность в условиях слежки и открытых репрессий со стороны властей. В те времена в Советском Союзе сведения об узниках совести охранялись властями как государственная тайна, поэтому каждая новая информация об Ирине помогала поддерживать ее имя в поле общественного интереса. (Е. К.)

⁵ «По правде говоря, такого рода попытки обычно оказываются тщетными, но в то же время всегда существует надежда, что именно эта последняя капля переполнит, наконец, чашу».

⁶ «Она – прекрасный поэт и высокоодаренный человек. ...Речь, вообще-то, идет не о политике, а о литературе».

Владимир Болотин *В КОМНАТЕ У ШАПИРЫ*

Тексты песен

* * *

Куда-то всё летит беспечно и крылато:
и облака, и листья, и зарплата.
А нам молчать и тяжело глядеть,
а нам всё ночи не хватает, чтоб взлететь, –
и тяжело пальто (промокла вата)
от тающих снегов, дождей и слёз,
от пьяных осеней и лживых вёсн.

Но небо, добродетелью объято,
нас приголубит и подарит платье:
в нём прорези для крыл, карман для звёзд
и капюшон, чтоб не пожечь волос
об солнце, что уже за головами, –
так долго жили, что оно за нами,
а впереди лишь тень, да путь познания,
топчи его, топчи, как ветер знамя,
чтоб не достала голыми руками
марксистка, атеистка – смерть...

Куда же всё летит беспечно и крылато:
и облака, и листья, и зарплата?
Им некого обнять, укрыть, согреть?
Летят, лишь только б не достала смерть?
Нет, небо, посмотри, в каких заплатах,
древнее Бога, ветше, чем Завет,
прозрачнее простреленного флага.
А нам всё шага не хватает, чтоб взлететь,
боимся: кто упасть, кто – не взлететь...

Но жизнь свою пускай, как в детстве змей;
пусть из газет, из реек, из тряпья,
пусть нищая, на нитке, пусть твоя,
развей её по ветру поскорей,
над миром плах, крестов, судов и рей,
лети, приговорённый к высоте.
А если падать, только не обратно,
ты голову об землю не разбей –
любимая земля не виновата,
что ты летел беспечно и крылато:
как облака, как листья, как зарплата...

* * *

Тёмным вечером за печку
закатились три копеечки.
Как три капли упали за шиворот
три копейки, одна фальшивая.

Первая медная,
как девка бедная,
слезами омытая.
Вторая серебряная
непрерывно,
а третья – как будто я.

Долго ль, коротко ль, не помню,
но хозяйшкa опомнилась.
Побежала по соседям:
«Ах, украли, ах, посеяла!

Первую медную
сама, где не ведаю,
вторую украли, чай...
А о третьей покоя мне нет
(да и на кой он мне),
как будто любовь чья».

Ближе к осени с покоса
воротилась в дом колхозница.
Растопила жарко печку,
заглянула за: «Ах ты, Боже мой, копеечки!»

Первая медная
капелькой мёда, а
вторая, как зеркальце.
А та, золотая, враз
вся не расплавилась,
а стала как сердце.

А ведь не был же законным:
ни целковым, ни любовником.
Так уж вышло интересно,
золотой неполновесный был.

То ли меди не хватало,
серебра ли было мало,
но зато в конце:
живу, в сердце дырочка,
словно на ниточке,
но рядом с колхозницей,
на печке, как водится.

ЛИПОВЫЙ МЕД

Дальше больше несметных дней,
но липа цветёт!

В самой гуще её ветвей
ужин нас ждёт.

Соберём мы скорей друзей,
чем липовый мёд.

Незаметно и воскресенье
пройдёт.

Будет осень и ураган –
всё впереди.

Будем ссориться и ругаться –
о, Господи!

Но какой-нибудь мальчуган,
лет пяти,
разбирая старинный хлам,
нас простит.

Скажет, жили не знали сна,
собирали мёд.

Скажет, скоро пришла зима,
умер тот, кто придёт.

Скажет, пчёлы умней машин,
тоже народ;
папы, мамы и малыши
любят мёд.

* * *

В комнате у Шапиры
водочка беспрестанно.

К водочке разговоры,
шумно и ресторанно.

Стиль рококо с портвейном,
смесь портсигара с пивом,
спальня, пресс-клуб, кофейня –
комната у Шапиры.

Здесь вы встречались с братом.

Здесь на всю жизнь влюбились.

Здесь вам безмерно рады.

Здесь вам очки разбили.

Встречи без этикета.

Речи без транспарантов.

Вина без этикеток.

Молодость без возврата.

В Киеве иль в Мытищах
видишь, пьянчужка мимо...
Спросишь, где пил, дружнице?

– А в комнате у Шапиры.

Смерть всем столам на месте,
бой всей посудной власти,
совесть из-под ареста,
побоку все напасти.

А утро пусть будет грустным,
трезвым и справедливым.
Спросят, где стал ты русским?

– А в комнате у Шапиры!

Двери наотмашь с хрустом –
тесно нам в этом мире.
Но пусть им всем будет пусто,
тем, кто не знал Шапиру.

* * *

Ножки в реку опустила,
стала к августу вода
холодна, любовь постыла –
расцелует иногда.

Разбегутся круги, круги
от коленок к берегам.
Там, где барышню остудит,
сводит судорогой дам.

Было время потеплее –
в ночь из дома босиком.
Хоть и колет хвоя злее,
да незаметней сосняком.

Да весной вода повсюду –
брод искать ловчей босой.
Там, где барышням посюда,
дамам будет с головой.

Прибежала на свиданье,
сердце где-то в облаках.
Милый встретил не с цветами,
а с бутылкою в руках.

Не побрился, алкоголик,
и, щекой прижавшись, спит.
Там, где барышню уколёт,
даму только рассмешит.

Потянулись тени к югу,
пополудни чуток сон.
Весь июль искала юбку,
а к утру проснулся он.

Падал пьян, просил прощенья –
весь подол в его слезах.
Что у девок на коленях,
то у женщин на глазах.

ОДНОКУРСНИКАМ

Может быть, может быть,
пути-дороженьки
перекрестятся, так помолимся;
Боже мой, Боже мой!
Ты поможешь нам
когда-нибудь встретиться...

Мы, конечно, по полсвета
обойдем и где-то, где-то
кто-нибудь в толпе заденет нас плечом.
Оглянувшись, вспомним живо
друга, чьё плечо служило
нам опорой, и Бог был не при чём.

Всё-таки, всё-таки,
дни весёлые
были чаще, чем годы грустные.
Соткана, соткана
ночь бессонная
на фрак дню безусому.

Он наденет фрак и станет
строгим-строгим, ведь мы с вами
поменяли всё местами – день на ночь.
Правда, нам еще осталось
юность поменять на старость.
Ах, ну как назло, сегодня дождь!

Скоро мы, скоро мы
станем гордыми,
перестанем с солнцем здороваться.
Шторами, шторами
мир за окнами
сотрем, как глаза с лица.

Но не будет нам покоя,
будем вспоминать, какое
было небо голубое в тех глазах.
А ночами будет сниться
солнце в золотых ресницах
и т. д...

**ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ИНФЛЯЦИИ,
ИЛИ ПЕСЕНКА ТРЕТЬИХ ЛИШНИХ**

Трамваи подорожали –
вот и едем в подводе.

А те, кто нас провожали,
их осталось по двое.

А нам не тесно, и мы не в обиде.
Сказать по правде, даже неинтересно,
кто за кого когда где выйдет...
Зато известно нам, что!

Трамваи подорожали –
вот и едем в телеге.
Сам себе вагоновожатый,
а сено – не деньги.

Так что больше, чем сеном, не платим,
за то, что верили, покуда любили.
А если сена на всех не хватит,
отвесим песенками. Три-четыре...

Трамваи подорожали –
вот и едем в подводе.
Сам себе Окуджава,
звонкий Булат мелодий.

А под вечер, когда копыта
в пыли дорожной вдруг совсем умолкнут,
мы вспомним имя давно забытой,
что было всех дороже, а ныне...

Трамваи подорожали...

* * *

Я первый, который не выдержал гонки
и лег у обочины слева.
Трава по колено была, а стала по горло,
а я улыбаюсь так глупо..

Расчетливые, так те давно прибежали и смыли
свой пот и прилипшую грязь,
а я, вместо ванны и мыла, весь в пене ковыльной,
а небо – чем дальше, тем глубже...

Кричат мне те первые, но им не докричаться.
Земля под уклон, и не видно...
От пения птиц и от ветреных бурных оваций –
бесплатно, нелепо и пыльно...

Наверное, так, там, где ждут, выбивают матрацы.
А здесь, выбиваясь из сил,
лежат и морочат кузнечикам головы, пальцы
сжимая в кулак, разжимая, сжимая в кулак...

По-видимому, так играют усталые старые дети,
неведомое узнавая из снов.
Им снится янтарное дно, где ни жизни, ни смерти,
лишь мысли сияние, мысли сияние...

* * *

Отравлен субботой и горя мне мало,
я вольным пилотом лечу, напевая,
о порванных крыльях и ветре в карманах,
я с автопилотом лечу, выпивая.

Прекрасна суббота
(с высот ещё лучше!).
Я брошу работу
задолго до срока,
и вновь станут чужды
любовь и свобода.
Но небо высоко...
Но снова суббота...

Но время, но деньги, но горя мне мало,
сажу самолёт на зелёной лужайке:
залётные лужи налево, направо,
а жёлтые листья к лицу тебе, малый.

Ни звука, ни мысли...
Тупой, винтоусый,
застыл самолёт
перед тем, как нечаянно
терять очертанья,
как с ниточки бусы –
коснулся – и нет их,
ни крыльев, ни чаяний...

Отравлен свободой, прости меня, мама,
никак за здоровьем мне не угнаться:
коленки скрипят, как оконные рамы,
на них бы молиться, но ветер стеклянный –
в глаза мне осколки галлюцинаций.

Петр Межурицкий

ОТКЛИК

О нескольких публикациях последнего времени

Не будем приbedняться без достаточных на то оснований. Современная израильская поэзия на русском языке – полноценное явление культуры, правда, пока не известно, какой именно. Во всяком случае, антология, представляющая достижения самых заметных наших авторов, смотрелась бы не хуже соответствующих «Современные поэты...», а дальше подставляй любое из довольно широкого перечня не обязательно экзотических имен, например – Венесуэлы, Мальты, Голландии, Косово, штата Иллинойс и даже самого государства Израиль на обоих его государственных языках. Этот более чем скромный факт можно, тем не менее, смело отнести к разряду израильских чудес. Вспомним, как около десяти лет назад почти все, кому было не лень, на разные лады твердили, что русскоязычная литература Израиля обречена пребывать в состоянии близком к уровню литстудии при ЖЭКе. Оценка была перманентно окончательной на все грядущие времена. Оно и понятно – кому нужна заведомо бесхозная культура без определенного места жительства? Лучше пусть ее не будет вовсе, чем ломать потом голову над феноменом, заставляющим хоть на йоту пересмотреть сложившиеся стереотипы. Может ли быть русская поэзия на иврите? Отвечаем: с таким же, примерно, успехом, как израильская на русском. То есть, все, конечно, бывает, но только не это. По факту, сегодня в Израиле существует русская эмигрантская литература. Этническое происхождение, сионистские убеждения и прочие разные достоинства многих наших авторов делают этот факт весьма нетривиальным, а значит, во многом и неприемлемым для всех заинтересованных и не очень сторон. Однако ослиное упрямство фактов – вещь тоже всем хорошо известная. Что же касается культурной метрополии, то как-то и прежде случалось отдельным литераторам завоевывать известное признание, не слишком считаясь с мнением Москвы по поводу идейно-художественного уровня своего творчества.

О вкусах, вероятно, со времен Каина и Авеля умные люди предпочитают не спорить, но лишь дискутировать о том, чей вкус дурной, а чей продвинутый. Поэты тоже люди. Не все они пишут литературные манифесты, некоторые не пишут вообще ничего, но если уж стихотворение написано, то оно автоматически является и эстетическим манифестом автора, ибо из структуры текста следует, что в эстетическом плане автор приемлет, а что нет. Да и вообще, любое стихотворение говорит о своем создателе равным счетом все. А уж какую поэзию мы принимаем, а какую нет,

говорит ровным счетом все о нас. В данном случае обо мне, так как именно я собираюсь поделиться своими впечатлениями о прочитанных поэтических подборках, которые представляются мне достойными моего читательского внимания.

Подборка Наума Басовского («Артикль», № 2, Тель-Авив, 1999) открывается стихотворением, озаглавленным «Памяти Владимира Соколова». Читатель ждет всего, что положено говорить в таких случаях, и, в общем, не ошибается. Правда, к счастью, и удручающей неловкости от дежурных слов не испытывает, поскольку и дежурные слова все-таки разными людьми по-разному произносятся. «Вот и еще одного на Руси поэта не стало. / Он жил, как писал, а писал, как жил, и сердце его устало» – сказано достойно, что для стихов, конечно, совершенно недостаточно, а по жизни – большего и не надо. Однако я о стихах. А стихи начинаются с первых же строк следующего стихотворения:

*К сожаленью, картина знакома:
Человека выносят из дома.*

И далее уже до конца сказано несоизмеримо больше, чем произнесено слов. О вещах абсолютно рутинных, таких, например, как жизнь и смерть, Басовский и говорит на языке рутинном, дальше некуда – русском литературном, – строго придерживаясь основных правил пока еще официально не отмененной грамматики. При этом стихи получаются умными и правдивыми, чего уже давно от лирических излияний ждать не принято. Известно ведь, что подсознание обязано быть скопищем всякой мерзости, иначе просто непорядочно. Конечно, «прямое лирическое высказывание» вполне (и даже чаще всего) может оказаться и глупым, и фальшивым, и скотским в полной мере. Однако глупо, фальшиво и по-скотски у Басовского не выходит, а если иногда и выходит, то он этого никому не показывает. Возможно, таким образом он губит в себе поэта. «И все же, в гонке не дурея, /Раздумчиво растут деревья» – такова поэтика автора этих строк. И корни основательны, и каждому листику свое место и срок. А в том, что мир текстов – часть природы со всеми вытекающими из нее (природы) последствиями, не только я не сомневаюсь. Правда, свой себе ответ на вопрос, откуда, что и для чего в природе берется, я пока окончательным не считаю. Знаю, что мертвая материя как будто не исчезает бесследно. Относительно бесследного или нет исчезновения живого я не могу судить с такой же определенностью и оптимизмом. Поэтому желаю стихам Басовского долгой и счастливой посясторонней жизни, как принято желать симпатичным тебе живым объектам.

Почему Геннадий Беззубов («Иерусалимский журнал», № 2, 1999) во многих своих стихотворениях внезапно перестает доверять самому себе и всецело начинает полагаться на кого-то другого, для меня загадка. Нет, безусловно, вкус у этого другого есть, и в сочинении стихов он разбирается не понаслышке, одна-

ко в своих собственных стихах Беззубов как Беззубов всегда явно сильнее и интереснее Беззубова-Кушнера или Беззубова-Бродского. Судите сами:

*Часок поспишь, потом тебя разбудят,
А дальше ничего уже не будет...*

Ведь правда интересно, чего же не будет и почему? Но, дальше, оказывается все будет, несмотря на частицу «ни». Причем, будет в замечательных традициях ничуть себя не дискредитировавшей ленинградской школы:

*...Ни этих лип, ни траурных аллей,
Где длится вечный ритуал паденья,
Ни карканья, ни головокруженья,
Но и об этом тоже не жалею.*

И т.д. Те, у кого сердце замерло в предчувствии чего-то неведомого, могут перевести дух и успокоиться: еще довольно долго на протяжении одного и другого стихотворения читателя будут вести приятными многократно хоженными аллеями и поэтическими тропами, обеспечивая гарантированную эстетическую безопасность и гарантируя обеспеченную. И вдруг:

*Так думал я и пил, как вурдалак,
Ночную кровь из жил Ерусалима.*

Опять вздрагиваешь, и, почувствовав это, автор немедленно спешит сделать все, чтобы успокоить читателя, заботливо избавив его от нервных потрясений:

*А там, внизу, слоились облака
И, сбившись в кучу, проходили мимо.*

Все в полном порядке, внимание пассажиров, как опытной стюардессе во внезапно загапризничавшем летательном аппарате, удалось отвлечь от возникших проблем, а там, глядишь, ситуация выправится до идеально штатной. Полет должен быть приятным и гладким, то есть таким, чтобы сразу по приземлении о нем и забыть. Если такова сверхзадача, которую решает Геннадий Беззубов, то он все-таки пока не полностью преуспел. Например, стихотворение «В шесть часов начинается ветер» держит в напряжении от начала и до конца. Ни одного следующего хода автора заранее предугадать невозможно, но всякий раз именно найденный ход и оказывается единственно возможным. Не знаю, как Беззубову, а мне нравятся именно такие стихи.

Именно совсем не такие стихи пишет Семен Гринберг (тот же второй номер «ИЖ»). Он, похоже, вообще не пишет стихи, справедливо или нет полагая, что сочинение стихов давно стало уделом людей литературно грамотных, и, значит, поэт, если хочет или вынужден оставаться поэтом, должен сочинять нечто другое. Отсюда сознательный отказ от того, что принято считать приметами поэтического текста. Разве что рифма присутствует, но лишь в качестве рудимента.

Помню, как в свое время нас, студентов-филологов, удивил исторический факт развития изящной словесности по направлению от поэзии к прозе. Все-таки более естественным казалось предположить, что вначале была проза. Даже авторитет работ Юрия Лотмана не помогал легко согласиться с тем, что первые мастера слова сразу заговорили стихами, а проза возникла спустя столетия как следующая, более высокая ступень художественного сознания. Я лично до сих пор с этим не согласен, несмотря на все успехи прозы за несколько последних миллениумов. И некоторые стихи, в частности, Семена Гринберга, поддерживают меня в моем упрямстве. Поэтические озарения по-прежнему в цене. Тут инфляции (вне зависимости от роста количества сочиняющих стихи на душу населения) не наблюдается. Поэтому и поэт остается таким же уникальным явлением, каким был во все времена. Стихотворение «Военное кладбище». Можно ли поверить, что никто и никогда до Гринберга ни о чем подобном не писал? А выходит, что никто и никогда:

*Сюда не забредет Нечецкая-Пантофель
В одеждах королевицы Марго,
Скорей Давид, терзающий фалафель,
И всхлипнувший про сына своего.*

А вот совсем другое, но тоже до Гринберга в быту как будто неслыханное:

*...И жажду утолить приходят реб Акива
И колченогий реб Гилель,
Которых нет нужды описывать особо,
Хотя упомяну, пока не позабыл,
Как этих мужиков, похожих на арабов,
Патруль остановил.*

Принципам стихосложения, которые исповедует Семен Гринберг (как, разумеется, и всем тем, которые он не исповедует) наверняка можно обучить любого, кто вообще поддается обучению. Более того – сами научатся. И будут думать, что сочиняют стихи. Так было, есть и, как я уже сказал, будет. А поэтам опять придется сочинять что-нибудь другое, чем они всегда и занимались.

«Гимн» Михаила Генделева («Солнечное сплетение», № 3, 1998) – действительно гимн, если, конечно, не псалом. Я думаю – именно псалом, полагаясь при этом всецело на собственную интуицию, так как ничего стоящего о жанровых отличиях псалмов от гимнов мне на глаза давненько не попадалось. А если бы и попало, то в случае с Генделевым все равно мало бы помогло. Последние сколько-нибудь содержательные хулы на Господа прозвучали, вероятно, в эпоху романтизма. Хвалы исчерпали себя значительно раньше. Изменение реалий и обогащение лексического состава языка по существу ничего не меняет. Тем не менее, прожить, ни разу не возроптав на Творца или же ни разу не возблагодарив его, вряд ли кому-то из так или иначе культурных

людей удавалось. Такова, видимо, одна из фундаментальных потребностей культуры. Для реализации этой потребности существуют четко зафиксированные словесные формулы, в том числе и в неписаном просторечии. Тут известное противоречие: формулы неизбежно превращаются в штампы, то есть каменеют и бронзовеют, становясь памятниками самим себе, и начинают иметь к себе такое же отношение, как, скажем, памятник Пушкину – к «Евгению Онегину». Смотришь на него и, безусловно, веришь: того «Онегина», которого изучают в школе, только памятник и мог сочинить, что многим народным учителям, а особенно – учителям народа, и требовалось доказать. А противоречие заключается в том, что обновить словесную формулу нет никакой теоретической возможности. В данном случае обновить значит – фальсифицировать. И остается, по сути, единственный выход – создавать тексты скандально неортодоксальные, чего от ума или по заказу не сделаешь. Получается так: классика и традиционные формы не окаменевают только при условии существования авангарда, как бы этот авангард ни назывался. Иначе говоря, авангард – суть необходимое условие существования классики. Эликсир бессмертия, так (а как еще?) сказать.

В самом отдаленном и уже потому ложном приближении «Гимн» Генделева можно считать формой иронического славословия. Однако упреки Творцу адресуются на полном серьезе, да и все вещи названы своими, хотя не всегда привычными именами, в том числе и Тот, имени Которого не знает никто: «Сержант Израиля», «Военспец», «Молодец», «Садист». Встречаются и более традиционные поименования Того же:

*так что
муку
от смеха
приняв за боль
а в Натуре Ты в том числе Любовь
как я чисто натуралист
смерть
я хоть раз совершу с собой
лишь
из любопытства из*

Чего ждать от Всего Этого? И стоит ли Его о чем-то просить? Ну, чего мы иногда дожидаемся и чего еще, будьте уверены,ждемся, Генделев весьма ярко напоминает. И, конечно, просит:

*дай же мне Эло
им как давал другим
за гораздо менее гимн
более менее серебра*

Что ж, во всяком случае, с общим хором эта просьба не сливается. Для поэзии – это хорошо. Значит, наверное, и для молитвы неплохо.

Наум Басовский

ПРИ АКВАРИУМА

Трансформация образа в поэтическом тексте

1

С поэзией Владислава Ходасевича я познакомился впервые летом 1976 года при обстоятельствах, о которых, пожалуй, стоит рассказать подробнее. В тот день я находился в доме моего учителя поэта Анисима Кронгауза, и занимались мы обычным для таких посещений делом – говорили о стихах: это и была моя поэтическая школа.

Неожиданно в прихожей раздался звонок, и на пороге кабинета появился один из самых близких друзей Кронгауза – поэт Александр Ревич. Мы с ним уже были хорошо знакомы, и потому он, не таясь в моём присутствии, рассказал о причине своего визита. Ревич принёс с собой толстенькую стопку листков *самиздата*, изготовленных на не очень качественном ксероксе. Это были стихи Ходасевича, в то время абсолютно запретные в Советском Союзе и потому достаточно опасные для распространения.

Нечего и говорить, что даже при самом беглом прочтении масштаб этого поэтического явления был очевиден. Я испросил разрешения у обоих моих старших товарищей, забрал стихи домой и за два дня и две ночи перепечатал для себя. А когда возвращал их Кронгаузу, то, в частности, обратил его внимание на одно из стихотворений, сказав при этом: – Смотрите, Анисим Максимыч, у Ходасевича тоже есть *аквариум*.

Почему я сказал «тоже», вскоре станет ясно, а пока я просто приведу здесь этот текст.

Владислав ХОДАСЕВИЧ

БЕРЛИНСКОЕ

*Что ж? От озноба и простуды –
Горячий грог или коньяк.
Здесь музыка, и звон посуды,
И лиловатый полумрак.*

*А там, за толстым и огромным
Отполированным стеклом,
Как бы в аквариуме тёмном,
В аквариуме голубом –*

*Многоочитые трамваи
Плывут между подводных лип,
Как электрические стаи
Светящихся ленивых рыб.*

*И там, скользя в ночную гнилость,
На толще чуждого стекла
В вагонных окнах отразилась
Поверхность моего стола, –*

*И, проникая в жизнь чужую,
Вдруг с отверщеньем узнаю
Отрубленную, неживую,
Ночную голову мою.*

1922, Берлин

Давайте немножко поразмышляем над только что прочитанными строчками.

Нет нужды говорить о том, какой трагической силы это стихотворение, как ярки и выразительны его образы, как строга – и этим прекрасна – его классическая форма. О стихах Ходасевича написаны многочисленные исследования, и *Берлинское* всегда отмечается в числе его высших достижений. Меня же сейчас интересует некий специфический аспект стихотворного текста.

Вместе с лирическим героем произведения мы оказываемся в ночном берлинском ресторане, и окружающий мир видится человеку как бы находящимся в огромном аквариуме: полированное оконное стекло ресторана – стенка этого аквариума. Он, человек, – на свободе; остальной мир – в аквариуме!

Задумаемся над тем, что идёт 1922 год, что человек этот вырвался из Советской России, уже, по-видимому, хлебнув коммунистических свобод. Но пять примерно лет, прошедших от Октября, – только малая часть его жизни, он вырос и сформировался в других условиях; он знает, что значит *быть свободным человеком*, и, следовательно, знает, что значит *свободу утратить*. И потому ни при каких обстоятельствах он не согласится считать аквариумом – ресторан, где сидит он сам. Его свобода неотделима от него самого.

И всё-таки это стихотворение эмигранта. А эмиграция – всегда трагедия, вне зависимости от того, сложилась жизнь на чужбине или не сложилась. Окружающий мир – чужой, и вот он-то, этот чужой мир, и помещается поэтом в аквариум: там – неведомо что, это ещё предстоит узнать, почувствовать, оценить. Первое же, беглое проникновение в чужую жизнь вызывает образ как бы из кошмарного сна – образ собственной отрубленной головы. Радости освобождения тут нет и в помине, очевидно, слишком ещё свежи воспоминания о прежней, пять лет назад утраченной жизни...

2

Теперь пришло время объяснить, почему я сказал Кронгаузу – «у Ходасевича тоже есть аквариум».

Дело в том, что за 8 лет до того Анисим Кронгауз в составе советской писательской делегации посетил Швецию. В те годы такая поездка вообще не была рядовым событием, а в случае вояжа деятелей культуры ещё и всегда имела отчётливую идеологическую окраску. Подразумевалось, что деятели культурного фронта, вернувшись на Родину, должны написать произведения, прославляющие советскую действительность и вскрывающие язвы капиталистического мира.

Через две-три недели после возвращения из Швеции мы встретились, и Анисим Максимович прочитал мне новое стихотворение. Вот оно.

Анисим КРОНГАУЗ

АКВАРИУМ

*В приресторанном холле за стеклом
Плыла ты, как в аквариуме рыба.
И плащ переливался серебром,
Как чешуя.
Ты, кажется, курила.*

*В зеленоватом кубе из стекла,
Довольная собою и работой,
Ты, кажется, кого-нибудь ждала,
Кого-нибудь ждала, а не кого-то.*

*Кого-нибудь... Возможно, и меня,
Спешившего в автобус иностранца,
Ждала ты, с наслаждением дымя,
Застывшая без робости и страха.*

*И не пыталась скрыть, что всё равно
Вокруг кого, как жимолость, обвиться:
Холодное зеркальное окно
Не отражало даже любопытства.*

*И, заглянув в глаза твои,
в глаза твои,
Я захлебнулся серою прохладой,
Я ощутил в гортани вкус струи
Холодной, свежей, чуть солоноватой.*

*Разрядом промелькнул в моём мозгу,
Короче, чем десятая секунды,
Мираж, который вспомнить не смогу,
Но и забыть который будет трудно.*

*...Как будто жизнь не кончилась моя
И впереди достаточно досуга –
Мне предстоят награды бытия
И эта равнодушная подруга...*

*Плащ чешуёю тело облегал.
Она осталась за зеркальной дверью,
Неуловима, словно облака,
Естественна, как рыбы и деревья.*

*Душа мираж прекрасный унесла:
Природная естественность изгиба,
Серебряная с сигаретой рыба
В зеленоватом кубе из стекла...*

Из рассказанного выше понятно, что в 1968 году Анисим Кронгауз не был знаком – во всяком случае, детально, – с творчеством Владислава Ходасевича. И тем не менее, какие выразительные совпадения! Вновь ресторан. Вновь стекло, отделяющее лирического героя от мира, ему не принадлежащего. И вновь такой естественный в этих обстоятельствах образ аквариума. Но...

Но лирический герой – совершенно другой человек: он как бы зеркально симметричен герою стихотворения Ходасевича. Для него жизнь, увиденная за стеклянной гранью аквариума, – *мираж!* Ибо в реальности он никогда этой жизни не знал, не видел, не чувствовал, он может только её *вообразить*, да и то лишь на время *короче, чем десятая секунды*, ибо у него нет того реального базиса, который мог бы удлинить время воображения. И этот невообразимый чужой мир настолько – в *воображении!* – не похож на его, героя, реальность, что он не вызывает ни горечи, ни отвращения, ни испуга (которые могут быть естественными спутниками узнавания нового, чужого мира, как у Ходасевича). Зато герой Кронгауза произносит – в душе – потрясающие по своей правде и распаханности слова: *...как будто жизнь не кончилась моя...* В реальности – кончилась; вот то, что несомненно понимает внимательный читатель, и это больше, чем тома повествований, говорит о том, в каком мире вырос и сформировался герой стихотворения...

Мне думается, что и стихотворение Кронгауза правомочно назвать стихотворением эмигранта. Конечно, говоря современным языком, это виртуальная эмиграция, в реальности о ней нет не то что мысли – даже тени мысли. Но – *Я ощутил в гортани вкус струи/ Холодной, свежей, чуть солоноватой* – ведь это не что иное как глоток свободы! А человек, сделавший такой глоток, меняется необратимо. Это виртуальная эмиграция не свободного человека – в свободу.

И ещё запомните, пожалуйста, две строки из *Аквариума*: *...Неуловима, словно облака, / Естественна, как рыбы и деревья.* Они вскоре нам понадобятся.

3

А затем судьбе было угодно, чтобы я встретился с ещё одним аквариумом. В 1992 году я стал гражданином Израиля. В том же году мои стихи впервые появились на страницах израильской русскоязычной печати. Это был журнал *Алеф*, №443, и на одной со мной странице оказалось напечатанное стихотворение известной израильской поэтессы Лии Владимировой:

Лия ВЛАДИМИРОВА

* * *

*Прошли подводным коридором
И входим в зал, рука с рукой.
Там осязаемость напора
Стихии, запертой, морской.*

*Сквозь водоросли и кораллы
В иллюминаторы видна
Перепоясавшая залу
Пятнистая голубизна.*

*За толщей стёкол – плавность линий.
Большой светящийся плавник.
Мир фантастический и синий
Из мира тёмного возник.*

*Мы смотрим счастливо и немо,
Как зыбок синих солнц восход, –
Всё это будничная тема
Для чьих-то будущих работ.*

*А нам бы – с робостью артиста,
С восторгом взгляд к волнам прижать
И цвет, изменчивый и чистый,
Как миг летящий, удержать.*

*А нам бы – с тихим постоянством,
Мазком и поиском, вчерне,
С трудом воссоздавать пространство
На беспристрастном полотне.*

*Не уплывай, большая рыба,
Из тёмной памяти моей.
Глубоко-синяя, спасибо!
Светящаяся, не тускней!*

1992, Эйлат

Конечно же, читатели сразу увидели, что здесь, в отличие от двух предыдущих стихотворений, речь идёт о настоящем аквариуме и о настоящей рыбе. И, тем не менее, мне кажется, стихотворение Лии Владимировой позволяет продолжить разговор о том, как – осознанно или нет – проявляется ощущение свободы лирического героя (равно и автора) в поэтическом тексте.

Рискну предположить, что и это стихотворение – об эмиграции, но только о той её разновидности, которую принято называть репатриацией, когда человек тоже встречается с миром незнакомым – однако не совсем чужим, своим хотя бы генетически. Отсюда и существенная разница эмоциональной окраски: *Мир фантастический и синий / Из мира тёмного возник* – и далее: *Мы смотрим счастливо и немо...* Переживание трагедии, характерное для стихотворений, рассмотренных выше, здесь замещается ощущением необходимости длительной, серьёзной и трудной работы по освоению нового мира.

Но это – в глубине, в подтексте, а на поверхности текста Лии Владимировой возникает реальность, которая в стихах Кронгауза была только предположением. Это момент естественного соприкосновения двух миров – человека и природы. И если женщина из стихов Кронгауза была естественна, как рыбы и деревья, то здесь это «как» не нужно. Лирическая героиня стихотворения смотрит на настоящую рыбу, живущую в своей естественной среде, сквозь стеклянную стену искусственного сооружения, которое впору называть аквариумом для людей. Но в этой ситуации, максимально приближенной к естественности, даже не возникают соображения о свободе-несвободе. Взгляд человека, который в этот момент озабочен тем, как удержать *летающий миг* прикосновения к другому миру, – это взгляд человека, воспринимающего свободу как *естественное состояние*. Удержать рыбу, чтобы затем запечатлеть её *на беспристрастном полотне*, можно только в памяти. Об этом и мольба заключительной строфы: *Не уплывай, большая рыба... / Светящаяся, не тускней!*

И потому атмосфера эйлатского аквариума, мастерски запечатлённая поэтессой, становится символом художественного творчества – а оно ведь и есть один из самых действенных способов сделать человека внутренне свободным.

Три стихотворения. Три аквариума.

Как же силен магнетизм этого образа, если три поэта столь разных времён и столь разных поэтических систем обращаются к нему для выражения своих сокровенных мыслей и чувств!

Отчётливо понимаю, что попытка анализа стихотворного текста всегда чревата утратой каких-то существенных сугубо поэтических моментов, не выражаемых словесно. В частности, здесь я сосредоточился на содержательной стороне рассматриваемых стихотворений, уделив очень поверхностное внимание поэтическим *средствам*, хотя, конечно же, одно без другого попросту не существует. Но мне показалось небезынтересным проследить в первую очередь, как трансформируется в стихах один и тот же образ в зависимости от мироощущения поэта.

Денис Соболев

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В течение последних нескольких месяцев я занимался составлением антологии «израильской русскоязычной поэзии» для одного из московских издательств; о впечатлениях мне бы хотелось сказать несколько слов – начав, разумеется, со слова «русскоязычной». Я согласен с теми, кто говорит, что оно звучит тяжело, немного неуклюже; и поэтому можно было бы сказать проще – «русской поэзии в Израиле», или совсем наоборот – «израильской поэзии на русском языке». В пользу обоих (взаимоисключающих) определений говорит многое. С одной стороны, трудно спорить с тем, что инерция и внутренняя воля языка неизбежно вовлекают написанные по-русски тексты в силовое поле русской культуры; с другой стороны, иные исторические и географические реалии, иной культурный воздух, иные цели, иные надежды и иные страхи создают принципиальную инаковость израильской русскоязычной поэзии по отношению к русской культуре. И, следовательно, любое из названий, упомянутых выше, вполне оправдано. Впрочем, выбор того или иного названия не так важен, как может показаться; этот выбор говорит очень много об идеологической позиции пишущего, значительно меньше о его стихах и совсем не меняет того собирательного предмета, о котором идет речь, – разнородного поэтического пространства, созданного в Израиле по-русски. И поэтому неуклюжий, идеологически нейтральный вариант кажется мне вполне приемлемым: «израильской русскоязычной поэзии».

За эти месяцы я прочитал (или перечитал) около ста пятидесяти поэтических книг, многочисленные антологии и альманахи (два «Скопуса», две «Саламандры», «Иерусалимский поэтический альманах», «Литературный Иерусалим», «Свет двуединый», «Симург», «антологию: Двоеточие:», различные региональные сборники и, разумеется, израильские русскоязычные журналы («22», «Алеф», «Время и мы», «Обитаемый остров», «Зеркало», «ИО», «Двоеточие», «Солнечное сплетение», «Иерусалимский журнал»). Результатом этой работы стала антология израильской русскоязычной поэзии, включающая чуть больше сорока поэтов. Слово «антология» следует подчеркнуть; речь идет не об альманахе, созданном группой единомышленников и основанном на единых эстетических критериях, а именно об антологии, разнородной, многоцветной, обращенной к истории. В значительной степени эта антология построена по принципу Ноева ковчега; по мере возможности, я старался сохранить равновесие между различными поэтическими группами, между поэтами, исповедующими диаметрально противоположные эстетические взгляды. В то же время из стихов этих поэтов я выбирал тексты в наибольшей степени мне близкие и приближающиеся к тому, что мне кажется целью и сущ-

ностью поэтической речи. Иначе говоря, окончательный текст антологии является компромиссом между требованиями исторической объективности и моими литературными вкусами¹.

Иными словами, эта антология является чем-то вроде коллективного портрета (включая и мое лицо) на фоне Израиля. И поэтому я стремился создать необходимые условия, которые бы позволили рассмотреть лицо на этом портрете: лобные кости, надбровные дуги, строение челюсти, форму губ, цвет кожи. Сущностное и случайное; то, что видел Пруст, и то, чем интересовался доктор Мортимер. Последнего мне бы хотелось процитировать. «Вы меня чрезвычайно интересуете, мистер Холмс. Я никак не ожидал, что у вас такой удлинённый череп и так сильно развиты надбровные дуги. Разрешите мне прощупать ваш теменной шов. Слепок с вашего черепа, сэр, мог бы служить украшением любого антропологического музея до тех пор, пока не удастся получить оригинал». Впрочем, недостатком демонстрации оригинала является тот факт, что его владелец уже никогда не сможет увидеть свой череп, сколь бы замечательным он не был. В данном же случае, каждый изображенный (и не изображенный) на портрете сможет, при наличии известного любопытства, взглянуться и в остальные лица.

Эта возможность кажется мне достаточно важной, поскольку вопреки распространенному (как среди литераторов, так и среди обычных интеллигентных читателей) мнению, качество русскоязычной поэзии Израиля является достаточно высоким; и, на мой взгляд, эта поэзия ничем (кроме, разумеется, количества) не уступает современной русской поэзии. В то же время, одна из характерных особенностей нашей культурной ситуации заключается в крайне невысокой, как мне показалось, степени взаимной информированности. Оставляя в стороне нескольких человек, считающих себя единственными русскими Поэтами в диком и провинциальном Израиле, мне хотелось бы подчеркнуть, что и в остальных случаях круг чтения пишущих в Израиле по-русски ограничивается часто текстами нескольких единомышленников.

Подобное отношение к соседям по литературному пространству обычно сопровождается достаточно любопытным явлением, характеризующим как печатную критику, так и застольные разговоры: критерии по отношению к ближайшим товарищам по перу (или клавиатуре компьютера) снижаются до отрицательного уровня, в то время как всех остальных поэтов Израиля судят, устанавливая планку где-то между Вергилием и Шекспиром. В результате значительная часть литературной критики расходится на два широких потока: сладкая до неприличия апологетика и оскорбительно-погромные разносы. Нет необходимости говорить, что ни тот, ни другой жанр не предполагают внимательного и вдумчивого отношения к текстам и крайне редко способствуют

¹ Для полноты «исповеди» отмечу, что несколько поэтов, у которых я просил стихи, по разным причинам не сочли возможным участвовать в этом издании. И второе: наверняка, в Израиле есть авторы, пишущие хорошие стихи на русском языке, которые просто не попали пока в круг моего зрения.

желанию познакомиться поближе с рецензируемыми стихами. Более того, если особенно оскорбительный разнос еще может подчас вызвать подобное желание, то поток сахарного сиропа с плывущими по его поверхности обрывками стихов – никогда. И поэтому нет ничего удивительного в том, что о современной русской литературе (находящейся, кстати говоря, далеко не на подъеме) мы зачастую знаем гораздо больше, чем о русскоязычной литературе в Израиле, не говоря уже о литературе ивритской. Впрочем, следует подчеркнуть, что подобный взгляд на вещи все же не универсален; существует не так уж мало людей, занимающих совершенно иную позицию – хотя общую картину их существование практически не меняет.

Столь невысокая степень знакомства со стихами друг друга является еще более странной, если принять во внимание тот факт, что идеологические позиции, занимаемые большинством поэтов в поэтическом пространстве, достаточно схожи. Речь идет, разумеется, не о консервативных или лейбористских пристрастиях, а об определении своей поэтической географии. Разумеется, существуют люди, считающие себя русскими поэтами, заброшенными в дику Азию волей жестокой судьбы (то, что сила судьбы выражается, обычно, в шекелевом исчислении, они, как правило, умалчивают); существуют и другие, видящие жестокую насмешку судьбы в том, что они, правоверные евреи, вынуждены раскрывать свою бессмертную душу на языке северных «антисемитов-свиноедов». И все же и та, и другая позиции являются достаточно редкими; а подобная патетика – достаточно нехарактерной для той литературы, о которой идет речь. Позиция, занятая большинством авторов, связана как с осознанием себя в качестве жителей именно Израиля, так и в качестве обитателей именно русского языка. На этом фоне расхождения в вопросе культурной самоидентификации (определение себя в качестве русского, еврейского или израильского поэта) представляются мне хотя и важными, но все же вторичными – при условии осознания двойного культурного гражданства (надо ли говорить, принадлежность к языку – это тоже форма гражданства) ответ на этот вопрос определяет идеологическую позицию автора, но не сущность его стихов. То же самое относится и к авторской оценке факта своего двойного гражданства в поэтическом пространстве – такая оценка важна для понимания того или иного автора, но все же не сущностна.

Иначе говоря, несмотря на наличие крайностей в ответах на вопрос о культурном гражданстве и несмотря на расхождения в формальном самообозначении поэтов, на мой взгляд, следует все же говорить о едином «гео-поэтическом» пространстве израильской русскоязычной поэзии. Разумеется, в рамках этих заметок подобное утверждение выглядит слишком абстрактным, чтобы не казаться всего лишь гипотезой. И поэтому главная цель антологии, о которой идет речь, и заключается, пожалуй, в демонстрации истинности сказанного выше – в демонстрации того, что, несмотря на сущностные различия между текстами, несмотря на диаметрально противоположность эстетических позиций, занятых раз-

личными авторами и поэтическими группами, русская поэзия Израиля все же представляет собой единое явление. Я надеюсь, что моя антология позволит это почувствовать.

По этому поводу мне хотелось бы сказать еще несколько слов. Главным препятствием на пути более беспристрастного осмысления русскоязычной поэзии Израиля как единого явления является, на мой взгляд, вера в то, что стихи бывают «просто» хорошими или «просто» плохими, и убежденность в том, что эстетическая позиция является чем-то вторичным по отношению к «чистому» поэтическому слову. На практике же это приводит к тому, что стихи, основанные на чуждых эстетических позициях, отменяются в качестве «не поэзии», и весь поэтический Израиль, как я уже говорил, сжимается до трех-четырех единомышленников. На самом же деле, любой достаточно крупный набор поэтических текстов вынужден занять вполне четкие позиции по всем основным эстетическим вопросам – хотя такой позицией может быть как ясный ответ, так и тотальный скепсис. И поэтому тот поэт, который думает, что пишет «просто хорошие» стихи «без всяких нелепых умствований и теоретизирований», втягивается в лабиринт эстетики и теории литературы в ничуть не меньшей степени, чем его более «авангардный» коллега – однако, в отличие от последнего, он делает это вслепую.

Известный экономист Д. М. Кейнс однажды заметил, что те экономисты, которые не любят теорию, или думают, что обходятся без всяких теорий, находятся, на самом деле, в плену теорий устаревших. Нечто подобное можно было бы сказать и о литературе, не забывая, однако, что рассуждающие об устаревших эстетических взглядах выглядят обычно достаточно нелепо. В то же время, помнить о существовании иных эстетических позиций можно и нужно; подобное знание в корне меняет представление о границах поэтического пространства – хотя (и это следует подчеркнуть) и не устраняет эстетических критериев. Из их существования всего лишь следует, что импрессионистскую поэзию, направленную на мгновенное чувство, не следует судить по законам центонной поэзии, обращенной к динамике культуры в самом широком смысле этого слова; точно также как центонную поэзию нельзя судить по законам импрессионистской. Разумеется, далеко не все возможные эстетические позиции имеют теоретическое оправдание, но в то же время ошибочность эстетической позиции, занятой теми или иными текстами, не означает их несуществования в культурном пространстве. Нет необходимости говорить, что границы культурных областей – это не границы теоретически оправданного, но границы существующего.

Существующего не только в пространстве, но и во времени. Иначе говоря, у культурного пространства (как и любого другого пространства) не может не быть временного коррелята – истории; истории, которая всегда является частично подлинной, частично вымышленной. Впрочем, судя по моим наблюдениям, исторический фактор играет достаточно служебную роль в самосознании израильских поэтов, пишущих по-русски; большинство из них предпочитает иметь личную поэтическую генеалогию, восходящую

к кому-нибудь из русских (или русско-еврейских) поэтов – в достаточно широком спектре от Сумарокова до Кибирова. В тех же случаях, когда вопрос об истории русскоязычной поэзии Израиля задается, на него обычно дается один из трех ответов. Часто можно услышать, что генеалогия этой поэзии восходит к Довиду Кнуту, русско-еврейскому поэту и одному из руководителей еврейского Сопротивления во Франции, приехавшему в Израиль в сентябре 1949 года. Достаточно очевидно, что этот ответ неубедителен. Кнут приехал в Израиль незадолго до смерти, написал здесь совсем немного и, насколько мне известно, среди написанного им в Израиле не было ни одного стихотворного текста. Помимо этого, следует отметить, что между смертью Кнута в 1955 году и первыми стихами, написанными в Израиле по-русски репатриантами семидесятых, зияет брешь размером как минимум в пятнадцать лет, и эта брешь слишком велика, чтобы можно было говорить о какой бы то ни было единой истории. Впрочем, и в эти годы в Израиле писали по-русски: Яров, Аркадий, Лиор (Либман), Аркадин (Цейтлин); именно этих людей иногда упоминают в качестве первого этапа русскоязычной литературы в Израиле. Но, на самом деле, это тоже выдуманные предшественники. Во-первых, все они были людьми, писавшими в свободное время и занимавшимися далекой от литературы работой; во-вторых, на мой взгляд, написанное ими не вполне соответствует тому, что принято называть «гамбургским счетом» литературы. В-третьих, и это, пожалуй, самое важное, крайне немногие из литераторов русского Израиля читали хоть что-нибудь из их текстов; более того, я никогда не видел ни одного поэта, который бы сказал, что эти тексты, хотя бы в очень малой степени, на него повлияли.

Наконец, стоит сказать несколько слов про третий ответ на вопрос об истории русскоязычной поэзии Израиля. Как известно, для многих крупных ивритских поэтов, включая Рахель, Шлёнского, Лею Гольдберг, русский был родным языком. На нем они продолжали писать и перейдя на иврит; тексты, написанные ими по-русски, стали своего рода легендой, мифом рождения русской поэзии Израиля. Однако, реальное положение дел не вполне соответствует этому мифу. Во-первых, насколько мне известно, эти стихи никогда не готовились к публикации; для большинства их авторов они оставались своего рода поэтической лабораторией, результаты экспериментов в которой, достаточно проблематичные с поэтической точки зрения и никогда не бывшие самоцелью, проявлялись в другом языке. Во-вторых, эти тексты, про которые практически все слышали, почти никто никогда не видел (исключением являются недавно опубликованные русские тексты Рахели). Иначе говоря, все три попытки продлить историю русскоязычной поэзии Израиля в сороковые, пятидесятые или даже шестидесятые годы вряд ли могут быть оправданы с исторической и филологической точки зрения; наиболее приемлемой датой ее рождения является начало семидесятых.

В заключение мне бы хотелось затронуть еще один вопрос – вопрос, который кажется мне наиболее значимым, вопрос о фор-

мах общности. Есть ли что-нибудь, что объединяет русскоязычную поэзию Израиля, помимо осознанной принадлежности к стране и языку и сравнительно узких временных рамок? Ответ на этот вопрос зависит от его постановки. Если я спрошу, существует ли нечто, объединяющее все тексты или всех поэтов, ответ будет, разумеется, отрицательным. Но тот же вопрос можно поставить и более осторожно – есть ли в этой поэзии нечто доминирующее, присутствующее, казалось бы, избыточно, непропорционально, в значительно большей степени, чем, скажем, в современной русской и ивритской литературах? Думаю, что да. На мой взгляд, в русскоязычной поэзии Израиля создание поэтического мифа (как индивидуально, так и коллективного) и стремление к полноценному непротиворечивому высказыванию о мире оттеснены на второй план по сравнению с обнаженностью существования, которое, таким образом, перемещается с кажущейся периферии поэтической речи в ее видимый центр. При желании эту особенность поэзии можно было бы назвать экзистенциальностью, иначе – онтологичностью.

Впрочем, найти звонкие латинизмы еще не значит объяснить смысл. Для того, чтобы объяснить, что я имею в виду, нужно, как мне кажется, сказать несколько слов о существовании, сознании и самоочевидности. Я уже писал о поэзии и проблеме существования,² сейчас мне бы хотелось вернуться к той же теме с немного иной точки зрения. Декартовское «я мыслю, следовательно, существую» кажется нам самоочевидным только до тех пор, пока мы не понимаем, что это не так. Во-первых, даже если допустить, что факт мышления в его присутствии является не вызывающей сомнения данностью, то, что мы вкладываем в слово «существование», требует дальнейших и, как обычно оказывается, крайне путаных объяснений – объяснений, которые плохо согласуются с постулируемой самоочевидностью. Во-вторых, достаточно ясно, что если существование не тавтологично самому акту мышления, то оно из этого акта не вытекает – мысленный акт может быть всего лишь иллюзией существования. Наконец, даже если отсечь неопределимую, хотя и явленную нам данность существования, остаток постулата Декарта «я мыслю» все же не может рассматриваться в качестве простой и самоочевидной философской основы. Констатация «я мыслю» возможна только как результат деятельности сознания, направленного на самого себя – в то время как подобный разворот сознания, стремящегося как бы поймать себя за хвост, не является его нормальной и привычной формой; человеческое сознание обычно является сознанием внешнего мира. Таким образом, то, что кажется простой самоочевидностью мышления, является, на самом деле, высокой формой саморефлексии, предполагающей уже заданные философские вопросы. Иначе говоря, при своей повседневной деятельности человеческое сознание и мышление скрыты от самих себя.

Точно так же обстоит дело и с существованием. То, что явлено человеку, это окружающий мир, который действительно требует

² «О поэзии». Журнал «22», № 111, 1999

действий, понимания, высказывания. Отталкиваясь от мира, человек обращается к самому себе, выстраивая свой воображаемый образ в качестве единства предполагаемого характера или повествовательной целостности биографии. Затем снова, пытаясь понять себя и отталкиваясь от себя, взгляд человека обращается к миру. Но и в том, и в другом случае нечто остается вне фокуса сознания, остается как бы расплывчатым фоном на его темной периферии – и это именно то, что делает возможным как мысль о мире, так и анализ самого себя: существование человека в мире, его существование среди вещей. Как ни парадоксально это звучит, но наше существование не явлено нам в качестве существования – в своей простой сущности существования как существования, оно скрыто, и эта самоскрытость существования делает видимым и осязаемым присутствие мира вокруг нас и наше собственное присутствие в мире. Поэтому, следуя внутренней логике этой сокрытости и как бы не замечая нашего существования (в каждый отдельный момент изначального по отношению к «миру» и «я»), наш мысленный взгляд устремляется за пределы наличного бытия, к пониманию мира и самоанализу, к мифотворчеству и психологической рефлексии. Теми же путями часто движется и поэтическая речь, умножая фантомы и вымыслы, скрывая истину человеческого существования, точно так же как само существование скрывает себя.

Совершенно иной представляется мне позиция, занятая значительной частью, а может, и большинством поэтов русскоязычного Израиля. Их взгляд обращен к той экзистенциальной первооснове, которая делает понимание мира и самоанализ столь необходимыми – но в большинстве случаев невозможными. Объект этой поэзии – фактическое, ограниченное, преходящее, часто случайное существование человека в мире, существование здесь и сейчас; в этой поэзии человеческое существование предстает не как отправная точка для размышлений или вневременного мифотворчества, но в качестве того единственного, главного, случайного, безымянного, рядом с неизбежностью и двусмысленностью которого меркнет значимость всех знаний о мире. Более того, говоря о русскоязычной поэзии Израиля, можно сузить определение еще больше. То, что обычно открывается перед ее читателем – это не статичная самодостаточная картина человеческого существования, лежащего перед мысленным взглядом как море или равнина, но его излом, непрерывное изменение, начало которого теряется в дымке прошлого, а конец – скрыт за горизонтом. Лишь в немногих случаях подобный поэтический пейзаж объясним трудностями вхождения в новую реальность; более точным объяснением глубинной неравновесности израильской русскоязычной поэзии является указание на культурную двойственность, в которой она находит свой источник, на межзнаковый зазор (а иногда и межязыковую пустоту), в который она пытается поставить ногу, на неизбежное отчуждение и неизбежную сопричастность, от которых (и от удвоения которых) она не способна спрятаться. Более того, следует сказать, что даже в тех случаях, когда в этой поэзии сущест-

вание предстает иным, молчащим, безветренным, его тишина не является простой, дорефлексивной тишиной, она обозначает себя как сознательное отрицание шума, нервного дрожания и телесной перегруженности существования в его более простых и привычных формах.

Общекультурная значимость такой поэзии достаточно велика. В статье, которая упоминалась выше, я уже пытался доказать, что обращенность к подлинности человеческого существования, не расчлененного рефлексией и саморефлексией, и является сущностью поэтической речи – сущностью, которая выходит на поверхность в поэзии модернизма. Если это так, то израильская русскоязычная поэзия ближе к сущности поэтического, нежели современные ей формы русской поэзии, с ее умствованиями и паническим страхом перед прямой речью, и чем ивритская поэзия с ее декларативностью и политизированностью. Но даже если это и не так, более широкая, выходящая за пределы контекста ее рождения, значимость этой поэзии очевидна. Нет необходимости говорить, что в последнее десятилетие двадцатого века Россия совершила коллективную эмиграцию из одного мира в другой; все комплексы эмигранта, включая ностальгию и трудности ориентации в незнакомой реальности, проявляются у жителей России в почти такой же степени, чем у репатриантов в Израиле. Менее очевидным, хотя, на мой взгляд, и столь же несомненным, является тот факт, что весь западный мир совершил в конце двадцатого века подобную же эмиграцию (хотя и в меньшем масштабе) в иное существование – новое, оторванное от традиционных форм жизни и мышления, полувиртуальное.

Аналогичным образом, той культурной двойственности и неопределенности, в которой вынуждена выстраивать себя русскоязычная поэзия Израиля, соответствует тотальная деидеологизация современной западной культуры с ее философским скепсисом и крушением традиционных идеологических систем. Иными словами, тот культурный опыт, который лег в основу израильской русскоязычной поэзии, является всего лишь чуть преувеличенной формой культурного опыта современного западного человека, вынужденного выстраивать свой мир в условиях отсутствия самоочевидных философских основ, в промежутке между культурами, ставшем основной формой культурного пространства, среди переизбытка обозначающего и исчезновения значимого. Однако в этих условиях – и в отличие от многих других поэтических государств – израильская поэзия на русском языке нашла в себе силы (и мужество) уклониться от дешевых пряностей самодостаточной иронии, от самовлюбленной игры с обломками разбитых идолов, но обратилась к неустойчивой и двусмысленной подлинности человеческого существования, к его пульсации под взглядом вечности, к потерянности человека среди обломков культур, к ускользающему мерцанию смысла и к содранной коже чувства. Именно этот выбор, как мне кажется, и делает израильскую русскоязычную поэзию значимой, немаргинальной, современной, хотя, быть может, и излишне современной.

Шимон Маркиш

*ТРЕТИЙ ОТЕЦ-ОСНОВАТЕЛЬ,
или «К ЧУЖИМ КОСТРАМ»*

(Григорий БОГРОВ)

ВСТУПЛЕНИЕ

Время подводить итоги.

Во всех смыслах, по всем линиям, в том числе – заканчивать с розысками (разысканьями? или, может быть, попросту с копаниями?) в русско-еврейской литературе.

Когда-то, четверть века назад, в начале копаний, представлялось: вот напишу полную историю этой родной литературы или, на худой конец, очерки ее истории.

Не сбылось, не вышло.

Но два очерка написаны и напечатаны – о Рабиновиче (Осипе) и Леванде, об истоках, об отцах-основателях. Для скромного эпизода что может быть логичнее, чем подойти вплотную к третьему и, видимо, последнему истоку – к Григорию Богрову?

Оказывается: логично-то оно, может, и логично, и все же не так просто.

Во-первых, я не люблю Григория Богрова. Хочу сразу оговориться: по-моему, он гораздо слабее писательски, художнически двух других со-основателей, хотя и Леванда с Рабиновичем – не самого первого класса изящная словесность. А я, сколько помню, никогда в жизни не писал об авторе, который не внушал бы мне либо симпатии, либо прямой антипатии. В общих обзорах – случалось, но в монографических статьях – вроде бы, никогда. Так стоит ли ломать традицию на старости лет, под занавес?

А уж ежели ломать (так думалось), то компенсировать одно новшество другим, бесспорно достойным всяческого уважения. Опять-таки почти никогда не сживал я в архивах и уж положительно никогда не выуживал из них по крохам факты житейской и (или) творческой биографии своих «подопечных». Как хорошо было бы поискать следов Богрова по архивам, ведь белыми пятнами буквально пестрят все шестьдесят лет его жизни! Но чужими руками архивные документы не поворошишь, а до бывшего Советского Союза, включая и Россию, и Украину, и Беларусь, далеко, и – главное – угрюмое нежелание встречаться с нелюбезным отечеством сильнее легкомысленного желания проставить в примечаниях вождельные слова «единица хранения».

Этот очерк был написан в Венгерском Институте продвинутых исследований (Collegium Budapest); автор сердечно благодарит Институт за предоставленную ему стипендию.

Это во-вторых.

И тем не менее я принимаюсь за описание жизни и трудов, – главным образом трудов, – Григория Исааковича Богрова. Тут опять-таки, по меньшей мере, две важные для меня причины. Стараясь не уподобляться лисице из басни об этом хитроумном животном и винограде, выскажу еще раз всегдашнее свое убеждение: подлинная биография писателя – в том, что он написал для публики и опубликовал или намеревался опубликовать; есть, разумеется, исключения, но они, на мой взгляд, подобны любому другому исключению – служат для подтверждения правила. Вышедшее из архива способно уточнить, углубить или, в иных случаях, учинить скандал местного значения, но оно не в силах изменить, и тем более изменить кардинально, наше понимание и толкование, вытекающие из владения некоей «массою» текстов. Дневники и письма, черновики и рабочие тетради, записные книжки и корректурные листы, платежные ведомости, метрические свидетельства, полицейские донесения и т. д. и т. п. могут быть захватывающе интересны и поучительны, но и за всем тем они призваны дополнить главное, и, не будь этого главного, ни интереса, ни поучительности не было бы. В самом деле, чего бы стоили черновые записи Достоевского к «Житию великого грешника», если бы не «великая пятерка», от «Преступления и наказания» до «Карамазовых»?

Разумеется, Богров – не Достоевский, но Достоевский, весь Достоевский, всё его наследие, и печатное, и рукописное, стало предметом пристальнейшего внимания и обожания повсюду в мире, тогда как о Богрове нет, по сути дела, ничего; не было попытки даже взглянуть как в нечто целое в то немногое, что появилось посмертно в семи скромных по объему томах собрания сочинений, иными словами – в то, что не требует никаких розысков, даже старые журналы перелистывать не надо. Стало быть, главная, доархивная часть работы еще не выполнена, почему бы мне не взять ее на себя, как в случае с Осипом Рабиновичем и Левандой?

Да потому, может возразить любой, что, по твоей собственной оценке, Богров – не только не Достоевский, но даже и не Рабинович с Левандой! Стоит ли вообще им заниматься? Мало ли забытых наглухо или упоминаемых лишь походя имен таится в старых книгах и периодике?

Чтобы ответить на этот законный вопрос, историк литературы, т. е., прежде всего, особо квалифицированный ее потребитель, особого уровня читатель, должен уступить место историку более широкого диапазона, который без труда выяснит, что посредственный писатель Богров сыграл первостатейной важности роль в становлении русско-еврейской журналистики в Петербурге в конце 70-х – начале 80-х годов XIX столетия. Недаром молодому Фругу, тогдашнему провинциалу и новичку в столице, он казался литературным «генералом». А за десять лет до того, в начале 70-х, Некрасов напечатал у себя в «Отечественных записках» исполинский, около тысячи страниц, автобиографический роман Богрова «Записки еврея», который довольно долго служил русской читающей публике, русскому образованному обществу чуть ли не един-

ственным источником сведений о еврейской цивилизации в черте оседлости. В какой мере сведения эти были точны и надежны, мы увидим ниже, но значения самого по себе факта для истории русско-еврейских отношений отрицать невозможно.

Уже и сказанного выше было бы достаточно, чтобы оправдать интерес к Богрову и усилия привести в порядок наши представления о его взглядах и убеждениях, равно как и о месте его в движении русско-еврейских общественных настроений. Но есть еще одно соображение, возможно, еще более убедительное. Богров принадлежит к первому поколению еврейских «просветителей» (*маскилим*) в России, освоивших русский язык. В ряду литераторов и общественных деятелей этого поколения он занимает позицию крайнего ассимиляторства, вплоть до полного разрыва с еврейской бытовой и религиозной традицией. Этому радикальному ассимиляторству предстояло сыграть весьма важную роль в общественных и личных настроениях российской интеллигенции еврейского происхождения уже в девятнадцатом веке и, пожалуй, еще более важную в завершающемся ныне двадцатом. Забытый Григорий Богров оказывается, как ни странно это может прозвучать, в начале «родословной» и русских революционеров типа народника Натансона, или эсера Гершуни, или эсдека Троцкого, и русских поэтов вроде Мандельштама и Пастернака. (Не говоря уже о целом легионе евреев-большевиков и другом легионе – советских литераторов-евреев.) Едва ли есть хоть какая-то нужда доказывать, насколько важно (и интересно!) добраться до истоков, или хотя бы до одного из истоков, этой «родословной».

Таковы мотивы моего обращения к Богрову. Хочу надеяться, что в их убедительности не усомнится и будущий читатель. Полно, одергивает меня Дух Сомнения, будет ли он у тебя, этот читатель? Будет, непременно будет! – ободряет Дух Надежды, Дух Упования, так же ненавистный жидомору в еврее, как Дух Сомнения.

Тем хуже для жидомора.

КАНВА С ПРОРЕХАМИ

Прорехи на биографической канве Григория Богрова столь многочисленны и внушительны, что временами приходит искушение вообще пренебречь связным жизнеописанием и прямо взяться за главное – за прозу и публицистику, за идеологический посыл и уровень письма.

Но – нельзя. И не только потому, что традиция не велит, но и по абсолютной необходимости хоть как-то опереться на житейские события, соотнести жизненный опыт с писательским.

Сопоставление печатных источников очень быстро убеждает, что все они так или иначе связаны с короткой биобиблиографической заметкой в знаменитом справочнике Венгерова¹, составленной сыном

¹ С. Венгеров. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т. V, СПб., 1897, стр. 6-7.

писателя; она же перепечатана в почти неизменном виде в уже упоминавшемся выше собрании сочинений. И хотя озаглавлена она там «Биографический очерк», весь «очерк» уместился на трех страничках². Мы узнаём, что Григорий Исаакович Богров родился в Полтаве 1 марта 1825 года (по старому стилю, по новому выходит 12 того же марта). Семья была бедная, но в высокой мере благочестивая. Богров получил традиционное религиозное воспитание: «дошел до большого совершенства в знании древнееврейского языка, Талмуда и других религиозных сочинений». Русской грамотой он овладел самоучкой – тайком от родителей и против их воли. В семнадцать лет родители женили его. «После женитьбы он устроился отдельно от родителей и получил возможность ничем и никем не стесняемый изучать русский, немецкий и французский языки, равно музыку (прекрасно играл на скрипке). В семейной жизни был несчастлив и впоследствии разошелся с женой». Следуют десять строк об истории появления «Записок еврея» и перечень заглавий всего (по сведениям автора или редактора заметки) остального, напечатанного Богровым. И в заключение: «Умер Г. И. Богров 28 апреля (т. е. по новому стилю 10 мая) 1885 г. в с. Деревках Минской губернии (за несколько лет до смерти Г. И. принял православие и женился на г-же Козополянской)».

Вот и все. Да еще надо добавить, что из трех страничек «очерка» одна отдана целиком отцу писателя – прославлению его набожности и учености.

Прорехи начинаются с самого начала.

Как звали нашего Богрова? Это я не о фамилии, которая в гебраизированной форме была, видимо, Бехарав, – это я об имени. Немыслимо, чтобы в традиционной еврейской семье ребенок получил при обрезании нееврейское имя! Разумнее всего предположить, что мозль (совершающий обрезание) нарек его либо «Гершон», либо «Цви-Хирш», из чего, по фонетическому сходству, получился «Гриша», «Григорий». Да вот только автобиографический герой-рассказчик «Записок еврея» – тоже Гриша, но так его прозвали приятели-русские, а изначально и для всех прочих он был Сруль, т. е. Израиль. Не был ли изначально Израилем (в ашкеназском, т. е. в центрально- и восточноевропейском, еврейском выговоре Исруэлем, Исрозлем) и наш Григорий Исаакович?

(Кстати сказать, вопрос об имени тут же приводит на память статью первооснователя русско-еврейской словесности Осипа Рабиновича «О Мошках и Иоськах» – я подробно разбирал ее в свое время³. Разница в позициях бросается в глаза. Рабинович желает избавить евреев от безобразных для российского уха деформаций еврейских имен, но сами имена в их правильном библейском или общепринятом по-русски облики желает сохранить: Моше или Моисей – но не Мошко. Альтер эго Богрова и сам автор вместе с

² Г. Богров. Собрание сочинений, 2-е издание (посмертное), Книгоиздательство Шермана, Одесса, 1912, т. первый, вне и без нумерации страниц.

³ В статье об Осипе Рабиновиче в: «Вестник Еврейского университета в Москве», №1(5), Москва-Иерусалим, 1994, с. 129. Вторая половина статьи напечатана в следующем номере «Вестника», 2(6), стр. 106-172.

ним радуются избавлению от еврейского имени, счастливы обрести полностью хотя бы ономастически.)

Чем занимался молодой человек, когда «устроился отдельно», чем кормился?

На этот деликатный вопрос ответ дают «Записки еврея». Во всяком случае, лучшее, что было написано о Богрове, полтора столбца Сергея (Исраэля) Цинберга в дореволюционной «Еврейской энциклопедии» по-русски⁴, суммируют в одной скупой фразе сведения, почерпнутые оттуда: «Продолжительная служба по откупу дала Богрову богатый запас наблюдений». Но где он служил? с кем? какого рода наблюдения накапливал? накопил ли что-либо еще, помимо наблюдений? Молчок! Разбираясь с «Записками еврея», я, в свою очередь, попробую извлечь оттуда сведения, проливающие какой-то свет на биографию автора.

Не подлежит сомнению, что в семидесятые годы Богров жил в столице, хотя «очерк» об этом умалчивает. Не подлежит сомнению, прежде всего, потому, что он принимал активное участие в русско-еврейских еженедельниках «Русский еврей» и «Рассвет» с самого их основания (1879), а отчасти и руководил ими. Но наверняка он поселился в Петербурге намного раньше (см. ниже, о письмах Богрова), может быть – еще в первой половине семидесятых, после публикации «Записок еврея». Стоп! В каком качестве мог он получить право жительства вне черты еврейской оседлости? Литераторы в число избранных счастливых не входили. Адольф Ландау, крупнейший русско-еврейский издатель последней четверти века и авторитетный публицист, получил столичную прописку как наборщик в своей же типографии. Поэт Фруг, упоминавшийся во вступлении, был зарегистрирован полицией как лакей присяжного поверенного Марка Варшавского, а тот был не только поклонником таланта Фруга, но и сыном богача, купца первой гильдии, т. е. имел все законные основания держать при себе «домашних слуг» из числа единоплеменников и единоверцев...

Очень много спустя, через тридцать лет после смерти Богрова и за год до собственной смерти, Фруг вспоминал, как они с Варшавским ходили на поклон к Богрову, который служил у известного банкира Абрама Зака. Нашему поневоле краткому и фрагментарному жизнеописанию Григория Богрова не повредит, если я приведу это воспоминание целиком. А скорее – послужит к украшению.

«Богрова мы застали в большом и светлом кабинете окнами на Невский. Из-за письменного стола поднялся господин, которому на первый взгляд можно было дать никак не более 38 – 40 лет (а было тогда Богрову под шестьдесят). Хорошего роста, осанистый, благообразный, он производил какое-то странное впечатление: не стройность, а прямизна, жесткая, напряженная; и черные, круглые баки слишком черны, и зубы слишком белы и крепки; и этот ровный и густой загар с легким, слишком «молодым» румянцем, и выпуклая манишка на выпуклой, по-видимому, груди – все это казалось непрочным, случайным, досадливо ненужным...

⁴ Т. IV, [СПб], 1912, столбцы 732-734.

Чем состоял Богров в банке – не могу сказать, но оклад, мне говорили, он получал весьма изрядный. Сидел он в этом комфортабельном кабинете и писал свой роман «Накипь века», в котором он пытался изобразить жизнь «молодого поколения». И творил он эту жизнь по методу кустарей и глаза, и уши, и языки, и принципы – всё отдельно, всё поштучно, пристрастно и фальшиво, как и все тенденциозное в любой сфере творчества.

Замыслил Варшавский пристроить меня как-нибудь на службу в этом банке. Дело зависело в значительной степени от содействия Богрова. Богров обещал подумать и затем сообщил Варшавскому такой ответ:

«Назначить ему (т. е. мне) приличное жалованье нет оснований, принять в число мелких служащих неудобно. А потому...»⁵

Если наше недоумение и осталось неразрешенным (Фруг, даром что младший современник Богрова, понятия не имеет о его функциях – обязанностях и полномочиях – в Учетном банке Абрама Зака), мы получили живой облик – и человека, и писателя. Облик, скажем прямо, не слишком привлекательный. В какой степени верен этот явно недоброжелательный словесный портрет, походя набросанный постаревшим и смертельно больным Фругом, судить нелегко, ясно только, что автор его пристрастен и добрых чувств к изображаемому не питает. Тем любопытнее сравнить его с другим наброском, сделанным также по памяти всего шестью или семью годами позже; сделан он прославленным историографом Шимоном (Семеном) Дубновым в его автобиографии.

«Когда однажды Ландау сказал мне, что Григорий Исаакович Богров прочел мои статьи о Саббатае Цеви и приглашает меня к себе на беседу, я очень обрадовался. Ведь «Записки еврея», читанные мною в ранней юности, когда они печатались еще в «Отечественных записках», были в числе первых книг, толкнувших меня на бунт против старого режима в еврействе. В одно декабрьское утро 1882 г. я поднялся по широкой лестнице дома Учетного банка на Невском проспекте, где Богров занимал какую-то синекуру по милости своего друга Абрама Зака, директора банка. В отдаленной комнате верхнего этажа встретил меня высокий бритый господин с черными волосами на голове, не гармонировавшими с его старческим лицом и дрожащими пальцами (после мне сказали, что ему было тогда больше семидесяти лет и он красил волосы, чтобы казаться моложавым рядом с своей молодой женой, русской дамой). Из разговора выяснилась цель приглашения меня со стороны Богрова. Он хотел посоветоваться со мною как автором очерка о Саббатае Цеви, как использовать один эпизод из жизни лжемессии для исторической повести «Еврейский манускрипт», первую часть которой он уже напечатал. В первой части Богров изобразил начало украинского восстания 1648 г., а в готовящейся второй части хотел выдвинуть как героиню жену Саббатая Цеви, которая в детстве была похищена восставшими казаками. Он советовался со мною об исторической

⁵ С. Фруг. Два генерала. (Страничка воспоминаний), в: «Еврейская жизнь», 1915, № 16, столб. 39.

связи между обоими движениями. Я ему объяснил, что такая связь несомненно существует, что резня 1648-го и следующих годов сыграла роль «предмессиианских мук» для пришествия «мессии» в 1666 г. Он явно обрадовался этому одобрению его плана, но ему уже не удалось написать вторую часть»⁶.

И Фруг, и Дубнов пишут об одном и том же Богрове – начала 80-х годов, и, не считая неточностей у Дубнова (Богров умер, едва переступив шестидесятилетний рубеж и, видимо, до конца дней носил, по тогдашней моде, бакенбарды), оба портрета, вроде бы, сходятся, но, если всмотреться чуть пристальнее, они – как лицо и изнанка: диаметрально противостоят друг другу эмоционально. Фруг – весь на-смешка и даже сарказм, Дубнов сочувствует молодящейся старости. Фруг перечеркивает писательские усилия Богрова, Дубнов причисляет себя к благодарным читателям. Богров у Фруга – надменный «барин», литературный генерал, у Дубнова – скромно ищущий совета и с радостью к этому совету прислушивающийся.

Как видно, Богров умел внушать случайным знакомым противоположные чувства. Что же касается близких друзей, то их свидетельства до нас не дошли. Как, впрочем, и самые имена их. Оттого особенно ценны отрывочные воспоминания Дубнова. Приведу еще одно, относящееся к 1884 году; Дубнов собирается покинуть Петербург.

«Тяжелое впечатление произвело на меня прощание с Богровым. Он тогда печатал в «Восходе» свою странную повесть «Маниак», направленную против палестинофилов. И в этой работе, и в самом авторе чувствовался уже старческий маразм. Он затронул в беседе со мною вопрос о жизни вольнодумца среди евреев провинциального города. «Ведь если бы я там умер, – говорил он с горечью, – они бы меня не хоронили на своем кладбище, а закопали бы где-нибудь возле забора, как грешника». Увы, ему не суждено было умереть среди евреев и даже умереть евреем. Через год дошел до меня слух о смерти Богрова в деревне, где он жил в усадьбе своей русской жены. Говорили, что незадолго до смерти он принял крещение, чтобы избавиться от неприятностей со стороны полиции, которая стесняла его в праве жительства (в силу «Временных правил» еврей не имел права вновь поселиться в деревне). Психическим толчком к этому шагу несомненно послужило то, что он чувствовал себя отверженным от своего народа, между тем как единственным близким ему человеком была русская женщина»⁷.

«Очерк» упоминание о крещении, имеющееся у Венгерова, пропускает, но, напомним, сообщает о женитьбе «на г-же Козопольянской за несколько лет до смерти». Однако брак с христианкой был для исповедующего любую другую религию, по закону, невозможен, непременным предварительным условием было крещение. Ближе всех к истине, по всей видимости, упомянутый несколько выше Сер-

⁶ С. М. Дубнов. Книга жизни. СПб, 1998, стр. 100. Статья Дубнова «Саббат Цеви и псевдомессиянизм в XVIII веке» появилась в ежемесячнике «Восход» в 1882, №№ 7-8 и 9-10. Том I «Книги жизни» писался в Петрограде в 1921-1922 гг.

⁷ Там же, стр. 110.

гей Цинберг: «За несколько месяцев до смерти Богров, по семейным обстоятельствам, принял крещение»⁸. Отчасти загадочное «по семейным обстоятельствам» должно обозначать узаконение супружеских *de facto* отношений с госпожой Козопольянской. Насколько долгими были эти отношения и остались ли от этого брака дети, обнаружат будущие исследователи. Пока ограничимся лишь следующей информацией: самый знаменитый (увы!) носитель фамилии «Богров», Дмитрий, террорист, смертельно ранивший российского премьер-министра Столыпина в 1911 году, был внуком «нашего» Богрова от сына в первом, несчастливом браке – поскольку вероисповедания был иудейского. (Замечу кстати, что уморительно-издевательское имя «Мордко», под которым он фигурировал в обвинительном акте, ему придумало и налепило следствие – из соображений откровенно юдофобских⁹; к сожалению, Солженицын в своей, так сказать, саге о Богрове («Август Четырнадцатого», вторая редакция) клюнул на полицейскую приманку.)

Мне кажется, что еще большего внимания, чем позднее и вынужденное обстоятельствами крещение, заслуживает с уверенностью свидетельствуемое Дубновым «отвержение от своего народа», т. е. не конфессиональный и правовой разрыв, а утрата чувства принадлежности, единства, тоже никак «Очерком» не упомянутая, но отмеченная и подчеркнутая все в той же энциклопедической заметке Цинберга. Вершиной расхождения с единомышленниками-маскилими «по национальному вопросу» Цинберг полагает скандал в редакции «Рассвета» в связи с поддержкой Богровым идей и целей Якова Гордина, преподавателя еврейского казенного училища в Елисаветграде. Гордин основал там Духовно-библейское братство – секту, отрицавшую и осуждавшую весь постбиблейский иудаизм скопом, а также весь еврейский образ жизни и все традиционные еврейские занятия – коммерцию, банковское дело, посредничество и т.д., – как, якобы, оправданно провоцирующие антисемитизм. Реакция «Рассвета» была незамедлительной и единодушной, что более чем понятно на фоне погромной стихии 1881-1882 годов; оставшийся в полной изоляции Богров был вынужден выйти из редакции еженедельника.

Впрочем, в своем печатном отказе от дальнейшего участия в редактировании «Рассвета», опубликованном другим русско-еврейским еженедельником, «Недельной хроникой Восхода», сам Богров приводил совсем иную причину – разногласие в вопросе об эмиграции: после начала Великих погромов 1881-1882 годов «Рассвет» занял решительную проэмиграционную и пропалестинфильскую позицию, Богров же считал такую позицию авантюризмом¹⁰.

Надо ли говорить, какой интерес, какую важность для биографа Богрова представляют его письма? Из переписки его, сколько мне

⁸ С. Цинберг, ук. соч., столб. 734.

⁹ См. книгу Владимира Богрова, старшего брата убийцы, выпущенную в эмиграции к двадцатилетию убийства: «Дмитрий Богров и убийство Столыпина. – Разоблачение действительных и мнимых тайн», «Стрела», б. м., б. г.; см. особенно стр. 27-28 и 32.

¹⁰ «Недельная хроника Восхода», 1882, № 9, столбцы 206-209.

известно, в печать вышли три блока – три письма к Н. А. Некрасову (февраль 1871 – июль 1875), все насчет публикации «Записок еврея»; девять писем к Л. О. Леванде (июль 1875 – ноябрь 1878), главным образом в связи с попыткой публикации романа Леванды «Поход в Колхиду» («Исповедь дельца»); и восемнадцать писем к судебному деятелю Я. Л. Тейтелю (ноябрь 1875 – февраль/март 1884), тема, их объединяющая, верно определена архивистом, описывавшим их, – «Об отношении литератора Григория Богрова к еврейской нации»¹¹. Отношение это, по оценке самой благожелательной и даже снисходительной, мягче, нежели противоречивым, не назовешь. Вот несколько примеров.

«...Никто из евреев теплее меня не относится к своей много-страдальной нации, хотя, быть может, никто глубже меня не презирает ее идиотски подлое духовенство, с его бессмысленною, теологической курьезною схоластикой, никто более меня не ненавидит наших квази-представителей, вынырнувших из сивушной бочки».

«...Еврейская культурная молодежь настоящего времени вообще, а еврейские барышни-стрижки в особенности, внушают мне чувство, граничащее с омерзением. Эта несчастная молодежь, презирающая свою несчастную нацию, так подло-комично наряжающаяся в русско-народную поддевку, так подло лакейничающая своей патристически русской ролью, до того ненавистна мне, что рука не дрогнула бы у меня надавать ей целую сотню оплеух, как низкому пресмыкающемуся подлецу».

«...как ни горько, а признаться приходится, еврейство бесчувственнее всякого скота».

«...наше еврейство настоящих дней (я разумею денежную аристократию и молодых сморкатых интеллигентов) такая непроходимая дрянь, что не доведи Бог. ...Рубль серебра – вот Бог Израиля на Руси».

(Как моему поколению советских-российских евреев, прошедшему советскую высшую школу с ее принудительным марксизмом, не вспомнить постыдно-бесстыдный «афоризм» из статьи молодого Маркса «К еврейскому вопросу»: «Кто светский бог еврея? Деньги...» А ведь Богров ненавидел социализм, и следы этой ненависти отчетливо видны в переписке с Тейтелем. Впрочем, тут не более чем совпадение, хотя и многозначительное, как мне представляется; о заимствовании не может быть и речи.)

Переписка с Тейтелем дает *terminus post quem* для водворения Богрова в столице (все письма – из Санкт-Петербурга); дата подтверждается и письмами к Леванде. Любопытна деталь в письме к Тейтелю № 10.30 (от 27 февраля 1884 года): Богров сообщает, что его приглашал к себе граф Пален и беседовал с ним долго и доверительно. Граф Пален возглавлял Высшую комиссию для пере-

¹¹ См. «Литературное наследство», т. 51-52, Москва, 1949, стр. 163-164 (публикатор – В. Евгеньев-Максимов); «Еврейская библиотека», т. X, СПб., 1903, стр. 13-20 (публикатор – А. Ландау); «Документы, собранные Еврейской историко-археографической комиссией Всеукраинской Академии наук», Киев-Иерусалим, 1999, стр. 257-272 (публикатор – В. Хитерер).

смотра законов о евреях, образованную после (и в результате) Великих погромов 1881-1882 годов. По-видимому, с мнением Богрова как эксперта по еврейским делам в русском обществе и, в частности, в кругу высшей администрации продолжали считаться и через десять и более лет после появления «Записок еврея». В целом, однако же, корреспонденция Богрова больше говорит о его характере и настроениях, нежели о событиях его жизни. О характере вспыльчивом, желчном, нетерпимом, самолюбивом, и можно бы прибавить еще немало отрицательных черт и черточек, но не следует забывать и какой-то особой, неординарной жажды справедливости, обнаруживающей себя от случая к случаю. Позволю себе привести целиком, без сокращений большой отрывок из письма к Леванде от 14 (26) августа 1878 года.

«Я в братском письме к Вам пригласил Вас идти со мною рука об руку. Вы ответили в таком тоне, который меня оттолкнул от Вас. Под влиянием ли наплыва какой-то мизантропии или же озлобления и раздражения Вы сказали, что не желаете бороться за «стадо баранов». Сознаюсь, Ваше письмо показало мне Вас в невыгодном свете. Вы, положим, озлоблены на наших «евреев-мешков» и бьете не по коню, а по оглобле! Чем виновата масса, еврейская масса, утопающая в нищете, в неведении, в невежестве, привитых к ней плачевной историей, подлой еврейской иезуитской кастой, индифферентизмом наших образованных евреев и гнусным себялюбием наших баронов, статских и коммерческих советников и прочих еврейских кабатчиков во фраках? Какая разница будет между лучшими людьми нашей нации в России (а я Вас всегда причислял к ним) и между Фаддеями Булгариными и Сувориными, этими Гаманами «нового времени», делающими ответственным целый придавленный народ за подлости еврейских единиц? Что общего между воителями-подрядчиками на Дунае и миллионным контингентом людей, стонущим в тисках законодательной неправды и злоупотребления силы? Вы, труженик пера, бичуйте родных негодяев, не увлекайтесь вредными панегириками, держитесь правды, одной голой правды – и Вы уже принесете частицу пользы страдающим людям, вполне «невменяемым». Губить, истреблять следует хищных зверей, а «баранов» за что же наказывать? Нет, Лев Осипович, возьмите назад свое нехорошее слово о родных угнетенных братьях или не претендуйте за несочувствие, за волчью жизнь вразброд. Как аукнется, так и откликнется.

Ну, теперь мне легче на душе, я высказался. Пожалуйста, не принимайте меня за фанатика, за глупого патриота. Я в обширном смысле слова *эманципированный* космополит. Если бы евреи в России не подвергались таким гонениям и систематическому преследованию, я бы, быть может, переправился на другой берег, где мне улыбаются другие симпатии, другие идеалы. Но мои братья по нации, вообще четыре миллиона людей, страдают безвинно, ужели порядочный человек может махнуть рукою на такую неправду?»

Чувства и настроения безупречно благородные! Ровно век спустя, в семидесятые годы XX столетия, их будет высказывать почти теми же словами не столь уж малое число стопроцентно обрусев-

ших интеллигентов еврейского происхождения, и мы еще непременно к этому вернемся. Но пока должен напомнить: главный предмет нашего интереса – все-таки не человек, не личность с ее мимолетными настроениями, которыми она делится с друзьями и приятелями, но литератор; литератор же целью себе ставит донести до читателя посыл сочиненного им, идейный и/или эстетический. А если так, то укоры Богрова Леванде скорее можно применить к самому Богрову, который слишком часто бывал нетерпим ко всему еврейству, ко всему еврейскому, не разбирая «меньшей братии» от «большей». Приступим же к этому предмету, представляющемуся нам главным.

УЗОРЫ НА КАНВЕ

«Записки еврея»

Не мудрствуя лукаво, процитирую Цинберга: «В начале шестидесятых годов (около 1863-го) Богров написал первую часть «Записок еврея», носящих автобиографический характер и описывающих быт русского еврейства тридцатых и сороковых годов XIX века. После долгих скитаний по петербургским редакциям рукопись попала в «Отечественные записки», где очень понравилась Некрасову. Поощренный этой удачей, Богров усиленно занялся окончанием «Записок», которые появились в «Отечественных записках» в 1871-1873 годах ... (отдельным изданием вышли в 1874...)». Если эти несколько смутные в хронологическом отношении сведения верны, работа над романом продолжалась около десяти лет.

О чем же он? Что в нем происходит? Как ни примитивен, возможно, с высокой башни современного литературоведения этот вопрос, ответить на него необходимо.

Повествование ведется от первого лица и начинается историей отца рассказчика, который прослыл среди земляков вольнодумцем за то, что читал книги по математике и астрономии (хотя и по-еврейски!), и община («кагал») решает сдать его в рекруты. Только чудом избавляется он от опасности и становится винокуром в деревне, обрастает семьей. Когда рассказчику, Срулю, исполняется семь лет, мать отвозит его в городишко неподалеку и поселяет у дяди, который обучает детей первоначалам еврейских знаний, т. е. держит хедер. И дядя, и его жена, и занятия в хедере внушают ребенку тоску и отвращение. В том же дворе живет русская семья с двумя детьми, но Сруль не смеет вступать с ними в какой бы то ни было контакт. Сруль обожает музыку, а в доме у русских соседей музицируют, и он подслушивает под окнами. Однажды его ловят за этим времяпрепровождением уличные мальчишки, избивают и грозятся натереть «жиденку» рот салом; его спасают выбежавшие из дома дети, завязывается некое подобие дружбы, в которой Сруль смотрит на своих русских покровителей с обожанием и ни в чем не может им отказать. В результате девочка, Оля, шутки ради обрезает ему пейсы. Скандал в доме дяди, еврейская семья съезжает с квартиры – подальше от «гоев» и от греха. Товарища рассказчика по хе-

деру хватают «ловцы» – охотники за рекрутами. Сруль в ужасе, потом в горячке. После отдыха в деревне у родителей его отправляют в другой ближний город для обучения на более высоком уровне, у прославленного талмудиста; рассказчик отрекомендовывает его как скрягу и ханжу. Cholera в городе, меры, которые принимает против эпидемии еврейская община. Еще одна эпидемия – сватовства и свадеб малолеток: чтобы «обойти» правительственное распоряжение, запрещающее ранние браки между евреями.

Отец теряет должность винокура и находит скромное место в конторе откупщика в том самом городишке, где Сруль сдружился с русской семьей, которая тем временем куда-то съехала – к великому огорчению мальчика. Сруль учится русскому языку по примитивным книжкам (типа «Английского милорда») и помогает отцу в конторе. Знакомство со свадебным шутком и ученейшим талмудистом Хайкелем, «добрым, умным, веселым чудачком», оказавшим огромное влияние на рассказчика: «Он постепенно, методически развивал во мне склонность к мышлению и анализу; он объяснял мне вещи, которых я не мог бы в то время ни услышать, ни вычитать. Он познакомил меня с горькою судьбою моей нации, с ее прошлым и настоящим». Сруль отрекомендовывает его как «замечательного в то время еврея-человека»¹². Благодаря Хайкелю Сруль учится играть на скрипке у клезмеров – бродячих и полунищих еврейских музыкантов: «Мне было светло и радостно на душе в кругу этих добрых, беззаботных и счастливых людей»¹³. По их просьбе и подсказке он ворует водку в подвале откупа, находящемся под началом его отца, но пойман с поличным, и только необыкновенная изворотливость Хайкеля спасает его от наказания.

Рассказчика женят. Ему нет еще и шестнадцати, но по метрическому свидетельству – все восемнадцать. Жених и невеста никогда до сватовства не видели друг друга, ни о какой любви или хотя бы минимальной взаимной симпатии не может быть и речи: «Тяжело мне писать эту главу моих записок. Когда подумаю, что свадьба, брак, семейная жизнь толкнули меня в житейскую преисподнюю, ... перо выпадает из рук; мне бы хотелось уничтожить все следы этой печальной эпохи моей жизни, вырвать с корнем всякое воспоминание о ней»¹⁴. Свадьба. Жизнь в семье жены. Невежественные и тупо благочестивые тесть и теща. Раздоры с женой, недовольной равнодушием молодого мужа к религии и, к тому же, ревнивой (не без некоторого основания). И вот саркастический итог первого года брака: «На этом прочном фундаменте построилось наше семейное гнездо, а в этом гнезде поселился вместе с нами и тот демон супружества, который специально занимается науськиванием супругов друг на друга. Поверьте, любезные читатели, этому демону не скучно было жить с нами...»¹⁵.

¹² Г. Богров, Собрание сочинений, т. первый, «Записки еврея», Одесса, 1912, стр. 328, 335-336.

¹³ Там же, т. второй, стр. 23.

¹⁴ Там же, стр. 69-70.

¹⁵ Там же, стр. 131.

Рассказчик снова в родительском доме, мечтает попасть в откупную систему, где уже занят его отец. Покровитель последнего помогает ему получить место в другом городе. С женою по-прежнему нелады, рождение ребенка ничего в этом отношении не меняет: никаких нежных чувств к сыну новоиспеченный отец не испытывает. Зато он сближается с сослуживцами, «вполне сходящимися со мною в религиозных и житейских мнениях. ...Все они прошли ту же грустную житейскую школу, ...все жаждали европейского образования, сознавая, что старая гниль, которою напичкали их мозги, составляет лишь бремя бесполезное, негодный балласт, ...все они... твердо решились перевоспитать себя и выработать убеждения более подходящие к живой истине, чем к мертвому ханжеству»¹⁶. Весь кружок попадает в немилость к патрону-откупщику, всем грозит увольнение, и приятели решают основать земледельческую колонию евреев-«вольнодумцев». Рассказчик посещает немецкую и еврейскую колонии, у немцев все замечательно, у евреев все ужасно – за единственным исключением семейства еврея из Швейцарии, порвавшего с ортодоксальными традициями и обрядами. Проект устава новой колонии запрещен начальством. Рассказчик уходит от откупщика, поступает к подрядчику, но тот еще больший жулик, чем откупщик. Мать отдает рассказчику свои сбережения, и он переезжает в деревню, открывает лавочку и кабак. Дружба с мужиками и со священником, радость физического труда на усадьбе: «Я ужился в деревне и чувствовал себя совершенно счастливым»¹⁷. Но выходит указ о запрещении евреям проживать в селах, и рассказчик уже готов перебраться в город вместе со своей лавочкой, как его поджигают: несколько ранее ему пытались продать краденое, он отказался, и теперь один из участников шайки ему мстит. Весь запас товаров, закупленных в долг, сгорел дотла. Далее следуют полторы страницы (по изданию, служившему мне источником), которые надо процитировать возможно полнее, – настолько они важны для понимания мировосприятия Богрова:

«Все сгорело, все было истреблено огнем. Я остался нищим, неплатным должником-банкротом. Я ограбил свою бедную мать.

Я опускаю завесу на мои чувства, на мое внутреннее «я» в те минуты невыразимого горя и крайнего отчаяния; мне страшно переживать еще раз это прошлое даже мысленно.

Но молодость вынослива, живуча.

И в бреду самого свирепого пароксизма охватившей меня нервной лихорадки, и в то время, когда я начал исподволь поправляться, во сне и наяву, неотразимо мучили меня вопросы, неотступно вертелись в моем мозгу:

– Кто виновен в моем несчастье? ...Кто изуродовал мою жизнь? За что?

С какой стороны ни взглянул бы я на свою жизнь, – пройду ли воспоминанием горькое прошлое, стану ли лицом к лицу с безуспешным настоящим, вообразу ли себе вероятное будущее, – везде и всюду я наталкиваюсь на неразрешимый вопрос: кто виноват?

¹⁶ Там же, стр. 186-187.

¹⁷ Там же, стр. 325.

Конечно, прежде всего я сам виноват: я – еврей!

Быть евреем – самое тяжкое преступление; это вина ничем не искупимая; это пятно ничем не смываемое; это клеймо, напечатлеваемое судьбою в первый момент рождения; это призывной сигнал для всех обвинений; это каинский знак на челе неповинного, но осужденного заранее человека.

Стон еврея ни в ком не возбуждает сострадания. Поделом тебе: не будь евреем. Нет, и этого еще мало! Не *родись* евреем.

Но ведь я имел уже это несчастье – родиться, – могу ли я это совершившееся сделать несовершившимся?

Мне отвечают: это не наше дело.

Не ваше? так ли? А взваливать все на еврея целиком, без проверки, ваше дело?

Кто кого подстрекает: укрыватель краденых вещей вора или вор – укрывателя?

Кто убийца: топор ли, наносящий непосредственный удар, или разумная сила, направляющая орудие гибели на голову жертвы?

Если бы я хотел задаться вопросами, робко прячущимися за кулисы *невозможного*, то этим вопросам не было бы конца. Я сконцентрирую их в один сжатый общий:

Кто виноват?

Разреши, кто может, кто смеет; я не берусь»¹⁸.

Боль и обида, сконцентрированные в этих полутора страничках, – подлинное «исповедание веры» автора «Записок еврея», и я полагаю, что при всех перипетиях в литературной и духовной биографии Богрова он от этого «исповедания» никогда не отступал и не отказывался. Будем же помнить о нем и мы, даже если упомянутые перипетии нашего сочувствия не вызывают.

Рассказчик опять служит по откупам: надо и кормить семью, и рассчитаться с долгами. Его служебное положение упрочивается: он самоучкой освоил итальянскую двойную бухгалтерию и применил ее к ведению счетов по откупу, и это создало ему репутацию в профессиональном кругу. Сын патрона, отчаянного самодура, забирает Сруля к себе в главную контору, в другой город. Столкновение с «извергом»-управляющим и победа над ним, приносящая уважение и даже любовь сослуживцев. Но в семье все по-прежнему ужасно:

«Мой дом был не больше как квартирой для меня. Бывали у меня всегда люди более или менее развитые; жена, бывая в этом обществе, присутствуя при наших беседах, не усваивала себе ни одной мысли, ни одного порядочного выражения. Полная презрения к женщинам, стоявшим выше ее в умственном отношении, она избегала всех знакомств, которые могли бы на нее повлиять к лучшему. ... Дом мой сделался сборищем сплетниц, гнездом еврейской клеветы и злословия. ... Ни увещания, ни ссоры, ни сцены не действовали. Разойтись с нею или развестись не позволяли ни материальные средства, ни зависимое мое положение, ни мой характер, не столько еще окрепший. Я махнул на все рукою»¹⁹.

¹⁸ Там же, стр. 343-344.

¹⁹ Там же, т. третий, стр. 46.

Рассказчик влюбляется в русскую женщину, которая отвечает ему взаимностью. Его возлюбленная оказывается той самой девочкой Олей, которая была кумиром его горького детства. Увы, она смертельно больна и вскорости умирает. После недолгого счастья с Олей отвращение к жене становится еще острее, а мысль о разводе неотступнее, но для развода нужны деньги, много денег, тем более что прежнее равнодушие к собственным детям вдруг сменяется жалостью и нежностью к ним.

Далее следует своего рода «вставная новелла» на без малого сотню печатных страниц – о том приятеле и соученике по хедеру, которого давным-давно схватили «ловцы» и сдали в кантонисты. Замечу сразу же: пространное повествование о судьбе еврейского солдата в николаевской армии, сюжетно с «Записками еврея» совсем не связанное, есть, как мне видится, высшее художественное достижение в «Записках», если не во всем, что осталось от Богрова-художника. Мы вернемся к этой главе «Записок» («Похождения Ерухима») в связи с повестью «Пойманник», увидевшей свет сразу вслед за «Записками» и посвященной той же теме: «ловцам» и их жертвам.

Сруль оказывает важные услуги своему принципалу и в его «свите» попадает впервые в Петербург:

«Я не в состоянии изобразить тот восторг, который овладел мною, когда я, с моим принципалом, в качестве кассира и секретаря, в первый раз очутился в северной нашей Пальмире, ... когда увидел новый свет, новых людей и новую жизнь. Я трудился и работал пуще прежнего, но трудился с наслаждением, с увлечением, не уставая. У меня имелась цель в перспективе, воображение мое рисовало соблазнительную картину будущности. Я не был алчным по натуре; мой идеал счастья не шел далее умеренных материальных средств. Но при виде того миллионного рынка, который открывался во время откупных торгов в сенате, где сотни тысяч и миллионы выигрывались и увеличивались в несколько минут, в нескольких лаконических словах, где баснословные суммы ежеминутно переходили из рук в руки, перебрасывались, как щепки, – голова моя закружилась. Меня рвало вперед общее течение; я заразился жадностью к деньгам, к богатству; в моих мыслях и представлениях о счастье произошел полный переворот. ... Я убедился в ненасытности человеческой натуры на самом себе»²⁰.

Но и за всем тем, продолжает рассказчик, не деньги сами по себе были его целью, а «тот мираж, который люди величают счастьем»²¹. А мираж – на то и мираж, чтобы ускользать и не даваться в руки: оказывается, что сравнительно высокое положение в еврейском образованном обществе составляет лишь «миниатюрное мнимое счастье»²², и главным содержанием жизни Сруля, главной целью становится, так сказать, величина отрицательная: избавиться от постоянного присутствия ненавистной и неисправимой жены, от совместного

²⁰ Там же, стр. 264-265.

²¹ Там же, стр. 266.

²² Там же, стр. 268.

с нею проживания; только при этом условии можно будет дать детям «образование по европейскому образцу», что означает, в первую очередь, не традиционно еврейское, но русское и, вдобавок (а может быть, не может не задать себе вопрос читатель, не в первую ли очередь?) нерелигиозное или хотя бы прохладное по отношению к иудаизму. В самом деле, в непосредственном соседстве к «европейскому образцу» стоит прямое признание в «антирелигиозном образе мыслей»²³, а чуть ниже – любопытнейшее разъяснение касательно реакции родственников жены на это, столь печальное для них обстоятельство: «Что же касается моего антирелигиозного направления, то, хотя они в душе меня презирали, осуждали, но, считая богачом, мирились с ним, стараясь смотреть сквозь пальцы на мое вольнодумство и некоторые отступления от обрядной стороны еврейской религии. Замечательно то, что самый бешеный еврейский фанатизм преклоняется иногда пред силою богатства. То отступление от бессмысленного обряда, за которое бедного человека забросали бы камнями, дозволяется богачу почти безнаказанно». Какие только меры ни принимает Сруль, чтобы разъехаться по-доброму, жена продолжает делать ему самые невероятные пакости, и он вынужден прибегнуть к крайнему и последнему средству – к разводу. Но «китайская церемония эта, в сущности, не произвела никаких перемен. Разведенная жена живет и пользуется материальными удобствами по-прежнему и носит имя мужа по-прежнему. Церемония эта лишила ее только тех грубых прав, которыми она злоупотребляла, которыми она отравляла мою жизнь и вводила смятение и неурядицу в родную ей семью»²⁴.

И заключительное признание: мираж под именем «счастье» все так же манит и все так же неуловим, но и прежней веры в него нет уже по той простейшей причине, что рассказчик перевалил за роковой сорокалетний рубеж и жизнь его склоняется к закату.

Прежде всего, договоримся, что не станем задаваться вопросом автобиографичности отдельных эпизодов и ситуаций в «Записках»: как уже говорилось в самом начале, ответа на этот вопрос мы отыскать не в силах. Вместе с тем некоторые детали повествования представляются заимствованными из жизненных обстоятельств автора и могут быть ему возвращены – без доказательств, одною читательской интуицией. Вот рассказчик в саркастическом тоне отрекомендовывается попутчику, некоему князьку, фанфарону, трусу и антисемиту: «Мой чин – стотысячный... мое звание – купец или шахер-махер... Мой титул – жид!»²⁵. Бравлада рассказчика и его превосходство над князьком могут быть подлинным фактом или вымыслом – это мало что изменит, но «стотысячный купец», т. е. купец с капиталом, дающим право на первую гильдию и, следовательно, на проживание вне черты оседлости, вполне может объяснить появление Богрова в столице в первую половину семидесятых годов. Но это еще не все. Эпизод с князьком открывается следующим пасса-

²³ Там же, стр. 273.

²⁴ Там же, стр. 293.

²⁵ Там же, т. первый, стр. 256.

жем: «Это случилось года четыре тому назад, в половине декабря. Я возвращался из Петербурга. Верст девяносто или больше за Москвою оканчивалась линия железной дороги. До Харькова, где я оставил свой экипаж, приходилось доехать или на перекладных, или же в дилижансе»²⁶. Процитированные строки (из Части первой, главы девятой) впервые увидели свет в 1871 году, из чего можно заключить, что к 1867 году солидное состояние уже было приобретено, но проживал «стотысячный» где-то в юго-западных губерниях, за Харьковом. Вообще география «Записок» довольно тщательно замаскирована, за исключением заключительной главы, действие которой происходит в «польско-русской местности»²⁷.

Если в будущем кто-либо заинтересуется специально биографией Григория Богрова, этот биограф найдет в «Записках» немало подобных, безошибочно вызывающих к интуиции подробностей и намеков.

Сплетение житейских обстоятельств, формирующих судьбу еврейского ребенка, подростка, юноши, может быть в значительной мере случайным, но внутренний его путь, внутреннее созревание подчинены известным закономерностям, укладываются в определенное, ограниченное число моделей или шаблонов. Богров, вне малейших сомнений, принадлежит к шаблону, а вернее было бы сказать – к магистральному пути еврейского Просвещения, Хаскалы. Я столько раз писал о Хаскале в России, в частности – в больших статьях о двух первых отцах-основателях русско-еврейской словесности, Осипе Рабиновиче и Льве Леванде, что позволяю себе не повторяться и прямо отсылаю читателя к этим двум статьям²⁸. Посмотрим на некоторые аспекты просветительского (маскильского) мировосприятия Григория Богрова.

Разумеется, он непримиримый и неумолимый враг ортодоксальной традиции, обветшалой обрядности, системы образования, обветшалых социальных отношений внутри общины, архаического платья, причесок, короче – всего, что обособляет еврея, отделяет его стеною от окружающего большинства. Это особенно живо ощутимо в обильных примечаниях, описывающих и разъясняющих еврейские нравы и верования. Вот одно из них, для примера:

«В смысле гигиеническом, Моисей запретил употребление в пищу «траф», то есть падаль или животное, растерзанное хищным зверем. Талмуд, на этом основании, неведомо почему, запретил в пищу мясо животного, убитого не посредством перерезания горла. Резник должен быть непременно специалист, сдавший известный экзамен. Свойства употребляемого им ножа и обряды, сопровождающие операцию «перерезания горла», установлены сотнями параграфов. Странное противоречие! Великий обряд «обрезания» избавлен от подобной щепетильности: тут всякий желающий, без подготовки, имеет право сделаться оператором, на пагубу несча-

²⁶ Там же, стр. 241.

²⁷ Там же, т. третий, стр. 258.

²⁸ Статья о Рабиновиче – см. примечание 3. Статья о Леванде («Стоит ли перечитывать Льва Леванду?») – «Вестник Еврейского университета в Москве», №№ 3 (10) и 2 (12), Москва – Иерусалим, 1995 и 1996, стр. 89-140 и 168-193.

стных детей, нередко погибающих от невежественной руки импровизированного хирурга...»²⁹.

В примечаниях автор обращается к читателю напрямую, не прячась за спиною рассказчика, — тем показательнее интонация раздражения, ожесточения, достаточно ясно здесь звучащая. Целесообразно процитировать, для сравнения, публицистический пассаж «от рассказчика»:

«Надобно знать, что мыслящие евреи прежних времен, позволяя себе мысленно осмеивать традиционные абсурды своей среды, никогда почти не осмеливались прилагать свои логичные отрицания и разумные взгляды к практической стороне жизни. Осмеивая в душе бессмысленные обычаи и порицая вредные принципы, они, по большей части, на деле носили личину фанатизма и суеверия, выполняли с автоматичною точностью все мелочные, тягостные религиозные обряды, избегая нарушения малейшего запрета, привитого вековым обычаем. Следствием тогдашнего исковерканного воспитания, забитости, запуганности и ригоризма еврейско-духовных инквизиций ... было то, что даже у разумных, мыслящих евреев тогдашнего времени не хватало ни характера, ни твердости духа, ни последовательности, ни смелости дать своим детям более разумное, более реальное направление и развитие; напротив того, родители всеми строгими мерами приучали своих бедных детей «с волками выть по-волчьи». И для пущего примера сами старались «выть» как можно громче»³⁰.

Идентичность интонаций не вызывает сомнения: то же кипение непримиримой вражды, та же агрессивность. Эта идентичность — не лучшее ли доказательство идентичности автора и повествователя, Богрова и так и не названного по фамилии Сруля, по крайней мере в том, что касается внутренней, духовной жизни? Поэтому, когда Сруль, на самой первой странице «Записок», заявляет, что, хотя история его заунывна, она могла бы заинтересовать если уж не всех читателей подряд, то, по крайней мере, евреев и при этом «собратья по вере» осознали бы весь безысходный ужас своего положения, пробудились духом и двинулись по пути к новой жизни, достойной человека и его разумной природы, — эта программа и цель начинают внушать некоторые сомнения довольно быстро. Слишком уж велика его ожесточенная нетерпимость ко всему еврейскому, скажем точнее — почти ко всему. В самом деле, что хорошего, достойного похвалы находит в своем народе автор «Записок еврея»? Прежде всего — сплоченность в благотворительности и милосердии: «...Бедняки делились последним грошем, последней коркой хлеба с теми, которые были еще беднее, еще беспомощнее. Подобные примеры братства и самопожертвования повторяются сплошь да рядом в еврейских обществах до сих пор. Вот за что нельзя еврею не любить и не уважать своей нации. За эту великую черту добродетели и человеколюбия да простится ей многое»³¹. На этом, собственно го-

²⁹ Г. Богров, ук. соч., т. второй, стр. 212-213.

³⁰ Там же, т. первый, стр. 53-54.

³¹ Там же, стр. 181.

вора, перечень добродетелей и заканчивается. Впрочем и единственная, казалось бы, бесспорная, может быть поставлена под вопрос. Рассказав, что в хедере всего больше любят того, кого терпеть не может учитель, а учительского любимчика все ненавидят, Богров заключает: «Черта эта так глубоко врезывается в характер еврея с детства, что она не оставляет его и тогда, когда из сотоварища по хедеру он переходит в сочлены по обществу. Еврей отдаст последнюю рубаху своему пострадавшему собрату, разделит с ним последний кусок хлеба в несчастье, но проникнется ядовитой завистью и злобою, когда его собрату повезет в жизни. Он собственноручно готов разрушить счастье своего собрата, без всякой пользы для себя, лишь бы поставить его наряду с собою»³². Вот вам и обратная сторона еврейской благотворительной солидарности – по Богрову!

Русско-еврейский просветитель Богров не может не сознавать, что пороки его «нации» рождены ее судьбою в истории. По поводу обвинений евреев в трусости он, признавая их справедливость, указывает на то, что еврейская трусость – следствие «несообразного воспитания» и вековых гонений. «Дайте еврею другое, более разумное и здоровое воспитание, развейте его мускулы физическими упражнениями, кормите его питательной пищей, дайте ему чистого воздуха вдоволь и не мучьте его детскую голову сухими, бесполезными предметами талмуда – и конечно, из него выйдет и здоровый работник, и смелый воин, и славный боксер». И далее следует одно из самых странных признаний в любви, какие мне случалось читать на русском языке: «Я люблю свою нацию при всех ее недостатках. Люблю я ее еще больше потому, что в этих недостатках виновата собственно не она, а тот жестокий рок, который ее преследовал и преследует поныне, та среда, которая не желает ее радикально перевоспитать, чтобы не лишиться забавного, безвозмездного шута; то еврейское духовенство, которое для своих материальных интересов и мелкого честолюбия изуродовало, исковеркало своим вредным влиянием тех, которые ему слепо вверились; виноваты те влиятельные денежные еврейские мешки, которые, обладая миллионами, не перестают суетиться до гроба об умножении своих миллионов, упуская из виду несчастных, нравственно изувеченных своих братьев, которых направить на прямой путь разумной жизни вовсе не так трудно, как кажется.

Трудно только любить своего ближнего и заботиться о его благе»³³.

Оставим в стороне загадочную «среду», заинтересованную в бесплатном шуте: если это в ее силах и возможностях – «радикально перевоспитать» всю «нацию», то речь явно должна идти не о крестьянстве западных губерний, в гуще которого стяжает себе пропитание «забавный» жид, и не о городском обывателе, мещанине, в «черте» и за ее пределами, «средою» здесь, по всей очевидности, обозначено издающее законы начальство, т. е. нечто, еврейству внеположное, действительно своего рода «рок». Но второй и третий

³² Там же, стр. 66-67.

³³ Там же, стр. 258-259.

«виновники» – часть «нации», и эту часть Богров, столь же очевидным образом, не только что не любит, но прямо-таки ненавидит.

Не станем придирааться к тому, что у евреев в рассеянии никогда не было «духовенства» как обособленной социальной и (или) профессиональной группы, т. е. в том смысле, как понимали это слово русские читатели Богрова. По всей видимости, автор имеет в виду лиц, в той или иной функции удовлетворявших религиозные потребности евреев. Тогда в эту категорию войдут не только раввины и хасидские цаддики, но и изрядная толика малых сих (словами Богрова – «нравственно изуверченных собратьев»), вплоть до резников, синагогальных служек и входящих в погребальные братства. Впрочем, и безотносительно к целой армии тех, кого позже, в советское время, нарекли емким прозванием служителей культа, собратьев-евреи не вызывают у автора «Записок» никакой симпатии – за редчайшими исключениями. Систематический обзор всех персонажей, главных и второстепенных, не оставляет в этом сомнения. При этом к традиционным для маскила обвинениям (типа неопрятности, легкомыслия, неуместного щегольства и т.п.) присоединяются уж совсем неожиданные и ни с чем не сообразные, вроде следующего: «Город Л. славился разгульностью своих еврейских обитателей. Мужья, жены и чада, при всякой оказии, напивались там, как сапожники, и отплясывали по улицам, как бешеные, по целым неделям»³⁴. Даже в рекрутчине малолеток (кантонистов) повинны, оказывается, сами евреи, еврейские нравы: «Неразумное правило еврейского общества женить сыновей в детском почти возрасте ... ставило общества в печальную необходимость отбывать рекрутскую повинность преимущественно малолеткам. Только они одни не успели еще сделаться отцами семейства; все прочие, которых можно назвать рабочей силой, были уже обременены женами и детьми. Отдай подобного члена в военную службу, и вся семья ... должна повиснуть на шее сердобольного еврейского общества»³⁵. Вообще ранние браки особенно ненавистны Богрову, он видел в себе самом одну из жертв этого обычая и не упускал случая отозваться о нем соответственно.

Неприятие чего бы то ни было еврейского становится особенно интенсивным при сравнении еврейского мира с русским, которое для рассказчика начинается в детстве. «Я проводил мысленно параллель между счастливою жизнью этих детей, цветущих здоровьем, веселых, игривых, свободных, и моей мученической жизнью, полной унижений, лишений и неволи»³⁶. И до самого конца романа сохраняется этот взгляд снизу вверх, восхищенно-завистливый. Впрочем, Богров – хотелось бы подчеркнуть: не рассказчик, но сам автор – ощущает некоторую уродливость этого варианта еврейско-русских отношений. Даже теперь, жалуется он (т. е. в начале 1870-х, дата публикации Части первой), еврей с величайшею благодарностью принимает от русского любую ласку, тогда как во всей повадке лас-

³⁴ Там же, т. второй, стр. 70.

³⁵ Там же, том первый, стр. 140-141.

³⁶ Там же, стр. 80.

кающего всегда заметно нечто покровительственно-высокомерное! Что же говорить о прошлом! Однако же и тут, сокрушаясь о стойкости вековых предубеждений против евреев, восклицая: «О, то было страшное, позорное для евреев время!» – он не преминул возложить частицу вины на них самих: «...то печальное время, когда они сами были далеки от всякой уступчивости, от всякой готовности к слиянию с прочими соотечественниками»³⁷. Только ли частицу?

Это отчуждение от своих и своего нагляднее всего, возможно, в прорывающихся ненароком словечках. Повествуя о том, что мучило его на новом месте службы отца, рассказчик перечисляет в одном ряду плохую квартиру, скудную и скверную пищу и «еврейский гам, стоявший на дворе целые дни»³⁸. В знаменитом эссе («фельетоне») «Четыре сына» Жаботинский говорит: если на месте «мы» появляется «вы» – что это у вас там за странный обычай? – пиши пропало, старым связям конец. Но ведь «еврейский гам», *mutatis mutandis*, именно это и обозначает: сорокалетний рассказчик ли, Богров ли, а скорее оба вместе с презрением вспоминают, как гомонила за окнами еврейская толпа, и отнюдь себя к ней не причисляют – ни задним числом, ни, тем более, во времени рассказа.

Вернемся, однако, к «духовенству». Не одно только несуществующее сословие служителей культа, но и сама еврейская религия, иудаизм не вызывает у Богрова никаких теплых чувств. И не в одном лишь хасидском варианте, что было бы естественным для маскила³⁹, но и в традиционном, талмудически-раввинистическом. В рассказ о семье еврейского колониста родом из Швейцарии включена целая программа религиозной реформы, которая, в самом сжатом виде, может быть сведена к так называемым «законам ноахидов», т. е. к самым общим моральным принципам, обязательным, в раввинистической традиции, для всего человечества (тогда как евреи обязаны соблюдать все 613 заповедей, предписываемые Торой). Талмуду отводится роль чисто методическая, приготовительно-образовательная: «очень полезная экзерциция для молодого мозга». Но бесчисленные обряды и молитвы, «не оставляющие земледельцу и ремесленнику достаточного времени для своего дела», должны быть отменены. И заключение, в духе, нам уже отчасти знакомом:

«Пока евреи-тузы будут коснеть в своем грубом эгоизме, пока образованный класс евреев не перестанет отчуждаться, пока не образуется раввинская комиссия для пересмотра религиозно-обрядного кодекса, тормозящего жизнь еврея, – до тех пор евреи будут несчастны, гонимы и презираемы.

Но евреи – я подразумеваю толпу – вряд ли допустят какие-нибудь нововведения в религиозно-обрядной их жизни и обычаях»⁴⁰.

Не станем оценивать эту программу – ни перспективу превращения евреев в ноахидов, к которым раввины уже в средние века причисляли и христиан, ни искать сходства и различий с программой

³⁷ Там же, стр. 117.

³⁸ Там же, стр. 264.

³⁹ См., например, там же, стр. 155.

⁴⁰ Там же, т. второй, стр. 244-249.

Духовно-библейского братства Якова Гордина, упоминавшегося в предыдущей главе, – для нас важна не потенциальная ее опасность или благотворность, осуществимость или утопичность. Для нас она интересна и показательна как симптом или, может быть, свидетельство глубокой разобщенности со всеми слоями еврейского общества в России, начиная с самых низов («толпа») и кончая верхушкой («евреи-тузы», которых в другом месте, уже приводившемся выше, Богров называет «влиятельными денежными еврейскими мешками», и «образованный класс»). Но ведь сам автор-рассказчик со своими ста, а, может быть, и более тысячами, а если заглянуть вперед, со своею синекурою в банке у Абрама Зака, со своею руководящею ролью в редакциях «Русского еврея» и «Рассвета», принадлежит и к «тузам», возможно, не самым «влиятельным», но всё же, и к «образованным»; остается предположить, что он должен ощущать двойное отчуждение – от своего народа в целом и от своей социальной группы. Чувство двойной изоляции накладывается на его характер, раздражительный, желчный, обидчивый, легко поддающийся соблазну как высокомерия, так и уныния (все эти черты автор не только не скрывает, но, напротив, выставляет напоказ), – и мы легко поймем запальчивость и ожесточенность обвинений против единоплеменников и единоверцев, упорно цепляющихся за свои предрассудки и пороки. Автору-рассказчику тяжело и в своей среде, и в своей ситуации. Вот он, достигнув уже немалых успехов «в коммерческой и служебной деятельности», занесен службою в самую гущу еврейской жизни в черте оседлости, изобилующую моральными монстрами разного рода. «Мое положение в этом обществе было самое неприятное. Я был знаком со всеми, но сходил лишь с теми очень немногими, которые могли внушить мне хоть какой-нибудь человеческий интерес. Я старался быть полезным всем, но не мог скрывать презрения к тем гнусным субъектам, которых считал позором своей нации, пятном человечества. ... Еврейское местное общество невзлюбило меня с первого же дня, причислило к разряду людей, слишком о себе мечтающих, и прозвало в насмешку «аристократом». ... Мое положение было самое несносное и своеобразное: евреи причисляли меня к русскому лагерю, а русские, при всяком удобном случае, причисляли меня к жидам, которые забывают свое место»⁴¹.

Мне неизвестно, по каким именно петербургским редакциям долго скиталась рукопись «Записок» (как о том упоминается в самом начале настоящей подглавки), но интерес, проявленный Некрасовым, едва ли был чисто этнографическим. Не следует забывать, что великий печальник и певец русского крестьянства, главный редактор «Отечественных записок» был примерным юдофобом, о чем свидетельствует хотя бы поэма «Современники», написанная и напечатанная в 1875-1876 годах, т. е. всего через два года после появления последних глав «Записок еврея». Тотальная атака на все еврейское, предпринятая не отступником, не вык্রেстом, но евреем же, так сказать изнутри, должна была ему импо-

⁴¹ Там же, т. третий, стр. 277-278.

нирывать. Как импонировала она и всем прочим, скажем, недоброжелателям евреев, которыми было – и, увы! продолжает быть – столь обильно русское образованное общество, русская интеллигенция, ныне обозначаемая расплывчатым термином «интеллектуалы». Здесь, по моему крайнему убеждению, источник (главный источник!) успеха «Записок еврея» у русского читателя.

В самом деле, вот два отзыва из тогдашних периодических изданий:

«Записки еврея» – ... рассказ, имеющий в виду дать понятие о том, что такое еврей, как он живет, на что способен и что от него можно ждать. ... Г. Богров порассказал о евреях немало такого, что они охотно готовы были бы скрыть и что действительно скрывали, чувствуя всю невыгоду разоблачения; в своих рассказах он явился сильным их обличителем и бичевателем...»⁴².

«Увлекаясь защитой своей национальности, еврейские публицисты доходят до абсурда и вопиющей лжи в отрицании вполне справедливых фактов и отзывов, касающихся темных сторон еврейского быта. ... Они не только не признавали поголовного невежества своей нации, но, напротив, считали ее чудом образованности и гениальности, пересчитывали в сотый раз своих великих людей, «которых дала миру еврейская нация», восхваляли ее честность, хотя каждый на себе испытал ее грубый эгоизм, удивлялись ее гуманности, тогда как она не переходила за пределы тесного еврейского кружка или кагала. ... Г. Богров решил встать на совершенно иную почву. ... Первый между пишущими евреями он решился вложить зонд в самое больное и чувствительное место еврейской национальности – в ее излюбленные традиции. Он направил свои удары против талмуда, на котором, действительно, зиждется весь строй еврейской гражданственности, и вот почему новая операция, которую он произвел на больном теле своих единоверцев, вызвала в них такие отчаянные стоны и такой бессильный протест»⁴³.

Действительно, что до читателя еврейского, то, невзирая на энтузиазм части ассимилирующей (эмансипирующей) молодежи, примером которой, и примером весьма серьезным, весьма убедительным, может служить Дубнов, чей отзыв о «Записках еврея» я уже приводил, тотальная недоброжелательность Богрова не могла не смущать, не отталкивать этого читателя. О причинах молодого энтузиазма можно спорить, но веской роли того обстоятельства, что «Записки» по многим признакам принадлежали к так называемой «обличительной» литературе, порожденной атмосферой послениколаевской оттепели и Великих Реформ и все еще притягательной, модной даже в 70-е годы, этой роли отрицать, вероятно, не станет никто. Надобно только иметь в виду, что тем, кого мода на обличения не ослепляла, отрицательную реакцию высказать было непросто, по разным причинам, первую из которых приходится считать предельную малочисленность русско-еврейских периодических изданий в те годы – в буквальном согласии с поговоркой «раз-два и

⁴² Газета «Сын Отечества», 1873, № 159.

⁴³ Журнал «Дело», 1874, № 3.

обчелся». В 1873-м, в год окончания журнальной публикации «Записок еврея», прекратилось последнее из них, «Вестник русских евреев», который неоднократно возвращался к «Запискам» по мере их появления в журнале, и, к тому же, не однозначно отрицательно.

Так что «отчаянным стоном и ...бессильному протесту» просто негде было раздаться. Тем показательнее отклик известного в еврейских кругах историка и публициста Михаила Кулишера на третью главу богровского романа, где, напомним, рассказывается, как уличные мальчишки собираются натереть рот Срулю салом и как его спасают соседские дети-православные. Кулишер считает, что аргументация спасителей (уличные хулиганы: «А зачем они режут наших детей и пьют христианскую кровь?» – защитники-избавители: «Это не он, ... ей-Богу, не он») равнозначна кровавому навету, и на этом основании «причисляет «Записки еврея» к массе литературных инсинуаций брафманского периода»⁴⁴. Несостоятельность обоих этих умозаключений бьет в глаза особенно резко оттого, что Кулишер бывал обыкновенно и справедлив, и разумен. Кажется, что именно общая враждебность автора «Записок» еврейству спровоцировала критика на прямую несправедливость, граничащую с глупостью, и автор совершенно прав, когда в своего рода эпилоге, отвечая своим критикам, вступать в полемику с Кулишером отказывается и даже назвать его по имени не удостоивает. Однако, по всей видимости, и тогда, сто тридцать лет назад, отсутствие любви, или хотя бы симпатии, или элементарной, инстинктивной теплоты к *своим* не могло пройти незамеченным. И потому напрасно Богров упрекает «единоверцев», которые «изустно, письменно и печатно ... сливались в общий тон порицания». Порицали и Рабиновича с Левандой, «выносивших сор из избы» в одесском «Рассвете», первом повременном издании российских евреев (1860-1861), но никогда порицания не были такими ожесточенными. Не потому ли (хотя бы отчасти!), что Леванда и Рабинович обращались к «своим», а за самыми беспощадными разоблачениями скрывалась неразрывная привязанность к ним же, к «своим»? И когда в том же эпилоге предлагается, в виде некоторого вывода, итога, самая общая схема реформ: «Вместо того, чтобы оглашать *безответную пустыню* жалобами, вздохами и воплями; вместо того, чтобы все взывать к каким-то *заоблачным* орошениям, целесообразнее было бы обратить внимание на родную почву, очистить ее от толстого слоя сора, удобрить ее, обновить заржавленный, неуклюжий, выживший из употребления плуг, разумно вспахать родное поле и засеять его плодоносным зерном европейской культуры»⁴⁵, – можно ли принимать эти слова за чистую монету, а не за цветы красноречия? Ведь мы уже у самого финала «Записок» и, стало быть, знаем, каким холодным взглядом – взглядом чужестранца! – глядит автор-рассказчик на «родное поле»!

⁴⁴ «Старая инсинуация или новая бессмыслица?», в: еженедельник «День, Орган русских евреев», Одесса, 1871, № 15. Подписано: Сунин. Печально знаменитый выкrest Яков Брафман (1825-1879), чьи статьи и книги служили источником доводов для целой юдофобской литературы по-русски, выпустил свое самое известное сочинение, «Книга кагала», в 1869.

⁴⁵ Г. Богров, ук. соч., т. III, стр.297.

Таков, как мне видится, идеологический посыл «Записок еврея», и обращен он скорее вовне, к русскому читателю, хотя на самой же первой странице утверждается, что автор рассчитывает больше на «еврейскую читающую публику»⁴⁶. Я полагаю также, и постараюсь это показать, что посыл не изменится до конца жизни Богрова.

Но посыл посылом, а «Записки» считались и продолжают считаться принадлежащими перу беллетриста. Каковы же качества этой художественной прозы?

Автобиография позволяет и, пожалуй, даже требует нанизывать эпизоды на хронологический стержень, и проблем композиции или сюжетосложения Богрову решать не приходилось, едва ли он их перед собою и ставил, что не исключает, разумеется, отступлений, весьма, впрочем, немногочисленных. Самое значительное из них – «Похождения Ерухима», целая глава Части второй; я мельком говорил о ней выше и еще вернусь подробнее. Пока же лишь отмечу: поскольку связь между повествованием о злоключениях еврейского солдата и автобиографическим повествованием сугубо искусственная, возникает впечатление, что автор-рассказчик более не находит достойного материала в собственном житейском опыте и обращается к чужому, опасаясь, что повествование иссякнет вообще. Признак неопытности, вполне, впрочем, естественной у начинающего, несмотря на вполне зрелый возраст, литератора.

В какой мере близок к истине Богров-бытописатель? Ведь мы уже видели, что собственно русская критика хвалила его за открытие неведомой прежде русскому миру еврейской жизни, да и среди немногих еврейских критиков были голоса, признававшие «верное воспроизведение» изображаемой автором «Записок» жизни. Обратимся еще раз к статье Цинберга: «Произведения Богрова представляют значительный бытовой интерес, хотя они в художественном отношении страдают излишней тенденциозностью и сухой рассудочностью. ... При всем богатом знании быта и тонкой наблюдательности Богрова картина получается односторонняя: слишком резко, с одной стороны, отрицательное отношение Богрова к традиционному иудаизму и его духовным представителям, а с другой – подчеркивание того, что духовное возрождение народа и его радикальное перевоспитание мыслимы только при превращении традиционной религии в рационалистическо-моральное учение...»⁴⁷. Нет сомнения, что видеть в Богрове некое подобие исторического или этнографического источника (как бывало не раз) никак нельзя. Давным-давно подмечено, что он не знает себе равных в описании ужасов и мерзостей еврейского дореформенного быта⁴⁸. Но тот же быт, под пером практически любого из русско-еврейских писателей любого периода и поколения, не теряя в трагической мрачности фона, демонстрировал хотя бы крохотные просветы надежды – будь то поэзия религиозного экстаза, будь то беззаветное бескорыстие благотворительности, будь то столь же бескорыстное служение обще-

⁴⁶ Там же, т. I, стр. 1.

⁴⁷ С. Цинберг, ук. соч., столб. 733.

⁴⁸ Н. А. Бухбиндер. Литературные этюды. Ленинград, 1927, стр. 54.

ству и т.п. Еврейский быт в «Записках» черен бесприсветно, и из важного элемента идеологического посыла это переходит в эстетический принцип, в эстетику не столько отчаяния, сколько уныния, монотонного и потому скоро приедающегося. Нарушающие монотонность эмоциональные «взрывы» редки, и, видимо, неслучайно самый среди них яркий, остающийся в памяти, приходится на чужую жизнь («Похождения Ерухима»), не на историю самого рассказчика.

Как работали над рукописью в редакции «Отечественных записок», неизвестно, но что редакторская правка была большая, сомневаться едва ли возможно. Самоучка-начинающий не мог не быть слаб не только в писательской «технике», но и в русском языке. Многочисленные и грубые следы этой слабости остались в тексте; я приведу несколько примеров.

Из тома первого по изданию, на которое даются отсылки в примечаниях: *длинновязый* (стр. 57 и далее), *выправить отекие члены* (стр. 66), *состроить снежную бабу* (стр. 75), *они разнежались ко мне* (стр. 148), *человек с коренастыми плечами* (стр. 304), *съедомое* (вместо «съестное», стр. 307).

Из тома второго: *недоумело* (стр. 15), *импонировал их* (стр. 67), *плевшиеся* (от «плестись», стр. 71), *раздиравательный голос* (стр. 74), *недоконченный муж* (вместо «недоделанный», стр. 100).

Из тома третьего: *не сожалей меня* (стр. 102), *позлащать горькую пилюлю* (вместо «подслащать», стр. 115), *влача за собою ноги* (стр. 155), *нагнувшись под дерево, над моим ухом раздался страшный треск* (стр. 200).

Недостаточная укорененность в языке может вести к нелепостям, которые я называю «неуместностями», или «анатопизмами» (по аналогии и в параллель с анахронизмами). Только один пример: «Раби Шая ... пил на родинах в роли крестного отца» (том третий, стр. 299). Называя крестным отцом сандака, т. е. человека, который держит новорожденного на коленях во время обряда обрезания, Богров грешит не против истины, которая ему разумеется, известна, – он не чувствует, именно не чувствует, насколько «крестный отец» неуместен, бестактен, чужд в еврейском контексте.

При всем том Богров отнюдь не был литературно глух или, пользуясь замечательным театральным термином, профессионально непригоден. Наоборот, он был вполне способен на точные и изящные формулировки, на игру со словом. Опять-таки только один пример: «С тех пор не только слово *жид*, но просто буква «ж» внушает мне омерзение. Если бы это было в моей власти, я эту проклятую, гнусную букву вычеркнул бы навсегда из списка живых ее сестер»⁴⁹.

Если я так подробно и долго говорил о «Записках еврея», причина не в том, или, по крайней мере, не только и не столько в том, что в наследии Богрова они живее всего; думаю даже, что их можно было бы и стоило бы переиздать, хотя и не в первую очередь. Нет, основная причина в том, что, как было замечено задолго до меня, «Записки» – главное и самое значительное произведение Богрова и что «книга эта – не эпилог к завершившейся жизненной

⁴⁹ Г. Богров, ук. соч., т. первый, стр. 89.

борьбе, а, наоборот, пролог к этой работе, ее предварительное обоснование»⁵⁰. Всего Богрова, и прозаика и публициста, и семидесятника и восьмидесятника, можно и нужно выводить из «Записок еврея». Что мы и постараемся сделать.

От «Отечественных записок» к русско-еврейской периодике: семидесятые годы

В том же 1873 году, когда последние страницы «Записок еврея» увидели свет в «Отечественных записках», вышла повесть «Пойманник», с подзаголовком «Быль». Повесть появилась в альманахе-ежегоднике «Еврейская библиотека», выходившем почти регулярно в 1871-1880 годах. В 1881-м редактор-издатель Адольф Ефимович Ландау (1842-1902) преобразовал свой почти ежегодник в строго регулярный ежемесячник, но об этом речь еще впереди.

Дата публикации и подзаголовок соблазняют увидеть в «Пойманнике» какую-то часть «Записок еврея» или, по крайней мере, своего рода довесок к ним. Мне представляется, однако, что соблазну поддаваться не стоит.

В «Записках еврея» темы рекрутчины, кантонистов, «ловцов» (хаперов) и моральной деградации, сопряженной с этими темнейшими сторонами еврейского существования в России, возникают в связи с мученической судьбой товарища рассказчика по хедеру: его, как читатель, вероятно, помнит, малолеткой похищают из-за праздничного, пасхального стола (Часть первая, глава «Бедный Ерухим»), а много лет спустя, солдатом, он случайно встречается с рассказчиком и повествует ему о своих злоключениях (Часть вторая, глава «Похождения Ерухима»). Эти «похождения», хотя и представлены автором как пересказ чужого рассказа, т. е. откровенно обнажен один из самых шаблонных литературных приемов, звучат безыскусною правдивостью. Богров достигает здесь эффекта достоверности, столь часто не достающей ему в автобиографической прозе. Замечательно выписаны этап малолеток на восток, возможно, в Сибирь, и страдания Ерухима на службе у мужика (впредь до совершеннолетия кантонистов раздавали по крестьянским семьям в качестве бесплатных батраков). И мне искренне жаль, что пропорции моего очерка не позволяют мне процитировать *in extenso*, страничек десять, или хотя бы пять: на тесном пространстве обычной цитаты не оценить неожиданной у Богрова убедительности и силы.

Текст, названный «былью», ни убедительностью, ни силою не блещет. Можно не удивляться, что, побывав в редакции «Отечественных записок», он не нашел себе места на их страницах⁵¹.

Отец с сыном, корчмари, но, главным образом, контрабандисты, подбирают на дороге путника и привозят к себе в корчму – якобы, чтобы дать ему передохнуть и набраться сил, на самом же деле,

⁵⁰ Н. А. Бухбиндер, ук.соч., стр.68.

⁵¹ См. письмо Богрова в редакцию «Отечественных записок» от 3 июля 1872: «Литературное наследство», т. 51-52, Москва, 1949, стр.164.

чтобы украсть его паспорт и сдать в рекруты как бродягу, получив зачетную квитанцию, стоившую больших денег. Но их коварный план расстроен, путник умудряется не только их перехитрить, но и отправить на каторгу, и даже в какой-то, пусть и малой мере наказать продажного капитан-исправника, который покрывал преступления контрабандистов. Вдобавок он берет в жены падчерицу корчмаря, в которую был безответно влюблен сын, измучивший девушку своими поползновениями и хамством, и сам водворяется в той же корчме с молодой супругой и двумя старушками – матерью и тещей. Даже в таком кратчайшем пересказе, я надеюсь, видна искусственность фабулы, литературность, надуманность. (Что, разумеется, никак не исключает подлинности случая, легшего в основу «были». Кто ныне не знает, что жизнь может быть невероятнее любого вымысла? Но в действительности – своя достоверность, а во «второй действительности», в искусстве, – своя.) Еще искусственнее – персонажи, особенно – положительные: несостоявшийся пойманник, его будущая жена, ее мать, доподлинно картонные фигуры. Отрицательные чуть лучше, за счет характерности, но характерность их шаблонна, монотонна, однобока: корчмарь Генех – «грубый и скупой выскочка»⁵², но в памяти остаются лишь его трусость и ханжество; капитан-исправник – воплощенное хамство, лишенное каких бы то ни было человеческих черт. Язык повести изобилует и стилистическими, и прямо грамматическими ошибками. (Оно и естественно: в отличие от «Записок еврея», редакторское перо над «Пойманником» едва ли потрудились.) Скучно их перечислять, ограничусь одной, едва ли не самой забавной: *дышь* – вместо дыши⁵³.

Но если в качестве изящной словесности «Пойманник» интереса, пожалуй, и не заслуживает, то посыл, который он несет, обойти вниманием, пожалуй, нельзя. Вот, например, довольно странное определение еврея: «...Я еврей. Не тот еврей, который на каждом шагу подличает и сводит свои счета с Богом постом и молитвой; не тот еврей, который процентами, как пиявка, высасывает своего несчастного ближнего, потом сразу дарит какому-нибудь польскому цадику-шарлатану восемнадцать дукатов; не тот еврей, который дрожит при виде собачонки, пугается мертвецов и чертей, в каждом движении, в каждом невинном слове видит грех и ересь, а между тем обходит все человеческие и небесные законы, не дрожит перед правосудием, не замечает Бога вокруг себя, мошенничает, плутует, ворует, грабит, контрабандничает; нет, я не тот еврей; я... такой, каким желал бы быть и вам, набожный раби Генех, и тебе, Голиаф-Шмуль, и вам, хриплые певуны, и всем вам подобным. Я далеко не ангел, я человек простой, но человек честный; я обыкновенный еврей, но еврей настоящий, не самозванный»⁵⁴. Эта тирада обращена к корчмарю, его силачу-сыну и трем «грязным, оборванным евреям», которых, по просьбе пойманника, притворяющегося, что он смирился

⁵² Г. Багров (sic!). Пойманник, в: «Еврейская библиотека», т. IV, СПб., 1873, стр. 18.

⁵³ Там же, стр. 103.

⁵⁴ Там же, стр. 75.

со своей участью, приводит откуда-то Шмуть, чтобы почтить последнюю перед рекрутчиной субботнюю трапезу положенными песнопениями. Если в тираду вдуматься, окажется, что в «самозванные евреи» попадает чуть ли не весь еврейский народ! В самом деле, оставим в покое подлецов и ростовщиков – те, что перечислены далее, составляют, в изображении самого Богрова, всю, без малого, темную «массу» в черте! Да, эта трусливая, полная предрассудков и фанатизма масса на каждом шагу старается «обойти закон», но ведь Богров сам, в предисловии к повести, находит ей если не оправдание, то смягчающие обстоятельства: «Правительство было право, но и евреи были правы, каждый по-своему. ... Мы не оправдываем варварства некоторых евреев, но и обвинять трудно»⁵⁵! Как же так – все кругом «самозванцы», даже те трое, которых пойманник видит впервые в жизни и о которых не знает ничего, кроме того, что они неопрятны и плохо одеты? А так, что в точности, как автор-рассказчик в «Записках еврея», автор «Пойманника» вообще не питает органической, «нутряной» симпатии к своим единоплеменникам и единоверцам.

Как очень часто бывает, второстепенные детали здесь важнее торжественных общих деклараций. Так, оба негодяя, отец и сын, наделены типично еврейскою внешностью, тогда как про единственного праведника, он же пойманник, нарочито уточняется, что он «не имел ничего общего с резким еврейским типом»⁵⁶. Характерно также, что, кроме пойманника, все прочие персонажи откровенно нехороши собой, но только мужчины; зато женщины либо прямые красавицы (падчерица корчмаря), либо, по крайней мере, благообразны, в отличие от мужчин. Это в точности отвечает юдофобскому стереотипу в европейском романтизме и позже, стереотипу, усвоенному и русской литературой. Как видим, усвоил его и Богров.

Отмечу два энтомологические сравнения, одно из которых, в сильно разросшемся виде, появляется и в следующем по времени публикации сочинении, в «Еврейском манускрипте»: люди-пауки, сосущие кровь из бедной слабой мухи. Другое, еще менее лестное, «неизящное», по выражению самого автора, вроде бы, служит евреям в оправдание: «Как клопы и их достойная братия суть продукт собственной домашней неопрятности и неряшливости хозяев, так точно и темные стороны евреев составляли и составляют результат того нелепого обскурантизма, того возмутительного воззрения на людей и вещи, под влиянием которых совершались и совершаются самые невероятные события; предпринимались и предпринимаются возмутительные охоты на целые секты, на целые нации, лишь за одно их иноплеменное происхождение, за одно их иноверие. Неряшливые хозяева сами разводят клопов. Истребляя их, они правы по-своему. Но правы и клопы: они говорят: «Были бы вы сами почище, поопрятнее, поразумнее, почеловечнее, и мы не были бы клопами...»⁵⁷. Оправдание-то оно оправдание, но какое же неаппетит-

⁵⁵ Там же, стр. 3 и 7.

⁵⁶ Там же, стр. 17.

⁵⁷ Там же, стр. 108.

ное, чтобы не сказать гадливое, и какое, в конечном счете, обидное, чтобы не сказать оскорбительное! Простая бестактность или тот же дефицит теплого, человеческого чувства родства? Скорее, второе.

«Еврейский манускрипт» (с подзаголовком «Перед драмой») вышел в 1876-м, в Санкт-Петербурге, как и обе предшествовавшие вещи; издателем обозначена «Русская Художественная типография Исидора Гольдберга». На титульном листе уточнено, что Богров – автор «Записок еврея»: своего рода реклама-рекомендация, совершенно как век с четвертью спустя. Это небольшой исторический роман, о котором Цинберг в уже известной читателю статье отзывался так: «Тенденциозность и несоблюдение художественной меры резко проявляются в тех произведениях, где Богров рисует быт менее знакомой ему эпохи. Его исторический роман «Еврейский манускрипт» страдает отсутствием исторической перспективы и крайней бледностью психологического анализа». Характеристика верна в каждом своем слове, и все же ограничиться ею никак нельзя: при всей своей художественной неполноценности роман открывает некоторые дополнительные черточки во взглядах и мировосприятии Богрова.

Действие разворачивается в имении князя Потоцкого и близлежащем местечке. Раввин местечка, Биньямин Гасфарди с женой воспитывают внучку Эстер, единственную уцелевшую из семьи единственного же сына раввина; семью истребили клеветы другого польского магната, чтобы умыкнуть красавицу-невестку, но та успела покончить с собой. Девочка, такая же красавица, как ее мать, попадает, более или менее случайно, под убийственную нагайку княжеского управляющего. Весь двор смущен и взволнован, впрочем, как очень кстати напоминает Богров, «члены этого общества были взволнованы не самою катастрофою, а необыкновенною красотою жертвы этой катастрофы. Постигни подобная участь неряшливого, некрасивого ребенка, они ни на одну секунду не приостановились бы в своей попойке, чтобы обратить внимание на пришибленного жидовского щенка. Такова магическая, непобедимая сила красоты необычайной!»⁵⁸. Князь приказывает своему придворному врачу, испанцу Педро-Мигуэлю Сфардичи, выходить раненую, и тот подает ей первую помощь, а потом, вместе с сыном Даниэлло, навещает многократно домик раввина. Врачу, маррану, бежавшему из Испании от инквизиции, становится ясно, что они с раввином принадлежат к разным ветвям одной и той же семьи. Еще одно важное действующее лицо – Богдан Хмельницкий. Он служит конюшим у Потоцкого и тоже видит маленькую Эстер. Хотя этой последней всего десять лет, Хмельницкий влюбляется и решает похитить ребенка, чтобы окрестить, вырастить и во благовремени взять в жены. Хитроумный план (детали опускаю) проваливается, Эстер гибнет жертвою погрома, одним из подстрекателей которого был сам Хмельницкий.

Первое, что надо отметить, – это попытка Богрова выстроить на этом фоне историософию еврейского народа. Делается это устами доктора-маррана в виде урока его сыну. За «уроком» присутствует и Хмельницкий, который осведомляется, с какою целью «вызвался

⁵⁸ Г. И. Богров. Еврейский манускрипт, СПб., 1876, стр. 109.

доктор познакомить Даниэлло с судьбою этого злосчастливого племени». Ответ доктора: «С одной стороны, чтобы оправдать, хоть отчасти, те недостатки, которые племя это усвоило себе во время долголетнего шатания по миру, во времена разных, почти невероятных бедствий; с другой же стороны, чтобы оправдать отчасти и строгих, беспощадных судей, обвиняющих это несчастное племя, не принимая во внимание никаких смягчающих вину обстоятельств»⁵⁹. История евреев представлена как история мухи, «слабой и назойливой» ныне, которая в прошлом, однако, была кровожаднейшим пауком, не щадившим никого из поверженных врагов (имеются в виду события библейского периода). Сравнение с мухой и пауком приобретает особый смысл в связи с тем, что обзору еврейской истории предпослан другой урок – социального дарвинизма, причем классной комнатой с учебными пособиями служит кладовая, вся сплошь затканная паутиной. В какой мере право сильного следует считать убеждением не только доктора, но и его создателя, сказать в точности нельзя, но что Богрову такие идеи были не совсем чужды, свидетельствует весь контекст, в который они вставлены.

Зато историософия дона Педро принадлежит Богрову на все сто процентов. Оригинальностью, новизной она не отличается. Племя-бродяга усвоило себе множество пороков, неотъемлемых от бродяжничества. Ни один из народов земли не страдал столько, сколько еврейский, и главным образом потому, что он решительно отказывался и отказывается смешиваться с другими. «Он отстаивает свое историческое существование всеми мерами; он предпочитает жить жизнью мухи, но собственной, чем жить чужою жизнью, хоть и лучшею»⁶⁰. Дух корпоративности, пресловутая еврейская солидарность, бесспорно вредная и опасная, развилась в результате повальной и бесчеловечной враждебности к еврейскому племени. И т. д.

Но в заключение «урока» Богров делает суровое предупреждение евреям (мне кажется, в этом случае разумнее говорить об авторе и его эвентуальных читателях, чем о персонажах): «Сочувствие к страданию ближнего – черта хорошая, но справедливость у честного человека должна стоять на первом плане. ...Еврейство – далеко не праведник, страдающий безвинно. Оно имеет право оправдывать свои недостатки и странные особенности побочными обстоятельствами, вытекавшими из грустных исторических событий и разновременных экономических условий; оно может напирать на смягчающие вину обстоятельства, но вполне отрицать свои недостатки и проступки ...по меньшей мере смешно». И дальше: «Куда трусливой мухе выходить на добычу! Она умеет только неслышными шагами подкрадываться к чужой пище и утащить крохотный кусочек. Муху начали преследовать как воровку. Ей расставляли паутинные сети... она и попадалась. Вырвавшись из сетей, муха делалась осторожнее, хитрее, но от чужой пищи не отказывалась: ей жить хотелось. Коварную воровку начали еще сильнее преследовать. Но чем сильнее преследовали муху, тем более портился ее характер, а чем бо-

⁵⁹ Там же, стр. 161.

⁶⁰ Там же, стр. 150.

лее портилась муха, тем строже ее карали... Тут, собственно, некого винить»⁶¹. Обвинения во второй цитате, очевидным образом, относятся к новому времени, потому что несколькими страницами выше Богров говорит о ни с чем не сравнимых мучениях евреев в XI-XVI столетиях. Но в таком случае некорректность, выражаясь самым мягким образом, этих обвинений поразительна! Мне, по крайней мере, слышится в них удивительная бесчувственность к нищете, к голоду и ко всем остальным бедствиям российского еврейства, задыхавшегося в тесноте черты. Тем более удивительная, что бедственное это положение известно было Богрову не понаслышке и вызывало его возмущение и сострадание, как читатель мог убедиться из некоторых приводившихся мною выдержек. Впрочем, спрашиваю я себя, может быть, только возмущение, без сострадания?

Кроме общего взгляда на еврейскую историю, в роман вставлен и обзор истории Польши, представленный как взаимодействующая четырех сил: панства, иезуитов, хлопства (украинского православно-крестьянства) и еврейства. Останавливаться на нем сколько-нибудь подробно нет нужды. Достаточно заметить, что две первые силы Богров ненавидит беспредельно и никаких красок, кроме чернейшей, для них не находит. Это наталкивает на предположение, что роман писался вскоре после 1863-го, по свежим следам польского восстания, сопровождавшегося антипольской истерией в русском общественном мнении, которую не мог не заразиться маскил-ассимилятор и русификатор. Хлопы пользуются его симпатией, их ненависть к панам и к их приспешникам-евреям оправдана. С известной симпатией написан и будущий вождь Украины, Хмельницкий, который в еврейской коллективной памяти, в фольклоре сохранялся как Сатана в человеческом облики; но Богров, по-видимому, следовал не еврейской традиции, а опять-таки русской, и к тому же официально одобряемой, книжной, говоря языком недавнего прошлого, идеологически выдержанной: Богдан Хмельницкий – национальный герой, избавивший Украину от польского ига и «воссоединивший» ее с Россией. В тех же самых книгах, например, у историка Николая Костомарова (1817-1885), он вычитал и пренеприятную деталь, которой украсил и наукообразный обзор, и фабулу: евреи брали в аренду у панов не только шинки и земли с крестьянами, но и православные церкви, взимая за каждую требу особую плату. Отказ еврея открыть церковь причту и целой толпе прихожан служит поводом для погрома в финале. Современная историография доказала, что названная деталь принадлежит к арсеналу юдофобской мифологии; разумеется, во времена Богрова это еще не стало общераспространенною истиной; как, впрочем, увы, не стало и поныне.

Что же касается последней из четырех сил, еврейства, Богров повторяет знакомые нам обвинения против «духовенства», которое отравило первоначально счастливое существование евреев в Польше («раввинисты и каббалисты, эти своего рода иезуиты...»), против Талмуда и «независимой деспотической еврейской теократии»⁶².

⁶¹ Там же, стр. 188-189.

⁶² Там же, стр. 18-22.

Не стану задерживаться и на том, как скверно написан «Еврейский манускрипт», на стилистических и чисто языковых грехах и погрешностях; даже примеров приводить не стану. Только одно хотелось бы выделить особо: в отличие от своих первых двух публикаций Богров здесь, правда лишь от случая к случаю, русифицирует с нажимом речи персонажей, и когда раввин называет цыплят «пичурочками», а его супруга отзывается о внучке «душечка!», становится тошно.

Едва ли можно сомневаться, что адресатом романа был скорее читатель не еврейский, а русский, потому что еврею в прошлом веке, даже еврею самому ассимилированному, едва ли нужно было разъяснять особым примечанием, что такое «рабби», или снабжать для него переводом всякое слово или выражение на идише.

Остается отгадать загадку заглавия: при чем тут «манускрипт»? Некий намек содержится в заключительном сообщении «От автора»: «В имеющем появиться в печати втором отделе семейной хроники, относящейся к судьбе польского и украинского еврейства в эпоху Богдана Хмельницкого, под заглавием «Казацкая месть», будет рассказана история «Еврейского манускрипта», послужившего главным основанием этому литературному труду»⁶³. Сочинение это никогда в печати не появилось и, по-видимому, не было и написано. Во всяком случае, в 1882, когда, как помнит читатель, Богров приглашал к себе на беседу Семена Дубнова, «второй отдел» все еще не родился. Но в 1878, в томе VI уже знакомой нам по «Пойманнику» «Еврейской библиотеки» появился рассказ «Мордахей Иерусалемский», который мог бы служить прологом к «Еврейскому манускрипту». Мордахей – еврей из Палестины, собирающий пожертвования на нужды общины в Святой Земле. Петербургский выскочка, к которому он обращается, обходится с ним без всякого уважения; к тому же Мордахей говорит только по-турецки и по-древнееврейски, и нувориш не может его понять. Автор-рассказчик, случайно оказывающийся тут же и владеющий еврейским, служит переводчиком, а затем приводит Мордахею к себе, принимает наилучшим образом, и тот, в благодарность, дарит ему рукопись «одного из своих дальних родственников, обратившегося в конце своей печальной жизни в лоно иудейства и умершего в Иерусалиме»⁶⁴. Автор рукописи – никто иной, как «Даниэль, сын Михозла Гасфарди», т. е. мальчик Даниэлло романа, а если его отец, врач дон Педро-Мигуэль, превратился в «Михозла», нет сомнений, что и он успел вернуться к вере отцов.

Через два года после «Еврейского манускрипта», в 1878, петербургский журнал «Слово» печатает маленькую повесть Богрова «Бешеная», с двумя подзаголовками, «Рассказ старика» и «Из еврейской жизни». Если второй говорит о неизменности материала, то первый, напротив, извещает о важной перемене: впервые рассказчик отделяется и отдалается от автора. Повествованию, как мне видится, это пошло на пользу.

⁶³ Там же, стр. 242.

⁶⁴ Г. Богров. Мордахей Иерусалемский, в: «Еврейская библиотека», т. VI, СПб., 1878, стр. 133.

Старый часовых дел мастер вспоминает свою раннюю юность. Мать опасается за его здоровье, и он попадает, для «курса лечения», в «больницу» к знахарке. Там же содержится на положении полупациентки-полуузницы племянница знахарки; она влюбилась в офицера из полка, который стоял в ее местечке, «повадилась бегать к нему», тот задумал ее окрестить, с трудом ее «спасли» и заперли у тетки, сочтя и ославив «бешеной». Рассказчик понятия об этом не имеет; девушка тайно прокрадывается к нему ночами; они обмениваются ласками, не доходя, однако, до конца. Все завершается трагикомически: рассказчик, следуя за девушкой, проникает в погреб, опивается холодным молоком, и знахарка, догадавшись о его воровской проделке, вышвыривает его из своего лечебного заведения. Из подобия эпилога читатель узнает, что знахарка недолге умерла, племянница же в самый день ее смерти бежала, украв деньги, скопленные покойной за целую жизнь, и ухитрилась разыскать «своего» офицера, а тот «натешился, надругался, деньги забрал, а бедную жиловку вытурил на все четыре стороны» – и она утопилась⁶⁵.

Первой приятной неожиданностью оказываются персонажи: отец, мать, «бешеная» и, прежде всего, сам рассказчик. В них нет ничего искусственного, «картонного», озлобленно одностороннего – того, чем почти неизменно отмечены действующие лица в более ранней (по крайней мере – по хронологии публикаций) прозе Богрова. Нет и ожесточенного отталкивания, отвержения всего еврейского склада жизни, наоборот: рассказчик рисует сугубо традиционную субботу в родительском доме с неожиданной для автора «Записок еврея» теплотой. Теплота – от доброты персонажа (рассказчика), его наивности, некоторой детскости характера, изображенных с симпатией, но и с иронией. И вообще говоря: ирония, неотъемлемая от русско-еврейской литературы с самого ее начала, столь характерная и важная для обоих отцов-основателей, предшествующих Богрову, у него пробивается здесь впервые. И красит повествование!

Еще более неожиданна психологическая углубленность основной сюжетной ситуации. Девушка, вроде бы, ищет общества рассказчика, примерно своего сверстника (обоим около семнадцати лет), в надежде найти *братскую* поддержку, но ласкает его отнюдь не по-сестрински: он подменяет ей недоступного любовника-офицера.

«...Моя особа, моя индивидуальность, по-видимому, не играли для нее никакой роли. Я в ее глазах был живым представлением кого-то другого... Часто, осыпая меня бешеными поцелуями, сжимая с неестественной силой, кусая меня иногда до того, что следы ее острых зубов по целым дням не сходили с моей шеи и плеч, она, в то же время, казалось, забывала о моем существовании, бормотала непонятные мне слова на чужом мне языке, называла незнакомые, нееврейские имена, упрекала, грозила, жаловалась, рыдала и дико хохотала... Когда я платил ей моими робкими, застенчивыми ласками, она вдруг закрывала глаза, немела и замирала... По всему лицу ее разливался яркий румянец, влажный, красивый рот раскрывался, обнаруживая блестящие зубы до самых корней, верхняя губа вздер-

⁶⁵ Г. Богров. Бешеная, в: журнал «Слово», 1878, № 7, стр. 72.

гивалась высоко и шевелилась, тонкие ноздри волновались, как у скаковой породистой лошади, грудь с шумом поднималась и опускалась, а дыхание из раскрытого рта вырывалось горячее, бурное... Все это длилось до тех только пор, пока я ласкал ее молча, но чуть, бывало, заслышит она мой голос, как внезапно рванется и так бешено оттолкнет меня, что десятки раз моя голова с размаха хлопалась о стену и о спинку моей кровати»⁶⁶.

Не менее изощрены психологически (и не менее эротичны!) строки, посвященные первым любовным переживаниям подростка: «...Я зажил такой своеобразною жизнью, какой уже никогда не испытывал в более зрелые годы... Я пресыщался ласками моей сестрицы и никогда ими не насыщался; я жадными глотками пил какую-то чуждую моему пониманию сладкую отраву, смутно чувствуя в то же время, что я не допиваю ее до дна... Я томился, млел, жаждал неведомо чего; я был беспредельно счастлив, но и несчастлив в одно и то же время»⁶⁷.

Русско-еврейская литература должна будет ждать четверть века, чтобы такой откровенный эротизм громко заявил о себе в прозе и драматургии Семена Юшкевича⁶⁸. Скажу более: мне думается, что и для собственно русской литературы последних трех десятилетий XIX века подобная смелость была редким, если не редчайшим исключением. Недаром рецензент газеты «Русский мир», похвалив «Бешеную», заявив, что «эта небольшая вещица г. Богрова положительно художественна», «эпизод Хаськи» решительно не одобряет – за «грубость эффекта», за «что-то смахивающее на резкую, нехудожественную манеру Захер-Мазоха». Не лишено интереса и то, что рецензент счел необходимым особо оговорить неповинность автора в «слишком оптимистическом отношении к изображаемой среде», в «ложной идеализации еврейского быта»⁶⁹. От Богрова, приобретшего известность «Записками еврея», ожидают лишь новых «обличений» (напоминаю: вполне вероятно, что русским читателем «Записки» воспринимались как экзотическая и несколько запоздавшая разновидность так называемой «обличительной» литературы).

Было бы несправедливостью не заметить, что и стилистически, и чисто языково «Бешеная» производит впечатление достаточно благоприятное. Усовершенствовал, изощрил ли Богров свои знания и чутье? Или, скорее, в редакции «Слова» его правила и чис-

⁶⁶ Там же, стр. 51-52.

⁶⁷ Там же, стр. 51.

⁶⁸ См. мою статью «Эротика в русско-еврейской литературе», в: «Amour et erotisme dans la litterature russe du XXe siecle», edite par Leonid Heller, Bern, 1992, pp. 73-82.

⁶⁹ И. Б-ков. Литературные очерки, в: «Русский мир», 1878, № 203. Всего библиографические справочники указывают шесть рецензий на «Бешеную», в том числе две, принадлежавшие известным критикам: А. М. Скабичевскому («Биржевые ведомости», 1878, №185) и Р. И. Сементковскому («Телеграф», 1878, № 15). Пользуюсь случаем признаться чистосердечно, что значительная часть откликов собственно русской периодической печати на сочинения Богрова остается для меня недоступной.

тили усерднее, чем в «Отечественных записках», не говоря уже о «Еврейской библиотеке»?

В том же году, что «Бешеная», увидел свет «Нежный братец», по объему (на сегодняшний счет) – маленькая повесть, согласно подзаголовку – «очерк»⁷⁰. К подзаголовку дано авторское примечание: «Типы, представленные в этом сжатом очерке, нарисованы в живых чертах с натуры. В этом ссылаюсь на сотни живых свидетелей»⁷¹. Несмотря на торжественное заверение фабула звучит скорее анекдотом, чем былью. Старший брат обманом захватывает все состояние умирающего отца, лишая младшего и сестер причитающейся им доли наследства. Напрасны все попытки вырвать из пасти хищника хотя бы малую толику похищенного, но случайный знакомый подает хитроумный совет, и младший брат восклицает в полном восторге: «Я буду преследовать его своей любовью, как злая совесть преследует убийцу, как тень Авеля гонялась за Каином... Я отравлю его жизнь своим нахальством, своей назойливостью. Увидим, милый братец, что ты теперь запоешь!»⁷². Об этом «очерк» и повествует, причем рассказ протагониста, «нежного братца», обрамлен своего рода введением и заключением «от автора», положительного и серьезного до строгости господина, примерно того же, что уже был знаком читателю по «Запискам еврея», и уж его-то в симпатии к еврейскому быту (как в случае с «Бешеной») обвинить было бы невозможно. Отец скопил свои богатства ростовщицеством. Старший брат и его супруга – настоящие монстры. Сам «нежный братец» – маньяк, однако ж себе на уме: похоронив «любимого» брата и не зная, куда себя девать, он думает податься в Сербию, где идут военные действия, но не для того, чтобы принять участие в «великом деле русского народа», как формулирует рассказчик – alter ego Богрова, а чтобы «пристроиться к какому маркитанту в дело»⁷³. Можно было бы решить, что ни малейшего сочувствия он ни автору, ни автору-рассказчику не внушает, если бы не одна деталь (не сказать ли лучше «грань повествования?»), объединяющая «Нежного братца» и «Бешеную»: тема любви. Она имела для Богрова особое значение: считая себя жертвой обычая ранних браков, устраиваемых без согласия, а часто и без ведома молодых (как должно было быть видно уже из нашего пересказа «Записок еврея»), он горько сокрушался о том, что еврейской цивилизации неведомы романтическая страсть и все сопутствующие ей блаженства и муки. Протагонист «Нежного братца» был когда-то без памяти влюблен, но никогда и никому о своем чувстве не рассказывал, «опасаясь быть осмеянным как пошлый дурак. И кому бы я открылся! Разве наши евреи понимают это чувство? Ведь они опошлили слово «любовь». По их понятию, оно выражает собою не более, как похоть, возбуждаемую сватами и свахами, похоть, удовлетворение которой достигается религиозным обрядом и покупается за деньги... Спросите каждого молодого ев-

⁷⁰ «Библиотека западной полосы России» Н. Д. Шигарина, т. I, СПб., 1878.

⁷¹ Г. Богров, Собрание сочинений, т. четвертый, Одесса, 1913, стр. 143.

⁷² Там же, стр. 211-212.

⁷³ Там же, стр. 239 и 245.

рея, даже оевропеившегося уже, свободно ли его сердце. И он вам в ответ укажет на этикетку, приклеенную к этому сердцу, на ярлык, обозначающий цифру приданого. ...

Разберите хорошенько так называемое увлечение еврейских барышень, и вы в большинстве случаев убедитесь, что прежде, чем увлечься, эта, с виду поэтическая, сентиментальная барышня посоветовалась с мнением своих родителей-торгашей, сообразилась хорошенько с еврейско-общественным мнением, достала из левой стороны своей девичьей груди лавочные счета и своими розовыми пальчиками сделала настоящую бухгалтерскую выкладку как о настоящем и будущем инвентаре своего Адониса, так и о том, насколько она, владелица этих счетов, может извлечь материальной выгоды из этого инвентаря. Сообразив все это и найдя свою *любовь* во всех отношениях *выгодную*, ... она *возьмет* да и *увлечется...*⁷⁴.

Обширная выписка помогает уточнить точку зрения Богрова, его публицистический посыл. Даже в «Бешеной», где он прячется под маской простодушного старика, довольного прожитой жизнью, любящего свою постаревшую супругу и, вроде бы, отстраненно, без волнения вспоминающего эротически-экзотический эпизод своей давно минувшей юности, даже там звучит подспудно восхищение силою страсти, мало что незаконной, но, к тому же, направленной – страшно вымолвить! – на гоя. Здесь, в «Нежном братце», голос рассказчика-«братца», также вспоминающего молодость, ближе к авторскому, и осуждение бесчувственной сухости, расчетливости в делах сердца звучит личной инвективой, вызовом, бросаемым многовековой матримониальной традиции. В бесчувственности обвиняются одинаково и будущие женихи, и будущие невесты, но все-таки девушкам достается больше: «братец»-протагонист готов на все ради своей любви, а та бросает его самым беспардонным образом, как только выясняется, что наследство уплыло от него.

Если уж был упомянут публицистический посыл в прозе, относимой к категории художественной, уделим некоторое внимание «чистой» публицистике в собственно русских периодических изданиях. Известны статьи Богрова в «Слове», «Новом времени», «Веке». (Список, скорее всего, неполон, и, если бы нашелся в России энтузиаст, готовый погрузиться в старые подшивки и подборки, его усилия были бы, скорее всего, вознаграждены.) Разумеется, и в них представлены идеи ассимиляции в самом широком спектре, но также и защита от несправедливых обвинений (например, в ритуальных убийствах), и призывы к отмене ограничительных узаконений (например, черты оседлости). Одна из них, «Жить или не жить евреям повсеместно в России?» («Слово», 1878, № 2), содержание которой явствует из заглавия, вызвала полемику, не слишком обширную, но оживленную. Газета «Одесский вестник» (1878, № 62) полностью разделяет и тезис Богрова о том, что отмена черты оседлости была бы благотворна и для евреев, и для коренного населения, и его аргументы. Петербургский «Северный вестник» (1878, № 55), соглашаясь с Богровым в принципе, на первый план выдвигает его убежде-

⁷⁴ Там же, стр.176.

ние, что скученность евреев препятствует их ассимиляции, и присовокупляет комментарий: «Отчего это евреи английские, французские, даже германские усвоили себе вполне характер той национальности, среди которой они живут? Отчего же одни только русские евреи сохраняют во всем строе своей жизни жидовство и никак не могут не то чтобы слиться с господствующей национальностью – об этом и мечтать уже нечего, – а хотя бы только не резать нам глаза своими угловатыми особенностями, не враждовать против нашего общественного строя? Но ни Англия, ни Франция, ни Германия не приурочивают евреев к какой-либо одной местности. Оттого в Европе евреи распустились в национальностях: английской, французской, немецкой; у нас же, чего нет нигде в Европе, евреи являются особой национальностью рядом с другими». Любопытнейший комментарий! И не только тем он любопытен, что признает евреев «особой национальностью», для тех времен это была редкость, но, прежде всего – непреодолимым отвращением к еврею и его «угловатым особенностям». Вот какие были у Богрова единомышленники, немногим лучше прямых оппонентов из газеты «Сибирь» (1878, № 17), которая была в ужасе от одного предположения, что евреи получают возможность свободно расселяться за Уральским хребтом: «...Ни в каком случае еврей не может быть прямым производителем, а только потребителем народного состояния. Переселение евреев, наплыв этой массы, на которую даже сам защитник еврейства склонен смотреть как на жадную, прожорливую саранчу, в Сибирь ... переместило бы только центр тяжести, центр тяготения евреев, а не изменило бы их, как думает г. Богров. Вместо польского жида явился бы жид сибирский».

В общероссийской периодике Богров появлялся и в восьмидесятые годы, когда главным поприщем, главным полем брани сделалась для него еврейская периодика по-русски. Она же – главный предмет внимания и для нас.

В «Русском еврее» и в «Рассвете»

В 1879 году в столице открылись сразу два еврейских еженедельника на русском языке; после долгой, почти десятилетней спячки русско-еврейская периодика возвращалась к жизни; начинался петербургский период ее существования; первым был одесский – в Одессе она и родилась, в виде еженедельника ...«Рассвет»! Этому названию в русско-еврейской журналистике была суждена особая роль: целых четыре издания носили имя «Рассвет» в промежутке между 1861 и 1935 годами.

«Русский еврей» появился на свет примерно на полгода раньше, и эти полгода Богров, как отмечает Цинберг, был его фактическим редактором, а затем перешел в «Рассвет», уже в качестве одного из двух официальных соредакторов. В «Рассвете» он и печатался очень активно и обильно, под собственной фамилией и под псевдонимом «Бен-Рабби» в 1879-1880 годах, и в меньшей мере позже, в 1881 и 1882.

Перемена адресата – обращение к еврейскому читателю – не могло не дать себя знать. Возьмем для примера одно из первых выступлений Богрова в новом качестве, еще в «Русском еврее», статью «Талмуд и Каббала по «Русскому вестнику», как рекомендует ее сам Богров – «поверхностный разбор курьезного рассказа «Ракушанский меламед»⁷⁵ Н. С. Лескова, опубликованного «Русским вестником» в предыдущем, 1878. И в самом деле, это не «разбор», не рецензия на известный рассказ Лескова, а ядовитая пародия, сатира на невежество «почтенного автора» во всем, что касается еврейства, и, в конечном счете, защита еврейства от помойного потока клевет, которые на него льются. Лесков, «повидимому, записался в число современных и – что всего хуже – неумелых Фаддеев Булгариных, которые, желая во что бы ни стало потешать и смешить публику, сделали из глумления над еврейством свою благородную профессию. ... Фальшь всех этих господ-рассказчиков «о евреях» или «из еврейского быта» вытекает из того, что они не дают себе труда изучить хоть сколько-нибудь тот предмет, о котором они с наглостью и лживостью рассказывают в печати и с театральных подмостков. Они столько знают о религиозной, кагальной и частной жизни еврея, сколько любой краснокожий знает о жизни в наших женских институтах. ... Еврей, копируемый на сцене, рисуемый в печатных очерках, иллюстрируемый в рассказах, обладает какими-то измышленными, исковерканными, изуродованными манерами и ужимками, его речь и акцент редко согласуются с истиной, его междометия придуманы досуею фантазией разных клоунов, лежащих безнаказанно придушенного, пришибленного, отданного на поругание человека»⁷⁶.

Мне представляется, что такую резкую, такую запальчивую апологию, такое обличение Богров в редакцию русского журнала, скажем в «Отечественные записки» или в «Слово», принести не решился бы. А если бы и решился, то, скорее всего, попусту, напрасну: редакция не пропустила бы. Но, с другой стороны, трудно представить себе такие гневные строки выходящими из-под пера автора «Записок еврея» или «Еврейского манускрипта», иначе говоря – до прихода Богрова в еврейскую журналистику⁷⁷.

Быть может, лучшее, самое полное и разностороннее представление о публицистике Богрова дает цикл статей «Община и порядок», написанный после разрыва с «Рассветом» и напечатанный в семи выпусках «Русского еврея» за 1883 год. Но прежде – об этом разрыве, вкратце, не входя в детали отношения Богрова ни к общему направлению журнала, ни к отдельным авторам и их идеям.

⁷⁵ «Русский еврей», 1879, № 9, столб. 322.

⁷⁶ Там же, № 13, столбцы 489-490.

⁷⁷ Любопытный и оригинальный анализ «Талмуда и Кабалы по «Русскому вестнику» содержится в работе Габриэллы Сафран (Gabriella Safran, "Grigory Bogrov: An Unprecedented Type of Human Being"), с которой я имел удовольствие познакомиться летом 1997 в рукописи (draft). Надеюсь, что с тех пор работа была опубликована, но мало-мальски достоверными сведениями не располагаю.

Как и для всего еврейского населения России, Великие погромы 1881-1882 годов были для сотрудников и руководителей «Рассвета» великим потрясением. Прежние надежды – эмансипация, равноправие, слияние с коренным населением и т. д. – оказались иллюзиями, развеялись. Было решено, что остается только один неиллюзорный выход – эмиграция. «Рассвет» становится глашатаем и пропагандистом организованного бегства из России. Для Богрова это было неприемлемо, хотя и его радикальное ассимиляторство испытало, вне всякого сомнения, тяжелый удар и урон, и, когда его соредактор в январе 1882 напечатал, без его согласия, отчет о встрече министра внутренних дел графа Игнатьева с представителем еврейской общественности и автором «Рассвета» доктором медицины Оршанским, в ходе которой министр произнес свою знаменитую фразу: «Западная граница для евреев открыта», – Богров вышел из состава редакции. Его разъяснения на этот счет были напечатаны, в виде «письма в редакцию» «Недельной хроникой Восхода», третьим столичным еврейским еженедельником, который начал выходить в 1882 году и к которому мы еще вернемся. Письмо появилось в № 9 за 1882 год, 26 февраля (по старому стилю), столбцы 206-209. Такова точная хронология разрыва. Добавлю только несколько доводов Богрова – для полноты картины. Во-первых, повторение погромов в ближайшее время почти невероятно. Во-вторых, никакого разрешения на свободное выселение из России министр не дал, а самовольно выселяющиеся совершают преступление, чреватое соответствующим наказанием. В-третьих, учредить переселенческий комитет, который улаживал бы все проблемы, связанные с эмиграцией, в мало-мальски короткий срок невозможно. Вывод: напечатав интервью с министром, журнал поступил безответственно, погнался за сенсацией и «натворил много бед в провинции, вред, во многих случаях неисправимый». Разделять ответственность за это Богров отказывается.

Читатель не забыл, что Цинберг называл другую решающую причину выхода Богрова из редакции «Рассвета», а именно: «близкие сношения Богрова с образовавшимся в 1881 году в Елисаветграде Духовно-библейским братством, против которого решительно выступил «Рассвет». Нет никаких оснований не доверять самому Богрову, но и пренебречь суждением такого авторитета, как Цинберг, было бы непростительно. Тем более, что оно находит отклик в уже названном публицистическом цикле «Община и порядок». Отклик, правда, как мы увидим, противоречивый.

Прежде всего заметим, что заголовок содержанию не отвечает. Возможно, цикл и был задуман как некая вариация на одну конкретную тему, вынесенную в заглавие, но в ходе работы разросся и в объеме, и тематически: стал обзором если не всех, то множества еврейских бед и неотложных нужд, как они виделись Богрову, умудренному все же опытом погромов.

Несмотря на «события последних двух лет, внесшие столько горя и столько хаоса в еврейскую жизнь», несмотря на жесточайший «экономический кризис», уже угрожающий голодной смертью десяткам тысяч, неисправимый ассимилятор и патриот сохраняет

остатки оптимизма: «...Так как гибель миллионной массы людей, хоть бы и евреев, особенно в нашем веке и в европейски благоустроенном государстве, допустить немыслимо, то нет сомнения, что и участь еврейства в России изменится к лучшему. Вопрос только во времени»⁷⁸. Долг всех еврейских общин – помочь продержаться в течение этого времени настоящим беднякам и отвадить разного рода тунеядцев-попрошаек.

Далее рассматриваются и подвергаются критике, отвергаются три общих проекта, якобы способных радикально изменить «положение, в котором в настоящее время находится злосчастное русское еврейство»: религиозная реформа, возврат к неукоснительному соблюдению религиозной традиции, эмиграция. При этом Богров делает важное заявление, или, может быть, скорее, признание: «В настоящий критический момент ... каждый из нас обязан высказать свое мнение и, без ложного стыда и мелкой щепетильности, должен отказаться от него, если ему докажут его безлогичность или, по меньшей мере, его непрактичность или несвоевременность. Точно так же и напротив: никто не заслуживает порицания или издевательства за те мнения, которые не вытекают из корыстных или тщеславных видов или из любви к искусству противоречия и пустого полемического задора. Вот почему решаемся и мы высказаться публично, полагая, что едва ли какой-нибудь честный собрат заподозрит нас в задних мыслях и побочных стремлениях»⁷⁹. Ни здесь, ни далее, в следующих выпусках «Русского еврея», Богров собственному призыву к признанию былых ошибок, к своего рода покаянию напрямую не следует, но мы его, т. е. замаскированное покаяние, выследим и, в своем месте, покажем читателю. А здесь Богров призывает общины и отдельных лиц главные усилия и расходы обратить на молодое поколение, и в особенности – на его физическое развитие, «на постепенное мускульное развитие грубой силы, ... разумеется, не на счет интеллекта, но и не относясь к физической силе с обычным у евреев пренебрежением, как к чему-то низменному»⁸⁰. Развивая эту мысль, Богров приводит аргумент с такими забавными деталями, что было бы жаль не поделиться ими с читателями, несмотря на пространность выписки:

«Большинство еврейской массы, особенно ортодоксальная, пуританская, набожная ее часть, полагающая, что все призвание еврея на земле заключается в стремлении к жизни загробной, для чего лучшим средством служит щепетильное исполнение всех мельчайших обрядностей ... , смотрит на физическую силу как на нечто грубое, человека благочестивого не достойное. Еврейско-общественное мнение установилось в том смысле, что *деликатным* человеком величают только того еврея, у которого душа еле держится в хилом

⁷⁸ «Русский еврей», 1883, № 3, столб. 85.

⁷⁹ Там же, № 4, столбцы 5 и 7.

⁸⁰ Там же, столб. 9. Заметим кстати, что те же самые идеи Богров пытался пропагандировать еще тремя годами раньше, в «Рассвете» (1880, № 37, столбцы 1458-1459), в заметке «К вопросу о будущей деятельности благотворительного фонда» (подписано: Бен-Рабби).

теле, который способен повалиться, как былинка, от малейшего дуновения ветра. Человек же, обладающий медвежьим здоровьем, исправным желудком и волчьим аппетитом, — это человек грубый, обжора. Первый долг «истого» еврея — есть *как-нибудь и что-нибудь*, есть в обрез, не более того, сколько требуется для поддержания жизни, есть настолько, чтобы только не умереть с голода. В таком же духе установлено между евреями житейское приличие ... : еврей должен есть не торопясь, как бы *нехотя*, с продолжительными паузами между одной ложкой супа и другою; всю порцию поедать — верх неприличия, необходимо оставлять на тарелке хоть *что-нибудь*, как бы аппетит ни протестовал против подобного этикета»⁸¹.

Физическая слабость имеет прямым своим следствием печально известную еврейскую трусость, которая обнаружила себя так позорно при погромах. И Богров предлагает целый набор рекомендаций для избавления от слабости и трусости, главные среди которых — учреждение бесплатных гимнастических классов и общественные огороды, на которых молодежь приучалась бы к труду на земле.

Можно ли усматривать в этом какую-либо связь с программой Духовно-библейского братства или, а fortiori, с идеалами сионизма или хотя бы протосионизма, «Любви к Сиону» (*Хиббат-Цион*)? Помоему, никак нельзя. Физический труд, особенно земледельческий, входил как в воспитательный проект Хаскалы (во всяком случае — в России: Исаак-Бер Левинсон), так и в правительственные проекты (еврейские земледельческие колонии в Новороссии). Вдобавок речь об устройстве колонии шла, как упоминалось, уже в «Записках еврея», которые писались без малого за двадцать лет до рождения Духовно-библейского братства (1881).

Полемику же с Братством и подспудный отказ от собственных реформаторских увлечений, отразившихся в том же эпизоде «Записок» и, странно сказать, четко предвосхитивших некоторые идеи основателя Братства Якова Гордина, находим «под занавес», в последней из статей цикла. Радикальную реформу иудаизма Богров приравнивает к самоубийству. «...Исключению подлежат не только второ- и третьестепенные ... постановления раввинизма, но и такие догматы иудаизма, которые, по букве Библии, составляют краеугольные камни израильского вероучения. Стоит только беспристрастным оком взглянуть на рекомендуемую иными реформу, чтобы недоумевающе пожать плечами, задав себе следующие разумные вопросы: если отрубить иудаизму и члены, и голову, то почему бы не выбросить и середину? Для чего в таком случае числиться евреем? Не для статистических ли поименных списков? Не для плачевных ли особенностей, порожденных одним еврейским происхождением? Наконец, не для того ли, чтобы вдобавок ко всем этим прелестям ... сделаться еще отрезанным ломтем и в собственном племени? ... Обрезывая догматику иудаизма с казового конца, перекраивая еврейскую религию из длиннополого кафтана в куцый плащ, захватывая своими ножницами и такой кардинальный догмат, как обрезание (тут — легко узнаваемый намек на Братство. — Ш. М.) и проч., наши

⁸¹ Там же, № 5, столб. 8.

радикалы отрезают всякий доступ к себе громадной массе верующего еврейства. ... Зачем же это отречение от еврейства под видом реформы?». ⁸² И Богров настоятельно советует забыть о религиозной реформе совсем, потому что «в наши дни» ничего, кроме раскола и смуты, она еврейству не принесет.

Подробному разбору подвергается вопрос о возвращении еврейского народа в Землю Обетованную, который рассматривается вне рамок общей проблемы эмиграции. В самом общем и упрощенном виде ответ Богрова таков: народ не готов к возвращению, оно обернулось бы катастрофой, если бы, каким-то чудом, вдруг совершилось. И Богров набрасывает картину катастрофы, которую рисует ему разыгравшееся воображение. В следующем, 1884 году он напечатает повесть «Маниак», упомянутую в отрывке из воспоминаний Шимона (Семена) Дубнова, приведенном в начале моего очерка; страничка в «Русском еврее», продиктованная воображением, представляет собою как бы зерно или ядро этой повести, и мы к ней вернемся в свое время. Пока же хочу обратить внимание на интонации горячей и, по всей видимости, искренней взволнованности, нечастой у Богрова, с какою он подходит к этой, впрямую сионистской теме: «Мы ... опасаемся, что найдутся такие недалекие или ... недобросовестные люди, которые постараются придать нашим словам характер какой-то преднамеренной злой иронии и еретической насмешки над самыми заветными надеждами несчастного, но тем более дорогого и близкого нашему сердцу племени. ... Все, что мы говорили и говорим, исходит из глубины сердца и составляет предмет наших размышлений в продолжение всей нашей жизни, жизни, в течение которой мы терпеливо несли на собственных плечах все специально племенные невзгоды, оскорбления и уничтожения, как и материальные неудобства нашего происхождения, нисколько не думая, однако, ставить это себе в особенную заслугу... Кто братски, сознательно несет общую беду, тот не стал бы иронизировать над сострадальцами» ⁸³. Я не могу предъявить прямых доказательств, но я убежден, что волнение, эмоциональная приподнятость, искренность (нельзя не добавить: в значительной мере обманчивая и самообманывающая) этих строк выросли из теа сипра радикального ассимилятора-утописта, столкнувшегося с кровавым погромным ответом на его неодолимую тягу к «слиянию». Но если Льва Леванду, или Леона Пинскера, или достаточно многих иных, менее именитых и знаменитых маскилов-просвещенцев такая же точно ситуация, в которой они оказались, привела к однозначному признанию прежних ошибок ⁸⁴, Богров о собственных заблуждениях мало-мальски членораздельно так и не высказался, ограничился заверениями любви к своему народу-страдальцу. Судя по посмертной репутации Богрова эти заверения в еврейской среде сочувствия не нашли. Дурная слава

⁸² Там же, № 17, столбцы 5-6.

⁸³ Там же, № 13, столбцы 5-6.

⁸⁴ См. мою, уже упоминавшуюся статью о Леванде, «Вестник Еврейского университета в Москве», №3(10), стр.121 сл.

«отверженного от своего народа» (Дубнов) сохранялась за ним до тех пор, пока самый интерес к нему сохранял хоть какую-то злободневность.

Но Богров-журналист, его напрямую, обнаженно публицистический посыл – лишь малая и не главная часть того, что от него осталось. Главное – это все же Богров-прозаик. Проза же его печаталась в «Рассвете» почти бесперебойно. Когда писались эти рассказы и повести, гадать не имеет смысла, появились же все, за двумя исключениями, в 1879-1880. Единственное сочинение, о котором можно с некоторою вероятностью предположить, что оно печаталось по мере написания, – это роман «Накипь века», публикация которого (с большими перерывами) растянулась на два года, до осени 1881, и осталась незаконченной, как, по всей видимости, и сам роман. Второе исключение – рассказ «Мариама», опубликованный (с продолжениями) в «Рассвете» в первой половине 1882 года, т. е. отчасти уже после выхода Богрова из редакции. «Рассветная проза» представляет собою некое единство, пусть даже довольно рыхлое, которое целесообразно рассматривать в целом. В этот блок, кроме двух уже названных сочинений, входят следующие:

«Добрые вести (Уличная сценка)». «Рассвет», 1879, № 10.

«Проклятый (Рассказ из недавнего прошлого)». «Рассвет», 1879, №№ 11 – 1880, № 1.

«Перст Божий. Рассказ Н. М. Г.». «Рассвет», 1880, № 8.

«Вампир (Из путевых воспоминаний)». «Рассвет», 1880, №№ 9 – 12.

«Кого винить? Рассказ М. О. Б.». «Рассвет», 1880, №№ 15 – 23.

«Ортодокс. Очерк с натуры». «Рассвет», 1880, №№ 28 – 36.

«Книжница (Рассказ очевидца)». «Рассвет», 1880, №№ 37, 38.

Для полноты библиографической информации следует добавить, что самый первый отрывок из романа появился в том выпуске «Рассвета», которым журнал и открылся (1879, № 1), последний же – в № 43 за 1881, а «Мариама» – в №№ 1 – 4, 6, 9, 12, 14, 24 за 1882. В следующем году «Мариама» была перепечатана ежемесячником «Восход» (1883, № 1 – 2, особое приложение).

К приведенному списку я добавил бы еще чисто очерковые «Заграничные впечатления (Путевые заметки из Австрии)»: «Рассвет», 1880, №№ 39 – 41, 43 – 45. Есть в идеологическом посыле этого путевого очерка детали, сближающие его с блоком «рассветной прозы». Во-первых, догадка о самоненавистничестве, на полстолетия предвосхитившая, или, по крайней мере, как-то предугадавшая знаменитую книгу Теодора Лессинга «Der juedische Selbsthass» (1930): «...Нам прожужжали все уши извращенностью, дрянностью, низменностью уровня еврейской морали и совести, заслуженностью исключительного положения русского еврейства и проч. и проч., прожужжали до того, что мы сами, в конце концов, начали сомневаться в самих себе и в человеческой нормальности нашей семитической психии»⁸⁵. Во-вторых, испытываемое каждым русским евреем нежелание, неготовность упоминать о своей расово-религиозной принадлежности, говоря сегодняшним языком – затабуированность самого

⁸⁵ «Рассвет», 1880, № 39, столб. 1545.

слова «еврей». В-третьих, утверждение, что евреям в России живет-ся далеко не так плохо, как нередко пишут о том на Западе. И на-ко-нец, вложенный в уста венского раввина и проповедника Адольфа Йеллинека призыв быть сдержаннее в обличениях «родных брать-ев»: незачем гладить их по головке, раз они того не заслуживают, «но уж чересчур ерошить запутанную шевелюру тоже не приходит-ся. Прежде вымойте, вымылите горемычную голову, расчешите ее медленно, осторожно, терпеливо, а потом уж ерошьте, сколько хоти-те»⁸⁶. Кажется, что с этим призывом Богров обращается к самому себе. И следует – в известной мере! – автопризыву, хотя недостатка в тягостных и злых картинках нет и здесь.

Такая картинка – «Добрые вести», скверный и, по существу, юдофобский анекдот: одно не столько действующее, сколько гово-рящее лицо рассказывает другому, давно не имевшему из дому вестей, о несчастьях, якобы на него обрушившихся. Зачем эта ложь? Лгун объясняет: «Не замай, дурню, *счастливого* еврея, ко-гда он *«на проходьке»*»⁸⁷, т. е. на прогулке.

В молодости автор этих строк слышал другой вариант того же анекдота, но с иной мотивировкой. Лгун сообщает о мнимых смер-тях, хлебая борщ, и, опростав тарелку, объявляет: «Когда я ем хо-лодный борщ, для меня все умерли, все!» «Мой» вариант куда бо-лее человечен. И не потому только, что Богров спешит обобщить: «Да, читатель! Не становись на дороге чванливого, кичащегося сво-им подозрительным, эфемерным счастьем еврея: он немилосердно тебя раздавит...», но и потому, что оба персонажа у Богрова отвра-тительны, оба, не только мучитель, но и его жертва. Отвратительна их внешность, отвратительна бессмысленная, подлая жестокость одного и невероятная глупость второго. Боюсь, что перед нами са-моненавистничество беспримесное и ничем не смягчаемое.

Напротив, едва ли было бы допустимо относить к проявлениям самоненавистничества выпады против хасидизма и цаддикизма, традиционную топику Хаскалы во всех еврейских литературах Евро-пы. На ней выстроен фабульно «Проклятый» – история о том, как три друга, портные, лишившись заработка по милости четвертого портного, немца, который обосновался в их местечке, разыгрывают цаддика и его свиту, мороча своих легковых единоверцев и на-живаясь на их легковереии. Богров уточняет (правда, лукаво, в самых последних строках): дело происходило «давно, в самый разгар польско-еврейского мракобесия, ... в доброе, старое время!»⁸⁸. Но фабула никогда не была сильной стороной Богрова. Вот и здесь, мнимые злоключения мнимого хазана (кантора), одержимого злым духом, проклинаемого мнимым чудотворцем-цаддиком, который чуть позже сам же и снимает свое проклятие, но только частично (голос, которого портняжка, он же псевдохазан, никогда не имел, к нему не возвращается), притянуты за уши, не внушают никакого до-

⁸⁶ Там же, № 44, столб. 1752.

⁸⁷ Там же, 1879, № 10, столб. 394.

⁸⁸ Г. Богров, Собрание сочинений, т. пятый, Очерки и рассказы, Одесса, 1913, стр. 143.

верия, и если рассказ, как его определяет сам автор, или, скорее, маленькая повесть по сегодняшним меркам читается не без удовольствия, так это благодаря новому, может быть, впервые обнаруживающему себя у Богрова качеству – снисходительности. Портные, переквалифицировавшиеся в проходимцев и шарлатанов, написаны без праведного разоблачительного ожесточения, а скорее даже с некоторым сочувствием (есть-пить всем хочется!) и, во всяком случае, с иронией, не чуждой добродушия. А это, как бывало всегда в русско-еврейской литературе, обостряло наблюдательность, углубляло взгляд и вело к появлению настоящих характеров, в противоположность однобоким, искусственным схемам, наследию еще XVIII века. Вот и здесь, каждый из трех приятелей – личность со своим характером и даже, в какой-то мере, со своими речевыми навыками. И не герои ли тянут за собою автора-рассказчика? Его язык, хотя и не освобождается полностью от ошибок и промахов, становится метче, гибче, даже афористичнее: «Немцы в мире – что суслики в поле; где ни появятся они – там хоть трава не расти: все пожрут...»⁸⁹. «А немец шил, пошивал да наживался»⁹⁰. И банальный, до предела избитый мотив злой жены и смертельно боящегося ее мужа идет не во вред, а на пользу: все трое боятся, и все трое – по-разному, в зависимости от собственного характера. Так ни разу и не встретившись с грозными супругами героев, читатель, тем не менее, составляет себе о них довольно ясное представление, а это уже признак и доказательство известного уровня в литературном мастерстве. Вообще говоря, мне кажется, Богров-прозаик был способен на много большее по сравнению с тем, чего достиг, но, странным образом, не сумел реализовать своих возможностей. Не сумел? А может быть, не захотел, следуя своим убеждениям и темпераменту?

Еще более сочувственный взгляд в патриархальное прошлое, оно же мракобесие по классическим меркам Хаскалы, находим в повести «Ортодокс». Тон задается с первых строк: на самом дне жизни русского еврейства есть «светящиеся частицы», которые, если им доведется пробиться на поверхность, «засверкают там яркими лучами ... И как потускнеет перед этими нравственно лучезарными самородными крупинками та мишурная пыль, которая окрашивает некоторые верхние слои еврейства суздальской, фальшивой позолотой! Последняя отражает только лучи чужого солнца, тогда как первые, сияя внутренним своим светом, озаряют все вокруг себя собственными, природными лучами!.. Одну из таких светлых крупинок знал я в мои юные годы»⁹¹. Здесь все существенно: и то, что в еврействе наличествует собственная «нравственная лучезарность», и то, что она выше заемной, приносимой ассимиляцией, и то, наконец, что, хотя рассказ пойдет о прошлом, это прошлое не минуло, оно актуально.

Главный персонаж, раби Рфозль Нозир, т. е. Назорей, – по профессии писец, но главное его занятие – это исполнение добрых дел,

⁸⁹ Там же, стр. 90.

⁹⁰ Там же, стр.91.

⁹¹ Там же, т. четвертый, стр. 247

заповедей, которые, однако, он понимает не вполне ортодоксально: «Раби Рфозль был в делах религиозного культа строг, как истый пуританин; тем не менее, где дело касалось спасения здоровья и имущества ближнего, там для него не существовало ни запретов, ни суровых религиозных уставов»⁹². Богров и его герой несколько расширяют талмудическое правило, по которому спасение человеческой жизни выше и важнее всех заповедей, кроме запрета идолопоклонства, кровосмешительства и убийства. С другой стороны, раби Рфозль способен поставить под угрозу свою жизнь (что так же строго запрещено Талмудом, как рисковать чужою жизнью) ради чисто формального ненарушения субботнего покоя. Автор-рассказчик объясняет: «В иные моменты раби Рфозль казался ярим, завзятым фанатиком, готовым обречь себя на всякие истязания и пытки, а иногда он становился вдруг крайним либералом, способным удивить самых свободомыслящих евреев. Бывали случаи, когда этот хилый и робкий человек выступал таким дерзким нахалом, что приводил в недоумение всех знавших его; иногда же, наоборот, он унижался до крайности, до невозможности.

Все эти резкие перемены в одном и том же человеке не были следствием бесхарактерности или недомыслия; напротив, все эти контрасты вытекали из одного общего, неиссякаемого источника доброты и великой любви к ближнему»⁹³. И Рфозль Нозир вытворяет удивительные с точки зрения здравого смысла и прописных истин вещи, вроде того, что отбирает у шайки воров украденный кошелек и возвращает владельцу, или требует закрыть шикарный, по провинциальным меркам, мануфактурный магазин ввиду приближения субботы (и в благодарность получает увесистую оплеуху), или обличает откупщика в его же доме, утверждая, что «откуп – дело богопротивное, ... гнездо воровства, грабежа, беззакония, ... вертеп разврата и мошенничества»⁹⁴. Точно и метко называет Богров своего «ортодокса» «юродивым евреем»⁹⁵, и можно не сомневаться, что авторская позиция имеет мало что общего с жизненными принципами «юродивого». Об этом впрямую, в самом тексте свидетельствуют полторы странички, посвященные воинственной, агрессивной нетерпимости «старых времен», когда русское еврейство окружало себя «непроницаемой китайской стеной, через которую не мог свободно пробиться ни один луч европейской культуры»⁹⁶, а также, и в еще большей, пожалуй, мере, своего рода трактат об откупе, непосредственно предшествующий противоткупной инвективе раби Рфозля. Уже в «Записках еврея» Богров находил для откупной системы не только слова осуждения: служба по откупу, утверждал он, избавляла еврейское юношество от «фанатической рутины, мешавшей всякому вольному движению к слиянию с русским элементом», от власти «еврейского общественного мнения, существенно душившего всех

⁹² Там же, стр. 260.

⁹³ Там же, стр. 264.

⁹⁴ Там же, стр. 307.

⁹⁵ Там же, стр. 304.

⁹⁶ Там же, стр. 287.

действовавших и живших не по общепринятой программе»⁹⁷. В «Ортодоксе» эти сравнительно осторожные утверждения поднимаются до панегирической ноты.

«Пусть тот, кому любо, примет мои слова за парадокс, пожалуй, за злую, едкую иронию, но я все же искренно, с неподдельною серьезностью готов утверждать, что откуп был одним из первых стимулов настоящего прогресса русско-еврейской культуры; что отцы-откупщики, косвенным образом, были главными двигателями этого прогресса, первыми педагогами значительной части пионеров еврейской интеллигенции»⁹⁸.

Я не решаюсь процитировать полностью – это было бы слишком, непропорционально длинно. Я только хочу обратить внимание читателя на смелость Богрова: панегирик еврейскому откупщику, фигуре повсеместно, чуть ли не единодушно осуждаемой, а не то и прокливаемой, требовал немалой интеллектуальной отваги. Но, не решаясь цитировать полностью, не могу не привести еще нескольких строк, разъясняющих суть дела:

«Роль, разыгрываемая еврейско-откупными персонами, привлекала подражателей из среды молодого еврейского поколения. Таким образом зрело и крепло тяготение еврейской молодежи к русской грамоте, так что потом уже, когда законодательство распахнуло пред еврейством дверь храма науки, оказалось, что первый, труднейший шаг был сделан раньше... К великим целям образования и культуры еврейству старого времени приходилось протискиваться сквозь подвортю, пробираться по черному двору... Еврейство ли тут виновато?»⁹⁹

Если и за всем тем автор-рассказчик, который в данном случае, вне всякого сомнения, совпадает с Григорием Богровым, восхищается своим «ортодоксом» как несравненным и недостижимым образцом моральной чистоты и силы, это может означать только одно: перемену позиции, или, точнее, важную поправку к прежней позиции, конец тотального разоблачительства, привлечшего к «Запискам еврея» и его автору сердца многих тайных и явных недоброжелателей его племени. И потому, когда Богров оговаривается: «Да сохранит меня Бог от преступного намерения оскорбить самолюбие интеллигентной части моей родной, искренно любимой нации»¹⁰⁰, этому объяснению в любви верится больше, чем подобным же декларациям, увидевшим свет ранее.

Рфозль выписан убедительно, и убедительностью своею этот еврейский праведник обязан, в первую голову, собственной, так сказать, экстравагантности, экстраординарности, тому, что он – «юродивый». Поэтому самые удавшиеся эпизоды повести – контрастные, где праведник действует на фоне несправедливого мира и вступает с ним в столкновение; лучший из них, на мой вкус, – ярмарка, с балаганами, пьяницами, жуликами и воровской шайкой¹⁰¹.

⁹⁷ Там же, т. второй, стр. 163.

⁹⁸ Там же, т. четвертый, стр. 296.

⁹⁹ Там же, стр. 300-301.

¹⁰⁰ Там же, стр. 300.

¹⁰¹ Там же, стр. 272-281.

Если «Ортодокс» позволяет судить о степенях удачи, то незаконченный роман «Накипь века» неудачен весь; я ставлю эти два названия рядом лишь по причине определенного сходства посылов – за традиционными еврейскими ценностями признается известное значение, безудержная ассимиляция отвергается и осмеивается.

Богатый провинциальный делец Лазарь Иванович (!) Димент запутался в собственных темных делах, все его доходы уходят на взятки, он живет в долг. Дочь и сын кончили гимназию и продолжают учение в столице, еще одна дочь ничему не училась, это цельная натура, любимица бабушки, единственной хранительницы еврейского духа в семье. Столичный сын – циник и хищник, прикрывающийся громкими словами о служении человечеству. Он ненавидит евреев, верность своему народу объявляет пережитком, равно как и почтение к родителям, любовь и т.д. Он участвует в каком-то революционном «кружке» (народническом? социалистическом?). Сестра, «стриженная», несравненно лучше брата, но полностью под его пагубным влиянием. Оба приезжают на каникулы в родительский дом, надеясь выманить еще денег у отца. Но сын, по глупости и высокомерию, ведет себя слишком вольно с «чинушей», от которого зависит его отец, тот подает векселя отца ко взысканию – и Лазарь Иванович разорен, надежда на его щедрость испарилась. Тогда сын, для пополнения опустевшего кошелька, соблазняет супругу аптекаря, даму весьма передовых взглядов и едва ли не клинической глупости, и, в сопровождении сестры и аптекарши, возвращается в столицу, где его арестуют, видимо – по делу о «кружке». В провинции под арест попадает наставник младшей дочери Лазаря Ивановича; он также был причастен к петербургскому «кружку», но давно порвал с ним, предпочтя конкретные интересы родного народа туманным перспективам счастливого будущего всего человечества.

На этом роман обрывается.

Уже из краткого, чтобы не сказать «кратчайшего», пересказа очевидно, что «Накипь века» – несколько запоздалый, через двадцать без малого лет после публикации «Отцов и детей», вариант антиингилистического романа. В качестве такового он, как мне видится, не представляет ни малейшего интереса со своими заемными фабульными ходами и картонными персонажами. Чего стоит одна аптекарша, безошибочно напоминающая тургеневскую Кукшину! Но в качестве *еврейского* варианта некоторыми своими деталями он внимания все же заслуживает. Прежде всего или, пожалуй, даже исключительно деталями публицистического свойства. Вот, например, идет рассуждение на тему неприкаянности молодого поколения ассимилированных евреев или, по крайней мере, части его. Такого сорта люди, как брат и сестра Димент, – «беспочвенники»: «Еврейство их чужается, точно так же, как они чужаются еврейства. ... От своих они отстали, а к чужим не пристали. Что им делать с собою? Где приютиться? К кому прилепиться?» До сих пор всё довольно плоско, но ответ, который находит Богров, неожидан: оказывается, обескоренных евреев готовы принять в объятия враги существующего порядка вещей, т. е. революционеры, «такие же недовольные, как они сами, хотя и по иным совсем причинам. Новая среда, не признавая

национальной, религиозной или сословной розни, принимает их братски. «Вот с кем можно вполне слиться!» – восторженно восклицают единичные еврейские юноши, дошедшие до отчаяния от прижимающих их к стенке жизненных неудовлетворенных запросов, и, на первых порах, действительно сливаются. Но это слияние преходящее, моментальное, до первого разубеждения, до первого разочарования. Охлаждение наступает быстро, и тогда связь безвозвратно порвана»¹⁰².

Богров был настроен слишком радужно: еврейская молодежь к российской революции отнюдь не охладела, ни чуть позже, когда обнаружилось, что народовольцы приветствуют погромы как проявление народной самодеятельности, ни много позже. Кажется, он и сам понял свое заблуждение. Через два года после того, как приведенные выше слова появились в «Рассвете», он писал: «...То обстоятельство, правда, весьма прискорбное для еврейства, что с возникновением в России так называемого нигилистического учения нашлись такие еврейские единицы, которые, махнув рукой на свое племя и его благо, на свои родные семьи, на своих друзей-евреев, прилеплялись к заблуждавшимся молодым людям из христиан, можно объяснить тем, что приставали они единственно потому только, что там их принимали, без сомнения, искренно, как братьев. Последнее обстоятельство так льстит самолюбию еврея, что ради этого он готов поставить на карту свою карьеру, свою будущность, даже свою жизнь»¹⁰³. Какое уж тут может быть «разочарование» или «охлаждение»?

И еще одно замечание напрашивается в связи с этим и поныне щекотливым сюжетом. В те же годы, что публиковалась в «Рассвете» «Накипь века», сотрудничал в журнале Николай Минский, в ту пору еще не родоначальник декаденства в русской поэзии, а русско-еврейский публицист, печатавшийся под псевдонимом Норд-Вест. Полемизируя с Сувориным, ставившим евреям в вину, среди прочего, и то, что они отравляют русскую молодежь революционным ядом, Минский оборачивал против врага его же собственное оружие: не мы отравляем вашу молодежь, а вы – нашу. «Отравляем» или «одушевляем» – это вопрос вкуса, вопрос такта, вопрос политических убеждений и взглядов на историю, но что касалось взаимовлияния, Минский был безусловно прав, и в правоте своей был близок к Богрову, хотя и выражалось это несколько парадоксально¹⁰⁴.

Признавая пагубность стремительной и поверхностной ассимиляции, признавая ценность за национальными устремлениями и даже за национальной культурой, Богров, в то же время, нисколько не стесняясь противоречием, остается непримиримым, ожесточенным врагом всего старого уклада в целом и во всех его деталях, иначе говоря – всего того, с чем как-то находил общий язык в «Ортодоксе». Когда в пассаже «от автора» заходит речь о благотворных переменах в России (очевидным образом имеется в виду «оттепель» после

¹⁰² «Рассвет», 1880, № 39, столб. 1550.

¹⁰³ «Новое время», 1882, № 2134, цит. по: Н. А. Бухбиндер, ук. соч., стр. 65.

¹⁰⁴ «Рассвет», 1880, № 10, столбцы 390-398 («Письмо г. Незнакомцу»).

смерти Николая Первого), которые затронули и евреев, Богров вдруг раздражается инвективою: «Между неофитами европейской культуры и представителями мракобесия старых времен возникла самая резкая рознь. Но как ни была ожесточенна эта борьба тьмы со светом, первой все-таки не удалось законопатить широкие бреши, пробитые веком в твердых окаменелого, застывшего фанатизма и суеверия»¹⁰⁵. Это неулаженное, непримиренное противоречие ощутимо у Богрова до конца его жизни и писательства.

Оставшиеся тексты из того же блока «рассветной прозы» проигрывают уже рассмотренным, даже не сложившемуся (выражаясь самым щадящим образом) роману. За громким, столь прижившимся в русской литературе названием «Кого винить?» следует стократно известная история «падшей женщины», неудачно пытавшейся покончить с собою. Ее еврейское происхождение и крещение ничего любопытного в эту, увы! банальную историю не приносит. И на риторический вопрос, вынесенный в заголовок и повторяющийся в заключительной фразе, ответа, конечно же, нет. «Перст Божий» в одноименном рассказе поражает самозванца, выдающего себя за немца, лютеранина и врача, а на самом деле он польский еврей, шарлатан и беглый муж, не желающий содержать жену и двоих детей. Любопытен лишь крохотный, но многозначительный штрих: «Оказалось, что этот выходец из Польши занимался на чужбине не совсем благовидными делами, эксплуатируя сердобольное заграничное еврейское общество, слепо верующее во всякие небылицы, распространяемые беглыми из России о своем отечестве, где, якобы, они преследуются как невинные жертвы вопиющей несправедливости»¹⁰⁶. Благонамеренное, патриотическое свидетельство о том, что «у нас» с евреями все не так уж плохо и не надо верить клевете злонамеренных? Выходит, что так, и это нам слишком хорошо знакомо по недоброй памяти советским временам, и это скверно пахнет, чтобы не сказать смердит.

Почти в одной плоскости с патриотическим свидетельством лежит еще одна, на этот раз, к сожалению, достойная пристального внимания декларация. «Вампир» – рассказ о несостоявшемся кровавом навете, а не состоялся он по благоразумию и честности уездного исправника, который знал, кто таков ночной посетитель, которого «накрыли» в чужом помещении, с чужим младенцем на руках: то был лунатик, которого, по оплошности, не заперли на ночь снаружи. Исправник внушает автору-рассказчику: «...Вы непременно должны написать, где следует, что ... если все ваши евреи жалуются на властей, то они своего положения не понимают. Они держатся только нами, власть имеющими: дайте волю невежеству, да разным Метелкиным, этим безжалостным хорькам, и евреев передушили бы, как кур»¹⁰⁷. Метелкин – это тамошний, местный корреспондент столичной газеты, которого исправник многократно отрекомендовывает «либералом» и который уже успел тиснуть подробный отчет об

¹⁰⁵ Там же, № 41, столб. 1633.

¹⁰⁶ Там же, № 8, столб. 313.

¹⁰⁷ Г. Богров, Собрание сочинений, т. пятый, стр. 168.

«ужасном происшествии», с призывом к «наивным людям» понять, наконец, что обвинения евреев в кровопийстве – не предрассудок и не выдумка. Союз самозванных «либералов» с народом (можно называть его чернью, серым народом или, как здесь, абстрактным словом «невежество», это дела не изменит), такой союз смертельно опасен, и только власти способны от него оборонить. Не то же ли заключение *mutatis mutandis* вынесла из опыта революции 1905 года та часть российской интеллигенции, чьи взгляды выразил сборник «Вехи»? Несправедливо было бы не отдать должное чутью Богрова. А не сказать ли лучше – прозорливости?

Вся «рассветная проза», кроме «Мариамы», печаталась до начала Великих погромов 1881-1882. Тем любопытнее, что за полгода до погромной волны Богров выступил с рассказом на эту тему, которой только предстояло ворваться в русско-еврейскую жизнь и литературу. В очередной раз не станем гадать, когда рассказ был написан, но события, в нем изображаемые, погром в Одессе, относятся к 1871. Это был первый российский погром в Новое время, как бы матрица, стереотип всех будущих погромов, с одним, но чрезвычайно существенным различием: человеческих жертв и садистских искалечений не было. Но все остальное было, в том числе и изнасилования. Изнасилование и служит фабульным стержнем рассказа «Книжница»: жертва его, семнадцатилетняя девушка, считает себя «опозоренной и оскверненной» навеки и расторгает помолвку. «Жених на коленях просил, умолял, плакал... ничего не поделаешь! Говорит: «Жизнь мою без колебания за тебя отдам, а женою твоею не буду. Я пойду в люди служить, буду горничной, судомойкой, чем угодно буду, а тебя связать по рукам и ногам не хочу! Ни-ни!» И рассказывающий историю обесчещенной девушки неожиданно заключает: «Клара по бабьему капризу сама отталкивает от себя свое счастье. Фанаберья она, вот что! Известное дело – дура набитая! Книжница!!»¹⁰⁸.

Несмотря на психологически эффектную концовку рассказ не вытягивает на подлинно трагическую высоту, которую хотелось бы найти в этом случае – как бы при открытии страшной и великой линии, на которой стоит и «Во граде истребления» Хаима Нахмана Бялика («Сказание о погроме» в русском переводе Жаботинского).

Но рядом с «Книжницей» должна быть поставлена «Мариама», и в этом сопоставлении первая крупно выигрывает.

Что «Мариама» была напечатана редакцией «Рассвета» как прямой отклик на погромную кампанию, открывшуюся в апреле 1881, явствует из нескольких вступительных слов: «История еврейства, в продолжении тысячелетних его скитаний и кочеваний по всем странам мира, изобилует такими кровавыми эпизодами, такими мрачными общими и частными картинами былого, что настоящее и ближайшее будущее, в каком грозном виде они ни представлялись бы в действительности или в возбужденном воображении, едва ли в состоянии поколебать тот дух национального стоицизма, который так характеристичен в цепкой живучести иудейского народа»¹⁰⁹. По-

¹⁰⁸ Там же, стр. 78-79.

¹⁰⁹ «Восход», 1883, №№1 – 2, особое приложение, стр. 1.

добный «эпизод», а, говоря проще, погром, случившийся, по прямому и особо выделенному сообщению автора, в 1637, т. е. за одиннадцать лет до начала хмельничины, т. е. как раз или почти в ту пору, к которой относится действие «Еврейского манускрипта», составил фабулу «Мариамы». Ко всем слабостям исторического повествования у Богрова, отмеченным при попытке разбора романа, добавляются романтические штампы, совсем, казалось бы, несвоевременные, в манере, скорее всего, Вальтера Скотта: немислимая красавица-еврейка, кончающая с собою, чтобы избежать бесчестия, верный слуга, тайно влюбленный в молодую госпожу и погибающий с нею вместе, и т.п. Повторю: рядом с этим набором штампов приземленное, сероватое повествование «Книжницы» производит благоприятное впечатление. Но другая спутница «Мариамы» – маленькая повесть «Мэри»: они были напечатаны вместе, в тех же номерах ежемесячника «Восход», под общей, объединяющей «шапкою» – «Былое», и с извещением, что «Мариама» – перепечатка из «Рассвета».

В «Восходе»

«Восход», самый долговечный и многие годы единственный русско-еврейский периодический печатный орган, выходил в Петербурге с 1881 по 1906. С 1882 печаталось также еженедельное прибавление «Недельная хроника Восхода», где, напомним, появилось письмо Богрова о выходе из редакции «Рассвета»¹¹⁰. В «Восходе» Богров в первый и последний раз облек в художественный вымысел свои думы о погромах 1881-1882 годов. Как горьки были эти думы! И как ничего общего не имели с былым – вопреки «шапке»!

Фабула «Мэри» укладывается в несколько слов: молодая еврейка из ассимилированной, просвещенной семьи любит русского чиновника и готовится принять крещение и выйти замуж, но погром образумливает ее. Она сама рассказывает свою историю. Отец Мэри, «городовой врач», никаких связей с еврейским обществом своего города где-то в черте оседлости не поддерживал и к «большинству населения», т. е. к христианам, испытывал куда больше симпатии, чем к своим единоверцам. Но если речь заходила о перемене веры, он говорил Мэри и ее брату:

«Нет, дети, этого пока еще делать не следует. Как я отношусь к подобного рода метафизическим вопросам, вы ведь хорошо знаете; знаете также и то, что я считаю верхом неблагоразумия жертвовать своими сердечными влечениями или жизненными задачами без глубоких убеждений, из-за какого-то донкихотства, даже вероисповедного; но в настоящий момент, в данном случае, было бы крайне неделикатно, наконец, преждевременно отставать от тех людей, к которым, с формальной стороны, причисляемся и мы. Нечестно выгораживать себя из прочих в такое время... Дождемся лучших для ев-

¹¹⁰ О «Восходе» см. мою статью «Восход» – главный журнал русского еврейства в: "Cahiers du monde Russe et sovietique", XXVIII(2), 1987, pp.173-182/

реев дней, и тогда... По крайней мере, никто не посмеет обвинять нас в своекорыстии, в продажности за личные земные блага»¹¹¹.

Эта публичная «декларация принципов» полностью совпадает с тем, что было сказано четыре с лишним года назад в частном письме Богрова к Леванде, которое я подробно цитировал в конце первого раздела моего очерка. Отсюда следует, что Мэри, ее семья, внутренний слом, этой семьей переживаемый, – не такая же «изящная словесность», беллетристика, как, скажем, «Вампир» или даже «Книжница» и «Мариама», но прямая и адекватная *авторская* реакция на изображаемые события.

За два дня до назначенного срока крещения, которое Мэри готовилась принять вместе с братом, а затем и отец, предполагалось, последует за своими детьми, в городе разражается погром, «зверство невероятное, невообразимое», «поход сильного против слабого»¹¹². Толпа «низшего класса», вне зависимости от пола, отзывается единодушно: «Хоть бы одно слово сострадания, хоть бы малейший намек на сочувствие, напротив, со всех сторон одни оскорбительные насмешки, унижительные клички, злорадство, гиканье, хохот и страшные угрозы против всех жидов...»¹¹³. Но, вспоминает Мэри, «более всего меня возмущало то, что одинаково злорадствовали и бушующая сволочь, и обладатели щегольских карет, во множестве тут же присутствовавшие и принадлежавшие к числу хороших моих знакомых»¹¹⁴. В числе последних оказывается и жених Мэри: щегольски одетый, «небрежно прислонившись к дверцам одной из наиболее шикарных карет, ... он поминутно окидывал взорами широкое поле неистовства, саркастически злобно улыбаясь». И если до того дня всепоглощающая любовь к жениху была для Мэри путем к «словам веры и любви Евангелия», то теперь она спрашивает себя: «Тот ли этот редкий человек, который впервые озарил меня светочем великой идеи христианской любви? Тот ли, который так красноречиво убеждал меня и *убедил*, что все величие *истинной* веры состоит всего в трех словах: «люби своего ближнего»?»¹¹⁵.

Первым принимает решение старый врач: он отказывается креститься. Сын укоризненно спрашивает его: «Разве ты не последуешь за нами?» – «Теперь... после сегодняшнего... нет, не хочу... не хочу я в ту среду. В гостях хорошо, может быть, но дома лучше. Жидом я родился, умру же я человеком... Это мой протест»¹¹⁶. Протест, возможно, не самый энергичный, а впрочем много ли было реальных возможностей у старика? Вспомним горчайшее заклинание из «Записок еврея»: «Не родись евреем». Рождение – в руках судьбы, но сознательный выбор – в руках человека. Не на известнейшие ли

¹¹¹ «Восход», 1883, № 1-2, стр. 110.

¹¹² Там же, стр. 122, 127

¹¹³ Там же, стр. 123.

¹¹⁴ Там же, стр. 131. Возмущение Богрова и его героини в точности отвечает гневу Льва Леванды; см. мою статью о нем: «Вестник Еврейского университета в Москве», № 3(10), стр. 121-122.

¹¹⁵ «Восход», 1883, № 1-2, стр. 133-134.

¹¹⁶ Там же, стр. 124.

в еврейской традиции слова рабби Акивы из талмудического трактата «*Пиркей Авот*» «Все предопределено, свобода же дана» намекает доктор, а вместе с ним и Богров?

Тот же выбор делает и Мэри, но объясняет его и по-иному, и менее лаконично: «...Я намеревалась оставить свое племя не ради вас, не ради вашей любви только; я с самого детства срослась душою с христианским обществом, все мои симпатии влекли меня к моим сверстницам-христианкам, к моим подругам. С еврейскою молодежью я ничего общего не имела и иметь не желала. Я знала, что еврейское общество ненавидит нашу вольнодумную семью. Не встретиться я с вами, не полюби я вас, я все-таки раньше или позже перешла бы в христианство, потому что пред великой идеей любви к ближнему я всегда благоговела; но те, в том числе и вы, к которым я желала прилепиться всеми силами своей души, доказали мне сегодня, что... как бы это выразить?... что для того, чтобы ужиться с вами, надобно быть не простым смертным, а именно божественным спасителем, надобно сознательно принести себя в жертву...»¹¹⁷. Сбивчивость объяснения в какой-то мере оправдывается взволнованностью монолога, а с другой стороны – иронией. Но смысл – тот же: пассивный протест. Любопытно, что молодость, в отличие от старости, не исключала и активную форму протеста, но непримиримо враждебная атмосфера действует отрезвляюще: «Сознаюсь, я сама возмущалась растерянностью с виду сильных евреев перед подростками или мертвецки пьяным мужичьем. Эта очевидная трусость евреев удивляла меня тогда, но теперь я, напротив, радуюсь за евреев и их тактичность: при той беспомощности евреев, при том общем недоброжелательстве и равнодушии, какие встречали они со стороны власть имеющих людей, всякий энергический отпор, всякая личная оборона, допускаемая законом, увеличили бы только беду, и единичные насилия могли бы перейти в поголовную резню и избивание...»¹¹⁸. Если мерить эту трезвость меркою сегодняшнего дня, она очень легко может обернуться и подлостью, но в годы Великих погромов и позже между лидерами еврейства разных масштабов, местными и общероссийскими, не было согласия, что разумнее, предпочтительнее, полезнее, наконец: организовывать самооборону или полагаться на защиту властей, какую бы ненадежною она столь часто ни оказывалась. Трезвость Мэри – зеркало этих разногласий.

Но есть две фразы в объяснении Мэри с женихом, от которого она отказывается, фразы, рискующие пройти незамеченными, ускользнуть от внимания читателя: «Я остаюсь, говорю вам, остаюсь навсегда жидовкой. Я полюбила, сегодня полюбила я свое несчастное племя!»¹¹⁹. Между тем, в них-то и заключена суть ее решения, суть выбора: отказ от чужого, от слияния с чужим, от ассимиляции, возвращение к своему. Можно найти немало примеров и в жизни, – в наблюдениях социальных психологов, – и в литературе, примеров того, как общее бедствие сплачивает рыхлую или разрыхлившуюся

¹¹⁷ Там же, № 3, стр. 14-15.

¹¹⁸ Там же, № 1-2, стр. 130.

¹¹⁹ Там же, № 3, стр. 15.

прежде группу. Я бы хотел привести только одну параллель, из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», где пожилая женщина-врач, давным-давно забывшая о том, что она еврейка, совершенно случайно попадает в эшелон, который идет в лагерь уничтожения, и там, в неимоверной скученности вагона для скота, и позже, в «предбаннике» газовой камеры, не столько осознает, сколько впрямую, непосредственно ощущает свою неотторжимую принадлежность к еврейскому народу, к «телу народа», как выразился Гроссман.

Но если еврейке из романа Гроссмана остается только выйти дымом из трубы крематория, то Мэри, ощутив себя еврейкой, способна и на следующий шаг: «Мы с братом целые дни проводим с еврейскою молодежью. К нам охотно пристают. Мы затеваем колонизацию там, где судьба нам укажет»¹²⁰. Где начнет, или, точнее, попытается начать Мэри новую жизнь в окружении новых друзей, неизвестно – колонизационные проекты в ответ на погромы появились во множестве, – но что жизнь эта видится ей своею, еврейской, а не чужою, сомнений не остается.

Если бы «Мэри» оказалась последним словом Богрова в художественной прозе, как было бы хорошо! Тогда Григорий Богров прошел бы параллельный двум первым отцам-основателям путь, от ассимиляторства до национализма, ассимиляторства, в его случае, безудержного и национализма вполне понятного и оправданного. К тому же и чисто литературно повесть была бы счастливым финалом: она хорошо выстроена, неплохо написана, а в картинах погромного буйства поднимается и до настоящего мастерства, рожденного, как мне представляется, силою гнева.

Но, увы, на другой год (1884) Богров напечатал в первых пяти книжках «Восхода» повесть «Маниак» (в авторском понимании – «рассказ»), с подзаголовком: «Небывалый случай из жизни молодого психиатра». Ту самую, о которой, напомним, Дубнов заметил походя, что она отмечена следами старческого маразма. Маразм или нет, но более неудачного слова «под занавес» и представить себе нелегко.

Молодой человек, от имени которого идет повествование, закончив учение в университете, приезжает повидаться к сестре. Он знакомится с кладбищенским сторожем и его дочерью, которые, оба, страдают галлюцинациями (их регулярно навещают души умерших), да и психика начинающего психиатра оставляет желать лучшего, в чем он и отдает себе отчет. Как-то ночью его будит дочь сторожа и чуть не силой тащит на кладбище, уверяя, что пришел Мессия и мертвые восстали из могил. И правда, на месте могильных камней стояли повсюду призраки в белых саванах, а среди них разгуливал некий великан в молитвенной шали (талите), распевавший псалмы. Великан, он же, как извещает девушка, Мессия, сокрушительным ударом кулака лишает рассказчика сознания. В дальнейшем выясняется, что это был городской сумасшедший (еще один маниак!), который помешался на том, что Бог повелел ему целыми днями подражать звуку ритуального рога (шофара), созывая избранный народ навстречу Мессии. Он взломал склад с бельем по соседст-

¹²⁰ Там же, стр. 16.

ву, перетащил все, что смог, на кладбище и обернул, укутал надгробья, после чего упустил из виду, что это дело его же рук, и бросился к сторожу с великим известием о воскресении мертвых. Полиция пытается поймать взломщика, но он исчезает бесследно, вместо него за решетку, в качестве сообщника, попадает старик-сторож, который через несколько дней и умирает, его дочь «окончательно помешалась и сдана в больницу для умалишенных», о себе же рассказчик сообщает: «Маниак окончательно рехнулся... Около года я промучился в желтом доме... Во все время моей страшной болезни я был во власти разных мессианских галлюцинаций, из числа которых припоминаю теперь только беспорядочные, непоследовательные отрывки»¹²¹.

Эти отрывки составляют две трети повести, а пересказанная мною выше «рамка», в которую они вмонтированы, – одну треть. Уже рамка читается с некоторым напряжением: она непомерно длинна и неправдоподобна. Но «мессианские галлюцинации» – это, действительно, хаос, продираться через который чрезвычайно утомительно, в частности, а может быть, и в особенности – из-за повторов, которые не могут не раздражать даже самого покладистого читателя. Возникает впечатление не умышленного беспорядка, отражающего разброд в больной голове, но обыкновенного неумения выстроить, организовать материал, впечатление композиционной беспомощности.

Выражение «мессианские галлюцинации» подсказывает, что содержание маниакального бреда – это будущее еврейского народа на древней родине, иначе говоря, идеи палестинофильства (протосионизма), как они выглядели на завтра после Великих погромов. Суть отношения Богрова к этим идеям была, как упоминалось, выражена в статье «Община и порядок», которая появилась (в «Русском еврее») годом раньше «Маниака». Исходя из того, что народ не готов к возвращению и к самостоятельной государственности ни физически, ни духовно, Богров предрекал катастрофу, если бы чудо возвращения вдруг совершилось. Теперь, в безумных видениях маниака, которому мнится, будто весь еврейский народ со всего света вновь водворен в Палестине, он эту катастрофу расписывает детально.

Установится причудливая смесь анархии с теократией, с «владычеством цадиков, хасидов, раввинов и всех их прихвостней», «теперь капиталисты лебезят перед цадиками, ... теперь все гешефты, все финансовые наиболее выгодные комбинации зависят от благоволения и соизволения религиозных светил, забравших в свои ежовые рукавицы всю народную массу. Капиталисты – народ опытный, практичный: они с прежних времен научились чтить силу и гибко гнуться туда, где выгоднее, прибыльнее»¹²². Тем не менее, в некоем подобии всенародного собрания «главные запевалы денежной буржуазии, бывшие в свое время, так сказать, *красой* русского еврейства»¹²³, занимают самое почетное место, близ самой трибуны, а са-

¹²¹ «Восход», 1884, № 5, стр. 125-126.

¹²² Там же, № 2, стр. 62-66.

¹²³ Там же, стр. 68.

мое скверное, самое незавидное отведено интеллигенции, за то что она была равнодушна к нуждам народа. Все бы ничего, все можно было бы как-то примирить, если бы походя не было скомпрометировано или, во всяком случае, поставлено под сомнение само представление о народе: «...Видишь? – миллионная толпа. Это слеповедущая, суеверная и трусливая чернь. ... Не видишь разве, как невежественная чернь, науськиваемая ортодоксами, ... третирует нашу жалкую интеллигенцию, как ее осадили в самый хвост народного скопища?»¹²⁴. Но если миллионная масса – не народ, а всего лишь толпа или еще того хуже, чернь, то, может быть, интеллигенция не так уж и неправа в своей равнодушии? И не теряют ли смысла объяснения в любви к народу в устах одного из этой интеллигенции – Григория Богрова?

Не имеет смысла разбирать пункт за пунктом все, что происходит и говорится в «народном собрании». Отчасти, эти пункты, нам уже известны – например, оценка писателем еврейского «духовенства» или «плутократии», отчасти переступают границы разумного и хоть мало-мальски правдоподобного: толпа линчует неугодного ей оратора; высказывается убеждение, будто «с нашим народом справиться можно только дерзостью и нахальством»¹²⁵. Вместо такого разбора, который был бы, к тому же, смертельно скучен, обратимся к своего рода итогам образумившегося маниака. Вот к чему он приходит, «радикально исцелившись не только физически, но и умственно»¹²⁶:

Израильский народ будет терпеливо отстаивать свое существование до тех пор, пока не воскреснет к «новой политически самостоятельной жизни правоспособного, здорового, сильного и разумного народного организма. С этой стороны горячая вера евреев в пришествие Мессии естественна и похвальна, теплые молитвы, возносимые ими к своему разгневанному Иегове, в этом смысле умилительны, трогательны, даже поэтичны, но...» Но молитва, понимаемая буквально, молитва о том, чтобы оказаться в Земле Обетованной уже в будущем году, не имеет никакого смысла! «В будущем году? Уже? В Иерусалиме? В качестве кого же мы можем очутиться там? Простого ли туриста или народа-собственника, возвратившегося в свое отечество после долговечной ссылки?»¹²⁷. Следуют многократно высказывавшиеся Богровым мысли о том, что для подготовки народа нужны неисчислимые годы совершенно иной жизни, нежели та, которую евреи влачат теперь, нужно избавиться от многих привычек, обычаев, повадок, нужна религиозная реформа, нужен не только Мессия, но «тысячи, сотни тысяч ... святых народных руководителей»¹²⁸.

Каждый способен судить сам, в какой мере оказался Богров провидцем. Но намного более любопытным представляется мне

¹²⁴ Там же, стр. 68-69.

¹²⁵ Там же, № 3, стр. 131.

¹²⁶ Там же, № 5, стр. 126.

¹²⁷ Там же, стр. 126-127.

¹²⁸ Там же, стр. 127-128.

другой, хотя и смежный вопрос: не слишком ли сурово было его даже не обличение, а бичевание российского еврейства? Вслушаемся в самую последнюю страницу «Маниака»:

«...Наше русское еврейство с его житейскою бестактностью и неумением обходиться без посторонней помощи, с его узким эгоизмом и волчьей разрозненностью, с его мелочным тщеславием, с его национальной заносчивостью, с его неуважением к тяжелому физическому труду, с его изуродованными традиционными обычаями, с его тупым благоговением перед силою богатства, ... наше польско-русское еврейство в том виде, в каком оно представилось мне в бреде моих галлюцинаций, не доросло еще до роли освобожденного и годного к самостоятельной жизни народа...»¹²⁹.

И хотя он прибавляет: «А впрочем, быть может, я ошибаюсь, преувеличиваю. Мало ли что пригрезится маниаку в его диких галлюцинациях! Дай Бог, чтобы я ошибался!» – пустота, сугубая условность этой оговорки не вызывает сомнений. Последним словом еврейского писателя Богрова осталось тотальное обвинение, не смягченное ни единым светлым пятнышком, ни единым теплым словом.

Он как будто забыл возвещенное Исайей (40:1): «Утешайте, утешайте народ Мой!»

ИТОГИ?

«Утешайте, утешайте народ Мой!» – эти слова звучат с синагогальных амвонов в богослужении первой субботы после скорбного праздника Девятого Ава, справляемого в память о многих бедствиях в еврейской истории, включая гибель Первого и Второго храмов и изгнание из Испании. Это Сам Всевышний призывает утешать Его избранный народ: на смену гневу и карам пришло сострадание.

Но как раз даром сострадания Григорий Богров наделен не был. В отличие от двух первых отцов-основателей, которые, особенно Леванда, могли сердиться на своих «братьев» не менее яростно, могли «обличать» их не менее ожесточенно, но чуть ли не в следующий миг остывали, отходили сердцем, утешали пониманием, сочувствием, ласковою улыбкой, иначе говоря, той самой «любовью к своему народу», которую так часто и охотно декларировал Богров и которой, по моему крайнему убеждению, просто-напросто не знал. Прежде всего, по той причине, что, опять-таки в отличие от Рабиновича и Леванды, не ощущал себя его органической, неотъемлемою частью и даже, в известной мере, противопоставлял себя ему (чего стоит хотя бы физиологическая, я бы сказал, неприязнь к типично еврейской наружности).

Это тотальное неприятие всего еврейского особенно бросается в глаза по контрасту даже не с русско-еврейской литературой (современной Богрову или во всем ее хронологическом объеме, без-

¹²⁹ Там же, стр. 128.

различно), а с литературой на идише, с ее «звездой» самой первой величины, с Шолом-Алейхемом.

Отсюда, от всеохватной постылости, уже всего шаг до прямого самоотрицания, самоненавистничества. Несмотря на позднее крещение, принятое, по утверждению Цинберга (может быть, читатель-другой и не забыл), «по семейным обстоятельствам», Богров этого шага не сделал. В доказательство приведу отрывок из письма Бориса Пастернака, поэта и Нобелевского лауреата, впервые обнародованного в 1986 году, в ученом журнале «Известия Академии Наук СССР» и с тех пор неоднократно перепечатававшегося в разных, в том числе массовых изданиях, т. е. сегодня широко известного; письмо адресовано Максиму Горькому и датировано седьмым января 1928:

«Мне, с моим местом рождения, с обстановкою детства, с моей любовью, задатками и влечениями, не следовало рождаться евреем. Реально от такой перемены ничего бы для меня не изменилось. От этого меня бы не прибыло, как не было бы мне и убыли. Но тогда какую бы я дал себе волю! Ведь не только в увлекательной, срывающей с места жизни языка я сам, с роковой преднамеренностью вечно урезаю свою роль и долю. Ведь я ограничиваю себя во всем. Разве почти до неподвижности доведенная сдержанность моя среди общества, живущего в революцию, не внушена тем же фактом? Ведь писали же Вы в свое время об идиотствах, допускавшихся при изъятых церковных ценностей, и глубоко были правы. А ведь этими изъятями кишит наша действительность на каждом шагу, и не бывает случая, когда бы моя свобода в теперешнем окружении не казалась мне ... неудобной, потому что все пристрастия и предубеждения русского свойственны и мне. Ваянья антисемитизма меня миновали, и я их никогда не знал. Я только жалуюсь на вынужденные пути, которые постоянно накладываю на себя я сам, по «доброй», но зато и проклятой же воле!»

Отрывок с редкостной, на мой взгляд, убедительностью сопоставляется с приводившейся обширной цитатой из «Записок еврея», где ударною фразой служит восклицание «не родись евреем!» То, что у Богрова было сарказмом, риторическим ходом, эффектной гиперболой, у Пастернака приобретает прямой смысл. Русский интеллигент во втором поколении, он не имеет с евреями ничего общего, не испытывает к ним ни малейшей симпатии, да еще несет бремя стыда за еврейские проступки против русского православного люда, вроде бестактного участия евреев в изъятии церковных ценностей. Результат: скованность и в творчестве, в поэзии, и «среди общества», хотя трудно представить себе, как «пристрастия и предубеждения русского», т. е. в заданном контексте, по всей очевидности, антисемитизм, могли найти себе общественное применение в России конца двадцатых годов, родись даже Пастернак чистопороднейшим русаком. И все же еврейское самоненавистничество Пастернака не осталось деталью частной, не предназначавшейся для посторонних глаз переписки: он «свел счеты с еврейством» (его собственное выражение из письма к двоюродной сестре, Ольге Фрейденберг от

13 октября 1946 года, также не раз печатавшегося) и публично, в «Докторе Живаго», где устами выкреста вызывает к бывшим его единоверцам и единоплеменникам: перестаньте существовать, «разойдитесь», вы препятствуете пришествию Царства Божия (Том I, часть 4, гл. 12).

При несопоставимости дарований и места в искусстве слова, Пастернак связан с Григорием Богровым напрямую: он завершает линию, начатую автором «Записок еврея». И не он один. О том же менее эмоционально, зато гораздо более подробно толкует, к примеру, поэт Давид Самойлов в напечатанных посмертно мемуарах: ассимиляция – не только единственный и неизбежный, но и единственно естественный путь еврея в «лоне» русской интеллигенции, ассимиляция полнейшая, с непременным православием в перспективе, только вот торопиться в церковь еврею ни к чему.

Делались декларации, и никак с религией не сопряженные, но в высшей мере решительные и непримиримые: ухожу – и всё тут! И будьте вы все неладны с вашей затхлой, ничтожной, не ведающей ни простора, ни размаха, ни просто свежего воздуха жизнью!

*Я покидаю
Старую кровать.
Уйми?
Уйду!
Тем лучше!
Наплевать!*

Это из знаменитого в свое время стихотворения Эдуарда Багрицкого «Происхождение». Все в еврейском бытии и быте ему невыносимо мерзко, и в этом своем отвращении революционер-большевик, все равно с партийным билетом или без, смыкается плечом к плечу с новоявленными православными и обожателями Святой Руси. И все трое одинаково ведут происхождение от давным-давно забытого автора «Записок еврея». А тех, кто ушел молчком, и продолжает уходить, – легион, и первым кликнул легионерам клич все тот же Григорий Богров.

Нет ничего удивительного, что большая цивилизация, она же цивилизация большинства, притягивает и поглощает носителей цивилизации меньшинства. Скорее удивительно, что в русско-еврейской культуре, вплоть до самой ее ликвидации советской властью, соблазн ассимиляции не нашел хотя бы еще одного столь прямого «агента», как Григорий Богров.

Мой любимый поэт Владислав Ходасевич перевел стихотворение никому не известного, по крайней мере в России, финского поэта Вейкко Коскенниemi, своего сверстника. Что подарил переводчик переводимому, я не знаю, да и не так уж оно и важно. Важно то, что русское стихотворение великолепно. Оно озаглавлено «У костра», фабула его – отречение апостола Петра, но последняя строфа, к Петру же и обращенная, обращена и к нам, к нашей теме:

*О галилеянин! К чужим кострам
Кто в холоде ночи не приближался?
Мы – плоть и кровь твоя, второй Адам!
Кто в оный час с тобой не отрекался?*

Действительно, в известном смысле у чужого костра греется, в тот или иной момент, любой, не только ушедший, но и остающийся, не только Пастернак, но и Бабель, и даже Бялик с Шалом-Алейхемом. Остающийся, однако же, не отрекается от своего костра, не отворачивается от него стеснительно, стыдливо, а, бывает, и гневно. И не забывает о нем. А случается и так, что о своем костре, т. е. культуре, и не знает, и узнать не спешит, но не спешит, не старается спрятаться от общих забот и тревог. Любопытнейшее признание оставила в своих «Записях» историк литературы Лидия Гинзбург: при сверхполном обрусении, сверхполном же отрыве от еврейства ей было стыдно взять псевдоним, скрыться от еврейских неприятностей под русской фамилией. Вспомните письмо Богрова к Леванде в конце биографической главки!

Но почему же «Итоги?», почему вопросительный знак?

Да потому, что они и не полны, и не окончательны.

Не полны – потому что далеки от полноты и мои знания, в чем я не раз на протяжении моего очерка и признавался, и каялся. Не окончательны – потому что кто возьмется, кто дерзнет отвечать на главный вопрос и Григория Богрова, и мой собственный, и, наверняка, твой, читатель: что станет с русским еврейством, выживет ли оно? От того, как решится он, этот главный вопрос, зависит итоговая оценка писаний Богрова, роли, которую они сыграли или, по крайней мере, могли сыграть.

Выходит, что пока итоги наши предварительны. Отсюда и знак вопроса. Но, по-моему, знак вопроса лучше точки.

Будапешт, октябрь 1999 – июнь 2000

Слава КУРИЛОВ. «Путь» – Иерусалим, «ALPHABET», 2000.

На книжных полках у меня немало книг, написанных моими друзьями. Большинство из них появились, как добрые знакомые, о которых ты многое знаешь еще до того, как стихи или проза оказались под книжной обложкой. Казалось, так будет и с книгой Славы Курилова «Путь» – я читала его прозу в журналах «22», «Континент», что-то слышала от него самого. Но эта книга не только для меня стала открытием: включенные в нее известные и неизвестные тексты обрели новый смысл, не расширили, а изменили представление об их авторе. Слава Курилов – легендарный человек; его побег с корабля «Советский Союз», три дня плавания в штормовом океане и спасение-победа уникальны. Все в этом событии, начиная с названия корабля, выверено, как в безупречном сюжете, и одного его достаточно для создания увлекательной книги. Хотя экзотическая яркость биографии вовсе не обязательна для писателя, более того, здесь таятся известные трудности. Большая часть знаменитых книг о странствиях, испытаниях, приключениях, подвигах создана людьми, которые прожили достаточно спокойные жизни. Писателю Курилову пришлось мириться с тем, что его подвиг затмил в глазах читателей все остальное, он оказался пленником своей биографии, человеком-символом. Знаменательно, что Василий Аксенов в аннотации к книге «Путь» назвал его «одиноким Героем Свободы». Это характерно и естественно для времени, когда повесть «Побег» была опубликована впервые.

Но эпоха меняется, и мы по-новому читаем Славу Курилова не только потому, что «когда человек умирает, изменяются его портреты». Перед нами книга об уникальном опыте человека, вся жизнь которого – непрерывный путь, странствие. Оно началось не в 1974 году, не с прыжка с палубы «Советского Союза», а задолго до того; по признанию Курилова, «побег с корабля был духовным испытанием, научно-мистическим экспериментом или познанием себя – как угодно». То, что он назвал «научно-мистическим экспериментом», можно назвать иначе. Вся история и мировая литература, в сущности, не что иное как огромная летопись Странствий. В странствиях – реальных или духовных – люди обретали новый опыт и мистические знания, на этих путях им открывался Бог. «Я попал в незнакомый мне, неизведанный мир, как на другую планету, и этот мир находился внутри меня. Это был мир причин. Я знал все, что происходит вокруг, каждую тайную мысль, каждое побуждение. Я видел первоисточник всех вещей. Я мог передвигаться со скоростью мысли, я был сразу во всех местах. Это был удивительный и прекрасный мир, и я пробыл в нем, как мне казалось, очень долго», – пишет Курилов в новелле «Бог». «Путь» – книга открытий, она не об одном подвиге, а о подвижничестве удивительного человека и прекрасного писателя. Слава Курилов жил рядом с нами и в то же время в особом, недостижимом для нас измерении. И книга «Путь» не вмещается в привычные мерки: в ней захватывающие сюжеты и философские рассуждения; автора не отнесешь к числу пейзажистов или маринистов, но я нигде не встречала такого осязаемого описания таинственной жизни дерева и такого видения океана. Страницы о стихии воды, об океане читаешь и перечитываешь, в

их изображении ощутима особая, мистическая глубина. Есть писатели, слова которых воспринимаешь не просто как литературный вымысел. Слава Курилов писал о новом открытом ему пути, начинающемся там, где море срастается с небом. «Море исчезло. Под нами была бездна, усыпанная яркими звездами... Корабль плавно парил в пространстве в центре одной гигантской сферы... Я взобрался на мачту, удобно устроился и оказался в самом центре Вселенной. Скопление звезд у Млечного пути в одной стороне неба было ярче, создавало густые тени надстроек. Там, внизу, среди звезд, я увидел и собственную тень». Моя попытка рассказать о книге «Путь» не анализ, а скорее переживание прочитанного. Но думаю, что это чувство – лучшее выражение восхищения и благодарности автору, к сожалению, запоздавшее.

Елена Игнатова

Елена АКСЕЛЬРОД, стихи. Михаил ЯХИЛЕВИЧ, живопись. «Стена в пустыне» – Иерусалим, «ALPHABET», 2000.

О стихах, поражающих воображение своей эмоциональной и смысловой энергетикой, на мой взгляд, надобно и говорить стихами. Увы, Господь Бог давно и бесповоротно избавил меня от искушения стать поэтом и по-дружески, как еврей еврею, посоветовал взяться, как говаривал Александр Сергеевич, за презренную прозу. Однако, к счастью, вместо меня и для меня, как и для многих поклонников и читателей поэзии, замечательные стихотворения слагают другие авторы, умеющие извлекать из великого и могучего языка неповторимую музыку.

Имя Елены Аксельрод по праву входит в этот почетный список поэтов милостью Божьей. Новый сборник ее стихов, озаглавленный «Стена в пустыне» и изданный в соавторстве с сыном – высокоодаренным художником Михаилом Яхилевичем, является тому неоспоримым свидетельством.

Как и в предыдущей книге, перед нами тот же храм, который всю свою жизнь терпеливо и честно строит Елена Аксельрод и двери которого распахнуты для всех – и для эллина и для еврея. К стихам Елены Аксельрод, искренним и сокровенным, как записи в дневнике, выросшим на воле, неприменимы такие штампованные определения, как лирический герой, или, если угодно, лирическая героиня. В них живет живой, зажатый между «стеной и тучей», человек, страдающий от повсеместного насилия над личностью, от распространяющейся нравственной недостаточности, от усиливающегося внутреннего хаоса.

О чем бы Елена Аксельрод ни писала – о делах сугубо домашних, о путях и судьбах искусства, о любви и разлуке, о двух своих родинах, – она всегда пытается отделить свет от мрака, найти для себя и для всех нас опору, оживить то и дело впадающую в кому надежду, не спасовать перед вездесущим отчаянием и одиночеством. Может быть, поэтому ее лучшие стихотворения так просветляюще печальны и так ненавязчиво мудры.

*Трагедию сначала сочинять,
Потом ее героем становиться –
Невольник слова – не на что пенять –
Нет воли продохнуть иль протрезвиться.*

*Ослушнику послушен только слух
И музыкой подсказанное слово.
Что небеса? Лишь клочковатый пух,
Покуда нет словесного покрова.*

*Но вымысел твой зова не простил,
Воздал за приглашенье полной мерой.*

*От Черной речки и до «Англетера»,
И дальше, дальше – свист бесовских крыл.*

Да, страшен свист «бесовских крыл», но ангельские крылья настоящего искусства еще долго будут нас укрывать от всех бесов и химер, кишащих за нашими окнами.

Григорий Канович

Алекс РЕЗНИКОВ. «Иерусалим: улицы в лицах», – Иерусалим, «ЛИРА», 1999; «Иерусалимский след» – Иерусалим, «ЛИРА», 2000.

Идея первой книги понятна: биографические очерки о людях, чьими именами названы улицы города.

Идея второй книги странна: в ней собраны очерки и газетные заметки о людях, не имеющих ничего общего, кроме того, что каждый из них побывал в качестве путешественника или паломника в Иерусалиме.

Между тем, когда читаешь подряд, разница оказывается не столь уж существенной. Если бы была улица Эйнштейна, очерк о нем перекочевал бы из второй книги в первую, а если бы не было улицы Меира Гроссманна, мы, скорее всего, прочли бы о нем во второй.

Среди героев – Авигаиль (жена царя Давида) и Януш Корчак, Бар Кохба и Марлен Дитрих, царица Савская и Ив Монтан, Марко Поло и Николай Гоголь, Альберт Эйнштейн и Григорий Распутин, Франц-Иосиф I и Жаклин Кеннеди, монахи, купцы, путешественники, художники, писатели, поэты, послы, военные, архитектор, фотограф, владелец сети универмагов... Иудеи, христиане, мусульмане, основатель ордена францисканцев и основатель ордена иезуитов, пламенные сионисты, прожженные скептики... Некоторые из героев малоизвестны, например, купец времен Ивана Грозного Коробейников или английский фотограф Фрэнсис Фрис, некоторые неизвестны и безымянны, как моряки российского флота.

Очерки беллетризированы, а суть беллетристики – позволить читателю взглянуть на действительность глазами другого человека.

В самом деле, что нам говорят чьи-то наблюдения и «сердца горестные заметы», если мы не знаем, кто, когда и почему их сделал? Что говорит эта, к примеру, дневниковая запись:

«...никакая иная местность, кроме Палестины, в особенности Иерусалим, не в состоянии так быстро рассеять романтические ожидания путешественника. В некоторых людях разочарование вызывает ощущение, подобное боли в сердце».

Это – строчки из дневника Германа Мелвилла. За пять лет до этого великий писатель издал роман «Моби Дик». Книгу не покупают, пресса не обратила на нее внимания, надежды на славу и богатство нет, надо зарабатывать на кусок хлеба, искать работу, а вместо этого Мелвилл отправляется из Америки в Европу, а потом – в далекий Иерусалим. «Что ищет он в стране далекой?» Еще одно разочарование, «подобное боли в сердце», может быть – последнее. Вернувшись домой, Мелвилл поступил на службу, писал мало, почти ничего не публиковал...

Чтобы увидеть мир глазами другого человека, нам надо соприкоснуться с его судьбой, ощутить его время, вообразить окружающие его предметы. Резникову хватает трех-четырех страниц, чтобы рассказать о человеческой судьбе, нарисовать портрет в реальном пейзаже с реальными деталями, как правило – вызвать доверие и интерес к этому портрету. Я привел для примера одну судьбу, а их в двух книгах 350! Можно лишь догадываться, какую огромную работу проделал автор, собирая материал.

Как, наверно, любой читатель, я сначала стал открывать книги на именах, которые меня интересовали. Потом – где открывалось. И лишь потом понял, что читать надо подряд. Дело в том, что этот биографический коллаж создает удивительный и, думаю, незапланированный эффект. Когда на фоне, скажем так, одного пейзажа, пусть и меняющегося в своих частностях, но по сути неизменного, проходит перед нами множество эпох и судеб, время словно бы останавливается, и то, что мы привыкли считать историей, приобретает первозданную непостижимость. Мы начинаем ощущать таинственность хода времени. Мы отвыкли от такого ощущения. А оно чудесно. Нам давно пора совершить паломничество в Иерусалим.

Арнольд Каштанов

Аркадий КРАСИЛЬЩИКОВ. «Рассказы в дорогу» – Иерусалим – Москва, «ГЕШАРИМ» – «МОСТЫ КУЛЬТУРЫ», 2000.

Подлинная художественность определяется и сопричастностью автора к тому, что он изображает. Красильщиков своим мастерством не щеголяет, избегает языковой лихости. Язык его так же чист и прост, как жизнь изображенных им персонажей. Автор не комментирует их поступков, избавляет читателя от нравоучений, но его сокровенное, часто безмолвное, присутствие создает атмосферу неповторимой, почти интимной тональности. Автор сопереживает вместе с героями маленькие человеческие печали и радости.

Многие сюжеты Красильщикова заимствованы прямо из реальной действительности. Но если случившиеся на самом деле истории воспроизводит художник, они, даже воссозданные с самой документальной точностью, пройдя через горнило его личностного восприятия, переходят в иное качество и принадлежат уже не жизни, а искусству.

Герои многих его рассказов – «Старуха, прочь», «Разговор прабабки Ольги с правнуком Давидом», «Кража» – люди пожилые, обретшие новую родину, когда жизнь их истончилась и стала почти эфемерной. Им тяжело приспособиться к новым реалиям. Однако их судьбы, прожитые в иных измерениях, накладываются на этот странный мир и, что самое удивительное, врастают в него. Прошлое сливается с настоящим самым естественным образом – ибо что может быть естественнее возвращения человека домой с чужбины.

Почти все лирико-философские темы писателя связаны с Израилем. По Красильщикову, одна из особенностей этой земли заключается в том, что она высветляет все лучшее, что есть в человеке, и помогает ему раскрыться до конца.

Отчетливость внутреннего рисунка образов и цельность настроения придают рассказам Красильщикова особый колорит. Ну а рассказ «Побег» я просто не могу не выделить. На мой взгляд, эта вещь украсила бы любую хрестоматию.

Идея проста: ни любовь высшей пробы, ни кровные узы не спасают людей от отчужденности, если нет между ними общности духовной. Старая женщина вдруг, казалось бы, ни с того, ни с сего, бросает единственного сына, обожаемых внуков и уезжает в далекий Израиль, к сестре, с которой рассталась полвека назад. Сын не понимает поступка матери. Испытывает боль, обиду, горечь. Рухнула советская империя, все в мире переменялось, сын стал удачливым бизнесменом, живет в достатке, но тоска по матери и обида на нее с годами не становятся меньше.

Прошло двадцать лет. Матери уже перевалило за девяносто. И вот она звонит сыну, просит его приехать, потому что, предчувствуя близкую кончину, хочет с ним проститься. Сын бросает все и летит в Израиль. Мать еще жива, и общаясь с ней и с ее окружением, сын начинает видеть в ином свете самое горестное событие своей жизни.

Мать его не предала. Просто вектор ее жизни пересекался с осью мироздания совсем в иной точке, чем его вектор. Мир ее сына был одноцветным. Она же воспринимала жизнь как буйство красок. И уехала лишь потому, что сын не нашел бы своего места в жизни, если бы она была рядом.

Истина открывается в последнем разговоре матери с сыном:

– Просто ты никого не любила, кроме Эстер, – сказал Иосиф, – не любила того Якова, и отца, и меня, и своих внуков... Тебя тоска замучила по любимой сестре – вот ты и ушла от нас.

– Неправда, – вздохнула мама, – я тебя всегда любила. Я бы отдала за тебя жизнь, не раздумывая.

– Сомневаюсь, – поднялся Иосиф, – это не так – с любимыми не бывает скучно.

– Бывает, поверь мне.

Он помог маме встать, и ее глаза за сильными линзами очков показались ему огромными... Иосиф вдруг понял, что слова мамы – не ложь. Просто он вырос не тем, на что она надеялась...

– Прости меня, Носик, – сказала мама в клетке лифта под гудение вентилятора, – я, собственно, и позвала тебя, чтобы... Ты должен меня простить.

Она умерла через два дня.

С какой впечатляющей четкостью выписан весь диалог!..

Фразы в рассказах Красильщикова упруги, как мячик. Никаких «жировых наслоений». Одни мускулы.

А вот рассказ «Родина Антонины» – о том, как русская женщина еврея полюбила и в Израиль с ним уехала. На экзотическую страну смотрела она глазами мужа, а когда эти глаза закрылись – погас для нее Израиль, исчез, как марево.

Дочери не советовали Антонине возвращаться, но она понимала, что без Ефима все ей в Израиле без надобности: море, фрукты и раскрой тканей...

– На родину летите? – спросила на иврите Антонину соседка в воздушном лайнере.

– Не знаю, – ответила она тоже на языке Бога.

Ответила честно, потому что давно уже решила для себя, что настоящая родина у человека там, где его любят, и он способен ответить тем же...

Андрей Платонов говорил, что «писать надо не талантом, а человечностью, – прямым чувством жизни». В этом смысле Аркадий Красильщиков его ученик.

Владимир Фромер

Лорина ДЫМОВА. «Сказала Блондинка... Сказала Брюнетка» – Иерусалим, «ДААТЦ», 2000.

Значение белого и черного цветов в жизни человеческого, недочеловеческого и особенно нечеловеческого обществ трудно переоценить, настолько по-разному относятся представители этих обществ к людям, окрашенным полностью или хотя бы частично в такие полярно противоположные цвета.

Значение же части этого цветосочетания, а именно – значение существования на нашем черно-белом свете блондинок и брюнеток – не только переоценить, но и оценить сколько-нибудь точно невозможно без чтения стихов поэта Лорины Дымовой, непревзойденного специалиста (кроме всего прочего) именно в проблемах блондобрюнетной проблематики.

Хотя книга и называется «Сказала Блондинка... Сказала Брюнетка», название это только частично говорит о том, что происходит под ее обложкой. Надо сказать, что Лорина Дымова далеко не всегда говорит все, о чем она хочет сказать. Но ее творческий метод позволяет читателю додумывать ее мысли до логического конца, что создает так нам нужный эффект сотворчества! Вот и в этой книге читателю предоставляется возможность самому домыслить – о чем же автор так ему хотел рассказать.

Начнем с того, что книга представляет собой уникальный пример пастернаковского метода познания мира: «Во всем мне хочется дойти до самой сути». Ни один автор в мире(!) не передумал, не перечувствовал, не написал, а потом и не напечатал так много о блондинках и брюнетках, как Лорина Дымова! По этой причине и она, и ее произведение

на полных правах могли бы войти в соответствующий раздел книги Гиннеса, в котором учитывается наибольший охват блондинок и брюнеток самым эффективным и самым углубленным психологически-поэтическим анализом.

Кстати, помимо главных героинь с черными и белыми волосами, в книге можно найти персонажей и посторонних цветов: рыжих, шатенов и т. д., но их можно рассматривать только в качестве отдельных досадных исключений, подтверждающих основное правило.

С первого взгляда неискушенному и, грубо говоря, прямолинейно мыслящему читателю может показаться, что автор и в самом деле делит человечество только на блондинов и брюнетов обоего пола. Но уже во втором прочтении даже и ему становится ясно, что окрас – не доминантная черта героев и героинь поэтического повествования, и на самом деле речь идет о любви и ненависти, уме и глупости, щедрости и скарденности, трудолюбию и лени, а также и о других жизненных качествах не только блондинов и брюнетов, но и вообще всех людей. То есть речь идет обо всех нас! А разделение героев по цветам – только удачный оживляющий механизм, позволяющий автору уйти от скучного моралите.

Такому уходу из скучного, когда от тоски сводит скулы, в увлекательное способствует и специфический юмор Лорины Дымовой. Ее юмор – непрямолинеен, изысканно ненавязчив, эмоционален, но философичен, нравоучителен без назидания, умен и так тонко ироничен, что сразу понимаешь: по мнению автора быть в жизни слишком серьезным – несерьезно!

Ее юмор – это всегда мягкая улыбка, заставляющая задуматься, а порой – и взгрустнуть (на мой взгляд – высший пилотаж в интеллектуальном юморе!). Лорина Дымова «шутит о главном или хотя бы о важном», что, в сочетании с отличным владением стихом и другими отмеченными достоинствами, делает ее творчество востребованным.

Чтобы читателю было бы легче согласиться с высокой оценкой, выставленной далеко не профессиональным рецензентом, предоставим слово самой Лорине Дымовой. Как говорили на доисторических собраниях – «чтобы не быть голословным». Стихи из книги, как оказалось, можно давать без предварительного отбора: при таком их качестве в отборе отпадает какая бы то ни была необходимость.

О ТЕСНОЙ ОБУВИ И СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

*Если вам жена купила слишком тесные ботинки,
хоть она у вас блондинка – вы ее гоните прочь!
Справьте в доме опустевшем по любви своей поминки
и женитесь на брюнетке – это может вам помочь.*

*Ну а если сандалеты, те, что купит вам брюнетка,
будут тоже тесноваты, наш совет: без лишних фраз
вы ее гоните в шею к маме, к бабушке, к соседке
и попробуйте жениться на шатенке в этот раз.*

*Ну а коли и с шатенкой ваш альянс не состоится,
потому что кто же носит мокасины с каблуком! –
бросьте глупую привычку каждый раз на всех жениться.
И живите на природе. И ходите босиком!*

И ТАЙНА СИЯ ВЕЛИКА

*Брюнетка с блондином, блондинка с брюнетом
Однажды пришли в ресторан.*

*А что они там заказали – об этом
известно одним поварам.*

*Мы знаем: брюнетки при виде креветки
Теряют и разум, и честь.
Мы знаем: блондинки морские сардинки
готовы тарелками есть.*

*Однако блондинка была как тростинка,
А значит, не исключено,
Что вовсе она не любила сардинки,
А предпочитала кино.*

*А что до брюнетки... При чем тут креветки?
Брюнетка была влюблена.
Блондин же все время глазел на соседку,
Совсем одурев от вина.*

*Так что ж они ели? Баранину ль с перцем?
А может, вообще судака?*

*Темно и таинственно женское сердце,
И тайная сия велика.*

КРАСОТА СПАСЕТ МИР

*Была у блондинки улыбка как льдинка,
Как льдинка в трескучий мороз.
И, кроме того, декольте и косынка.
Зачем? Это сложный вопрос.*

*Была у брюнетки улыбка-конфетка,
Халва, шоколад, пастила!
И, кроме того, щегольская беретка,
И очень беретка ей шла.*

*Похвалят меня за признание едва ли,
И все же не стану скрывать:
Когда эти девы сквозь парк проплывали,
То жулики жульничать переставали,
А воры – да-да! – воровать.*

*Забывшись, глядели, как нежные крали
Гуляют у темной реки,
И люди легко у воров отбирали
Обратно свои кошельки.*

*Не надо милиции было бессонно
Стеречь воровские места:
Ведь наше спасенье не в стражах закона –
Спасает людей Красота!*

ВОРЧАЛОЧКА

*Не подходит мне шатен, он совсем не джентльмен,
Не богач и не начальник, не банкир и не спортсмен.*

*Не подходит мне брюнет – он без выдумки одет.
Вот носил бы он сомбреро или – ладно уж! – берет.*

*И блондин – совсем не то. Это серое пальто!
Эти глупые признанья! Это старое авто!*

*Подошел бы, например, мне один миллионер
По характеру, костюму и приятности манер.*

*Я была б ему верна, я была бы с ним нежна.
Но понять меня не хочет курица – его жена.*

*В силу названных причин я сердита на мужчин.
Из-за них у нас так много преждевременных морщин!*

Когда читаешь стихи Лорины Дымовой, возникает вопрос: можно ли определить точно – какая она поэтесса? Лирическая, ироническая, сатирическая, рассудительная, ветреная или ортодоксальная, ищущая свободы или законопослушная? Однозначного ответа на этот вопрос не получить! А собственно, что из перечисленного друг другу мешает? – можно задать себе такой вопрос. И тогда понимаешь, что в ней сочетаются все эти человеческие признаки! О них можно было бы говорить еще и еще, и еще раз еще. На это ушло бы жуткое количество времени, и не нашлось бы никакого журнала, который мог бы все эти рассуждения уместить. Потому что Лорина Дымова так же неисчерпаема, как атом и электрон... Не помню, как там дальше у Ленина.

Павел Хмара

Игаль ХАГАЙ. «В конце дней» – Тель-Авив, «МОРИЯ», 1999.

Чтобы быть интересным настоящему книгочею, поэту необходима и широта литературного образования, и нечто современное и искусное. Сборник «В конце дней» (название книги – цитата из книги пророка Даниила) – очередная попытка «прорыва» Хагая к сегодняшней аудитории.

Его поэтика, пожалуй, восходит к традициям средневековых менестрелей, умевшим придумывать фигуры речи, употреблять слова «в непривычном или хорошо забытом смысле». Трубадуры («выдумщики» – на провансальском диалекте старо-французского языка) не только изобретали «новые слова», используя возможности умлаутов (огласовок) и палиндрома. Они сообщали некую информацию, непонятную «непосвященным», прямо предупреждая читателей о наличии «второго» смысла – двойного дна. Аналогично поступали и мастера русского авангарда.

*Однако «тёмные места» в созвучиях негромких,
мы оставляем неспроста «соротичу» – потопку.*

Говоря о вновь обретенной родине, Хагай не повторяет засиженные мухами метафоры. Поэма «Горячий цех, или Град Преображения» предлагает любителям рифмованных строк образы совершенно иного уровня.

*Мой Ханаан – венец прелестных стран!
Там нет проблемы братьев-мусульман,
жующих лохов и похмельных пьяниц.
Как звёзд прекрасен ритуальный танец!
И где-то рядом... Лисс и Зурбаган.*

Авторское «Я», в соответствии с этой эстетикой, выступает в иносказании, в сочетании поэтической речи, отнюдь не выпяченной, и речи обиходной, разговорной.

Перед нами сегодняшний Израиль – «Великий Штетл – смесь Жмеринки и Сочи», «Град – у – Горы» – Иерусалим, конкретные реалии – улица Шенкин с его «Осликом», новые небоскрёбы в начале Дерех ха-Шалом, крепость крестоносцев Бельвуар, «кораблик Яффо», улица Нахалат-Беньямин.

Иллюстрации хайфского художника Виктора Молева – вводят нас в пространство поэтического вымысла, соразмерного гофманиаде окружающей среды. Той же цели служат упоминания реально существовавших и ныне здравствующих лиц (литераторов, приятелей, недругов), прозрачные намёки – отголоски околослитературных баталий, чересчур эмоциональные выпады эпитаграмм.

Иллюстрации хайфского художника Виктора Молева – вводят нас в пространство поэтического вымысла, соразмерного гофманиаде окружающей среды. Той же цели служат упоминания реально существовавших и ныне здравствующих лиц (литераторов, приятелей, недругов), прозрачные намёки – отголоски околослитературных баталий, чересчур эмоциональные выпады эпитаграмм.

Зло, в духе Генриха Гейне и древних пророков – о менталитете «нового еврея», – израильтянина:

*Прыг-скок! Из ряда в ряд. Греми, машина!
Под киром кофеина и бензина –
он всюду, как севильский брадобрей,
смакуя «в мыслях» парочку идей,
гремя по фенефону оглашённо*

*.....
удрав от им придуманных затей:
партнёров, должников и домочадцев...
И пусть сукка – его желанный кров,
но суррогат величия – богатство –
его Звезда...*

*А про Сион и братство
он вспоминает в трёпе простаков.*

Живое, тревожное слово заставляет задуматься... Так о чём предупреждает поэт? Об исчезающей пользе нравственности? О крахе сионистской идеи и грядущей гибели Третьего Храма? О невозможности возврата на прежнюю родину, ибо той страны уже нет? Кому адресует автор свои «Послания»? «Городу и миру»? Торгашам шука Кармель? Или некоему гипотетическому читателю будущего, ещё не родившемуся на свет?

*Чтоб жить совершенно и строго,
испей и изведай до дна
всю сласть, что навалом у Бога,
и ту, что, как воздух, – одна.
Гляди упокоенным взглядом,
смакуй золотое вино,
поверив: навеки и рядом
с тобой – что тебе не дано.*

Вот эта нота надежды, это упование на Высшую справедливость связывает стихи Хагая с традицией. Настоящая поэзия – это ещё и знание тайны мира, подкреплённое верой сердца.

Александр Шойхет

Борис ГОЛЛЕР. «Флейты на площади». [Театр. Проза. Эссе] – Иерусалим, «ЛИРА», 2000.

...Собственно проблеме выбора посвящена последняя из трех пьес, помещенных в книге, – «Привал комедианта, или Венок Грибоедову». Сперва Грибоедов свое решение не выдавать персам Мирзу-Якуба объясняет исключительно государственными резонами: «...посольство, которое выдает кому-либо подданного своей страны, уронит достоинство собственной страны! Только и всего!» Но затем оказывается – не только и всего. Грибоедов почти до самого конца размышляет над дилеммой: выдавать – не выдавать. И в нем все больше берут верх соображения не государственного престижа, а чисто этические:

«...имущество Мирзы-Якуба, может, и впрямь спорный вопрос. Но жизнь его – бесспорно! – принадлежит лишь ему самому! И лишь ему дано решать, кому он склонен вверить ее защиту!» И когда советник Мальцев высказывает свое беспокойство по поводу сложившейся ситуации, Грибоедов твердо отвечает:

«Оставьте! Может... мы с вами пойдем когда-нибудь... что эту историю... наслал нам Господь! И не токмо за грехи... Но дабы мы сознали в ней самих себя!» Окончательный диагноз «сумасшедших» действий (или бездействия) Грибоедова в помещении русской миссии в Тегеране в ночь с 29 на 30 января 1829 года поставлен Голлером в эссе «Грибоедов в меняющемся мире. Драма одной комедии»:

«Выдать толпе, осадившей посольство, всего одного человека: шахского евнуха Мирзу-Якуба – армянина Якуба Маркаряна, российского подданного, – и тем спасти собственную жизнь... Или погибнуть. Мы не знаем, что при этом происходило в миссии... («Привал комедианта» – драматургическая попытка реконструкции как раз того, что «происходило в миссии» в те судьбоносные ночь и утро. – М. К.) Но нам известно, какое решение принял сам Посланник – автор «Горя от ума»... Речь, в сущности, шла о цене человеческой жизни... Не меньше – и не больше!»

Но выбора-то, в сущности, нет! Точнее, он предрешен. Предрешен в тех духовно и нравственно развитых людях, кто обнаружил в себе внутреннюю изготовку к отстаиванию ценностей истинно человеческих, базирующихся на кантовском императиве об абсолютной ценности челове-

ческой жизни. И даже на еще более древнем: «Возлюби ближнего, как самого себя!» Вопрос о сохранении собственной жизни отходит при этом на второй план. Экзистенциалисты называют такую поведенческую модель героизмом без надежды на успех.

Так в «Привале комедианта». Так и в пьесе «Сто братьев Бестужевых», и в повести «Петербургские флейты». Вот слова одного из «Ста братьев» – Николая: «Выходят (на площадь – М. К.) разве оттого, что верят бесприменно в успех?.. Скорее... только потому – могут или не могут – не выйти!» И эти слова тотчас подхватывает другой «бунтовщик» – Рылеев. Ту же мысль – почти слово в слово – Бестужев выскажет и на допросе у царя, придав ей окончательную отточенность: «Достаточно сознать – что не можешь не выйти!» И еще раз то же самое – при смерти, спустя три десятилетия после восстания декабристов, о чем читаем в эпилоге «Ста братьев Бестужевых».

Генерал Бистром из «Петербургских флейт» – не декабрист, но просто порядочный человек, отливая свою формулу: «Неважно, как ведут себя другие. Важны собственные правила!» Так может рассуждать лишь человек, у кого собственные правила благородны. В тех же «Петербургских флейтах», во второй главе, возвышенно называемой балладой, эти правила точно охарактеризованы – применительно к поведению поручика Панова:

«Это был романтик. То есть из породы людей, в голове которых, в каждый данный момент, уместиться способна лишь одна – ведущая и, несомненно, благородная мысль. Если б была еще хотя бы одна мысль – «задняя», как говорится, – тридцатилетнее царствование Николая Павловича могло и не состояться».

Этот этический императив Бориса Голлера проиллюстрирован в эпилоге «Ста братьев» разговором братьев Бестужевых – умирающего Николая и младшего Михаила. Последний высказывает «заднюю» мысль о возможной целесообразности цареубийства в ночь на 14 декабря, когда он охранял Николая Павловича в Зимнем. «И все бы вышло иначе? Во всяком случае, не было б того, что потом!» – приводит Михаил свои запоздалые доводы. В ответ он слышит: «... ты хочешь сказать – что ты бы мог поступить не как честный человек?» Но «мы бы победили», – пытается отстоять свое младший. Старший же и спустя целую жизнь (и какую: каторга, ссылка!) не желает победы ценой потери собственного «я»: «Тот, кто победил, был бы уже не ты! Не я... А кто-то другой!»

Я нарочно уделил столько внимания идеологии голлеровских сочинений, посвященных уже далекому прошлому сегодня уже далекой от нас России. Для этого у меня было, по меньшей мере, два резона. Первый: я считаю всю эту нравственную философию в высшей степени актуальной и интернациональной. Второй: не зря же сам Голлер посвятил этой проблематике почти все произведения, помещенные им в книгу. Но поскольку речь идет преимущественно о текстах художественных, ограничиваться анализом идеологии негоже. Теперь про то, к а к это все сделано.

Во-первых, архитектоника, или «план» (сам Голлер в эссе «Грибоедов в меняющемся мире» начинает с того же свой разбор «Горя от ума»). Видно невооруженным глазом, что автору больше всего по душе фантазмагорическая, «метельная» поэтика «Белых ночей» Достоевского, булгаковского «Бега» и «послереволюционных» глав «Доктора Живаго». Эта свободная форма

позволяет переходить из одного времени в другое, из яви в мечту, из дворца на площадь, делая это не по-толстовски «непрерывно» и «упорядоченно», а по-достоевски «скачкообразно», «квантованно». Так достигается эффект «хорового исполнения», т. е. многоаспектности драматургического (повествовательного) пространства, а также действенности его развертывания. Особенно это ощущается в «Привале комедианта», где «смешались в кучу» персонажи разных слоев: сегодняшние и вчерашние, реальные и вымышленные (в том числе герои «Горя от ума»). А «Сто братьев Бестужевых» не только дают параллельное движение судеб двух семей: декабристской и венценосной, но намекают еще на одно, уже чисто литературное семейство – Турбиных (у тех – Бестужевых – и других братьев есть еще сестра Елена, и твердость характера Елена голлеровская очень напоминает булгаковскую).

Вторая важная черта голлеровского творчества – психологизм. В «Петербургских флейтах» точны психологические портреты братьев Романовых, особенно младшего, у которого – после посещения Площади – «какой-то металлический вкус во рту»; происхождение этого вкуса Михаил Павлович сперва запаматовал, но вскоре его осенило: «Его рвало кровью с этой проклятой площади! Вот что было!» Хорош дворник Тихон: после того как Елена Бестужева спровадила полицмейстера, пришедшего арестовывать ее братьев, у него (Тихона) «от восторга дрожал его слабый подбородок, на котором вечно торчали острые волоски. Потому что бороду Тихон не брил, а подстригал. Отчего его лицо вызывало впечатление беспомощности». А в «Привале комедианта» необыкновенно выразителен Фаддей Булгарин, с его «можно – только осторожно» и риторическим вопросом: зачем писателю с талантом необходимо еще и мужество? И, наконец, сам Грибоедов, чей образ, по моему убеждению, весьма удался драматургу. (И не в последнюю очередь поэтому я принимаю утверждение Голлера-эссеиста, что «Смерть Вазир-Мухтара» – роман не о «том» Грибоедове.) Психологически точны «сантименты» во второй картине: «Ничего не могу поделать с собой! Сумасшедшая нежность! Сумасшедшая нежность!», гневно-превосходительная отповедь Грибоедова Дадашеву в четвертой картине, внушение Мальцеву в пятой: «Да очнитесь, мальчик! Да разве можно так бояться смерти... чтобы ради нее дать принизить собственную жизнь?!» И пронзающее душу обращение к потомкам – там же: «Скажите всем! Он вовсе не был безумен! Не пал жертвой безрассудства иль неосторожности! Он знал, на что шел!.. Он сам сочинил эту драму (собственной жизни и ее погибельного конца. – М. К.) от первой до последней строки...»

Далее. Историческому писателю должно быть присуще живое чувство истории. Голлер сам на этом настаивает: «...сдвиг в контексте – всего в несколько месяцев – может привести к утрате реальности!» («Грибоедов в меняющемся мире»). И всюду, где это необходимо, он верен этому чувству: не допускает поздних трактовок, возвращает нас на почву реальности – не 1925-го, а 1825 года. Так, в «Петербургских флейтах», характеризуя поручика Панова, автор отмечает его небольшой рост – «но в наполеоновский век это вовсе не считалось недостатком». Артист императорских театров Борецкий (тоже «Флейты») «плакал, как умели плакать мужчины в девятнадцатом столетии: рыдал беззвучно, чтобы никого не шокировать состоянием своим...» Я-то не знаю, как на самом деле плакали мужчины век назад, но верю на слово автору повести, – так достоверно «звучит» время с ее страниц.

Богат и язык его драматургии и прозы (да и эссеистики). В авторской речи есть «прохожий взор» (отличная метонимия), и «мрачный огонь» в лице поэта, который «всегда почитался признаком вдохновения» (народный штамп), и шуточный «изюм» анахронизма: «Остановись, мгновенье, – ты прекрасно! – Впрочем, это не сказано еще. Великий Гете еще не дописал своего «Фауста». Покуда на дворе 1825 год!..»

В эссе о Грибоедове, говоря о том, что ни Чацкий, ни Фамусов не верят в любовь Софьи к Молчалину, исследователь вопрошает: «Но мы-то с вами? Читатели, зрители? Мы тоже не верим! Автор опустил эту завесу недоверия – между Софьей и нами, между залом и сценой. Как добавочный занавес – чуть в глубине». Вот этот «добавочный занавес» вмиг обнаруживает в авторе человека театра!

И там же – прекрасное уподобление: «Тот «круг», против установленного которого и взбунтовалась Софья со своей нелепой любовью, который завтра, если все откроется, распнет ее самое, и безжалостней, чем Чацкого, – этот «круг» мгновенно смыкается возле нее как «своей» – дабы исторгнуть «чужого»... Словно колония клеток – чтоб выбросить чуждую клетку».

Об этом эссе, занимающем в книге без малого сто страниц, надо писать отдельно. Скажу здесь только две вещи. Во-первых, концепция «Горя от ума», в нем представленная, поистине революционна («В основу пьесы положено необъяснимое: безумное противоречие – между масштабом чувства и предметом чувства»). Во-вторых, концепция эта доказательна и доказывается с блеском.

Михаил Копелиович

Хаим ВЕНГЕР. «Пророки в своем отечестве». – Иерусалим, «ЛИРА», 1998.

...Собрание интервью с тридцатью тремя израильскими писателями. В течение трех-четырех последних лет эти интервью публиковались на страницах газеты «Новости Недели», но, разумеется, перед включением в книгу прошли переработку, и подчас – жесткую.

Трудно припомнить произведение, в котором автор, сам профессиональный писатель, столь бы однозначно и бескомпромиссно отказывался от себя, предоставляя полную свободу высказывания своим героям. Их голоса наполняют страницы книги, они ведут заочный спор друг с другом, рассказывают о себе, о своей творческой судьбе... Они очень разные и, тем не менее, все они – плоть от плоти Литературы.

Хаим Венгер, полемизируя с древней присказкой «нет пророка в своем отечестве», считает, что нынешние израильские писатели обрели место своего пророчества. Не думаю, что это утверждение столь уж однозначно – пророк, подчас, говорит слишком горькие вещи, и поэтому велико естественное человеческое желание пренебречь его словами.

Интервью – один из самых сложных жанров, ибо это диалог, в котором один изначально ставит себя как бы в подчиненное положение. На самом же деле, именно благодаря ему личность другого является на свет, ибо осмысливается, выражается как целое. Искусство Хаима Венгера за-

ключается в том, чтобы помочь другому выразить себя, помочь ненавязчиво и точно. Всегда оставаясь самим собой – интеллигентным, умным, тонким собеседником, он, тем не менее, использует разные стратегии, разные способы разговаривать другого. Таланту Хаима Венгера противны всякая выпренность, неискренность, самолюбование и самомнение, и, может быть, еще и поэтому прозаики и поэты (люди, на самом деле, очень закомплексованные, сложные, трудные) говорят в его книге ясно и эмоционально, доверительно и искренно.

Это очень интересное чтение, ведь не каждый день имеешь возможность поговорить с умными людьми! А Хаим Венгер такую возможность предоставляет. Один из героев книги Борис Камянов на вечере ее представления публике отметил: «Обо мне будут говорить разное. Но теперь смогут узнать, что о себе думаю я сам, что я считаю главным в своем творчестве».

...Мое же внимание, прежде всего, привлекли интервью с ивритоязычными писателями – Хаимом Гури, Иегудой Амихаем, Аароном Аппельфельдом, А.Б. Иегошуа, Ицхаком Орен, Авнером Трайниным. Они отличаются от наших русскоязычных писателей, и это-то особенно интересно! Общение с ними позволяет многое понять в феномене современной израильской литературы, понять истоки ее стремительного роста, бурного цветения, нынешнего кризиса.

А проблема «подвешенности», ощущения себя «ни здесь, ни там» – пожалуй, наиболее остра для русскоязычных писателей. И недаром, поскольку выражает самочувствие нас, русских евреев, оказавшихся на перепутье между «родиной по рождению» и «исторической родиной». Психологически это – крайне неприятное состояние, но в творческом плане, благодаря своей «отстраненности», такая точка зрения предоставляет уникальные возможности, которыми грех было бы не воспользоваться.

Большинство интервью с русскоязычными писателями объединяет тема, которую можно было бы определить как поиск цельности. Впечатляет искренность и глубина попыток обрести свою родину, свой язык, свою культуру... Выразительны интервью с Риной Левинзон, Эфраимом Баухом, Эли Люксембургом. Несмотря на то, что они – старожилы, в них по-прежнему живо счастье обретения себя в новой стране, причастности к многовековой культуре своего народа. Они пытаются в своем творчестве опосредовать русский – и иврит, русскую – и ивритскую традиции.

Интервью с Григорием Кановичем и Борисом Голлером выявляют масштаб этих незаурядных писателей, мыслителей. Интересны и интервью с их младшими по возрасту коллегами – Владимиром Добиним, Зинаидой Палвановой, Диной Рубиной, Асей Векслер, Леонидом Финкелем и другими русскоязычными писателями, также приехавшими в страну в начале девяностых.

И еще: книга предоставляет богатейший материал для исследователя; на мой взгляд, это одна из тех книг, которыми пишется история современной литературы.

Александр ЛЮБИНСКИЙ

ШАТЕР КНИГИ

Книги на русском языке, вышедшие в Израиле в 1999 году*

Вестник Еврейского Университета в Москве. № 19. – Москва – Иерусалим: Гешарим. – 432 с. Тел. 972-2-9931194, 972-2-5638219.

Визель Эли. Рассыпанные искры. Образы и предание о хасидских учителях. [Пер. с англ. В. Глинера и А. Окуня]. – Москва – Иерусалим: Гешарим. – 240 с. Тел. 972-2-9931194, 972-2-5638219.

Война совсем не фейерверк. Сборник воспоминаний, очерков и рассказов ветеранов Второй мировой войны, живущих в Израиле. [Составители и редакторы: Евсей Тростанецкий, Моше Шпицбург]. – Тель-Авив: Interpress Center. – 240 с. Тел. 972-3-5509937, 052-518838.

Войтовецкий Илья. Мастера. Подмастерья. Подручные. [Стихи]. – Беэр-Шева. – 112 с. Тел. 972-7- 6432807.

Гольбрайх Ефим. Это наша судьба. [Проза]. – Тель-Авив: Starlight. – 396 с. Тел. 972-3-9667857.

Добрович Анатолий. Экзистенциал-гипотеза. К построению психофизической феноменологии в психиатрии. – Иерусалим: Скопус. – 48 с. Тел. 972-3-9665059, 972-2-6432962.

Долгопольская Эстер. Фарфоровая женщина. [Проза и стихи]. – Иерусалим: «Alphabet» Publishers. – 104 с. Тел. 972-2-6242949.

Евилевич Рувен. Хохмография, или Кацманавт на орбите. [Проза]. – Иерусалим: ЛИРА. – 184 с. Тел. 972-2-6412690.

Евреи и русская революция. [Материалы и исследования]. – Москва – Иерусалим: Гешарим. Иерусалимский Еврейский университет. – 480 с. Тел. 972-2-9931194, 972-2-5638219.

Иодко Людмила. Караванная лирика. [Стихи]. – Иерусалим: Скопус. – 136 с. Тел. 972-3-9634357.

За гранью дней. [Литературный сборник на двух языках – иврите и русском. Памяти Бен-Циона Томера]. – Тель-Авив: Мория. – 184 с. Р. О. В. 3461, Kiriath Ben-Gurion, Holon.

Зелигер Анатолий. Два Дон-Кихота. Кн. 2. [Проза]. – Иерусалим: Скопус. – 118 с. 972-2-6432962.

Клир Джон Д. Россия собирает своих евреев. Истоки еврейского вопроса в России, 1772–1825 гг. – Москва – Иерусалим: Гешарим. – 320 с. Тел. 972-2-9931194, 972-2-5638219.

Кутузова Любовь. Играю маленькую роль.... [Стихи]. – Иерусалим: Скопус. – 72 с. Тел. 972-2-6432962.

Лившиц Лев. Вопреки времени. [Избранные статьи]. Составители: Борис Милявский, Татьяна Лившиц-Азас. – Харьков – Иерусалим: Еврейский университет; Филобиблон. – 400 с.: ил. Тел. 972-2-6769388.

* Начало списка см. в №№ 4 – 5 «Иерусалимского журнала». Окончание списка будет опубликовано в следующем номере.

Список книг, вышедших на русском языке в Израиле в 1998 году, опубликован в №№ 1 – 3.

Заказать книги можно, связавшись с авторами или издателями.

М. Липкин. [Воспоминания матери. Дневники. Письма. Живопись. Графика]. – Иерусалим: Фонд памяти художника Мордехая Липкина. «Alphabet» Publishers. – 184 с. Тел. 972-8-9257874.

Очеретян Татьяна. Поэтические миниатюры. Кн. 2. (На двух языках – русском и английском. Перевод на англ. Беллы Лебединской). – Иерусалим: Маханаим. – 176 с. Тел. 972-2-6256006.

Папиашвили Яков. Две картинки из жизни гостиницы «Гагрипши». [Роман. Повести и рассказы. Перевод с грузинского автора]. – Холон: Морья. – 304 с. Тел. 972-3-5019275

Против нацистского врага. Т. 4, кн. 3. – Тель-Авив: Нево-Арт. Союз инвалидов войны и партизан. – 735 с. Тел. 972-3-5752010.

Рисман Майкл. Неизвестное об известном. Биологически активные пищевые добавки. 100% природы. [Справочник]. – Тель-Авив: Interpress Center. 496 с. Тел. 972-3-5509937, 052-518838.

Семейная медицинская энциклопедия. [Авторы – 28 известных профессоров и врачей высшей квалификации]. – Тель-Авив: Interpress Center. – 1115 с. Тел. 972-3-5509937, 052-518838.

Сидур Шма Израэль. [Молитвенник на двух языках – иврите и русском]. – Иерусалим: Союз религиозной еврейской интеллигенции из СССР и Восточной Европы «Шамир». – 928 с. Тел. 972-2-5385384, 972-2-5385702.

Тараховская Элиза. Я плачу и плачу. [Стихи]. – Иерусалим: ЛИРА. – 96 с. Тел. 972-2-6432962.

Теплицкий Вадим. Евреи в истории шахмат. – Тель-Авив: Interpress Center. – 322 с. Тел. 972-3-5509937, 052-518838.

Тов Иммануэль. Текстология Ветхого завета. – Москва – Иерусалим: Гешарим. – 512 с. Тел. 972-2-9931194, 972-2-5638219.

Туберт Григорий. Холм Мегидо. [Стихи]. – Иерусалим: «Мишмерет Шалом». – 112 с. Тел. 972-2-6766067.

Файнберг Авраам. Искры прекрасного. [Новеллы о шедеврах мирового искусства. Том 2. От Франции до США]. – Тель-Авив: Издательство «М+». – 212 с. Тел. 972-8-8526062.

Фейглин М. Там, где нет людей. [Публицистика; перевод с иврита и примечания Натальи Радовской]. – Кирьят-Арба (Хеврон): АХАЗ. – 295 с. Тел. 972-9-7929046, 972-2-9963602.

Финкель Леонид. Ам пезиза – нервный народ. [Проза]. – Ашкелон: Илекниф. – 158 с. Тел. 972-2-6711713.

Шапиро Хаим. Иди, сынок. [Документальная проза]. – Иерусалим: «Швут Ами». – 632 с. Тел. 972-2-5385414.

Шин Шалом. Каждый день навсегда. [Стихи. Переводы с иврита Александра Воловика и Рины Левинзон]. – Иерусалим. – 128 с. Тел. 972-2-5862333.

Эдельман Яков. Незаконченные диалоги. – Иерусалим – Москва: Гешарим. – 160 с. Тел. 972-2-9931194, 972-2-5638219.

Издатели и авторы, желающие опубликовать
в «Иерусалимском журнале» информацию о вышедших книгах,
могут прислать эти сведения в редакцию.

Наум БАСОВСКИЙ родился в Киеве в 1937 году. Репатриировался в Израиль в 1992 году.

Автор трех сборников стихов, а также поэтических переложений книги «Козлет» («Экклезиаст») и книги пророка Нахума. Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля.

Живет в Ришон-ле-Ционе. Работает инженером.

В «ИЖ» (№ 4) опубликована подборка его стихов «Место, где каждый день живёшь». В 2000 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышла книга стихов Наума Басовского «Полнозвучие».

Сергей БАУМШТЕЙН родился в 1952 году в Киеве. По образованию – музыкант. В 1987 году репатриировался в Израиль из Вильнюса. В 1990 году участвовал в создании литературно-публицистического еженедельника «Пятница». До 1995 года работал одним из редакторов этого приложения к газете «Наша страна». Проза публиковалась в журнале «Круг» (1985) и в альманахе «Роза ветров» (1999, 2000).

Живет в Тель-Авиве.

Владимир БОЛОТИН родился в 1955 году в Караганде. В 1978 году закончил физфак Новосибирского университета. Работает по специальности.

Лауреат Чимганского песенного фестиваля (1980). Песни в авторском исполнении записаны на дисках «Восточный ветер» (1995) и «Чужой человек» (1999).

Живет в Новосибирском Академгородке.

Йоханан БЕН-ЗАКАЙ (??– ок 80 г. н. э.) – *танна* (законоучитель – иврит). Ученики, распустив слух о его смерти, вынесли его в гробу за стены осажденного Иерусалима якобы для погребения. По преданию, он предсказал командующему римской армией Веспасиану, что тот вскоре станет императором. Римляне разрешили Бен-Закаю основать в Явне еврейский духовный центр, на основе которого был воссоздан Синагог. Бен-Закай стал первым его *наси* (главой). После разрушения Второго Храма утешал скорбящих соплеменников словами пророка Ошеа, утверждавшего, что людское милосердие и справедливость угодны Богу более, чем жертвоприношения. Традиция рассказывает о Бен-Закае как о человеке необыкновенно скромном – он сам открывал двери своим ученикам и первым приветствовал каждого встречного, будь то еврей или язычник.

В Иерусалиме именем Бен-Закая названа улица в районе Катамоним (Гоненим).

Игорь БЯЛЬСКИЙ родился в 1949 году в Черновцах. Жил на Украине, в России и в Узбекистане. Репатриировался в 1990 году. Автор сборников «Города и горы» (1986), «Времена города» (1988) и «На свободную тему» (1996). Стихи и переводы из Джона Апдайка включены в антологию «Строфы века».

Живет в Иерусалиме. Главный редактор «Иерусалимского журнала».

Генрих (Гирш) ГРЕЦ (1817, Ксёньж Великопольски, – 1891, Мюнхен) – историк, исследователь ТАНАХа. В 1831 – 1840 гг. изучал Талмуд и раввинистическую литературу в ешиве (Волштейн), а также под руководством раввина и писателя Ш. Р. Гирша (Ольденбург). Окончил Бреславский университет и защитил в Йенском университете диссертацию «Гностицизм и иудаизм» (1845). В 1869 – 1987 гг. сотрудник, а затем редактор журнала *«Монатсшифт фюр гешихте унд виссеншафт дес юdentумс»*. Автор 11-томного труда «История евреев с древнейших веков до настоящего времени» (1853 – 1875). В 1872 году посетил Палестину; в 1884 ненадолго примкнул к движению *Ховевей Цион*. Главный труд Грецца переведен на иврит (1890 – 1999), русский (1904 – 1907), английский и другие языки. В Иерусалиме именем Грецца названа улица в районе Тальбия.

Тамара ДУБИНА родилась в Москве. По образованию – врач. Работала научным сотрудником в области биохимии. Жила также в Вильнюсе и в Минске, откуда репатриировалась в 1989 году. Живет в Иерусалиме.

Семен (Шимон) ДУБНОВ (1860, Мстиславль, Могилевской губернии – 1941, Рига) – историк, публицист и общественный деятель. С 1880 по 1922 год жил в Петербурге, Одессе, Вильне и вновь в Петербурге. Преподавал на Курсах востоковедения (с 1906 года) и в Еврейском народном университете (с 1919 года). Вслед за Греццем, представлял историю еврейского народа как историю развития национального духа («Что такое еврейская история», 1893). В 1898 – 1901 гг. выпустил трехтомный «Учебник еврейской истории». Автор «Всеобщей истории евреев» (тт. 1 – 3; 1901 – 1906) и «Новейшей истории еврейского народа, 1789 – 1881» (1914). В 1909 – 1918 гг. редактор журнала «Еврейская старина». Основал также исторический журнал на иврите «Хе-авар» (1918) и вел в нем раздел «Хасидиана». В 1922 году эмигрировал и поселился в Ковно. Переехал в Берлин, а затем в Ригу (1933). «Всемирная история еврейского народа» (тт. I – X) опубликована в переводе на немецкий (Берлин, 1925 – 1929) и на иврит (1923 – 1938). В подлиннике на русском языке издание вышло в Риге (1934 – 1938). В 1940 году на иврите вышел XI том, заканчивавшийся предвоенным периодом. В своих трудах определял еврейский народ как «народ, чьим домом является весь мир». Выступал как против сионизма, считая его псевдомессианским движением, так и против ассимиляторства. В 1941 году арестован нацистами. Дата и место смерти не установлены. В Иерусалиме именем Дубнова названа улица в районе Тальбия.

Елена ИГНАТОВА родилась в Ленинграде. С 1975 года публиковалась в изданиях русского зарубежья. Автор книг «Стихи о причастности» (Париж, 1978), «Теплая земля» (Ленинград 1989), «Небесное зарево» (Иерусалим, 1992), «Книга о Петербурге» (Санкт-Петербург, 1997), очерков и рассказов. Стихи включены в антологии русской поэзии и переведены на разные языки.

В 1990 году переехала в Израиль. Живет в Бейт-Шемеше.

В «ИЖ» № 1 опубликована повесть Елены Игнатовой «Педивер».

ИРОД (ХОРДУС) I ВЕЛИКИЙ (ок. 73 – 4 гг. до н. э.), царь Иудеи с 40 г. до н. э. Сын правителя Иудеи Антипатра II, один из могущественных властителей восточной части Римской империи. С 47 года правитель Галилеи. Провозглашенный римским Сенатом в 40 году царем Иудеи и «другом Рима», он в 37 году с помощью римских войск овладел Иерусалимом и сверг последнего правителя из династии Хасмонеев. Расширил границы Иудеи до пределов древнего царства Давида. Строил по всей стране города, крепости, порты, акведуки, театры, ипподромы... Жертвовал на греческие гимназии, а также на Олимпийские игры, за что был вознагражден почетным званием их пожизненного председателя. Прославился и своей жестокостью в борьбе за власть. Ненависть народа к Ироду была воспринята ранними христианами и нашла отражение в евангельском сказании об «избиении младенцев», якобы учиненном им в Бейт-Лехеме.

В Иерусалиме сохранились гробница Ирода и остатки Второго Храма (который из относительно скромного строения превратился во время царствования Ирода в одно из самых величественных и монументальных сооружений древнего Востока), в частности, Западная стена, известная также как Стена Плача.

Марк КАБАКОВ родился в 1924 году в Ленинграде. Большая часть жизни связана с флотом. Капитан первого ранга. Первая книга (сборник стихов «Романтики») увидела свет в 1961 году. Автор пятнадцати книг стихов и прозы.

Живёт в Москве.

Григорий КАНОВИЧ родился в Каунасе в 1929 году. Автор более десяти романов о жизни литовского еврейства, двадцати пьес и пятнадцати сценариев художественных фильмов. В 1989-1993 гг. возглавлял еврейскую общину Литвы. За романы «Слезы и молитвы дураков» и «И нет рабам рая» удостоен Национальной премии республики. Книги писателя переведены на многие языки.

Репатриировался в 1993 году. Живет в Бат-Яме.

Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля.

В «ИЖ» опубликована глава из его романа «Шелест срубленных деревьев» (№ 1) и первые главы повести «Огонь и воды» (№ 4).

Арнольд КАШТАНОВ родился в 1938 году в Сталинграде. По образованию – инженер. Автор десяти книг прозы. Один из авторов российско-американской антологии «10 лучших рассказов». Победитель Всесоюзного конкурса на лучший киносценарий (1973). Произведения писателя переведены на многие языки.

После репатриации в Израиль (1991) живет в Нетании.

В «ИЖ» опубликованы его эссе «Успех как эстетический феномен» (№ 1) и «Групповой автопортрет с отрезанным ухом» (№ 4)

Юлий КИМ родился в 1936 году в Москве. После ареста родителей в 1938 году, шестнадцать лет провел в Калужской области и Туркмении. В 1954 году окончил МГПИ. Работал учителем в школе на Камчатке (три года) и в Москве. В 1968 году со школой расстал-

ся по воле начальства, не простившего ему участия в правозащитном движении. С тех пор свободный художник.

Автор около пятисот песен, трех десятков пьес и восьми книг.

С 1998 года живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы подборка стихов Юлия Кима «Из иерусалимской тетради» (№ 1) и повесть «Путешествие к маяку» (№ 3). Книга с одноименным названием, куда вошли стихи, проза и драматические произведения, вышла в 2000 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала».

Ефим КОТЛЯР родился в 1949 году в Одессе. Окончил одесский Институт инженеров морского флота. С 1975 по 1979 год жил в Ташкенте и принимал активное участие в деятельности КСП «Апрель» и в организации всесоюзных фестивалей авторской песни «Чимган». В 1979 году эмигрировал в США. Организатор международных фестивалей русской поэзии и авторской песни в Чикаго (1989 и 1991 гг.).

Живет в Скоки (Иллинойс). Работает инженером.

Михаил КОПЕЛИОВИЧ родился в 1937 году в Харькове. По образованию – инженер. Автор многих статей о современной русской литературе, а также о израильской литературе на русском языке. Репатриировался в 1990 году. Публикуется в литературной периодике Израиля, России и США.

Живет в Маале-Адумим.

Леонид ЛЕВИНЗОН родился в 1958 году на Украине. Медицинское образование получил в Ленинграде. В 1991 году репатриировался в Израиль.

Автор книги прозы «Ленинград – Иерусалим» (1997).

Живет в Иерусалиме. Работает в медицинском центре «Хадасса».

Ответственный секретарь «Иерусалимского журнала».

В «ИЖ» № 1 опубликованы его рассказы «Полет» и «Одуванчик».

Александр ЛЮБИНСКИЙ родился в Москве в 1949 году. Окончил МИНХ им. Г. В. Плеханова. Репатриировался в 1989 году. Автор книги «Фабула» (1997), в которую вошли проза, стихи и эссе, написанные в России и в Израиле.

Живет в Иерусалиме.

Давид МАРКИШ родился в 1938 году в Москве. Учился в Литературном институте им. Горького, на Высших курсах сценаристов и режиссёров кино. Трудовую деятельность начал в возрасте 14 лет, в ссылке: играл на музыкальных тарелках в похоронном оркестре. Репатриировался в 1972 году.

Автор одиннадцати книг; восемь из них вышли в переводе на иврит, девять – на другие языки (в США, Англии, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции и Бразилии).

Лауреат израильских и зарубежных литературных премий.

Живет в Ор-Еуде.

Шимон МАРКИШ родился в 1931 году в Баку. Филолог-классик, переводчик, историк культуры, критик. Последние четверть века занимается историей еврейской словесности на русском языке. Книги последнего десятилетия: «Три примера: Бабель – Эренбург – Гроссман» (1994, на иврите); «Бабель и другие» (1997, второе издание); «Сумерки в полдень: очерк истории греческой культуры в эпоху Пелопоннесской войны» (1999, второе издание).

Живет в Женеве.

В «ИЖ» (№ 5) опубликована его заметка памяти Авраама Белова.

Петр МЕЖУРИЦКИЙ родился в 1953 году в Одессе. В 1986 году закончил филфак Одесского университета. Репатрировался в 1990 году. Автор сборников стихов «Места обитания» (1993), «Пчелы жалят задом наперед» (1997) и «Эпоха Кабаре» (1999).

Живет в Ор-Акиве. Секретарь Тель-авивского клуба литераторов.

В «ИЖ» (№ 3) опубликована подборка стихов Петра Межурицкого «Эпоха кабаре».

Марина МЕЛАМЕД родилась в Харькове. Там же получила музыкальное образование и училась на филфаке университета. Репатрировалась в 1990 году. Окончила Иерусалимскую школу альтернативного театра. Рассказы публиковались в израильском литературно-публицистическом еженедельнике «Калейдоскоп».

Живет в Иерусалиме. Режиссер молодежного театра. Ведущая клуба-гостиной писателей и художников «Последний понедельник».

Давид САМОЙЛОВ (КАУФМАН; 1920, Москва – 1990, Таллинн). Учился в ИФЛИ. В 1941 году ушел добровольцем на фронт и воевал рядовым солдатом-разведчиком. Первый сборник стихов «Ближние страны» выпустил в 38 лет. Затем – еще десяток сборников. Много переводил с польского, чешского, венгерского и др. Автор «Книги о русской рифме».

Зелий СМЕХОВ родился в 1939 году в Москве. Окончил Суриковское художественное училище и Московскую академию художеств (класс профессора Е. Кибрика). Репатрировался в 1991 году. Работы художника находятся в музеях и частных коллекциях России, Израиля, США, Канады. Живет в Иерусалиме.

Бина СМЕХОВА родилась в Киеве. По образованию филолог и журналист. Работала в издательствах, журналах, газетах, на радио и на телевидении. Стихи и переводы с украинского и польского публиковались в литературной периодике, сборниках и альманахах. Репатрировалась в 1991 году. Живет в Иерусалиме.

Морис СИМАШКО (ШАМИС; 1924, Одесса – 2000, Бат-Ям). В 1942 – 1945 годах был военным летчиком. Первая пьеса «На крайнем юге» поставлена в 1948 году. Первые повести «В черных песках» и «Искушение Фраги» опубликованы в «Новом Мире» Твардовским в конце пятидесятых. Автор более двадцати книг, переведенных на сорок с лишним языков.

Репатрировался в Израиль в 1999 году.

Михаил ФЕЛЬДМАН родился в 1964 году в Москве. Там же закончил МАДИ. В 1991 году репатриировался в Израиль. За последние шестнадцать лет сочинил восемьдесят песен и сотню палиндромов. Лауреат израильских конкурсов авторской песни. Один из авторов альманаха «А шарик летит...» (Израиль, 2000). Живет в Беэр-Шеве.

Павел ХМАРА (ХМАРА-МИРОНОВ) родился в 1929 году в городе Струнино Ивановской области. В младенческом возрасте перевезен на ПМЖ в Москву. Друг футбольного детства великого вратаря всех времен и народов Льва Яшина. После двадцатисемилетней службы (в качестве летчика-истребителя и военного инженера в Советской Армии) работал в журнале «Крокодил»; с 1977 года работает в «Литературной газете», где в течение 11 лет (до ноября 1999 года) возглавлял «Клуб 12 стульев». В настоящее время возведен в сан Старшего аксакала этого клуба. Автор четырех книг. Создатель новых жанров иронической поэзии (эмбриемы, парогаммы, эпиродии и т.д.). Лауреат литературной премии «Золотой теленок». Живет в Москве.

Яков ШЕХТЕР родился в 1956 году в Одессе, учился в Сибири, жил в Вильнюсе. Репатриировался в 1987 году. Автор книг «Если забуду» (1984), «Народ твой» (1991), «Шахматные проделки бисквитных зайцев» (1998). Занимал призовые места в интернетовских конкурсах «Тенета» и «Большая Буква». Председатель Тель-авивского клуба литераторов. Составитель альманаха «Поэты Большого Тель-Авива» и поэтического сборника «Левантийская корона». Живет в Реховоте.

Александр ШОЙХЕТ родился в 1946 году в Москве. Окончил МГПИ (1969) и Литературный институт (1988). Служил в Советской армии. Работал в области биологии, а также на археологических раскопках. Репатриировался в 1990 году. Автор книг повестей и рассказов «Приехали мы в Израиль» (1995) и «Танцы на чужой свадьбе» (1999). Живет в Ришон-ле-Ционе.

Эйнат ЯКИР родилась в 1977 году в Хайфе. Автор трех сборников стихотворений для детей. Перевела на иврит стихи Корнея Чуковского, которые вышли отдельной книгой. Ее проза публикуется в журналах «77», «МОЗНАИМ» и других изданиях израильской литературной периодики. Лауреат конкурса газеты «ХА-АРЕЦ» на лучший короткий рассказ (2000). На русском языке публикуется впервые. Живет в Тель-Авиве. Студентка Тель-авивского университета.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Их называют барды. Поскольку не найдено русское слово, я предпочёл бы французское – шансонье. Трудно сказать, что важнее в их слитном искусстве: музыка, исполнение, слово. Уверен, однако, что лучшие из них – поэты. Окуджава, Галич, Высоцкий. Четвёртым к этим прославленным именам я присоединил бы Юлия Кима.

Я не музыкант и не стану разбираться в музыкальных истоках русских шансонье. Сколько там от русского романса, сколько от брехтовского зонга, сколько от стиля Монтана и Лемарка. Зато точно могу утверждать, что поэтика всех четырёх названных складывалась на основе многих слоёв русской поэтической культуры.

В поэзии Юлия Кима сплавлены интонации скоморошины, русской классической комедии, городского и русского романса, Дениса Давыдова, Алексея Толстого, Аполлона Григорьева, Александра Блока и многое другое. Немало добавлено и от самого Кима, от естественности его просторечия. Всё это сложилось в органический, самостоятельный поэтический стиль.

Характер поэзии, как и собственный характер Кима, можно назвать моцартианским. Ему свойственны естественность, непринуждённость, свежесть и соразмерность частей. В поэзии Кима нет разлада и отрицания мира. Его печаль смягчается юмором, а где – великодушием. Юмор и великодушие – существенные элементы его нравственной проповеди.

В поэзии, как и в натуре Кима, есть тяга к театральности. Он ведь и драматург и актёр. Для творчества Окуджавы характерно единство лирического героя. Ким постоянно перевоплощается. И делает это с непринуждённостью подлинного артиста. Это не картонность стилизаций, а истинное умение войти в чужую судьбу и пережить её, как свою собственную.

Стих Кима настолько лёгок, что за ним не чувствуется никаких усилий. На самом деле это проявление высокого мастерства, не выставляемого напоказ. В Киме есть усилие, но нет самопринуждения. Не принуждает он и других следовать за собой, применяя нравственные императивы.

Завороженные непосредственностью и щедростью его поэзии, люди сами легко следуют за ним.

Признаюсь: я люблю Кима и его искусство. И никогда не устаю его слушать. ...На сочетании стихов и размышлений поэт построена и эта книга, первая в его творческой биографии, носящая название «Творческий вечер».

Я рад, что у меня есть возможность его открыть.

Давид Самойлов

Написано в 1989 году в качестве предисловия к первой книге Юлия Кима. Она вышла в 1990 (М., «Книжная палата»). Уже после смерти Д. Самойлова в сборник были внесены изменения; в результате, собственно песни заняли довольно небольшой объем, и потому предисловие опубликовано не было.

ОСТАТЬСЯ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ...

...А ведь он вовсе не был широкоплеч, ни, тем более, высок. Просто так слышен был его особенный, с хрипотцой голос, так победоносно сверкали карие глаза, что все остальное как бы отодвигалось в тень.

В 1966 году обстоятельства службы привели меня в Алма-Ату, где работал давнишний знакомец, критик Николай Ровенский. Он и представил меня сотруднику журнала «Простор» Морису Симашко.

«...И вообще – человек замечательный...» Я редко слышал такое от скупого на похвалы Ровенского. «Простор» в те годы называли среднеазиатским «Новым миром», каждая публикация вызывала полемику, Симашко, что называется, сражался на передовой...

У подножия Алатау оседали все, кого советская власть изгоняла и ссылала: русские, евреи, дунгане, ингуши, чеченцы, корейцы, немцы... Морис чувствовал себя в этой обстановке как рыба в воде. Всех он знал, всех любил. А вот что ненавидел – так это национализм. Как сейчас вижу: писательский бар на Коммунистической улице – застолье, клубы дыма. Кто-то стучит кулаком в грудь: «Мы, русские...». «Вонючий национализм», – рычит в ответ Симашко.

А вскоре «Простор» стал печатать «Маздак» – его первый роман, и Морис сразу стал знаменит. Роман выдержал несколько изданий и был переведён на все европейские языки. Такого в то время не удостоивался ни один живший за Уралом писатель.

Симашко впервые изобразил в художественной форме генезис фашизма, самый момент рождения этого чудовища. А то, что действие романа происходит не в Германии, не в России, а в Персии, на заре первого тысячелетия, только придавало повествованию зловещую убедительность. Так было, так есть, так может быть!

Прозу Мориса Симашко отличало редкое сочетание жёсткости, даже суховатости – и нежности. «Как горла перехват». И это при невероятной обнажённости любовных сцен...

А потом появились «Искушение Дабира», «Семирамида»... И каждое новое произведение – событие. Повесть «Гуга-гуга» Морис пробивал с величайшим трудом – несмотря на европейскую известность. Первую в советской литературе повесть о штрафниках. Когда речь идёт о творчестве Мориса, эти слова: впервые, первый – приходится употреблять часто.

...Обнялись, поговорили, условились на неделе встретиться. А ночью его не стало. Мгновенно.

Так кончают свой жизненный путь праведники. Необыкновенный человек, замечательный писатель.

26.12.2000, Кфар-Саба

Марк Кабаков

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

ЮЛИЙ КИМ. Я все время шел к тебе. <i>Стихи</i>	3
МАРИНА МЕЛАМЕД. Джаз в стиле идиш. <i>Рассказы</i>	13
ТАМАРА ДУБИНА. Обратный счет. <i>Стихи</i>	25
ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН. Проект. <i>Повесть</i>	31
ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ. На улицу Хеврон. <i>Стихи</i>	85

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

ДАВИД МАРКИШ. Конец света. <i>Рассказ</i>	94
МОРИС СИМАШКО. Из книги «Четвертый Рим».	
<i>Журнальный вариант</i>	106
ЯКОВ ШЕХТЕР. Бабушкины сказки. <i>Рассказ</i>	159
ЭЙНАТ ЯКИР. Зеркало. <i>Рассказ. Перевод с иврита Ш. Лавана</i>	167
СЕРГЕЙ БАУМШТЕЙН. На улице Алленби, у пани. <i>Из повести</i>	175

СИОНСКИЕ ВОРОТА

МИХАИЛ ФЕЛЬДМАН. По мысли режиссера. <i>Тексты песен</i>	182

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

БИНА СМЕХОВА. Танцуют все	189
ЗЕЛИЙ СМЕХОВ. Рисунки	191

САДЫ САХАРОВА

ЕФИМ КОТЛЯР. Мой Бродский	196

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

ВЛАДИМИР БОЛОТИН. В комнате у Шапиры. <i>Тексты песен</i>	202

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

ПЕТР МЕЖУРИЦКИЙ. Отклик	209
НАУМ БАСОВСКИЙ. Три аквариума	214
ДЕНИС СОБОЛЕВ. От составителя	220
ШИМОН МАРКИШ. Третий отец-основатель... ..	228

НОВЫЕ ВОРОТА

Рецензии и аннотации Елены ИГНАТОВОЙ, Григория КАНОВИЧА, Арнольда КАШТАНОВА, Михаила КОПЕЛИОВИЧА, Александра ЛЮБИНСКОГО, Павла ХМАРЫ, Александра ШОЙХЕТА на книги Елены АКСЕЛЬРОД и Михаила ЯХИЛЕВИЧА, Хаима ВЕНГЕРА, Бориса ГОЛЛЕРА, Лорины ДЫМОВОЙ, Славы КУРИЛОВА, Алекса РЕЗНИКОВА, Игаля ХАГАЯ	290

ШАТЕР КНИГИ

ИЗДАНИЯ 1999 ГОДА	305

ИМЕНА

АВТОРЫ И ПЕРСОНАЖИ	307
ДАВИД САМОЙЛОВ. Вступительное слово	313

ХОЛМ ПАМЯТИ

МАРК КАБАКОВ. Остаться на Святой земле	314

**НОВЫЙ ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»**



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999-2000 гг. вышли книги:

Дина РУБИНА. «Высокая вода венецианцев» 40 ✓
Новая одноименная повесть, рассказы и монологи.

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ. 45
«Стена в пустыне»

Новые стихи поэтессы и новые картины художника.

Юлий КИМ. «Путешествие к маяку» 35
Новые стихи, проза и драматические произведения.

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА. 35
«Иерусалимские картинки»

Новые стихи З. Палвановой и рисунки В. Клецеля

Наум БАСОВСКИЙ. «Полнозвучие» 25
Новая книга стихов

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Новая книга стихов

Новая книга стихов Владимира ДРУКА

Новые повести и рассказы Григория КАНОВИЧА

Книга новых стихов и песен Дмитрия СУХАРЕВА

Новая книга стихов Владимира ФРЕНКЕЛЯ

Новая книга стихов Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ

***Редколлегия «Иерусалимского журнала» сердечно
поздравляет со славным юбилеем нашего автора,
замечательную поэтессу САРУ ПОГРЕБ!***

ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ - www.antho.net

Виртуальный музей современных израильских художников

*Смотрите коллекции полотен Александра АДОНИНА,
Анатолия БАРАТЫНСКОГО, Лиоры БАРШТЕЙН, Николая
БЕЗЗУБОВА, Леи ЗАРЕМБА, Гарика ЗИЛЬБЕРМАНА,
Бориса КАРАВАНОВА, Бориса КАРАФЕЛОВА, Бориса
КИНКУЛЬКИНА, Вениамина КЛЕЦЕЛЯ, Григория КОЗЛЕТА,
Ителлы МАСТБАУМ, Михаила МОРГЕНШТЕРНА, Бориса
ЛЕКАРЯ, Зелия СМЕХОВА, Якова ФЕЛЬДМАНА, Давида
ХАНАНА, Юлии ШУЛЬМАН, Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ,
Михаила ЯХИЛЕВИЧА и других мастеров искусства.*

**НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»**

**АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗРАИЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

Лучшие стихи израильских поэтов, пишущих для детей,
в переводах Елены **АКСЕЛЬРОД**, Семена **ГРИНБЕРГА**,
Владимира ДАНЬКО, Лорины **ДЫМОВОЙ**,
Бориса КАМЯНОВА, Вадима **ЛЕВИНА** и других поэтов

ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ

Альбом живописных и графических работ
двадцати семи современных израильских художников
(К выставке 2000 - 2001 годов в залах *Театрон Ерушалаим*)

Подписку на журнал можно оформить,
прислав свои почтовые координаты и чек на имя

«Jerusalem Anthologia»

по адресу:

**Jerusalem Literary Review, P. O. Box 32297
Jerusalem 91322**

**Стоимость годовой подписки (4 номера)
в Израиле – 128 шекелей, включая пересылку.
в странах Западной Европы и Северной Америки –
\$64 США, включая пересылку.**

«Иерусалимская Антология» благодарит
Семена БЛИНШТЕЙНА (Чикаго), **Татьяну ГОЛЬДМАХЕР** (Бостон),
Юлия КИМА (Иерусалим), **Лизу КОТЛЯР** (Чикаго),
Якова ЛИВШИЦА (Иерусалим), **Виктора ЛУФЕРОВА** (Москва),
Ехиэля ФИШЗОНА (Текоа), **Клару ЭЛЬБЕРТ** (Иерусалим)
за поддержку журнала.

**Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило),
банк Апоалим.**

**Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo),
Bank Napoalim**

*Любые пожертвования
будут приняты с благодарностью*

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 6, 2000

ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet virtual version: www.antho.net/L

Israel Union of Writers in Russian

Jerusalem Anthologia Association

Editorial Board: **Igor Byalsky** (Editor-in-Chief), **Semion Grinberg**, **Zinaida Palvanova**, **Dinah Rubina**, **Svetlana Shenbrunn**, **Roman Timenchik**

Executive Secretary – **Leonid Levinson**

Graphic Designer – **Susanna Chernobrova**

Assistant Editor and Corrector – **Margarita Shklovskaya**

Administrative and technical support – **Binah Smekhova**, **Boris Bronshtein**, **Daniel Burshtein**, **Michael Byalsky**, **Nelly Glozman**, **Victor Gopman**, **Gregory Gordin**, **Shaul Kotlarsky**, **Daniel Lemberg**, **Anton Mukhin**

SCOPUS Publishing House

TSUR OT Printing House

With the support of: Absorption Ministry; Culture Ministry; Repatriate Writers and Artists Integration Center; Culture Department and Absorption Department of Jerusalem City Council; Jerusalem Russian Municipal Library, Zionist Forum; World Association for Study of Interaction of Cultures

Copyright © "Иерусалимский журнал" 2000. All rights reserved.

Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel

E-mail: review@antho.net

Phone/Fax: 972-2-6720025; 972-2-6432962; 972-2-6434005;

Jerusalem Review Representatives:

in Moscow: **Igor Melamed** (Phone: 7-095-2427042)

Igor Gryzlov (Phone: 7-095-5507747 E-mail: igorgr@dol.ru)

in St.Petersburg: **Olga Krupenye** (Phone: 7-812-312 5465)

Sergey Grigoryantz (Phone: 7-812-294 8143)

in Novosibirsk: **Vladimir Bolotin** (Phone: 7-3832-329944

E-mail: V.P.Bolotin@inp.nsk.su)

in New-York: **Andrey Gritsman** (E-mail: agritsman@worldnet.att.net

Rita Balmina (E-mail: rita_balmin@yahoo.com)

in Chicago: **Alexander Blinstein** (Phone: 1-847-6761134);

Yefim Kotlyar (Phone: 1-847-5819304, E-mail: YefimK@aol.com)

in Paris: **Vladimir Smekhov** (Phone: 33-6-73024165, 33-1-41861468)

in Toronto **Ilia Lipis** (E-mail: lipis@idirect.com)

In ISRAEL:

Lyuba Sergeeva – Afula, Phone: 972-6-6492095

Olga Kravchenko – Arad, Phone: 972-7-9971014

Samuel Kushnirov – Ariel, Phone: 972-3-9365452

Leonid Sheinkman – Herzliya, Phone: 972-9-9502681

Vitaly Kabakov – Kfar Saba, Phone: 972-9-7673293

Michael Basin – Khaifa, Phone: 972-4-8213657

Michael Gil – Lod, Phone: 972-8-9201291

Mark Pavis – Rekhovot, Phone: 972-8-9353758

CONTENTS

LION GATE

YULI KIM. All that Time I Was on My Way to You. *Verses*

MARINA MELAMED. Jazz, Yiddish Style. *Short stories*

TAMARA DUBINA. Countdown. *Verses*

LEONID LEVINSON. Project. *Story*

IGOR BYALSKY. ...into Hebron Street. *Verses*

JAFFA GATE

DAVID MARKISH. The End of the World. *Short story*

MORIS SEMASHKO. From the Book "The Fourth Rome".

Abridged version

YAKOV SHEKHTER. Grandma's Tales. *Short story*

EINAT YAKIR. Mirror. *Short story. Translated from Hebrew by S. Lavan*

SERGEY BAUMSTEIN. Allenby Street, at Pany's Place. *Short story*

ZION GATE

MICHAEL FELDMAN. According to Producer's Conception. *Lyrics*

BETZALEL STREET

BINAH SMEKHOVA. Everybody is Dancing Now

ZELY SMEKHOV. *Drawings*

SAKHAROV GARDENS

EFIM KOTLYAR. My Brodsky

RUSSIAN COMPOUND

VLADIMIR BOLOTIN. In Shapira's Room. *Lyrics*

MOUNT SCOPUS

PETR MEZHURITZKY. Response

NAHUM BASOVSKY. Three Aquariums

DENNIS SOBOLEV. Compiler's Speech

SHIMON MARKISH. The Third Father-Founder

NEW GATE

Reviews and annotations by Elena IGNATOVA, Gregory KANOVICH, Arnold KASHTANOV, Michael KOPELIOVICH, Alexander LYUBINSKY, Pavel KHMARA, Alexander SHOYKHET of books by Elena AXELROD and Michael YAKHILEVICH, Chaim VENGER, Boris GOLLER, Lorina DYMOVA, Slava KURILOV, Alex REZNIKOV, Yigal CHAGAY

SHRINE OF THE BOOK

Publications of the Year 1999

NAMES

Authors and Characters

DAVID SAMOYLOV. The Introduction

MEMORY HILL

MARC KABAKOV. Holly Land: Remain Here Forever

תוכן העניינים:

שער האריות

יולי קים. הלכתי כל הזמן אליך - שירה
מרינה מלמד. גזי בסגנון יידיש - סיפורים
תמרה דובינה. ספירה לאחור - שירה
לאוניד לבינזון. פרוייקט - סיפור
איגור ביאלסקי. לרחוב חברון - שירה

שער יפו

דוד מרקיש. סוף העולם - סיפור
מוריס סימשקו. מהספר "רומא הרביעית"
יעקב שחטר. סיפורי סבתה - סיפור
עינת יקיר. מראה. סיפור - תרגום מעברית ש. לבן
סרגיי באומשטיין. ברחוב אלנבי אצל פולניה - סיפור

שער ציון

מיכאל פלדמן. על פי מחשבת הבמאי - שירים

רחוב בצלאל

בינה סמחובה. כולם רוקדים
זלי סמחוב. ציורים

מגרש הרוסים

ולדימיר בולוטין. בחדר אצל שפירה - שירים

הר הצופים

פיוטר מז'וריצקי. תגובה
נחום בסובסקי. שלושה אקוואריומים
דניס סובולב. דברי המחבר
שמעון מרקיש. אבא-מייסד השלישי (גרגורי בוגרוב)

השער החדש

ביקורות: ילנה איגנטובה, גרגורי קנוביץ', ארנולד קשטנוב, מיכאל
קופליוביץ', אלכסנדר לובינסקי, פבל כמארה, אלכסנדר שויחט,
על ספריהם של: ילנה אקסלרוד ומיכאל יחילביץ', חיים ונגר, בוריס גולר,
לורינה דימובה, סלבה קורילוב, אלכס רזניקוב, יגל חגאי

היכל הספר

כתבי-עת וספרים של שנת 1999

שמות

איזכורים

דוד סמוילוב. דבר פתיחה

הר הזיכרון

מארק קבקוב. להישאר בארץ הקודש

כתב-עת ירושלמי 6. 2000

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת:

איגור ביאלסקי (עורך ראשי), שמעון גרינברג, רומן טימנצ'יק,

זינאידה פלבנובה, דינה רובינה, סבטלנה שנבורן

מזכיר - לאוניד לונזון

ציירת - סוסנה צ'רנוברובח

עריכה והגהה - מרגריטה שקלובסקי

תמיכה לוגיסטית וטכנית - בינה סמחוב, בוריס ברונשטיין,

דניאל בורשטיין, שאול קוטלרסקי, מיכאל ביאלסקי, ויקטור גופמן,

גרגורי גורדין, נלי גלוזמן, דניאל למברג, אנטון מוכין ובוריס שטיין.

הוצא לאור: "סקופוס". הדפסה: דפוס "צור-אות"

בתמיכת

המרכז לקליטת אמנים עולים

(משרד לקליטת העלייה,

משרד התרבות והספורט);



ירושלים



עיריית ירושלים

(אגף התרבות,

הרשות העירונית לקליטת עליה

והספריה הרוסית העירונית בירושלים);

הפורום הציוני

והכנס העולמי ללימודי אינטראקציה של תרבויות

© 2000 כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת.ד. 32297, ירושלים 91322

טל. 02-6720025, 054-745322, 02-6434005, 02-6432962

В ночь с 24 на 25 декабря 2000 года

скоропостижно скончался всемирно известный писатель

МОРИС СИМАШКО.

Он успел просмотреть гранки своей последней книги «Четвертый Рим»,
журнальный вариант которой публикуется в этом номере.

Память о замечательном человеке и прекрасном писателе

Морисе Симашко навсегда сохранится в наших сердцах.

Союз русскоязычных писателей Израиля

Редколлегия «Иерусалимского журнала»

